

К Л А С С И К А З Е М Л И К У З Н Е Ц К О Й

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА КУЗБАССА

ТОМ II

Книга вторая

К Е М Е Р О В О

2022

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
К 47

Руководитель проекта Б. В. Бурмистров

Редколлегия:

Б. В. Бурмистров, С. А. Донбай, Г. И. Карпова (общая редакция), Д. В. Мурзин,
А. В. Правда, Т. А. Горохова, В. И. Лаврушкина, Е. И. Тюшина, И. А. Фролова

Составители:

Б. В. Бурмистров, Г. И. Карпова, Т. А. Горохова

Авторы литературно-критических статей и биографий:

В. С. Арнаутов, И. В. Ащеулова, Т. А. Горохова, Т. Г. Карманова, Т. Н. Киреева,
В. И. Лаврушкина, Л. В. Павлова, В. В. Рудин, А. С. Сазыкин, Т. Н. Соколова,
С. А. Старовойтова, Е. В. Трофимова, Е. И. Тюшина, И. А. Фролова,
Е. А. Чигарёва, Е. С. Чириков

Иллюстрации О. Г. Чибисовой

Классика земли Кузнецкой: в 3 томах. Т. 2. Избранная проза Кузбасса, кн. 2 /
К 47 [руководитель проекта: Б. В. Бурмистров ; редколлегия: С. А. Донбай,
Д. В. Мурзин, А. В. Правда и др. ; составители: Б. В. Бурмистров, Г. И. Карпова,
Т. А. Горохова]. – Кемерово : ГАУК «Кузбасский центр искусств», 2022. –
616 с. : ил. – ISBN 978-5-6048105-0-7. – Текст : непосредственный.

Во второй книге второго тома 3-томного собрания поэзии и прозы кузбасских авторов представлены настоящие шедевры прозы. Книга предлагает читателю не только интересные и знаковые произведения, в которых в художественной форме запечатлена история Кузбасса и судьбы его жителей, но и уточненные биографии 12 прозаиков, развернутые статьи об их творчестве и о публикациях разных лет. Издание предназначено как для широкого круга читателей, так и для историков и литературоведов.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
ISBN 978-5-6045440-4-4

ISBN 978-5-6048105-0-7 (Т. 2, кн. 2) © ГАУК «Кузбасский центр искусств», 2022

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

В 2020–2022 годах Кемеровское областное отделение Союза писателей России и Кузбасский центр искусств выпустили два тома из задуманной трехтомной серии «Классика земли Кузнецкой». Художественную литературу края представили 25 поэтов и 24 прозаика, внесшие заметный вклад в литературу Сибири и России.

В силу того, что проза по своей природе более объемна, второй том пришлось разбить на две книги. В первой книге «Избранной прозы Кузбасса» ярко прозвучала историческая и военная тема. Во второй книге, которая выходит в канун 60-летнего юбилея Кемеровской писательской организации, главным образом представлена психологическая проза, обнажающая острые нравственные проблемы современной социальной жизни.

Обращаясь к читателям в первой книге избранной прозы, Б. В. Бурмистров, руководитель проекта «Классика земли Кузнецкой», отметил, что «чем больше света... в глубине души, тем больше понятен и виден наш земной путь». Этим светом щедро делятся кузбасские писатели-классики. Возможно, что читательские переживания за литературных героев с их непростыми судьбами помогут кому-то переосмыслить и свои жизненные перипетии, понять собственные поступки. При внимательном прочтении вы, уважаемые читатели, непременно почувствуете всю полноту и глубину творческих возможностей авторов тома «Избранная проза Кузбасса». Нам есть чем гордиться. Художественное слово и в XXI веке продолжает светить..



Владимир Аскольдович Власов

*7 июля 1924 г., Шахты, Ростовская обл. – 31 октября 2002 г.,
Дагестан.*

*Участник Великой Отечественной войны.
Прозаик. Член Союза писателей СССР с 1977 года.*

МЕРЗАВЕЦ

В тот год холмистые предгорья Урала уже весной выгорели от засухи.

Изнывая от небывалой жары, помощник бурильщика Васька Жезлов попросил своего шефа:

– Побури тут без меня минут двадцать, Николай, я пойду окунусь разок.

Бурильщик Николай Саночкин предупредил, не глядя на Жезлова:

– Не нарвись на Асмодея, а то он с пол-оборота заводится.

Бурового мастера Ивана Ивановича Дорошенко, по прозвищу Асмодей, боялись даже старые буровики. Поэтому на реке Васька времени даром не терял: он с ходу нырнул в омуток у подножия невысокой скалы, саженками переплыл речку, вернулся и торопливо натянул брюки. Рубашку Васька держал в руке.

В последний раз глянул он на воду, потянул носом чуть пахнувший рыбой воздух и вздохнул: «Благодать-то какая – весь день бы из воды не вылезал».

В зеркальной поверхности омутка Жезлов видел свое худощавое лицо, упрямый вихор на голове, всегда стоящий дыбом. Он подмигнул своему отражению и двинулся к буровой, но в последнее мгновение засек взглядом степного орла, падающего с высоты на обмелевший перекат ниже омута.

«Рыбачит», – догадался Васька и замер, боясь спугнуть охотника. То ли орел промахнулся с первого захода, то ли ему тоже было нестерпимо жарко в знойном небе, но он, к великому удивлению Жезлова, не взмыл над рекой, унося в когтях рыбу, а исчез под водой. Васька даже приподнялся на цыпочки, выглядывая в камнях переката орла-ныряльщика. Но трудно было на большом расстоянии рассмотреть среди темно-бурых и черных камней бурую птицу. Васька увидел орла в тот момент, когда он схватил клювом рыбешку и, оскользаясь на мокрых камнях, побрел к берегу. Васька тихонько засмеялся.

Орел уже не походил на царя птиц. Намокшие перья его повисли, резко обозначилась худоба и неуклюжесть костистого тела.

«Как мокрая курица», – мелькнуло у Жезлова сравнение.

Орел рыбу есть не стал. Он положил ее и побрел опять на перекат. Теперь Васька не спускал с него глаз. Орел не нырял. Очевидно, он не нырял и в первый раз. Он стоял возле крупного валуна на самом глубоком месте и ждал. Потом незаметным, быстрым движением схватил рыбку и понес на берег.

Прячась за низкими кустами, Васька решил подобраться поближе. Орел заметил движение в кустах, подпрыгнул, но взмокшие крылья не удержали его, и он тяжело упал на береговую гальку.

Одним гигантским прыжком Жезлов перемахнул через кустарник и накрыл голову орла рубашкой. Прижимая к голой груди тяжелую мокрую птицу, он побежал на вышку.

Николай Саночкин по-прежнему стоял у станка, время от времени вытирая рукавом спецовкой пот со лба.

«Мокрого орла показывать не буду, – решил Васька, скрытно подходя к буровой установке, – не орлиный у него вид». Он сунул птицу в палатку, где хранились запчасти. Оттуда рванулся раскаленный воздух.

«Задохнется, бедняга, в таком пекле, – подумал Васька, – надо привязать где-нибудь на свободе».

Он огляделся – ни деревца, ни кустика.

– Давай к станку! – скомандовал бурильщик.

«Сделаю ему якорь, – размышлял Васька, затягивая зажимкой болт нижнего патрона станка. – Это штука нехитрая – возьму и привяжу ему к ноге вот хотя бы этот патронный ключ. Куда он с ним денется? Порода идет крепкая. Пока Николай позовет меня перекрепляться, пройдет верный час и орел обсохнет на солнце».

Орел обсох раньше. Он не стал ждать, пока Васька отвяжет от его ноги патронный ключ. Блеснув диким глазом на приближающегося Жезлова, он взмахнул могучими крыльями и полетел низко над землей. Отшлифованный руками буровиков патронный ключ болтался на веревке и сверкал солнечными зайчиками. Васька испуганно ахнул. Ему казалось, что это искры сыплются у него из глаз: патронный ключ можно было достать только на базе партии, да и то не сразу. До базы

было больше двухсот километров, а без ключа буровая была обречена на простой. Горячий воздух, рвущийся от земли вверх, быстро поднял орла.

Не надеясь уже ни на что, Васька следил за беглецом и возмущенно шептал:

– Что же ты, гад, не перекусил веревку, на черта ты поволок эту железяку? Орлице своей гайки подкручивать?

Орел подлетел к отвесной скале, венчающей макушку лысого кургана, и сел, сразу пропав из виду.

«Маскировочка! – восхитился Васька. – Что же он дальше будет делать? Перервет веревку или нет? Ведь с двумя килограммами железа долго не налетаешь...»

Жезлов страстно молил орла освободиться от ключа и бросить его именно на этой скале.

«Жив не буду, если не достану ключ через пару часов, – клялся Васька. – Там и скала-то метров пяток. Попрошу Николая, он посадит маленько, а дальше как-нибудь... или веревку перекинуть можно».

Над холмами дрожал раскаленный воздух. Все живое спряталось, а Жезлов стоял на солнцепеке и не спускал с кургана глаз. Он просил, умолял, заклинал орла оставить ключ. А орел не показывался.

«Что он, проклятый, прикипел к этой скале или действительно гайки подтягивает?» – ругался Васька, не замечая, что секунду назад называл орла самыми ласковыми именами.

Словно услышав Васькину ругань, орел плавно снялся со скалы. Он летел широкими кругами, быстро набирая высоту. До боли в глазах всматривался Жезлов в орла – металлического блеска возле него не было.

– Откусил, – радостно выдохнул Васька и заторопился к бурильщику.

– Какой орел? – набросился Саночкин на помощника. – Как он тебе в руки дался?

Но убедившись, что патронный ключ исчез, Саночкин выругался и заглушил движок.

– Твое счастье, – сказал он Ваське, – что в такую жару надо давать двигателю передышку.

С трудом поспевая за Николаем, Васька клял свою судьбу: «И дернул меня черт привязать орла именно к этому ключу! Вот что значит не везет! Добрые люди работают в стационарных партиях по десять – двадцать лет, а меня всю жизнь (Васька работал второй год) на поисках держат. И партия-то у нас на такой площади раскинулась, что любое государство на Западе позавидует. От базы – день на машине гнать надо... Ну и страна – только и меры, что на сотни и тысячи, а не какие-то задрипанные километры... И орлы-то все, подлецы, дикие. Там за границей, небось, только в зоопарках сидят, а тут летают на просторе, сволочи, да еще ключи прихватывают казенные. А хорошо бы приручить такого красавца... Это было б похлеще, чем ручной волк. Это вроде как ручной тигр или лев».

Скала вблизи оказалась выше и неприступней, чем издалека. Но с обратной стороны она напоминала гигантскую каменную лестницу со ступенями до двух метров высоты каждая. В щелях росла трава, а кое-где колючий кустарник. На всякий случай Васька обвязал вокруг пояса веревку, влез на первый уступ, втащил Николая. Еще несколько ступеней – и Васька, стоя на плечах Саночкина, заглянул на вершину скалы.

– Есть, – сообщил он бурильщику, – только рукой не достать. Ты стой, а я подтянусь.

Он легко перебросил через край скалы свое длинное жилистое тело. Николай слышал, как звякнул о камень ключ. Он поднял голову, надеясь увидеть своего помощника, но увидел двух орлов, стремительно падающих с огромной высоты на скалу.

– Берегись, Васек! – крикнул бурильщик и выхватил из кармана складной нож.

Невидимый снизу, Васька что-то закричал, засвистел в два пальца. Орлы вышли из крутого пике в десятке метров от скалы и полетели в сторону солнца.

– Васька! – крикнул Николай. – Смывайся, а то...

– Возьми ключ, – отозвался Васька, – и вот этого кусучего чертенка...

Жезлов спустил на веревке свою кепку, в которой сидел головастый орленок.

– Красавец, шельма. Белый, как снег, аж голубой, если приглядеться, – объяснял Васька на ходу. – Второго я оставил в гнезде.

Саночкин молчал и Васькиных восторгов, очевидно, не разделял. Его сухое, прокаленное зноем лицо было хмуро и не улыбочиво.

– Чего мы торопимся, Коля? – спросил Васька. – Давай передохнем и посмотрим нашу добычу.

– Шире шаг, – скомандовал бурильщик, – с часу на час Асмодей нагрянет.

Двигатель еще не остыл. Поэтому Саночкин со спокойным сердцем уселся в холодке и сказал:

– Вытряхивай его, Вася... Поди, не убежит.

Лупоглазый, с огромным клювом, птенец был бы настоящим уродом, если бы не тончайший белый, действительно с какой-то голубизной пух, покрывающий его неуклюжее тело.

Он лежал на животе и тяжело дышал, широко раскрывая клюв. Бурильщик протянул руку, чтобы погладить птенца по пушистой спинке, но орленок крепко клюнул его в кисть руки и зашипел по-змеиному.

Николай выругался, Васька засмеялся:

– Он меня в гнезде таким же манером.

Жезлов показал багровый кровоподтек между большим и указательным пальцем.

– Зря ты его взял, – упрекнул бурильщик. – Что с ним делать? И чем кормить? Ему ж мясо надо.

– Охотиться научу. Он мне дичь носить будет, а кормить буду сусликами или рыбу буду ловить.

– А работать когда будешь? – громыхнул басом незаметно подошедший мастер. – Тоже мне, общество рыбаков и охотников...

«Вот чертов Асмодей, – ругнулся про себя Васька. – И откуда он нарисовался? Мы его на машине ждем, а он пехаря пришкандыбал».

Будто отвечая на Васькин вопрос, Дорошенко пояснил:

– Отдал я дежурку соседям. Беда – подались за аварийным инструментом. – Он снял насквозь пропотевшую кепку, вытер платочком мокрую лысину, спросил сердито: – А вы почему не бурите?

– Движок шибко нагрелся, – ответил бурильщик, – ну и... вот... перекуриваем.

– И птичек ловим, – ехидно добавил Дорошенко и обличающе ткнул пальцем в орленка.

Тот долбанул его клювом по пальцу.

Мастер взревел, подпрыгнул от неожиданности и боли, потом сунул палец в рот, зажмурился и замотал головой: удар пришелся по суставу. Лица бурильщика и помощника, изображая глубокое сочувствие, грустно вытянулись, а в глазах плескался неудержимый смех.

Дорошенко обрушился на своих подчиненных:

– Где вы нашли этого мерзавца? – Он потряс посиневшим пальцем под носом у Васьки, сразу определив истинного виновника, и продолжал с надрывом: – Люди бурят, метры дают, премии и другие награды получают, а вас нечистая сила по степи носит! Нет чтобы профилактику агрегату сделать, масло с дизеля вытереть, а вы зверильницу организовали, всякую падлу на вышку тащите! И почему это наша бригада еще на первом месте? Завтра пойду и отдам вымпел соседям. Сам отдам! Своими руками!

Лицо мастера налилось кровью, глаза горели недобрым огнем.

«Завелся... – определил Васька, – теперь попрет».

Мастер попер:

– Ну, работнички... ну прям как малые дети: заглушили движок, нашли поганого совенка и забавляются. И это разведчики! Это буровики! Передовой отряд нашей промышленности! Лоботрясы! Вас зачем государство сюда послало? Птичек ловить? Ну, ладно, Ваське-охламону еще двадцати нет, а ты, Николай, мой ученик и семейный человек... Не стыдно тебе?! А? Эх, вы!

Бурильщик, чтобы не уронить достоинства, старался сохранить спокойствие. Ему и курить-то не хотелось, но он достал папиросы,

угостил Ваську, взял себе, подал пачку мастеру. И все это подчеркнуто спокойно и молча.

Это показное спокойствие доконало мастера, он оттолкнул руку Саночкина, затопал ногами и, почернев лицом, зашумел:

– Кончай курить! По местам!

Бурильщик притушил окурок о подошву сапога, плюнул и, укоризненно глядя на мастера, встал.

От этого взгляда и оттого, что с ним никто не спорил и никто ему не возражал, мастеру стало неловко. Он знал, что сердится зря, что буровиков обидел напрасно. Можно было построжиться, а кричать и топтать ногами было ни к чему. Но сознаться в этом даже себе он вот так, сразу не мог. «Нервочки, – оправдывался перед собой Дорошенко, – а тут еще тридцать пять в тени». Он беспокойно поглядывал на буровиков, в четыре руки вытирающих и без того чистый дизель: «Хоть бы они, сукины дети, оправдывались для приличия, а то молчат – и баста. А по мордам видно, что насмеваются».

Дорошенко был бы рад любому слову со стороны подчиненных, но они вроде его и не замечали. Напряженную, нехорошую тишину нарушил противный, как скрип напильника по железу, писк орленка.

Опасливо поглядывая на птенца, Дорошенко отступил на шаг, спросил:

– Чего он?

– Это он просит вас, Иван Иванович, не шуметь, – лукаво щурясь, пояснил Васька.

Мастер охотно принял предложенный шутливый тон:

– А больше он ничего не просит?

– Просит, чтобы вы разрешили ему жить на буровой.

Ивану Ивановичу никак не хотелось, чтобы страшный и противный птенец жил на буровой, но, еще чувствуя себя виноватым, он криво улыбнулся и благословил:

– Черт с ним! Только уж пусть он... того... пусть он к нашему шуму привыкает. И чтобы без всяких фокусов. – Дорошенко погрозил орленку распухшим уже черно-сизым пальцем и продолжал задумчиво: –

На буровой, да чтоб без ругани, без шуму... ишь ты! Нет, пусть уж привывает, мерзавец.

С легкой руки мастера к орленку прилипла кличка Мерзавец. Он поселился за дизелем в ящике с тряпочным обтиром. Мерзавец постепенно привык к надоедливому однотонному шуму дизеля и бурового станка, к лязганью буровых штанг и труб, к звяканью металла. Но к ругани так и не привык. То ли это была врожденная особенность царя птиц, не терпящего суматохи и зряшного шума, то ли с первой встречи с человеком он возненавидел ругань, но достаточно было на буровой не только заспорить или заругаться, а просто повисить голос, как Мерзавец пулей выскакивал из-за дизеля и, грозно растопырив крылья, падал на крикуна.

Неожиданность нападения, грозный клюв, когтистые лапы и горловой клекот производили впечатление. Буровики смеялись, прекращали спор. Мерзавец еще не научился летать, а Иван Иванович уже отучился ругаться на буровой. То есть не то чтобы совсем отучился. Он заводился как и прежде, но распекал своих подчиненных не повышая голоса. Когда же без этого обойтись было никак нельзя, он вызывал провинившегося в палатку и там отводил душу, сторожко поглядывая на буровую – не покажется ли орленок.

Мерзавец хорошо знал всех членов бригады, но к ящику своему подпускал только Ваську Жезлова.

Жезлов кормил орленка сусликами, иногда баловал свежей рыбкой.

Мерзавец еще не летал, он только подпрыгивал, но от хозяина старался не отставать – ковылял за ним на речку и к ближним сусличьим норкам. Ел он много и жадно и, наверное, поэтому рос быстро. Сытый любил сидеть у Жезлова на коленях. Когда Васька его гладил, он доверчиво закрывал глаза и от удовольствия замирал, только лапы сжимал так, что когти пороли Васькину брезентовую робу и тело.

Жезлов знал, что малейшее раздражение в голосе человека орленок воспринимает болезненно остро и поэтому разговаривал с ним всегда спокойно. И орленок ослаблял сильные, как пружина, пальцы.

Потом Васька приспособился и закрывал колени рубчатым резиновым ковриком. Однажды птенец приболел – стал отрывывать пищу, тяжело дышал, был вял и малоподвижен. Жезлов почти сутками не отходил от орленка, пережевывал для него колбасу и вареное мясо, кормил этой жвачкой насильно изо рта в рот. Мерзавец сопротивлялся, крутил башкой, но Ваську не клюнул ни разу.

Бригада жила на базе отряда в передвижных вагончиках. Там же была столовая. Буровики повезли Мерзавца в свой поселок, когда птенец покрылся бурым пером под цвет родной, выгоревшей от солнца степи. Всю дорогу он сидел в кузове дежурной автомашины на коленях у Жезлова.

Приехали точно к обеду, умылись, пошли в столовую. Мерзавец ковылял рядом с Васькой.

Повариха, уборщица и сама заведующая, солидная женщина с тройным подбородком, вышли посмотреть на Мерзавца, прихватив немудреное угощение. Мерзавец благосклонно и вежливо принимал дары. Он целиком глотал куски мяса, колбасы и даже вареники с творогом.

Наслышанные о необычайной любви орленка к порядку, работники кухни говорили в его присутствии только шепотом. Жезлов снисходительно разъяснял:

– Можете говорить громко, но кричать нельзя.

Первый выезд в свет прошел благополучно. Мерзавцу база отряда понравилась. Теперь он не пропускал ни завтрака, ни обеда, ни ужина. Ездил с буровиками, усаживаясь на передний борт над кабиной водителя. Если машина почему-либо задерживалась, орленок волновался. Боясь опоздать в столовую, он стучал клювом по кабине: поехали.

Водитель смеялся и говорил, что Мерзавец облупил клювом всю краску, что отныне бригада может работать без часов: птица показывает время точнее любого хронометра.

Никто не видел, когда орленок полетел в первый раз. Жезлов работал в ночную смену целую неделю, а днем спал. Наверное, в эти дни беспризорный орленок и научился летать. А когда Жезлов со своим бурильщиком Николаем вышел на работу днем, Мерзавец уцепился

ключом за Васькину штанину и потащил хозяина к выходу. Васька удивился, но сопротивляться не стал. Прямо с трапа Мерзавец прыгнул на пустую бочку из-под солярки и вдруг полетел, широко раскинув почти метровые крылья. Он летел по прямой, чутко улавливая крыльями воздушные потоки и постепенно набирая высоту. Жезлов неосознанно потянулся в первый момент за орленком, вроде сам хотел полететь, да так и застыл в неловкой позе, боясь потерять птицу с глаз. Даже в тот миг, когда отец Мерзавца уносил дефицитный патронный ключ, Жезлов так не напрягал зрение. Только сейчас он почувствовал, как дорог ему орленок.

Жезлов очень удивился бы, расскажи ему кто-нибудь, что в эту минуту смуглое лицо его побледнело, а губы шептали беззвучно:

– Полетел, Мерзавец... полетел, милый... бросил нас и полетел.

Мерзавец в это время где-то у самого горизонта начал огромный круг. Он уходил по дуге все выше и выше, удаляясь от земли, превращаясь в едва видимую точку.

Давно уже бурильщик, отчаявшись дозваться Ваську, выключил станок и стоял рядом с помощником, а едва различимый орел продолжал подниматься.

– Счастливого ему пути! – пожелал Саночкин. – Пойдем перекрепляться, Вася.

– Жалко, – бормотал Васька, – надо б хоть попрощаться. Кто же его знал, что он улетать собрался. – Васька хотел улыбнуться, но улыбка не получилась – только дрогнули уголки губ.

Николай крикнул:

– Нда, умный был, стервец, все понимал...

До конца смены Жезлов был рассеян, как никогда раньше, а бурильщик молча исправлял его ошибки. К четверем часам они передали смену на ходу и полезли в кузов дежурки. Мастер Дорошенко сразу заметил, что Жезлов не в настроении.

– Вась, ты что такой? – спросил он. – Не заболел?

Васька махнул рукой, буркнул:

– Хуже...

– Мерзавец улетел... – пояснил бурильщик.

Мастер только успел мысленно перекреститься и подумать: «Слава Тебе, Господи, избавил Ты меня от Мерзавца», как в воздухе возник легчайший шелест, будто терли шелк о шелк. Буровики подняли головы: прямо над дежуркой красавец орел вырвался из отвесного пике и плавно сел на передний борт машины. Клокотнув негромко и несердито, оглянулся на Ваську, словно подмигнул ему гордым глазом, и прыгнул к нему на колени.

Дорошенко выругался про себя, а вслух сказал:

– Ну и мерзавец этот Мерзавец – хоть часы по нему проверяй.

Все засмеялись, а у Жезлова часто забилось сердце: вернулся, не бросил! Он гладил орла и приговаривал: «Молодец, умница».

С этого дня орел охотился самостоятельно, но столовую посещал вместе с бригадой регулярно. С охоты частенько приносил сусликов, а ближе к осени – зайцев. Всю добычу складывал к ногам Жезлова, словно приглашая отведать свежатинки. От зайца, наштигованного салом, между прочим, не отказался сам Дорошенко. Орел весил теперь не меньше среднего гуся, но был поджар и жилист, как всякий хищник.

В поисках медной руды буровую вышку часто перевозили с места на место, рядом кочевали еще пять таких же вышек, но не было случая, чтобы Мерзавец спутал свою вышку с чужой. Даже тогда, когда вышку перевозили без него (Мерзавец улетал на охоту), он находил ее безошибочно. К этому привыкли.

Близилась зима. Частенько сыпал редкий снег или посвистывал пронзительный ветер. Последние стаи запоздалых перелетных птиц стремительно неслись к югу. Вся живность пряталась от непогоды.

Мерзавец волновался, клекотал, будто пытался объяснить Ваське что-то очень важное. Он часто улетал и подолгу не возвращался. Добычи не приносил. Исчезли все орлы – ушли последними, добывая отставших и больных перелетных птиц. Казалось, что в степи нет ничего живого.

Курилась на холмах поземка, стонал и всхлипывал среди скал дикий ветер. В этот день Мерзавец не вернулся.

– Откочевал вслед за своей родней, – сказал Саночкин. – Теперь все.

Жезлов же время от времени поглядывал на небо, словно надеялся увидеть Мерзавца. В бригаде его вспоминали часто. Причиной тому была тяжелая авария. На большой глубине неожиданно куски породы заклинили буровой снаряд. Во время ликвидации аварии часто вспыхивали споры, переходящие в скандалы. Все были злы: под угрозой стояла премия. А мастера Дорошенко опять называли за глаза Асмодем. Шесть суток Асмодей дневал и ночевал на буровой, засыпая на часок возле печки. Он оброс, закоптился. Воспаленные глаза покраснели. В каждой его фразе из пяти слов четыре были ругательные.

– Мерзавца на него напустить бы, – хмуро острили бурильщики.

В ночь на седьмые сутки Асмодей принял отчаянное решение – поднять буровой снаряд одновременными усилиями лебедки и гидравлики бурового станка. Такой способ запрещался правилами безопасности. Но это была последняя надежда, и Дорошенко пошел на это. Он тщательно проверил мачту, блоки, трос, удалил всех рабочих и закурил, чтобы малость успокоиться. Первая плавная натяжка снаряда ничего не дала. Растягиваясь в местах соединений, буровые штанги обманчиво подались на несколько сантиметров. Как только мастер ослабил нагрузку, они стали на прежнее место. Асмодей выругался и потянул снаряд снова. Натянувшийся до предела трос готов был лопнуть в любую секунду, окурок нестерпимо жег губы, но мастер чувствовал, как снаряд медленно, миллиметр за миллиметром, ползет вверх. Теперь останавливаться было никак нельзя – самое трудное сделано, но снаряд еще могло затянуть раскрошившейся породой. Дорошенко ничего не видел и не слышал, сосредоточившись на незаметном движении снаряда.

Мастер не знал, что на буровую приехал новый заместитель главного инженера экспедиции по технике безопасности, молодой специалист, про которых говорят, что жареный петух в зад их еще не клевал. Дело свое он, конечно, знал, и знал хорошо. Возможно, будь он на месте мастера, он действовал бы так же рискованно. Но служба есть служба – он приказал мастеру остановить работу.

Если бы он постоял с бурувиками возле вышки, покурил бы с ними минут пять, то Дорошенко вырвал бы снаряд. Но молодой специалист решительно вошел на буровую.

Покрывая гул дизеля, оттуда вскоре донесся его раздраженный голос. Что ему ответил Дорошенко на требование прекратить работу, никто не знает, но, наверное, что-то крайне обидное. Васька Жезлов, например, был уверен, что Асмодей послал молодого инженера куда подальше, потому что крик инженера вскоре сменился пронзительным визгом.

– Истерика, – заключил бурильщик Саночкин. – Валерьянку ему, сопляку, пить надо, а не с Асмодеем цапаться.

Все видели, что снаряд хоть и очень медленно, но идет, и невольно, как это всегда бывает, когда присутствуешь при подобных ситуациях, у каждого напряглись все мускулы. Вроде человек и на расстоянии готов подставить свое плечо: ну еще, еще, самую малость, уже через не могу, напрячься и помочь!

В такой напряженнейший момент визгливый крик инженера был настолько чужд всей обстановке, настолько бил по нервам, что каждый, не раздумывая, заткнул бы ему рот. А крик нарастал. Бурильщик Саночкин страдальчески морщился и грязным пальцем потирал правый висок, будто у него болела голова. Все стояли не шевелясь и смотрели, как все быстрее и быстрее идет вверх снаряд. Тревожный автомобильный сигнал на секунду заглушил все звуки. Шофер дежурки сигналил, стоя на подножке, и призывно махал свободной рукой, стараясь привлечь к себе внимание.

Жезлов глянул на дежурку и закричал:

– Ура-а-а!

На передке съемного зимнего кузова, покрытого брезентом, сидел Мерзавец. Он беспокойно вертел головой, прислушиваясь к истошным крикам, несшимся с буровой.

Васька бросился к своему любимцу, но орел легко перелетел на край люка буровой вышки и нырнул вниз, в помещение вышки. В тот же миг с треском распахнулись половинки двустворчатой двери, и по трапу промчался молодой инженер. За ним огромными прыжками несли Мерзавец. Обрывки материи на куртке и брюках инженера свидетельствовали о том, что орел времени даром не терял. Догадливый шофер открыл дверцу в кабину, и инженер с ходу влетел в машину. Мерзавец настиг его уже на подножке, последний раз долбанул в спину и занял свое место, издавая сердитый клекот и возбужденно пересту-

пая с ноги на ногу. Был он тощий и усталый, но голову держал по-царски величаво.

Освобожденный снаряд подняли в каких-нибудь полчаса и с шутками полезли в кузов. Дорошенко сел в кабину, где приютился исклеванный инженер, и сказал, глубоко затягиваясь махорочным дымом:

– Вы... значит... не обижайтесь на птичку. Я от этого мерзавца не счесть сколько раз трепку получал за свою нервенность.

Инженер молчал, ворочаясь в тесной кабине.

Дорошенко кашлянул:

– Гм, да... ребята, значит, будут молчать про эту историю, как рыбы. Ну, а вы?

Инженер благодарно прижал руку к сердцу, сказал горячо:

– Могила!

По железу кабины требовательно застучал клюв орла: трогай!

1976

ИСКАТЕЛИ БОМБ

Концлагерь на сорок тысяч человек при необходимости вмещал тысяч шестьдесят. Люди всех убеждений и верований, уголовные преступники и военнопленные, осужденные за побеги, саботаж и вредительство, составляли основной состав заключенных. Распределенные по рабочим командам, они под звуки оркестра выводились из лагеря на работы каждый день. В лагере оставались больные, доходяги (истощенные до предела и умирающие от слабости) и симулянты, готовые даже на членовредительство, лишь бы не работать на немцев.

Городок, вблизи которого располагался лагерь, за всю войну бомбили несколько раз. Но в последнюю ночь бомбежка была особенно жестокой, и в земле осталось много невзорвавшихся бомб.

Из постоянных рабочих команд заключенных для этой цели не брали, а вылавливали из оставшихся по любым причинам в лагере, что было не так просто в массе лагерных построек и служб. Поэтому будущих искателей бомб искали собаки. Почуяв запах заключенных, овчарки зверели и рвали поводки из рук эсэсовцев.

Облава продолжалась всего полчаса, а на плац согнали человек пятьсот. Больные и дистрофики, освобожденные от работы, ежились и постукивали деревянными башмаками, словно на морозе. Июльское солнце не могло согреть истощенных до предела людей. В этой покорной безликой толпе бойко шныряли симулянты, пытаясь узнать цель облавы. С самого начала облавы и больные и здоровые прятались кто где мог, предполагая отправку на дальний этап или в ближайший крематорий. Узнав, что их посылают искать невзорвавшиеся бомбы, опытные заключенные пытались изображать больных и калек, а новички растерянно переглядывались. Эсэсовцы безошибочно отделили и загнали в бараки всех доходяг. Остальных группами по десять человек направили к лагерным воротам.

Впереди каждой десятки шел бригадир – немец-уголовник. Первая десятка прошла ворота, не снимая шапок.

Идущий во второй группе скуластый русский новичок поднял руку, чтобы снять шапку, но сосед предупредил шепеляво и тихо:

– Не суетись – смертникам не положено.

В грузовой автомашине скуластый разглядывал своего соседа: высок, костист, взгляд тяжелый исподлобья, голова втянута в плечи, словно в постоянном ожидании удара, беззубый, по-стариковски запавший рот с порванными губами как старая безобразная рана. На груди и на правом бедре – красный треугольник, перечеркнутый буквой Р, и номер 67941.

«Русский, политический, судя по номеру, в лагере давно», – расшифровал новичок и спросил, тронув свои губы пальцем:

– Чем тебя?

– Сапогами, – равнодушно прошамкал беззубый.

Ничего не изменилось в его лице. Серые глаза смотрели угрюмо, спокойно. И от этого обреченно спокойного взгляда новичку стало страшно. Он и сам не знал, почему испугался. Ни одной четко сформулированной мысли у него не было. Но этот неосознанный страх так властно овладел им, что на какой-то миг сильнейший озноб потряс все тело, и тут же ему стало жарко. Широкие скулы зарделись от притока крови, а

по спине потекли струйки пота. Он снял полосатую бескозырку и поставил ветру лицо. Обнажилась неровно остриженная рыжая голова.

Маленький шустрый немец с зеленым треугольником (знак уголовника) ткнул пальцем в ярко-рыжую голову и засмеялся:

– Вот настоящий красный – и снаружи и внутри!

На шутку никто не откликнулся. Даже конвоиры не улыбнулись. Новичок поспешно напялил шапку.

Он рассердился на уголовника, забыл о своем внезапном страхе и уже готов был сцепиться с обидчиком, но беззубый положил ему на колено руку и прошамкал невнятно:

– Не трожь его – оно вонять не будет.

Машина мягко шла по широкой асфальтированной улице. Заключенные примолкли, разглядывая зеркальные витрины больших магазинов, чисто одетых людей на тротуарах.

Рыжий обратился к беззубому:

– Приходилось искать-то?

Беззубый молча кивнул и, привалясь к кабине, закрыл глаза.

– Как зовут? – не унимался рыжий.

Большие серые глаза, оперенные ранними морщинами, приоткрылись удивленно, кольнули сердитым взглядом неугомонного новичка. Дрогнул тяжелый подбородок.

– Звали Федором... а на кой черт тебе? Тут номера...

Рыжий пригнулся к Федору, взглянул в глаза. Они были спокойны и угрюмы.

Заикаясь от злобы, рыжий сказал:

– Это тебя здесь так воспитали, а я – ч... ч... человек. У меня им... мя...

Уголок разорванного рта пополз в горькой усмешке:

– Ну-у? Какое имя?

– Леонид...

– Добро, Лень. Только человеку-то тут шибко трудно. Послушай-ка, о чем толкуют камрады перед смертью.

И Федор указал глазами на шустрого немца. Оживленно жестикулируя, немец объяснял на лагерном жаргоне пожилому французу и по-

ляку богатырского сложения, что около невзорвавшейся бомбы всегда можно пожить.

Из страшной мешанины немецких, французских, русских и польских слов, сопровождаемых точными жестами и богатейшей мимикой, слушатели поняли, что бомбу обычно выкапывают два человека. Сначала они сменяют друг друга. А с глубины трех метров один углубляет лопатой поисковый шурф, второй поднимает на поверхность ведром с веревкой измельченную породу.

Каждые двадцать минут бригадир посылает на смену уставшим искателям бомб новую пару смертников. Охрана выставляется далеко, и практически в радиусе двухсот метров вся территория принадлежит заключенным. Все жители с этой площади выселяются заранее, и в домах всегда можно украсть что-нибудь съестное.

Шустрый немец с упоением рассказывал, как в темном подвале он провалился в бочку с повидлом, как ему присвоили кличку Мармелад, как пиновала возле этой бочки вся команда искателей бомб. У старого француза рот наполнился слюной, глаза жадно блестили. Большая голова поляка склонилась к рассказчику, придурковатые сонные глазки совсем утонули в глубоких глазницах. Все, кто слышал голос Мармелада, сдвинулись плотнее, боясь пропустить хоть одно слово. Рассказ о небывалом пиршестве расшевелил почти всех. Страх близкой, почти неминуемой смерти отступил перед более близким чувством голода.

Федор заметил, что Леонид тоже потянулся на какой-то миг к рассказчику, но тут же отвернулся и посмотрел виновато. Федор, словно ничего не замечая, утомленно закрыл глаза и, казалось, задремал. В другом углу кузова дремал бригадир – немец-уголовник. Рядом с ним спал старый политический заключенный, известный всему лагерю по прозвищу Стальной Курт. Они не слушали рассказ болтливого шустряка о том, как тикает часовой механизм бомбы замедленного действия, отсчитывая время твоей жизни по секундам.

– Тик-так, тик-так, тик-так, стучит внутри бомбы механизм, а у тебя в голове будто кто-то каждый удар отбивает молотком, – объяснял Мармелад.

Федор приоткрыл глаза, сказал незлобно:

– Вот врет, чертов ворюга: ни один человек не слышал, как работает механизм такой бомбы. Ее можно узнать только потому, что головка окрашена в желтый цвет.

Бригадир и Курт дремали в своем углу даже тогда, когда машина свернула с асфальта на старую булыжную мостовую. Но машину затрясло так, что о сне нельзя было и думать. Отгоняя тяжелую дрему, Федор потер лицо ладонями, осмотрелся и выругался шепотом, поминная черта, Бога, американцев и англичан. Словно в ответ загремел голос бригадира, ругающегося на всех языках сразу.

Машина шла в дыму догорающих пожаров. Кое-где после ночной бомбежки огонь еще не затушили полностью. Оттуда тянуло тошнотворным запахом тлеющих тряпок. Разговоры в машине сразу смолкли. Даже Мармелад сидел тихо, поджав и без того тонкие губы. Его острая крысиная мордочка сморщилась. Казалось, он сейчас заплачет. Федор снова помянул американцев и Божью Мать.

– Чем тебе союзники не угодили? – удивился Леонид. – Бомбежка как бомбежка.

– Скурвины дети те союзники, – прогудел, как из бочки, могучий поляк. Он зло сплюнул за борт и, коверкая русский язык, добавил: – Знов работници бедняцки дома пожгли, а в городе у богатых ни одной бомбы не упало.

Маленькие глазки поляка уже не казались сонными и придурковатыми. Они смотрели на остатки домов печально и мягко. Поляк хотел еще что-то сказать, но конвоиры приказали выгружаться.

Виновница событий – бомба – упала между стандартными пятиэтажными домами и глубоко ушла в землю, раскрошив асфальт тротуара. Дома слепо смотрели на улицу провалами выбитых окон. Стеклянная крошка и кирпичная пыль покрывали весь асфальт.

Федор и Леонид копали в первой паре, направляя шурф по разрыхленной бомбой породе. Остальные смертники укрылись за дальним торцом дома. Песчаная почва подавалась легко. На небольшой глубине напарники менялись часто, и шурф углублялся быстро. Леонид скоро выдохся.

– Жми что есть силы, – попросил Федор.

– Зачем торопиться?

– Не хочу пропадать зря! Вдруг она замедленного действия? Опоздай на секунду, и...

Федор кивнул на развалины огромного дома и прыгнул в шурф. Обессиленный, Леонид не сел, а упал на кучу холодного влажного песка.

Прижимаясь щекой к песку, он выругался и простонал:

– Стараешься, землячок, за миску баланды продаешься...

Федор не ответил. Обливаясь потом, он сноровисто и быстро углублял шурф.

Вскоре их сменила новая пара. За торцом дома они присоединились к команде искателей, слушающих инструктаж бригадира.

Показывая большим пальцем через плечо в сторону копающих, бригадир говорил, жестко чеканя слова:

– Пока эти будут искать проклятую бомбу, ищите чего-нибудь пожрать. Кроме жратвы, ничего не брать! Иначе... – Он показал руками, как затянется петля на шее вора, и добавил: – Не жадничать! Есть будем только здесь – в лагерь ни крошки. Если поймают при обыске... – Он повторил красноречивый жест, затягивая невидимую петлю.

На поиски пищи ушли все, кроме Стального Курта. Бригадир ему ничего не сказал.

Смертники осмотрели несколько открытых квартир, нашли немного табака. Табак был плохой. Вернее, это был не табак, а смесь всех табаков, составленная из мелко нарезанных окурков сигар и сигарет. Ломать закрытые двери искатели не стали и вернулись к бригадиру. Закурив самокрутку из найденного табака, бригадир долго кашлял и ругался, проклиная хозяина этой вонючей смеси. Новая пара ушла выкапывать бомбу. Бригадир курил и ругался, остальные курили молча. Курт курить краденый табак не стал. Мармелад, притащивший из комнаты молоток, гнул на бетонной ступеньке подъезда толстую проволоку. Кончив стучать, он подошел к закрытой двери и осторожно вставил загнутый крючком кончик проволоки в замок. Послышался легкий щелчок, и дверь тихо открылась. Мармелад гордо подмигнул и вошел первым. Бригадир одобрительно крякнул. Но и в этой квартире ничего съедобного не нашли, хотя искали даже в платяном шкафу.

Перебирая вещи, висевшие в шкафу, Мармелад бормотал себе под нос:

– Какая тут еда?! Проклятая бедность – заплата на заплате... Если так дальше пойдет, придется менять специальность...

Он сильно потянул на себя большой выдвижной ящик. Ящик подавался неожиданно легко, и Мармелад его не удержал. Аккуратно сложенное детское белье вывалилось на пол. Мармелад чертыхнулся и направился в другую квартиру. Круша деревянными ботинками хрустящие осколки стекла и кусочки осыпавшейся штукатурки, за ним потопали остальные. В открытую дверь потянул сквозняк, посыпал известковой пылью белье. Тонко и жалобно звякнули чудом уцелевшие, отлитые под хрусталь сосульки дешевого абажура.

Федор приотстал, поднял рассыпанные штанишки и рубашки, сунул в шкаф и закрыл дверцы. Сзади хрустнуло раздавленное стекло: в прихожей стоял Леонид и насмешливо смотрел на Федора.

– Что уставился? – хмуро спросил Федор.

– Ты, Федя, заботишься о немчурятах, как о родных...

– Дети все одинаковые...

– Вре...шь, землячок, эти дети – немецкие. Фашистские деточки! Они уже в пеленках орут «хайль Гитлер» и «Сталин капут». Вот они, зверята, целятся в тебя из пистолета...

Леонид ткнул пальцем в крупную фотографию, на которой был изображен во весь рост немецкий солдат и скромно одетая женщина, а перед ними на резной скамье два мальчика с игрушечными пистолетами в руках. Ребятам было лет по пяти. Они улыбались и целились в объектив аппарата.

Гневно шурясь, Леонид мля рукой горло, сведенное судорогой, и хрипел:

– Ихний папаня сейчас пускает на распыл мою и твою семью, а мы тут его бебехи спасаем, бомбы торопимся выкапывать.

– Что ж ты, Леня, не убил этого папаню?

– Ну, знаешь!!

– Ты попал в плен специально? Чтoб с его детьми воевать?

Федор потеснил онемевшего от ярости напарника на лестничную площадку и плотно закрыл дверь.

Еда нашлась в полуразрушенном магазине – ящик маргарина и мешок сахара. Приторный маргарин ели все смертники, кроме Курта, посыпая сахаром и запивая водой, но много съесть не могли. Только поляк-великан прикончил пятисотграммовую пачку маргарина и распечатал вторую. Старый француз, пораженный необычным аппетитом товарища, испуганно округляя глаза, пытался остановить его.

– Камерад боку манже!* Камерад боку манже! – лепетал он, хватая за плечо то поляка, то бригадира, будто бригадир не видел, как поляк тянется за третьим бруском маргарина.

Бригадир дружески похлопал по спине взволнованного француз и мрачно пошутил:

– Польский камрад – симулянт. Он хочет заболеть животом. Понос. Понимаешь? Тогда завтра его не пошлют искать бомбы.

Поляк, словно и вправду желая заболеть, попросил еще одну пачку маргарина. Мармелад засмеялся, смертники улыбнулись. Улыбнулся даже Курт.

То ли могучий организм поляка впитал без остатка весь маргарин и сахар, то ли ему просто повезло, но он не заболел. Ночь он проспал спокойно и даже не слышал бомбежки. А такого бомбового удара никогда прежде не было.

Тяжелые бомбардировщики накрыли авиационные заводы фирмы «Хейнкель», расположенные поблизости от города. По тому, как мелко и непрерывно вызванивали стекла в окнах барака, по тому, как время от времени сильно вздрагивал пол, можно было представить, что творится в районе заводов. Там небо полыхало багровым отсветом пожаров, и непрерывный грохот взрывов глушил все звуки на огромном расстоянии вокруг. Федор проснулся от рвущего душу воя сирены.

На нарах шептались заключенные:

– Тревога... Слышь, как плотно самолеты гудят? Сейчас дадут фрицам прикурить...

* Товарищ много ест.

После первого взрыва шепот смолк. Все напряженно вслушивались в ревущую ночь. Только после того, как особенно сильно тряхнуло барак, кто-то смачно крикнул, сказал, нажимая на «о»:

– Отливаются кошке мышьи слезки.

А когда затих грохот бомбежки и рокот улетающих самолетов, Федор услышал звуки, похожие на приглушенный собачий лай. Бесшумно приподнявшись на нарах, он увидел возле окна в отблесках далеких пожаров Курта. Восемнадцатый номер в лагере, где из первой тысячи осталось два человека, известный нестигаемой волей и бесстрашием Стальной Курт смотрел в окно и давился слезами.

Кто-то из русских разочарованно шепнул:

– Плачет... а болтали, что он коммунист. Значит, своих все равно жалко.

В темноте послышался глухой удар. Шептавший вскрикнул, а оказавший голос сказал:

– Дурак ты, Вася, потому он и плачет, что коммунист.

Утром на плацу, нарушая обычный порядок вывода рабочих команд, первыми выкликнули номера вчерашних искателей бомб. Команды смертников в том же составе покинули лагерь, но было их вполувину меньше. Вторая половина подорвалась вчера. На плацу эсэсовцы в бешеном темпе отбирали новых искателей бомб, новых смертников, прямо из рабочих команд.

В этот день машина с командой, в которой находились Федор и Леонид, двигалась в сплошном дыму, словно слепая, упираясь в бесчисленные завалы, отыскивая объезды огромных воронок. Федор, дремавший вчера всю дорогу, сегодня был возбужден и энергичен. Вытирая слезящиеся от едкого дыма глаза, беззвучно шевелил губами провалившегося рта, а однажды шепеляво похвалил:

– Постарались наши ребятки, постарались, милые...

Мармелад, подавленный страшной картиной разрушений, молчал. Услыхав приказ выгружаться, он проворчал:

– Здесь поживы не жди... здесь и законной баланды не получишь.

Старик француз и поляк-великан кивнули, соглашаясь: какой черт будет искать их, чтобы плеснуть пол-литра баланды?

Предсказания Мармелада сбылись полностью: невзорвавшаяся крупная бомба упала в центре большого цеха. Кроме авиационных моторов, здесь ничего не было.

Первыми копали Стальной Курт и поляк-гигант. Курт работал быстро, но сил у него было мало. Поляк играючи ворочал многопудовые обломки бетонного пола, расчищая место входа бомбы.

Курт иногда мешал ему, и он добродушно гудел:

– Помалу, помалу, пан, вшистка едно капут нам...

Курт виновато улыбался, будто был лично виновен в неминуемой гибели поляка, и повторял:

– Капут... капут...

А в примитивном бомбоубежище плелись свои невеселые разговоры. Искатели бомб, осмотрев грунт в ближайших воронках от взрыва, единодушно решили, что работа предстоит очень тяжелая.

– Это не вчерашний песок, – горевал Леонид, – тут до второго пришествия будешь горбить – сплошная галька.

– Хватит болтать! – рявкнул бригадир. – Два русских на смену!

Они подошли к устью будущего колодца под аккомпанемент глухих ударов металла о камень: поляк долбил ломом слежавшуюся за века гальку. Крупное лицо его блестело от пота, на висках от напряжения вздулись вены. Он не торопился вылезать из неглубокой ямы, стараясь углубить тот угол, где порода была помягче. Федор протянул руку, чтобы помочь поляку подняться на бетонный пол, и в этот миг лом звякнул, ударившись о металл.

– Есть! – враз выдохнули смертники.

Федор потянул поляка за руку и прыгнул на его место. Стоя на коленях, он осторожно и быстро убирал голыми руками гальку в том углу, где торчал лом. Поляк сидел на бетонной глыбе и вытирал широкой ладонью пот с лица. Его полосатая арестантская куртка была мокра насквозь. Даже белая тряпица с номером, пришитая против сердца, потемнела от пота. Рядом сутулился Стальной Курт.

Побледневший Леонид отбрасывал от устья шурфа небольшие куски бетона, хотя это было совсем не нужно, и быстро-быстро говорил:

– Нашлась! Слава богу, нашлась! Пусть увозят! Пусть поскорее увозят.

А в яме ожесточенно сопел Федор. Срывая с пальцев ногти, он выковыривал гальку. В углу, где прежде торчал лом, показалась головка бомбы, окрашенная в желтый цвет. Судя по положению головки, можно было догадаться, что бомба, пробив бетон, встретила спрессованную гальку и, развернувшись горизонтально, застряла в полуметре от пола.

Федор погладил нахолодевший в земле металл, прошамкал чуть слышно:

– Здравствуй... Дождался... – Он встал и, держа лом как пику, сказал, словно приказывая: – Надо ее спрятать, она замедленная, а тут ей работы... – И показал рукой на авиамоторы, заполняющие цех.

Курт тронул поляка за плечо:

– Не понимай...

Поляк ткнул пальцем в яму, сказал, приглушая голос:

– Бомба тик-так, тик-так, тик-так. Секунда тик-так, минута тик-так... бабах. Алес моторен капут. Разумешь?

Федор неотрывно смотрел из ямы, стараясь поймать взгляд Курта. Худое, резкой чеканки лицо старого заключенного будто окаменело.

Он встретил взгляд Федора и сказал тихо, но твердо:

– Гут.

Федор потянул на себя самую крупную глыбу бетона. Поляк ухватил эту глыбу с другой стороны. Курт нагнулся рядом с ним, подпирая бетонную громадину плечом. Леонид продолжал отбрасывать мелкие обломки от устья.

– Помогай, Леня! – натужно выдохнул Федор. – Помогай! Мы им устроим свадьбу с музыкой.

Леонид заметался по неровному краю ямы, зачастил скороговоркой:

– Зачем? Зачем?! Надо сказать... взорвемся мы. Тут не фронт...

– А что тут, паскуда? – Федор схватил лом. – Убью!

Вчетвером они прикрыли неподъемной глыбой бетона головку бомбы.

Поляк прогудел:

– Добже.

Курт подтвердил:

– Гут.

Они бегом бросились к убежищу. А Федор торопливо расширял яму в стороне от бетонной плиты, прикрывшей бомбу. Он работал так же старательно и напористо, как и вчера, но в каждом движении длинного костистого тела чувствовался веселый и злой азарт.

Вылезая из ямы, он подмигнул напарнику и сказал:

– Теперь и умереть не страшно...

Леонид топтался на краю шурфа. У него дрожали руки и ноги. Он отводил глаза, говорил, как в бреду:

– Я... я не могу... Давай скажем... И все... и конец...

– Ты ж человек, Леня!

Леонид заплакал.

Федор толкнул его кулаком в грудь:

– Быстрее в яму!

Леонид сполз в яму, взял лом.

– Копать будешь до смены. Если вякнешь бригадиру, придушу.

Леонид работал лихорадочно быстро. Колодец, смещенный в сторону от бомбы, заметно углубился. Ярко-рыжая голова Леонида была теперь почти на уровне пола. Полосатую бескозырку и куртку он сбросил и работал по пояс голый. Зная со слов Федора, что работу часового механизма услышать нельзя, он все равно все время прислушивался. Ему казалось, что он слышит из-под бетонной плиты: тик-так, тик-так.

На мгновение поймав пристальный взгляд Федора, попросил:

– Не смотри так, я не продам... Я боюсь... я просто боюсь...

В бомбоубежище Федор сидел рядом с напарником. Уходили и приходили пары, докладывали, что грунт такой же твердый, что колодец углубляется очень медленно.

Старый француз сказал бригадиру, что грунт совершенно не разрыхлен бомбой, что она прошла где-то в стороне. Бригадир выругался и велел углублять шурф. Приближалась очередь русских. Леонид сидел, закрыв глаза. Он часто, прерывисто дышал. На тонкой шее судорожно двигался большой кадык, лицо покрылось красными пятнами.

– Двое русских... – начал бригадир и не закончил.

Пронзительный вой сирены оборвал его на полуслове.

– Тревога! – крикнул Мармелад с порога убежища. – Опять летят.

Где-то далеко ударили зенитки. Послышался гул самолетов. В убежище ввалился поляк. Он поддерживал задыхающегося от бега Курта. Поляк что-то сказал, но бомбовый удар заглушил его слова. Убежище дрогнуло, сверху посыпалась земля: американские «летающие крепости» опять бомбили жилые массивы городских окраин. В районе авиазаводов не упало ни одной бомбы, но в страшном грохоте никто не слышал, когда взорвалась бомба в цехе моторов. После команды бригадира «Двое русских на смену!» Федор и Леонид пошли к выходу. Явно замедляя шаг, Леонид первым поднялся по лестнице. Его пошатывало от волнения. Так идут к виселице обреченные на смертную казнь.

Вдруг он закричал что-то тонким ликующим голосом и перепрыгнул через последнюю ступеньку. На месте цеха моторов торчали изогнутые детали железных конструкций и половина кирпичной стены. Федор почувствовал, как огромная ладонь поляка сжала ему плечо. Рядом, истерически всхлипывая, рыдал Леонид. Поляк сочувственно покивал головой, указав глазами на Леонида. Леонид комкал в руке полосатую бескозырку, закрывая ею мокрое от слез лицо.

Вместо ярко-рыжих волос Федор увидел на его голове кипенно-белую седину.

(Огни Кузбасса. 1978. № 3)

Вера Лаврушкина

«...ТРУДНЫЙ ПУТЬ, ОПАСНЫЙ, КАК ВОЕННАЯ ТРОПА»

Владимир Аскольдович Власов среди кузбасских писателей XX столетия занимает уникальное место. Герои его рассказов и повестей – реальные люди, которые еще при жизни могли прочесть о своих нелегких геологических буднях, могли и покритиковать автора, если считали, что описываемое не соответствует действительности. Владимир Власов достойно выдержал этот экзамен. И его современники, и нынеш-

ние участники геологических экспедиций зачитываются книгами «о себе». Власов пишет о мужестве людей, которые жили полнокровной, часто на пределе, жизнью. И в этой непридуманной жизненности кроется одна из тайн обаяния и вечного, неубывающего интереса разных поколений читателей к его произведениям.

В конце 1960-х годов нужда в железных рудах была велика: все-таки два металлургических гиганта работали в Новокузнецке, которые давали более десяти процентов общесоюзного производства стали. Им нужно было море руды. Значительную часть ее приходилось возить за две тысячи километров. Чугун золотым становился. А тут, в восьмидесяти километрах, если брать по прямой, на небольшой глубине – залежи пригодной руды. Именно Власов привел сюда сто двадцать человек, чтобы организовать на пустом месте геолого-разведочную партию. Перед высадкой столь мощного десанта состоялся вылет на местность.

Все понимали, в какой ад суют Власова. Да он и сам это знал. Ни дорог, ни тропинок, вокруг на полсотни верст ни единой души. С ним прилетят сюда отборные кадры (кроме геологов) – сплошь бомжи. Зато зверья вокруг! На одном километре пути Власов насчитал восемь медвежьих берлог! Все снабжение только по воздуху. И это при том, что место голое, как лысина древнего старца: ни избушки, ни сторожки... Его несколько раз хотели зарезать. Не по злобе, а по пьянке, что, должно быть, в корне меняет ситуацию. В него стреляли, и жив он остался только потому, что одна женщина ударила снизу по стволу ружья. И все с пьяных глаз. Дело в том, что начальник такой глухотанной партии в одном лице – и начальник милиции, и следователь, и председатель поселкового комитета, и много кто еще. Тяжкая доля. Когда его спросили: «Как же ты, Володя, живешь среди таких людей?» – он опустил грустные глаза, повременил с ответом: «Они ведь такие же человеки, как мы. Общество их сделало такими. Что же теперь от них брезгливо отворачиваться?» И больше – ни слова на эту тему.

Большинство рассказов и повестей Владимира Власова создавалось в часы, отнятые у отдыха после длинного и беспокойного рабочего дня. «Писание – это дело очень трудное. Вытягиваю на упрямыстве, – говорил он, – хочу, чтобы друзья мои, труженики и первопроходцы – жили

и не умирали. Я любил их, преданных своему делу, бескорыстных, смелых, честных до смешного. Любил со всеми достоинствами и недостатками... Они были хорошие ребята. Я счастлив тем, что мало знал бюрократов, чинуш и прочих деятелей, протирающих штаны с таким видом, словно они соль земли».

В геологическом послужном списке Владимира Аскольдовича был Урал, Западная Сибирь с Кузнецким Алатау, Абаканским хребтом, Горным Алтаем... Эти малодоступные горные хребты с островерхими пихтами и кедрами, ледники и водопады, срывающиеся из поднебесья в крошечный ад хаоса камней и тайги, – все это не может оставить равнодушным человека, умеющего видеть и слышать.

С 1967 года рассказы геолога Владимира Власова регулярно публиковались в альманахе «Огни Кузбасса», а в 1972 году в Кемеровском книжном издательстве вышла первая книга повестей и рассказов «Завтра связи не будет». Читатель XXI века сможет о многом узнать из замечательных произведений Владимира Власова 1960–1980-х годов: повести «Кара-Тайга» (1975), рассказов «Отряд идет на Каным. Из дневника геолога» (1967), «Тузик» (1968), «Метелица» (1980), «Мерзавец» (1976) и др. Узнать о трудной работе геологов, буровиков, об их верных помощниках-животных (собаках, лошадях), которые помогают изыскателям в их нелегкой жизни в тайге.

В повести «Кара-Тайга» рассказывается о том, как геологическая партия ведет изыскательские работы. Бездорожье, суровый таежный климат, нехватка кадров осложняют работу партии. Начальник Голубев и открывший месторождение титано-магнетитовых руд главный инженер Саблин ломают планы, спущенные сверху, сплывают коллектив и добиваются победы.

В 1977 году Владимир Власов стал членом Союза писателей СССР. В 1979 году вышла третья книга прозы «Техник Валька, Мерзавец и другие». В основу книги легли будни геологов, которые были хорошо знакомы писателю, отдавшему большую часть жизни труду геолога-изыскателя. Незаметный подвиг труда и любви этих людей стал одной из главных тем его произведений. Люди, знавшие Владимира Власова, поражались, какое количество историй увлекательно и часами мог

он рассказывать. Этот факт подтверждает, что автор предстает перед нами неисчерпаемым кладезем житейских историй и мудрости.

Судьба Владимира Власова карала так жестоко, словно самого что ни на есть закоренелого рецидивиста. Где он взял силы, чтобы все это вынести? Да и вынес ли? Кто знает, сколько бы он прожил, не попади под эти жернова? В 1942 году его призвали в армию и послали на фронт. Необстрелянные еще юнцы должны были пополнить какую-то войсковую часть, изрядно потрепанную в оборонительных боях. Расквартировали в большом украинском селе, чтобы утром выдать оружие и – на передовую! В результате неожиданной ночной атаки село попало в руки врага. Мальчишек взяли сонными. Так Володя Власов попал в плен. И началось для семнадцатилетнего Власова хождение по кругам фашистского ада: концлагеря Ростова, Таганрога, Бахольта, Кельна. В Кельне – рабочая команда завода, неудачный побег. Потом тюрьмы Ахена, Дюссельдорфа, Ганновера и, наконец, печально знаменитый концлагерь Заксенхаузен под Берлином.

Два года провел Владимир Власов в Заксенхаузене, где гитлеровцы испытывали новинки по истязанию и умерщвлению людей. Через жуткие муки ему пришлось пройти. Он все это описал в первой своей книге «Завтра связи не будет», в рассказах «Комиссары», «Юп», «Обыкновенная история» и др. Безыскусность сюжетов, сдержанность и даже скупость прямых авторских эмоций и вместе с тем пронзительная достоверность деталей безошибочно свидетельствуют о том, что автор брал свой суровый материал не из вторых рук. О героизме и мужестве, товариществе и братстве узников фашистских концлагерей рассказы Владимира Власова «Один за всех» (1972), «Замкнутый круг» (1977), «Искатели бомб» (1978), «Должен умереть» (1980) и др.

Недостатка в жизненных наблюдениях, за которыми иные авторы ездят в творческие командировки, у Владимира Аскольдовича не было. Острая наблюдательность, талант устного рассказчика, умение двумя-тремя штрихами подчеркнуть в человеке самое характерное отличают его произведения. Все творчество Власова пронизано верой в добрые качества человека, оптимизмом, добрым юмором. Владимир

Власов прожил удивительную, наполненную необыкновенными событиями жизнь. Ему, конечно же, не хватило времени. У людей увлеченных и жизнелюбивых его всегда почему-то слишком мало.

Прошло уже двадцать лет, как нет с нами писателя и яркого человека. С тех пор в стране нашей произошло много событий... Но те, кто сильнее сегодняшнего обездушивания, у кого теплится внутри огонек романтика и путешественника, те всегда будут читать книги замечательного геолога и талантливого писателя. Книги о настоящих людях, о благородстве, целеустремленности, дружбе, взаимовыручке, книги о неприступных скалах и непроходимой тайге.

Вера Лаврушкина

БИОГРАФИЯ ВЛАДИМИРА ВЛАСОВА

Владимир Аскольдович Власов родился 7 июля 1924 года в городе Шахты Ростовской области. Еще школьником работал в качестве горного рабочего в геологической партии. После окончания десятилетки в 1942 году ушел добровольцем на фронт. Вместе со своей частью попал в окружение и оказался в плену у немцев. Пережил все ужасы фашистских лагерей. Являлся узником концлагеря Заксенхаузен под Берлином. Несколько раз бежал, но был пойман.

В начале 1945 года, когда уже была слышна советская артиллерия, оставшихся в живых каторжников построили в колонны по тысяче и погнали в порт Любек, чтобы там погрузить на баржи и вместе с баржами утопить в море. Марш смертников длился десять дней. Слыша близкую канонаду, узники сделали последнее отчаянное усилие, перебили охрану и пошли навстречу канонаде. Весной 1945 года Владимира Власова вместе с другими военнопленными освободили наступающие советские войска. Закончил войну он в рядах Красной армии, служил до 1947 года.

Демобилизовавшись, вернулся в город Шахты, работал в Шахтинской углеразведке. В 1951 году окончил Новочеркасский геолого-разведочный техникум и уехал работать в геолого-разведочных партиях

Кузбасса и Алтая. В. А. Власов оказался виновным в том, что попал в плен. И потому отвечал за это свое преступление едва ли не всю оставшуюся жизнь. И в институт его не приняли.

Работал техником-геологом, руководил поисками железной руды в Кузнецком Алатау, бокситов на Алтае, титано-магнетитовых руд в Абаканском хребте, фосфоритов на горе Белка. Был начальником Колзасской, Кечинской, Байдаевской, Терсинской геолого-разведочных партий.

Тесная дружба связывала Владимира Власова с писателем Владимиром Михайловичем Мазаевым, который часто приезжал к нему в партии, иногда оставался там надолго, работая вместе с геологами. Власов стал прототипом одного из героев повести Мазаева «Мы всегда виноваты перед погибшими».

Владимир Аскольдович рассказывал другу про нелегкие геологические будни, про пережитое в плену и многое другое. Мазаев уговорил его записывать все то, что рассказывал. И Власов стал писать. В 1970-х годах Кемеровское книжное издательство выпустило три книги повестей и рассказов Владимира Власова: «Завтра связи не будет» (1972), «Кара-Тайга» (1975), «Техник Валька, Мерзавец и другие» (1979).

В 1977 году Владимира Власова приняли в члены Союза писателей СССР. В 1960–1980-х годах его рассказы «Замкнутый круг», «Тузик», «Обыкновенная история», «Мерзавец» и другие печатались в альманахе «Огни Кузбасса».

Владимир Аскольдович вместе с женой Зинаидой воспитали дочь и сына; сын Сергей продолжил семейную традицию, руководил геологией в Абакане, умер в 2010 году. Владимир Аскольдович Власов ушел из жизни 31 октября 2002 года, последние годы жил в Дагестане.

Журналист, поэт Михаил Фадеевич Беркович, встречавшийся с В. А. Власовым в 1970–1980-х годах в Новокузнецке, посвятил прозаiku стихотворение «Памяти Владимира Власова»:

Бился ветер о скалы с разбега,
И ни вешки вокруг, ни столба.
Под навалом лежалого снега
Просыпалась для жизни изба.

Если ночка длинна – день не долог.
Солнца малость досталось делам.
Поднимись до рассвета, геолог,
И ступай по горам, по долам.

Разломи не буханку – галету,
Козьей ножки скрути бигуди,
В благодарность короткому лету
Жилу кварца в распадке найди.

Над собранием речек и стариц
Брызнет солнце, коль тучи слабы.
Зимний снег над избою растает,
Вновь появятся вешки, столбы.

Ты за что-то любил эти горы,
Междугорья, их глины, пески.
Хоть от них ничего, кроме горя
Да твоей одинокой тоски.

Память Владимира Аскольдовича Власова увековечена на электронном энциклопедическом ресурсе «Литературная карта Кузбасса»: <http://old.kemrsl.ru/litmap/127>, <https://litmap.kemrsl.ru/person/127>; в музее «Дорога Памяти» при храме Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил России: <https://1418museum.ru/heroes/15546775>.

Книги Владимира Аскольдовича Власова:

Завтра связи не будет : рассказы / предисл. В. Мазаева. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1972. – 92 с. : фото.

Кара-Тайга : повесть / послесл. Л. В. Глебова. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1975. – 311 с. : ил.

Техник Валька, Мерзавец и другие : повесть, рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1979. – 144 с.

Кара-Тайга : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1981. – 236 с. – Переиздание. – (Современная сибирская повесть).



Екатерина Владимировна Дубро

19 октября 1947 г., пос. Тяжинский, Кемеровская обл. – 1 апреля 2008 г.,
Юрга.

Прозаик, поэт. Член Союза писателей СССР с 1985 года.

Почетный гражданин города Юрги (2002).

МОРЯК

И снова хозяин побил его – жестоко, больно, носком сапога по ребрам. А за что, Моряк так и не понял. Правда, он пробрался почти к самой кухне и там лег, хотя ему и в коридоре-то не всегда разрешалось. Но за дверью на вытертом половике так холодно, а он стар, ему хочется подремать в тепле. Еще больше обидел хозяйский младший сын: наступил на хвост и Моряка же за это пнул. И Моряк, не помня себя, ткнул мальчика за ногу. Не так чтобы сильно, но тот испугался и заревел. Ну, ясно, что тут сразу поднялось!

Моряк лежал на лестничной площадке и поскуливал. Сквозняк все плотнее поджимал его хвост, все теснее сворачивал в клубок большое тело, но грязная шерсть уже не грела, он никак не мог уснуть. Лежал и думал.

Хозяин – ладно, но вот дети. Чего только им, маленьким, не позволял с собою делать, любые неловкости сносил. Дети выросли, в школу ходят и забыли, наверно, как много он для них когда-то значил. Конечно, надо было и сегодня стерпеть, совестно Моряку, да разве виноват он, что болен и стар, и нервы поистрепались, и устал уже унижаться? Нет обиды горше, чем обида, нанесенная любимым существом.

Припомнилось, как несколько раз отдавали его куда-то, а он возвращался, обрывая веревки. Потом дети вешали его. Не эти, младшие, а старший со своими друзьями. На чердаке. Хорошо, оборвался. Моряк тогда даже и не понял, что это всерьез. Такое подлое коварство никак не укладывалось в его собачьем сознании: он любил людей и верил им.

Есть, конечно, и светлые воспоминания. Немало кошек погонял в свое время, немало побед одержал в жарких схватках с соперниками. И вот, ничего больше не хочется – лишь бы сытно поесть и отоспаться в тепле. Можно попробовать поцарапаться к соседям, они подумают, что люди, и откроют, а уж тогда не зевай. В квартире напротив живет забавная женщина, он всегда в восторге, увидев ее. Правда, она находит его морду бандитской, зато кормит отменно и к себе пускает. За второй дверью он тоже частенько гостит, а если говорят: «Ну, Моряк,

поел и иди», он скорее в другую комнату: оттуда-то его не попросят, там... кто? Она почему-то всегда в постели. И почему-то к ней Моряк, к стеснению не приученный, входит всегда робко и осторожно – уж так получается. Есть там кот противный, но его ехидный шип Моряк не удостаивает вниманием.

Еще – собачонка молоденькая. О, это, пожалуй, последнее светлое воспоминание. Как она, рыженькая, однажды, когда он дрался с черным псом, вцепилась тому в хвост! Да, красивая собачонка, но – Моряк вздохнул – ветреная, пустая. Голосишко звонкий, верть-верть, не поспеть ему в лапу с ее интересами. И он гордо затворился в себе: р-р-р, не подходи, презираю тебя. Ей-то что, живет в тепле и даже на диване спит.

Моряк тяжело встал, поскреб по очереди в обе двери лапой, прислушался, свесив правое ухо, и поплелся вниз.

Он и не понял, откуда на улице выскочило это ужасное, тархтящее, оно смяло его, раздавило, он взвыл от ослепительной, невозможной боли.

Потом лежал в углу подвала. Поначалу хозяйка заходила, а после перестала.

Если бы он умел говорить, то и тогда бы не смог рассказать, как мучительно страдал. Целый кошмарный месяц провалялся он в затхлой темноте, зализывая перебитые лапы, но раны не заживали (кабы лето, да травки целебной!), на боках появились пролежни.

Хозяйские соседи каждый день спускались с фонариком, приносили поесть, разговаривали с ним. Но как старое сердце пса начинало радостно биться при звуке родных детских голосов на улице, ах, как рвалось оно к ним, как задыхалось, как надеялось! Но они не чувствовали этого, они проходили мимо. Вот если бы они увидели его глаза...

Моряк теперь хотел только одного: умереть. Он не знал, что та женщина, которая кормит его пирогами, взяв деньги, поехала в ветлечебницу, а вернулась в слезах, потому что и там никому не было дела, что где-то гниет заживо и не может умереть пес. А он уже жутко был по ночам.

И вот однажды он услышал знакомые шаги, знакомый запах. Сердце затолкалось в груди горячо и сильно: наконец-то! Как счастлив он! Он даже попробовал шевельнуть омертвелым хвостом в знак великой благодарности своей, он взвизгнул от нетерпения...

Хозяин убил его какой-то железякой. Убил не сразу, в темноте-то. И пошел ужинать.

(«Медленные часы», 1976)

КТО-ТО С МОЛОТОЧКОМ

В доме № 3 переулка Пестрого стали происходить невероятные события. То есть не то чтобы из ряда вон, но весьма-таки странные. И если поначалу жаловался лишь бухгалтер Неловодов, проживающий в первой квартире, то вскоре заговорили и другие, причем уже коллективно. И все с особым сожалением вспоминали о милиционере Миронкине, съехавшем на новую квартиру, даже выпивоха Колокольчиков, который совсем недавно так радовался этому обстоятельству.

Но прежде, впрочем, о самом доме № 3 переулка Пестрого. Если бы располагался он на центральной улице, его, пожалуй, переоборудовали бы в какое-нибудь учреждение небольшое либо надстроили, поскольку был он двухэтажный и старенький, с четырьмя деревянными еще, скрипучими лестничками: по две на подъезд.

Люди же тут жили, как и водится, самых разных национальностей, и не столько в смысле принадлежности к тому или иному племени, имеющему свой язык и свои внешние приметы, сколько – как бы точнее выразиться? – разномысленности. Тоже, кстати, вполне естественная ситуация в коммунальном доме.

Итак, о событиях. Вот они-то и сблизили жильцов. Собственно, событий как таковых не было – просто кто-то будил по ночам стуком в двери. И даже не кто-то, а – никто, потому что за дверью обычно никого не оказывалось. Да и кому, спрашивается, нужно глухими метель-

ными ночами заниматься этакой-то бессмыслицей? Если даже в самом деле шутит кто-то, нервочки расшатывает людям, в невидимости оставаясь, то все равно же наконец ему надоело бы, а тут – не надоедало.

Может быть, казалось? Чудилось? Слуховые галлюцинации на почве нервного переутомления или чего-нибудь другого? Так и думали вначале, даже некоторые тайком в поликлинике побывали на приеме у врача-психиатра – в психике никаких патологических изменений обнаружено не было.

Изменений, стало быть, нет, а стук продолжается! Долго этому и так не придавали значения, даже совестились признаваться, что бегают по ночам вопрошать грозно «кто там?» да прикладываясь ухом к двери, пока нервный главбух стройтреста Неловодов не выдержал и первый не заявил о хитроумном хулиганстве домкому Полине Викторовне.

А Полина Викторовна сама спала крепко, поэтому даже и коллективные потом жалобы на этот предмет казались ей выдумками весьма сомнительного свойства. Да и что она могла? Лампочки же в подъездах все вкручены, мало того – двери отныне запирались на ночь, то есть двери в общие коридоры: дом-то старого образца, с выходом нескольких квартир в общий коридор. Так стучали, говорят, не в коридорную дверь, а именно в квартирную, причем слышал это лишь хозяин, соседи же – нет.

Словом, нормальное течение жизни внезапно напоролось на некие подводные рифы и завихрилось, закрутилось над ними, в центробежной силе своей раздирая сомнениями людские умы. Возводились самые разнообразные догадки – от мыслимого до немислимого, чтобы, впрочем, тут же развалить их и отместить, очистив место для новых построек. Кстати, первое возведение принадлежало самому настоящему строителю – каменщице Нашлепкиной. Она рассказала, что в старину, да и не совсем в старину, плотники, ежели хозяин не угодит им, дом рубили с секретом: под угол банку со ртутью закапывали или что-нибудь в этом роде – и тогда при любом ветерке жуткие звуки наполняли дом.

– А, я знаю! – подхватился долговязый Колокольчиков. – Еще нарисуют в шутку на оконном стекле веревку и человечка, а мужу потом кажется, что это любовник бабин из окна по веревке спускается!

Полина Викторовна, у которой толпилось это стихийно возникшее собрание, сдержанно улыбнулась и объяснила товарищам неприемлемость данного предположения, поскольку за все многолетие этого дома ничего подобного до сих пор не наблюдалось, ни при каких ветрах. Полина Викторовна обеспокоенно думала, что жильцов ее охватил массовый психоз и как бы им всем не очутиться в желтом доме. Полина Викторовна обеспокоенно думала о причинах. Может быть, вирус какой, не раскрытый еще наукой? Может быть, злокозненные происки реакции? А что? Учинили эксперимент, и сперва на таком не приметном, скромном объекте. Ведь – подумать только! – даже шепотной Колокольчиков временно, пока идет дознание и необходима сконцентрированность мозговых усилий, перестал закладывать за галстук. Разумеется, в таком деле нужна абсолютная трезвость, а то мало ли что с человеком в пьяном состоянии может произойти? Еще и себя не обнаружишь однажды.

Ну, а Неловодов – нервный, как уже упоминалось, – побежал в домоуправление просить зарешетить железно его окна: нижний этаж всегда подвергается большей опасности. В решетках ему отказали за их неимением с давних пор, и тогда Неловодов пошел в пятую квартиру.

Проживал там некий Эцдрес Сергей Борисович, молодой человек тридцати лет. Проживал недавно, и поэтому знали о нем мало: ходит к нему красивая девушка в белой шубке, а сам он почти и не отлучается, все чего-то пишет в уединении. Книг, говорили, там множество, вот и отправился Неловодов узнать, нет ли также Уголовного кодекса. Ну, мало ли зачем, правда ведь? Однако такой книги у Сергея Борисовича не оказалось. Зато они поговорили, уж так получилось – просто устал Неловодов, замученный вконец бессонницей и дурными мыслями, а Сергей Борисович, считай, новый человек, свежий, притом ни с кем вроде бы из соседей не дружит особенно – ценное, кстати, качество: все пересудов меньше.

Да, было еще одно обстоятельство, почему пришлось Неловодову неоднократно подниматься к Эцдресу: цветы, коих в горшочках в той квартире росло тоже множество. Опять же говорили, ухаживала за

ними та девушка в белой шубке и натаскала их сюда тоже она. Ну, а жена главбуха, страстная цветоводка, после и откомандировала – сама стесняясь – мужа спросить и попросить, если есть, цветок с записанным на бумажке названием. Сергей Борисович великодушно, с удовольствием даже, не желая и слышать о деньгах, презентовал соседям горшочек, предупредив, что вот-вот растение должно зацвести. А оно вдруг вянуть начало, совсем повяло, и горшок в спешном порядке вернули хозяину. Сергей Борисович вздернул в удивлении брови, улыбнулся почему-то легонько, а через два дня, встретившись у подъезда с Неловодовым, сообщил, что возвращенный цветок не только ожил, но и распустил свои бутоны, пригласил самолично убедиться. Тот убедился и пожал плечами, не удивившись особенно-то, поскольку и без того удивлений хватало.

Уф! Как там приговаривается: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается? А тут, кажется, и сказка не скоро сказывается, и дела никакого не делается, но тут ведь не сказка, а вообще невесть что, и продвигаться приходится очень осторожно, в полных потемках, стараясь ни малейшей детали не упустить.

Значит, так: Сергей Борисович заинтересовался наконец таинственными стуками, потому что вдруг и непосредственно его сосед – стенка в стенку – проговорился, посмеиваясь неловко: «А вы, Сергей Борисович, не сподобились сегодня ночью что-либо этакое услышать? В три часа, например?»

– Я не спал в это время, – ответил тот. – Было тихо.

Н-да, уж если железобетонному Дудкину не спится, то что же это?

– Кто-то стучит, говорите? – переспросил Эцдрес Неловодов. – Да не может быть.

– Истинная правда, гражданин сосед!

– И все-таки: не может быть.

– Да почему вы мне не верите? – заобижался Неловодов, и не столько самими словами недоверия, сколько его проявлением: Сергей Борисович будто бы даже едва скрывал свое ликование, едва-едва руки не потирает незнамо отчего.

– А разве вы счастливый человек? – ошарашил снова.

– Да при чем тут это? Но – да, я человек счастливый.

– Сейчас я вам все объясню. Кажется, я начинаю понимать! Ведь будят и Лапшиных, и Колокольчикова, и вас, и... Здесь есть закономерность, видимо, а значит...

И он взволнованно заходил взад-вперед, раскидывая тощими длинными ногами полы старенького, затертого халата из толстой полосатой ткани, а Неловодов вертелся на стуле, как флюгер, по ходу движения Сергея Борисовича.

– Ах да! – вспомнил тот о его присутствии. – Ну, так. Вы, конечно, знаете произведения писателя Антона Павловича Чехова?

– Мм... «Толстый и тонкий», «Человек в футляре»? Проходили в школе.

– Так вот, у него есть такие слова. – Сергей Борисович выхватил с полки синий томик, полистал и стал с выражением зачитывать: – «За дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные и что после не продолжительного счастья непременно наступит несчастье». Вы теперь понимаете?!

– Ничего не понимаю, – честно признался Неловодов, приподнимаясь.

– А значит, он есть! – с восторгом сказал Сергей Борисович.

– Кто – он? – попятился Неловодов.

– Да вот этот «кто-нибудь с молоточком»!

– Чушь, вы зачитались. – Неловодов спиной уже протискивался в дверь. – Ах, мне пора, – приговаривал, – извините, – но, упятившись, вдруг обратно просунул голову: – И все же: почему ко мне он не может прийти?

– Кто – он?

– Ну, этот, – замялся Неловодов. – С молотком. Вы сказали вначале...

– Да потому что вы – несчастный. Вы только довольный собою и жизнью человек, а счастье живет по-другому.

Сначала Неловодов, уловив слово «несчастный» и мгновенно соотнес его с нынешним своим денно-нощным беспокойством, растрогался было таким чутким к себе пониманием, но уже на лестнице снова

оскорбился, даже и не осознав пока чем. Одно ясно: сам он несчастный, этот зачитавшийся молодой человек в затрепанном халате.

Ну, а молодого человека увлекла собственная фантазия, то есть так она ему понравилась, догадка о всамделишном существовании задверного бессонного стража, что он почти готов был в это поверить. Даже писание свое серьезное отодвинул «на пока» в сторонку! Впрочем, писал-то он тоже о великом фантазере, о человеке, который, как упрямый ребенок, строил свой добрый и заманчивый мир, открытый лишь окрыленным и смелым, а фантазия вовсе не уводила от жизни реальной – она помогала в этой реальности выжить.

Сергею Борисовичу хотелось защитить того человека с неулыбчивыми глазами, но было поздно. Его уже защищали – теперь-то, когда уже поздно! – а все равно Сергею Борисовичу хотелось самому.

Так он сидел за своим столом, задумавшись обо всем вперемешку, вот уже стемнело, и когда первая вечерняя звезда проколола синее небо в форточке, явилась в белой шубке девушка с холодным, но красивым именем Инга. Первым делом она, как обычно, разделась, разложила пакеты на обеденном столе и разогрела на плитке все, что принесла с собою, чтобы Сергей Борисович не умер с голода, пока пишет. А он сегодня лентяйничал!

Инга внимательнейшим образом, как умела только она одна, выслушала его, потом сказала:

– Сколько людей, столько и счастья, у каждого по-своему, ты же знаешь, Сережа. Даже – что одному радость, то другому, бывает, горе, поэтому не спорь особенно с этим Неловодовым. Твой «кто-то» не ошибся.

– Тогда Чехова нужно все-таки дополнить в этой фразе или даже коррективы внести: вместо «счастливого человека» поставить «довольного собою», «успокоенного», – настаивал Сергей Борисович.

– Никаких изменений, все там правильно.

– Да, а я тебе говорил, что наш цветок завял у Неловодова?

– Вот поэтому и будят именно их.

Долго они еще будут разговаривать, весь вечер, а потом Сергей Борисович пойдет провожать Ингу, и в коридоре она погладит на про-

щанье ничейного кота Дрёмку, выложит у батареи ужин на газетке, и Дрёмка лизнет ей, как обычно, руку. Иногда она забирает его, когда идет в пятую, иногда еще кто-нибудь зазывает к себе в гости. Есть и такие, кто не зазывает, но к ним он и сам не пошел бы.

А в доме тихо-тихо, лишь в двойные рамы бьются последние зимние, потому и особенно шальные ветра, от которых всю ночь заботливо, чтобы не загасило, прячут фонари в алюминиевых ладонях свои огни, совсем как папироски – мужчины.

Но так ли уж тихо в доме? И чьих кроватей там испуганно вскрипывают, чтобы тотчас настороженно смолкнуть, пружины? А если бы еще озвучить мысли, на сколько бы голосов заговорили вдруг притаившиеся в тишине квартиры?

Уже которую ночь просыпался Дудкин, чтобы так и промаяться до утра бессонно. Это было такой ненормальностью, такой нелепицей, что просто зла не хватало. Если бы он был совсем «того», он, может быть, и попросил у Эцдреса книжку, но куда же годится – коротать время за книжкой, когда спать положено!

Но – и ничего не поделаешь – время все равно коротать нужно, вот и лезет в голову черт-те что; например, вспоминалась тихая Юлечка, а Дудкин не привык вспоминать тех, кого уже бросил, кого, во всяком случае, даже «про запас» не держал в уме. Когда хотят прикурить и спичка не зажигается, ее выкидывают, и другую в таком разе тоже, и третью, но ту, кстати, от которой прикурили, машинально возвращают в коробок, под донышко. Так вот, Юлечка оказалась под донышком, а мусора чистоплотный Дудкин не терпел, да только поди же, выкини! – в досаде аж кончик сигареты он откусил.

Ну, дудки теперь, закатится на неделю к кому-нибудь, к той же Лидии Николаевне хотя бы, а этот... этот пусть стучится себе на здоровье! И уж если думать о ком-то, если уж никуда от этого не деться, то, конечно, о Люсе: тут все еще впереди и так заманчиво. Для начала – а оно уже успешно преодолено – долгий взгляд, невзначай словно; ну, шпильку в волосах поправить мимоходом, попридержать руку в своей

чуточку дольше... Так просто все – и клюют, дурехи, сразу чего-то туманное завоображают себе!

Однако все равно не спалось, Юлечка не исчезала и при такой постановке вопроса.

Не давая спать жене, ругал на все корки фармакологию Указов: не могут выработать настоящее, действенное снотворное, только желудок портишь! И так работа нервная, всем чего-то надо. Ну, тут прямо тотчас же в ночной сумеречности нарезалось жесткого, ироничного выражения лицо позавчерашнего посетителя, а память лакейски-услужливо снабдила это лицо голосом.

– Вы отечеству служите или Иванпетровичу? – отчетливо прозвучало и теперь.

Указов сам никогда не просил. Он – говорил. Сказал, и точка. Но всегда различал тех в своем кабинете, кто просит, и тех, кто говорит. Этот посетитель – говорил, да еще как, наглец!

– Если вы плохо спите, у вас будет время подумать, – сказал он тогда. – До свидания, – добавил вежливо.

Раньше Указов спал хорошо.

Ну, разумеется, все эти рассказы о ком-то, якобы стучащем по ночам в некоторые двери, не более чем бред сивой кобылы, как выразился однажды один классик, хотя – да, Указов тоже просыпался от стука. Но и это объяснимо вполне: наслушались люди друг друга, напридумывали больше чем надо, нервничают – отсюда интенсивное истечение биотоков мозга, всякие там отрицательные флюиды, вследствие чего в это магнитное поле ночного бреда вовлекаются все новые и новые жертвы, начинают наяву галлюцинировать и тому подобное.

Приблизительно так же, только покороче, все происходящее расценивала и совсем молодая женщина Катя из квартиры № 13. Правда, к ней не стучали, но она все равно проснулась и больше не смогла уснуть. Ночь, конечно, долгая, и о чем только не передумаешь, но вот этой молодой женщине ни с того ни с сего вспомнился давнишний эпизод, за мелкостью напрочь позабытый уже, да так вспомнился, что аж пот холодный прошиб, так и села на кровати.

А всего-то дела, что когда-то одна дальняя родственница из деревни приехала, то есть нет, не к ним, но к ним просто зашла и Кате так обрадовалась. Катя же с минуты на минуту гостей ждала, и деревенская тетенька оказалась как можно некстати; благо, родителей не было и этим да собственной якобы занятостью Катя от приема отговори-лась, даже для верности усаживать не стала, и та покивала понимающе, но как-то очень грустно, застегнула пуговицы на плюшевой жакетке и ушла. Катя вздохнула весело, однако подумала все же, что, в общем-то, не совсем хорошо поступила, можно было и угостить тетку. Она и хотела угостить, но ведь это бы уж наверняка затянулось.

И сейчас вот, спустя столько лет, эпизод вдруг совершенно иначе осмыслился, чувство стыда за себя и жалости к той старенькой родственнице подстерегли, вернее – настигли Катю, а она ничего поправить уже не могла: всему свое время, ничто не возвращается.

Якова Федоровича тоже не будили, но бессонница ему привычна. А сейчас еще за жену тревожно: на далекий курорт поехала, а больная совсем, мало ли что в дороге может случиться. «Накаркаешь», – упрекнул он себя и, чтобы отвлечься, постарался переключиться на другое, только и другое было не слава богу, от него Яков Федорович тоже с удовольствием бы отмахнулся, если бы мог.

– Можете. Если не промолчите.

– Что? – прислушался Яков Федорович. – Кто-нибудь здесь есть?

– Есть.

Голосок так смахивал на дочкин в бытность ее подростком, но дочка давно взрослая, да и нет ее в городе. Тогда Яков Федорович решил, что задремал на минуту и все это ему приснилось.

– Нет, не приснилось. Я к вам погреться зашла. Ну, и поговорить.

«Откуда здесь девчонка?!» – растерялся он. Зрение у него еще с войны ослабело, поэтому, сколько ни вглядывался в темноту, никого не увидел, хотя вроде бы у двери, там, где стул стоял, темнота гуще казалась. «Я сплю», – решил Яков Федорович, однако поинтересовался вслух:

– О чем же поговорить?

– Вы знаете о чем.

– А ты-то откуда знаешь?

– Я все знаю, потому что – совесть ваша.

– Но что я могу, что? – заволновался Яков Федорович.

– Не молчать.

– Легко сказать! – Он жадно нащупал у изголовья папиросы, забрякал спичками. – Глупо же, пойми, разбить лоб и не разрушить стену. А еще глупее, добиваясь уничтожения одной несправедливости, вызвать на себя еще несколько. Ты согласна?

– Мне грустно, – отозвался голосок, и вправду печальный. – Всю войну прошли, а перед ложью пасуете.

– Так там все было ясно, а ложь – она ведь ясными, прямыми путями не ходит, из-за угла целится!

Папироса потухла, и Яков Федорович снова за спички схватился.

– Ты почему молчишь? – почти закричал он.

– Я слушаю, – откликнулся голос.

– То-то, – успокоился Яков Федорович.

Если бы девчонка ушла, он не знай что делал бы один-то, с душой разбереженной, он бы, поди, на улицу побежал искать ее.

– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказал он. – Господи, какая наивность! Да если я – рядовой мастер, а он – мой начальник?

– Ну и что? – упиралась девчонка, раздражая Якова Федоровича.

– А то, что мне два года до пенсии осталось! – выкрикнул он.

– Ну и что? – тихо повторила она. – Если бы все было именно так и никак не иначе, то зачем вы переживаете? Зачем снова курить начали, вам нельзя этого, и жена огорчится. Даже бриться вам не хочется.

– Ну, а ты-то, сама ты что предлагаешь?

– Не знаю.

– Вот видишь!

– Но я другое знаю: фронт – это ведь не только когда стреляют.

– Стучит!

– Кто? – сонно спрашивает, вздыхая, жена.

- С молотком который.
- Сердце это стучит, сходи... а-а-а, – зевает, – к врачу.
- Ходил!
- Ну, корвалолу накапай.
- Дура!
- А это ведь и в самом деле стучало сердце.

К утру метель улеглась, и сумерки расплзались незаметно, как сношенный газовый шарфик, вот уже плотная синева сменилась бледностью, а там и вовсе рассвело.

День был воскресный, но свободное время жильцы из переулка Пестрого теперь воспринимали в основном как возможность и потребность поделиться между собою очередными соображениями по поводу беспрецедентной, вопиющей в своей подозрительности тайны, свалившейся на их головы. Ведь события продолжались, точнее – только сейчас они и начались.

Во-первых, Колокольчиков уже не упивался, потишел как-то и сам теперь таскал продуктовые сумки жене. Во-вторых, Неловодов: отклонение в психике уже обнаружилось, вследствие чего беднягу бухгалтера увезли в состоянии прострации на машине с красными крестами.

Но и это еще не все. К безвинному Сергею Борисовичу с пристрастным дознанием пришла делегация. Собственно, именно он явился косвенным виновником болезни Неловодова, вычитав какие-то странности про человека с молотком, – это раз, и два – необходимо было выяснить наконец, что за секреты водятся с его цветами.

– Какие секреты? – Сергей Борисович почесывал небритую щеку и весело шурился со сна, ведь ложился он под утро, потому до полудня спал. – Никаких секретов, все абсолютно честно.

– Почему же тогда ваши цветы у некоторых, как ни ухаживай за ними, вянут?

– Да это у тех самых людей нужно спросить. Видите ли, цветы, растения вообще очень чувствительны не только к непосредственному на них воздействию, но и к настроению окружающей среды, даже сопе-

реживать способны, даже рассказать, что видели и слышали, могут. Да, да! – заверил Сергей Борисович опешивших делегатов. – Всего лишь одно нехитрое приспособление – и они расскажут. Но у меня его нет, – добавил он.

Короче говоря, Сергей Борисович тоже оказался по-своему достойным сочувствия, и делегаты тихо удалились.

Зато уж Яков Федорович, порядочнейший из порядочных, серьезнейший из серьезных, добавочно внес в души смятение и трепет, но вместе с тем и некоторую уже определенность, как бы ни выглядела она абстрактно и по-прежнему таинственно. Яков Федорович заявил, что будит людей – Совесть. И сказал, посмеиваясь, что комментарии излишни, а выводы пусть каждый делает собственные. Правда, он оговорился, что все ему приснилось, но это уже было несущественно.

Поползли слухи. В соседнем дворе восторженно-возмущенно ахали:

– Оказывается, это девчонка хулиганит! Вот молодежь нынче!

Только ничейному коту Дрёмке никакие слухи не щекотали нервы, лежал себе на теплом подоконнике над лестничной батареей, и спускались к нему на снежинках-парашютиках мягкие сны.

Между тем если сравнить наши события с разрастающимся снежным комом, как это обычно в подобных случаях принято, то он рассыпался обратно на составные комочки: постепенно все утрясалось, то есть роль каждого комочка для него самого прояснилась. Ладно и на том. Иначе, пожалуй, не скоро бы крепыш Дудкин удивил всех его знавших: холостяк закоренелый, он собрался жениться! На некоей Юлечке. Причем, говорят, вполне добровольно, то есть в том смысле, что инициатива такого важнейшего мероприятия полностью исходила от него самого, он даже – подумать только! – ездил куда-то разыскивать эту загадочную Юлечку, успевшую по непонятным причинам переменить свое местопребывание.

А солнце уже всю припекало, зима ворочалась на крыше, и осевший снег сполз с карниза и провис, как одеяло с постели.

Мягкие сны на снежинках-парашютиках таяли, не долетев до земли. Да и зачем им спускаться на землю, когда лохматому коту Дрёмке теперь не до них: исчез в неизвестном направлении по своим весенним делам.

(«Медленные часы», 1976)

СКАЗКА БЕЗ НАЗВАНИЯ

А-ву, любителю сказок, посвящается

Это не совсем веселая сказка, вернее – совсем невеселая, а сказки, кажется, должны счастливо оканчиваться?

Тогда пусть это называется не сказкой, а как-нибудь иначе. Или, еще лучше, пусть никак не называется, хотя и будут здесь персонажи необычные и все начнется как в сказке.

Итак...

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Маленькая Царевна.

Однажды утром, когда она лежала в своей белой спальне, ее лба коснулась холодная рука. Девочка открыла глаза – возле стояла женщина в черном платье.

– Кто вы? – слегка испугавшись, спросила Царевна.

– Судьба.

– Вы к маме?

– Нет, девочка, я к тебе. – И Судьба, вздохнув, села.

Царевну поразила внешность гостьи: холодно и твердо смотрели глаза, губы жестко и иронично сложены, тонкий нос по-хищному красив. Но неуловимо – то ли в глазах, то ли в изломе бровей, то ли в уголках рта – таилась горечь. А белые руки лежали на коленях как-то безнадежно.

– Почему вы вздохнули? – спросила Царевна.

– Устала я. Быть Судьбой – самое неблагоприятное дело: все ею не-

довольны, никак не угодишь. А ты... Право же, мне жаль, что именно я твоя судьба.

– Почему?

Но ответа не услышала, потому что дверь распахнулась и вошла мама.

– С кем это ты разговариваешь?

– С Судьбой.

– С какой Судьбой? – встревожилась мама.

– Да она только что здесь сидела. Где же она?

– Доктора, скорее доктора! – закричала мама.

Шли годы. За летом приходили осени, зимы сменялись веснами. Маленькая Царевна росла. Все было хорошо. Как и все дети, она играла, училась, смеялась и плакала.

И выросла в девушку.

Некоторые считали ее красивой, некоторые – просто хорошенькой, некоторые – ни той ни другой, но все сходились на том, что она умна и обаятельна.

Царевна любила животных и птиц, язык которых умела понимать. Ежедневно верхом на лошади скакала по полям: любила ветер.

Танцевать – тоже.

И вот на одном из балов она встретилась с юным Принцем. Он стоял в стороне ото всех, не танцевал, не улыбался – неотрывно глядел на нее.

И ей захотелось знать о нем все.

Но разве слишком хорошее может длиться долго?

И случилось горе: родители Царевны, возвращаясь морем из соседней страны, попали в сильный шторм, их судно погибло.

Царевна, единственный ребенок монаршей четы, должна была взойти на престол.

Но был заговор, и всё подстроили так, что якобы отказалась Царевна от престола и, безутешно скорбя по родителям, пожелала постричься в монахини.

А на самом деле упрятали ее враги далеко-далеко, где всегда зима: в Ледяной Замок, который называется Одиночество.

Стоял этот Замок на дикой скале, и не было Царевне возможности выйти оттуда.

Никто не знал, где она. Все поверили в ложь. Хотя – можно ли добровольно отказаться от жизни?

Замок был огромен и пустынен. Потолки терялись в недостижимой высоте. Голубые зеркала ледяных стен, блестящие полы повторяли и повторяли, множили хрупкую фигурку Царевны, одетую в траур. Сцепив руки, она все ходила и ходила, боясь замерзнуть.

А потом Надежда – даже она, кому так мало нужно, чтобы жить, чтобы греть, – и то не вынесла и превратилась в льдинку: умерла.

И тогда Царевна перестала ходить по гулким залам, перестала противиться «глазки» в замороженных окнах: ей уже не чудился в завывании ветра стук конских копыт...

Ледяной Замок населяли также весьма странные, призрачные существа, от которых Царевна зависела теперь всецело. Для них не существовало преград, они проникали сквозь стены. Ни на минуту не оставляли Царевну одну.

И она смирилась.

Но были с нею Пес и Кошка, верные ее друзья. Когда ненастной ночью увозили ее из дому, не захотели они расставаться. И Пес грел ей ноги, а Кошка руки.

Не выходила Царевна из комнат.

Время остановилось.

Так прошел год, а может быть, два.

Но однажды на пороге без стука появилась женщина. Пес рванулся, обнажив клыки. «На место», – приказала Царевна, а сама даже не пошевелилась.

– А-а, моя Судьба, – вяло усмехнулась она. – Так это ты меня сюда упрятала?

Та, казалось, несколько смущена была, хотя и уселась так независимо в кресле.

– Что поделаешь, девочка, такова жизнь.

– Но кому это нужно? Тебе? Зачем?

– Не знаю. Может быть, для равновесия? Если не будет горя, как люди научатся ценить радость?

– Ладно, пусть горе. Но зачем несправедливость?

– Чтобы Правде было что побеждать.

– Как же победить, если нет мне отсюда выхода?

– Выход есть.

Недоверчиво взглянула Царевна.

– Выход есть, – повторила Судьба. – Тебя может спасти Принц. Но тогда он лишится всего своего богатства.

– Это невозможно, – прошептала Царевна. – Принц забыл обо мне.

И отвернувшись, Нет, не заплакала – не умела уже плакать. И тем более ни за что не унилась бы перед своею Судьбой.

– Он никогда не забудет тебя.

Царевна обернулась – гости уже не было.

Не то чтобы поверила, а будто очнулась после долгого сна. Затопила всюду камин.

Теплее, конечно, не стало: не так-то просто обогреть такой дом, как Одиночество, – но маленькая льдинка, в которой умерла Надежда, растаяла.

Повеселели Пес и Кошка, принялись гонять ледяшку.

А в том царстве, в том государстве в это время стояла осень, ясная, паутинно-стеклянная. И все шло назначенным чередом. Никогда еще не меняло хода жизни исчезновение одного человека. О Царевне забыли.

А Принц?

Принцу снилось: она – в белом, длинном – руки к нему протягивает, а ни шагу ступить не может. Просыпался среди ночи, и чудилось ему, будто наяву мелькнуло легкое белое платье, коснулось лица.

Тогда собрался Принц в путь-дорогу, сел на коня и поехал куда

глаза глядят. Он не знал куда, но сердце ведь не ошибается, оно всегда приведет куда нужно, только пусть человек ему доверится.

Долго ли, коротко ли ехал Принц, а прибыл наконец к высокой скале и увидел на самом ее верху красивый стрельчатый Замок. И сердце сказало ему: здесь.

В этот день впервые заглянула к Царевне Радость. Солнечные ее, золотистые глаза весело шурились, красный сарафанчишко не закрывал коленок. Царевна и не подозревала о существовании в таком суровом доме такой симпатичной девчонки! Как не замерзла?

И рад был Принц видеть Царевну. И рада была Царевна видеть Принца. Но оба не высказали своей радости: он был слишком застенчив, а она – горда.

В белом длинном платье вышла она к нему, по бесконечному залу ледяных зеркал шла. Принц шел навстречу, не замечая холода и льда, – лишь ее одну видел.

Спокойно было лицо ее: говорят, у сильных духом страдание накладывает на лицо печать спокойствия.

И часто стал приезжать Принц.

Но о самом главном они не говорили.

Принц не замечал ледяных стен: Замок-то заколдованный был, обыкновенным домом казался он Принцу.

Но разве не видит он у заиндевелого окна тоненькую, как елочная свечка, девочку?

– Кто это? – спрашивает Принц.

– Это Печаль, – отвечает Царевна.

– Зачем она здесь?

– Где же ей быть?

И сидит себе, подперев белокурую головку, девочка Печаль, почти незаметная в прозрачном платьице на хрупких ключицах, с тихими глубокими глазами.

Весела как будто Царевна, ласкова по-прежнему, только в глаза Принцу не смотрит. И не знает, то ли в первый год заточения было хуже, то ли теперь.

Да, не так уж редко появлялась теперь солнечная девчонка по имени Радость, но дальше порога не проходила. Иногда она приводила даже братца своего – застенчивого, робкого мальчика. Ярко-синие его глаза так глубоки – два маленьких моря; солнце лучилось в них, запутывалось в мохнатых ресницах. Мальчик несмело улыбался ямочками на щеках и опускал глаза, прячась за сестренку.

Его звали Маленькое Счастье.

И все-таки не они, случайные, делали в доме настроение. Их солнышка не хватало даже на то, чтобы оттаяли окна...

Но почти безотлучно находилась при своей Царевне девочка Тревога. Она бесшумно прокрадывалась в покои. Царевна не замечала, а только чувствовала чужое присутствие. Начинала волноваться, заглядывать во все углы – никого. «Мне показалось, – успокаивала она себя. – Это нервы. Надо чем-нибудь заняться».

Но чем можно заниматься в Ледяном Замке?

Тревога же была настолько крохотной и невесомой, что запросто умещалась в кармане нарядного Царевниного халата.

Также навещал Царевну худенький, бледный мальчик по имени Страх. Он приходил всегда внезапно, садился на краешек стула и глядел огромными черными глазами. Волосы у него были светлые, легкие, руки в белоснежных накрахмаленных манжетах беспокойные, с тонкими чуткими пальцами. Он теребил пуговицы своей курточки и молчал, и неотрывный взгляд его выражал смятение и вопрос.

– Ну чего ты боишься, мальчик? – осторожно спрашивала Царевна. – Чего ты все время боишься?

Мальчик вздрагивал, пугливо вытягивал шейку.

– Тут никого нет, – успокаивала Царевна, приближаясь. – Не бойся.

Но тот пятился от нее, пятился, и сжималось ее сердце в предчувствии беды. Она опускалась на мальчишково место и сидела, холодея руками. Не было сил встать и закрыть за выскользнувшим Страхом дверь. Никогда он не закрывал за собою дверь...

Вдобавок некая Скука обитала поблизости. На чердаке, быть может? Но к Царевне пока не приходила. Можно заскучать в чем-то об-

ществе, но как – наедине с собой? Что лучше Одиночества позволит познать душу?

Правда, теперь его у Царевны было с избытком, а душа, конечно, не может жить долго одним прошлым...

Но Пес и Кошка рядом. Сколько раз отпускала на волю!

– Не хочу, – отвечала Кошка.

– Не хочу, – отвечал Пес. – Нам тоже бывало одиноко и больно.

– Да, – подтвердила Кошка. – Тебе плохо, и мы тебя не покинем.

Принес однажды Пес со скалы раненого Орленка.

Орленок тяжело и долго болел, вылечила его Царевна, выходила, в Орла превратился.

– Светлая моя Царевна, чем отблагодарю тебя? – спросил он.

Она отвечала:

– Мне неоценимую помощь оказали Пес и Кошка, я – вылечила тебя. Так и ты: помоги тому, кто нуждается, – и на земле прибавится радости.

Орел прилетал к Царевне, принося из дальних своих странствий много новостей. Живо расспрашивала она обо всем, что видели его зоркие глаза. Только о Принце никогда не спрашивала.

И так прошла зима, прошла весна, и еще одна зима наступила.

Принц к тому времени уже не навещался в Замок. У Принца было много дворцовых дел. И потом... потом... полевой цветок, конечно, ближе и доступнее горного эдельвейса.

Но тревожили Принца сны. А может, то и не сны были вовсе?

По ночам легкие ладони прохладно касались его лица, осторожно поправляли одеяло. Он чувствовал: кто-то сидит рядом и этот кто-то – бесконечно родной ему человек. Так хотелось проснуться, взглянуть – и не мог.

А то и совсем странное случилось. В темноте он плохо различил, что за женщина стоит у его ложа.

– Принц, – говорила она, – полевой цветок доступнее горного эдельвейса. Но разве все золото твое дороже твоего счастья? Принц, по всему белу свету каждый, чтобы стать счастливым, вторую свою половину ищет, а она – единственна.

– Ты о чем, женщина?

– Принц, Царевна заколдована, ты можешь спасти ее. Ты один, и никто больше.

– Почему никто больше?

– Из этого Замка вызволить может только любимый человек.

– Но Царевна молчит!

– Принц, запомни: пока она там и думает о тебе, не будет тебе радости, не будет покоя.

Исчез силуэт женский. Снилось? Немедля вскочил на коня, в черную ночь поскакал.

По-обычному спокойна Царевна, улыбается тихо.

– Царевна, не хочешь ли ты сказать мне что-нибудь?

Опустила глаза, медленно качает головой.

– Не хочешь ли ты попросить меня о чем-нибудь?

Снова головой качает. Если сердце само не слышит, нужны ли слова?

– Как ты относишься ко мне, Царевна?

– Я хочу быть для тебя праздником, Принц.

Целует руку Царевне Принц. Она и так для него праздник, и чувство это не тускнеет с годами. Но Принцу спокойнее, если она здесь: никто не видит, кроме него, и богатства лишаться не надо. Разве плохо им?

Потом вот что случилось. Прилетел Орел и молчит.

– Что нового, Орлик? Почему не смотришь на меня? Почему крылья твои поникли? Ты снова болен?

Орел хотел придумать что-нибудь, но не смог, ведь Орлы не умеют лгать.

– Во дворце свадьба...

В Замке повисла тяжелая тишина.

И вдруг – захлопали, загремели распахиваемые двери, взвились вздутые сквозняком тонкие шторы: то металось по Замку в поисках убежища Горе, металось и не находило.

Его распушенные седые космы не поспевали вослед, в глазах кричала боль, а судорожно разведенные пальцы вытянутых вперед рук тоже кричали.

Неподвижно
сидела
Царевна.

Все тропы замели глухие метели, все следы засыпали снегом колючим, шарфами белыми запеленали Ледяной Замок, закутали тесно.

Жуткими голосами воет вьюга, бьется в промерзлые окна, швыряет в них свое отчаянье.

А жизнь продолжается.

Отныне к Царевне не приходил больше худенький мальчик по имени Страх – теперь ей уже нечего было бояться.

И его сестрица Тревога тоже ее покинула – Царевне не о чем стало тревожиться.

Зато явилась Тоска. Серое, с глухим воротом платье, длинный-предлинный шлейф. Глаза что омуты жуткие, затягивают в свою беспроектность.

Бродит Тоска неприкаянно, бесцельно или остановится и часами стоит оцепенело, забыв, куда шла и зачем. Тонкие брови в горестном изломе. Словно ивовые ветви над высохшим ручьем ее безжизненные руки вдоль вялого тела.

Как может так сильно болеть то, что давно уже должно бы окаменеть от боли?

Еще прочно поселилась в Царевниных покоях Память, особа беспокойная и жестокая. Она нахально преследовала, мучила: то за платье дернет, то уколует, то на плечах повиснет. В лицо ее Царевна не видела, потому что та всегда норовила напасть сзади. Она мешала читать, лишала сна.

Царевна падала лицом в подушки, зажимала уши ладонями, и все же просачивался шелестящий вкрадчивый шепот:

– А помниш-ш-шь?..

Ночью, в темноте крошечной, возникал у постели хнычущий голос – то являлась со своими жалобами Обида. Больше, чем кто-либо, она любила Царевну, поэтому особенно трудно было ей возразить.

– Мы, – скулила Обида, – помогали в беде, а как с нами беда случилась – никого нет.

– Есть. Пес, Кошка и Орел.

– Хи-хи! – отвечала Обида.

Царевна сердилась:

– Перестань!

Обида – не слушалась.

– Ты говорила, за добро и платят добром. Ну, убедилась?

– Я говорила: добро делается не в расчете на плату!

Тогда Обида принималась за другое:

– И Принца нет. А говорил, никогда никто не будет дороже тебя.

– Замолчи! – пугалась Царевна. – Вообще не хочу с тобой разговаривать, уходи. И не возвращайся, ясно?

Потом пришло Отчаянье. Лихорадочные, мятущиеся руки, взлохмаченная голова.

– Душу ломит, Царевна, ду-ушу!

Минуты остались до Нового года. Ледяные часы со стрелками-сосульками отзванивают время.

В подвенечном платье стоит Царевна у столика, в двух хрустальных бокалах мерцает влага. Пустует место напротив.

Лишь в темном углу, за выступом, притаилась старуха Смерть. Загнала ее стужа на одинокий огонек, а тут зрелище! Впилась жадными глазами, босые ноги под холщовой рубахой переступают нетерпеливо, уж и веселая тень зазмеила бескровные тонкие губы.

Бледна и прекрасна Царевна. Медленно снимает с тончайшей цепочки на груди серебряный флакончик, спокойными руками высыпает содержимое в бокал, задумчиво со вторым сдвигает – и к губам подносит.

– Не убивай меня!

Дрогнула рука, обернулась Царевна на голос. А перед нею – точно в таком же наряде, тоже с бокалом – вторая она, вторая Царевна! Скорбно и гневно лицо ее в неверном свете тревожных свечей.

- Кто ты?
- Я – Душа твоя единственная!
- Почему же раньше не видела я тебя?
- Потому что спрятана была. А теперь убить хочешь! Зачем?
- Не могу больше. Видишь, глаза мои погасли. Если никому не светишь...

– Перестань! – перебила гостя. – Я есть – стало быть, уже чудо. Песни нельзя убивать! – И прислушалась: – Ты слышишь?

- Что?
- Топот конских копыт!
- Не слышу. Это ветер.

А гостя уже исчезла. Или не гостя, но владычица? Ее суровая, ее единственная.

Выпал бокал из пальцев, звенькнули об пол хрусталинки. Замерла Царевна: коня ли то нетерпеливое ржанье, или вьюга полуночный свой сабантуй справляет?..

(«Оглянись, расставаясь», 1982)

Татьяна Горохова

КАТЯ ДУБРО И ЕЕ БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК

Хочу, чтобы усталому или одинокому стало от моих рассказов чуточку теплее, чтобы человеку уютному стало хоть чуточку беспокойнее. Чтобы топотились видеть и делать доброе.

Е. Дубро

Непростая, ох непростая задача выпала мне – рассказать о творчестве Екатерины Дубро. Почему? Да потому что рассказов, рецензий, откликов, критических статей написано много, в том числе Людмилой Глебовой и Евсеем Цейтлиным. Да и сама проза Екатерины Дубро на-

столько индивидуальна и необычна, что беглым прочтением тут невозможно отделаться.

«Вернусь звездопадом...» – первая книга из восьми, выпущенных при жизни писательницы. Она увидела свет в 1973 году и через сорок лет была переиздана региональным общественным фондом им. Е. В. Дубро.

Книга рассказов двадцатипятилетней писательницы была удостоена премии «Молодость Кузбасса». Хотя, как и многие, начинала она со стихов. «Уходила в стихи. Убегала. От себя, от всех...» А потом стихи исписались, «взаправду холодно стало стихам». Стихи вместе с романтикой просыпающейся юности исчезли после понимания реальности диагноза, поставленного врачами еще в детстве. Есть маленькое эссе или крохотная новелла «Рассказочка», в которой, рассуждая о своей судьбе, Екатерина утверждает о своем жизненном предназначении на примере весталки – одной из шести жриц Весты. А что, получилось весьма убедительно! И трудно с ней не согласиться. «Вестин месяц – октябрь. Октябрь вообще месяц жертвоприношений, жертвенных рождений – судеб. Огонь, свет, белая одежда – символы чистоты. Екатерина – чистая. Обездвиженность – чем не замурованность?» И, зная про свою неизлечимую болезнь, Екатерина мужественно и в то же время осознанно жестко подошла к выбору своего пути в жизни и литературе.

Вот как в рассказе «Белый листок» она определила свою дальнейшую жизнь: «Уж коли разбитое корыто, то пусть оно, чем дворцы в мечтах, а в действительности все то же корыто, только еще более растрескавшееся. Я не боюсь! Я не хочу и думать об этом. Хочу писать. Это единственное, что может еще дать мне жизнь». Разве слабый духом человек мог бы сказать такое? А сделать? И проживать каждый новый день как последний? Одно это заслуживает уважения перед жизненным подвигом юргинской писательницы.

Сказав себе однажды: «Проживу сколько захочу», она и прожила намного дольше, чем предрекали доктора. И жила – «крещенная самой жизнью, на своем кресте распята», но всегда «в творческой команди-

ровке, в разведке». А посему «не утраты подсчитываю, но оставшееся, но имеющееся. Мне в такой выучке способствует вся моя жизнь. Словом освещенная».

В рассказе «Белый листок» Екатерина, контурно обрисовав границы предстоящей жизни, написала, как мне кажется, программу своей литературной деятельности. «Рассказ, новелла – самый интересный, по-моему, жанр. Четкость, краткость и недосказанность. Непременно – недосказанность. Хемингуэевский принцип айсберга. Иначе скучно». О чем сюжеты ее повествований? Вот как об этом она сказала сама: «Внутренняя жизнь, отношения между людьми – что может быть интереснее и важнее?»

Рассказывая об отношениях между молодыми людьми, живущими, как и сама писательница, во времена научно-технической революции, Екатерина Дубро через диалоги героев размышляет о свободе и независимости, о поиске истины в жизни человека, о стремлении познания себя и природы, о путях самосовершенствования, находках и потерях, о добре и зле, о том, какое бывает счастье. «Человек встретил человека. Откликнуться, отозваться, ответить другому – понять себя – и понять общее. От частного ко всеобщему. Как высшее проявление человеческой Любви – сути и смысла Жизни, Вечной и Единой, ее великой энергии, ее Солнца». Темп ее повествования не столь динамичен, более того, можно сказать, малоподвижен и даже статичен; для читателя, живущего в двадцать первом веке, он, возможно, покажется скучным, неярким и тусклым.

Да, в творческом арсенале Екатерины Дубро нет блеска мишуры, нет зажигательности, нет фейерверка страстей, бури эмоций героев при выяснении отношений. Всего этого нет! Что же стоит за спокойным течением рассказа? Задавала писательница себе и такой вопрос: «Что я знаю такого, чего не знают другие? Что необыкновенного могу им подарить? Любой вымысел должен опираться на достоверность. Книжный мир – великолепен, но все-таки он книжный». И тем не менее в своих диалогах герои ссылаются на притчи, на высказывания философов и писателей, и все они, диалоги, построены на фундаменте

прочитанных и переосмысленных Екатериной Дубро книг. Книги для нее друзья. «Я открываю книги, как двери в гостеприимные дома. Они очень разные, эти дома, и тем интереснее. Сюда я вхожу осторожно и после себя закрываю дверь тихо-тихо. А тут вдруг пришел и потряс Юлиус Фучик. После этой простой и суровой книги не хочется говорить. Но жить – хочется. И не как придется».

Если в первых книгах Екатерину Дубро как автора и создателя рассказов и повестей занимает больше жизнь и отношения молодых героев, то в дальнейшем она рассказывает о личных переживаниях, углубляется в автобиографические подробности, что несколько не снижает интереса к чтению. Потому что человек, принявший через «душевное смирение» свою судьбу такой, какой она дана, не может быть неинтересен другим людям. Екатерина «явилась в жизнь исполнить, уже осознанно, свое бывшее вестовое предназначение пожизненной хранительницы огня, который возжжен жизнью, поддерживается душевной чистотой, а раздаривается по запросу-надобности заглянувшим на огонек прохожим».

Нельзя не сказать о крохотных рассказах, так называемых «рассказочках». «Рассказочки, – как пишет М. Туралина в предисловии к книге “Зеленый виноград”, – жанр великолепный: в маленькой рассказочке вмещается бескрайняя глубина, порой пласт эпохи. И целая жизнь». Только вдумайтесь в эти названия: «Огонек», «Секрет приношения», «Устыжение», «Свобода», «Потом», «Способ жизни», «Благодарение», «Предвкушение», «Пожизненная книга», «Сила слова». Первая такая рассказочка была включена в книгу «Бумажный кораблик», и «тогда, в 1988 году, был заявлен этот собственный... литературный жанр: рассказочка».

Есть в творческой копилке Екатерины Дубро и сказочные повествования, которые нашли место в книгах «Оглянись, расставаясь», «Медленные часы», «Бумажный кораблик». Сказки-притчи, сказки-иносказания, как и все остальные произведения Дубро, пронизаны единым чувством – глубокой верой в духовные силы человека. Но есть в них свое отличительное свойство – присутствие неповторимого и

какого-то особенного, щемящего оттенка лиризма и такой благоуханной чистоты и свежести, что, окунувшись в них, невозможно остаться прежним. И, как заметила Екатерина, мысли становятся чувством. В сказках много поэтики, много солнечного света, согревающего своим теплом душу. И вроде бы в них нет прямых поучений и нравоучений, но они исподволь научают совершать добрые поступки, учат милосердию, терпимости, пониманию и состраданию. А как верно подметила Екатерина, сказав о сказках: «Я где-то читала, что сказки нельзя брать руками».

Тема одиночества вольно или невольно присутствует во всех произведениях Екатерины Дубро. Болезнь наложила отпечаток на образ жизни писательницы. «Одиночество у всех свое, у всех разное», у нее «оно ее тень». Но как писательница Екатерина задает сакраментальный вопрос: перед чистым листом бумаги кто не одинок?

И все же вернусь к «Белому листку». Как мне кажется, в названии этого произведения кроется еще и символ творческого пути, творческого кредо автора. Все героини повествований Е. Дубро – люди с трудной судьбой, но с таким крепким духовным стрижнем, что это дает им силы стойко и мужественно переживать все жизненные невзгоды, оставаясь нравственно чистыми. Нереальный нравственный максимализм. Поймут ли такое читатели двадцать первого века? Примут ли?

И еще о замеченной параллели или о символах в творчестве Е. Дубро – чистом листе и бумажном кораблике, на белом борту которого написано «синими, как море, чернилами: Нежность». Ведь недаром простой бумажный лист встречается в нескольких рассказах. «Мимо прошуршал листок белый – обычный тетрадный листок в клеточку.словно крохотный человечек в белом плащике нараспашку» – это из рассказа «Сто белых башен». «Через широкий газон, темнеющий в снова белых сумерках, гнало большой серый лист бумаги – с одного шоссе на другое. Показалось, не лист будто, а птица подбитая – то распластается в секундной передышке, то поковыляет дальше» – рассказ «По французской пословице».

Почему же бумажный лист как символ? А что еще держало Екатерину в жизни, как не обычный тетрадный листок в клеточку? Да она

сама в одной своей рассказочке так и определила, что похожа на человека, « дрейфующего в открытом океане », который силой своей воли держится за « спасательный круг – бумажный ». Свою седьмую книгу « Нежность » Екатерина называла « очередным поплавком », и даже ожидание выхода книги удерживало ее « на плаву ».

Так вот о кораблике. В 1988 году была издана книга Е. Дубро « Бумажный кораблик », где одноименная сказка посвящена памяти Игоря Киселева. Однажды в город приехал настоящий Волшебник, и звали его просто Ким. « У Волшебника никаких вспомогательных средств не было – лишь сам да Слово ». Пришел Волшебник первый раз в гости и подарил обыкновенную дудочку, « но Рина знала: особенная. Вообще, все вещи таковы, каково отношение к ним человека ». Когда Волшебник пришел в гости во второй раз, то оставил бумажный кораблик. « На нем тоже можно плавать, – серьезно сказал он. – Если захочешь. – Да, – кивнула она. – Хоть куда, – добавил он ». Прошло какое-то время, и Рина горько сожалела о потере своего друга-волшебника. « Самое страшное, что может случиться, – опоздать. Даже хорошие слова опоздала сказать! А сказала бы: дорогой Ким, вы самый удивительный сказочник. Спасибо за то, что вы есть: с вами тепло на ветру и надежно в жизни. Пока вы живете – живем и мы ». А к весне Рина сделала другой бумажный кораблик, написав на его « белом, как снег, борту синими, как море, чернилами: Раскаяние ». Осталось лишь на берегу « поиграть на дудочке приветный призыв дельфинам. Если приплывут, опустить кораблик в прибойную волну. Лишь последнее опасение леденило душу: а зазвучит ли дудочка? »

Вот так обыкновенный в клеточку тетрадный лист, превратившись в бумажный кораблик, подарил надежду и помог осуществить плавание в безбрежном литературном океане. Возможно, кто-то тоже возьмет белый листок и сделает кораблик, на котором синими или разноцветными чернилами напишет: « Вера », « Надежда », « Любовь ». Ведь без них не случится никакого плавания.

Татьяна Горохова

БИОГРАФИЯ ЕКАТЕРИНЫ ДУБРО

Екатерина Владимировна Дубро родилась 19 октября 1947 года в поселке Тяжинский Кемеровской области. Литературным творчеством начала заниматься лет с двенадцати. А уже в пятнадцать лет о творчестве девочки Кати из города Юрги узнали не только сибиряки.

Об этих ярких фактах из жизни Екатерины Владимировны можно прочитать в книге «Жизнь...». Книга, в которой всего одна повесть «Линия жизни Екатерины Дубро», выпущена в 2014 году общественным региональным фондом им. Е. В. Дубро. Автобиографическая повесть написана на основе дневников, которые Екатерина начала вести еще школьницей. Дневники представляли собой обычные школьные тетрадки, каждая из которых имела свой порядковый номер и девиз. Так, в дневнике под номером девять с девизом «Дорогу осилит идущий» появились записи о событиях, случившихся в сентябре 1962 года.

Одним из первых событий того сентября стала публикация очерка в газете «Литература и жизнь» о девочке Кате, которая пишет стихи. Потом была встреча с журналистами из областного радиокомитета и передача радионовеллы «Девочка с мужественным сердцем». А первого октября на девочку Катю Дубро ливнем обрушилась известность. В адрес Кати стало приходить множество писем (три тысячи!), к ней проявили внимание не только чиновники разного уровня, но и представители общественных организаций. В начале 1963 года Катя ответила всем, кто принял участие в ее судьбе, стихотворением «Теплота». Это стихотворение и несколько других были переданы по местному и областному радио.

Удивительно, но испытание медными трубами девочка прошла достойно, а свалившаяся на нее слава не стала поводом для зазнайства, наоборот, породила размышления о своей дальнейшей творческой жизни и не только. Воля, трезвый ум и советы родителей – Владимира Петровича и Вероники Евсеевны – помогли юной Кате сделать пра-

вильный выбор. Прежде нужно было учиться. Хотя ходить в школу становилось с каждым годом все трудней. И вскоре она была вынуждена перейти на домашнее обучение. Но среднюю школу Екатерина окончила на год раньше сверстников, да еще с серебряной медалью!

В декабре 1964 года была принята на работу в Комбинат бытового обслуживания швеей-надомницей. За неспешной работой, написанием стихов, ведением дневника все чаще и чаще возникал вопрос: как жить дальше? Материальный доход семьи был невысок, так как отец Кати был инвалид, а мама была вынуждена заниматься домашним хозяйством и ухаживать за дочерью. До выхода на пенсию родители Кати работали на машиностроительном заводе. В 1964 году Катя поступила на заочные центральные государственные курсы иностранных языков (немецкий). Окончила первый курс с хорошими результатами и, перейдя на второй, поразмыслив, бросила учебу. Не видела перспективы в занятиях переводами и преподавании языка. «Кому нужны переводы в маленьком городе?» – рассудила Катя. Попыталась работать машинисткой, начала печатать тексты, но физически выполнять эту работу не смогла. Юридическое образование осталось мечтой: дистанционного обучения в те времена не существовало.

В 1969 году Екатерина, как она пишет, «отважилась наконец на крайностное самоопределение – подпустила себя к прозе, как своей последней надежде вывести себя в другую жизнь и переключиться чувствами. И написала рассказ “Огонек”, свой первый после многолетнего перерыва. Разумеется, о себе же, лишь под другим именем». В 1970 году в кузбасском альманахе «День поэзии» были опубликованы четыре стихотворения Е. Дубро. В 1971-м в первом номере журнала «Огни Кузбасса» был напечатан рассказ «Серебряные колокольчики». А следом «получила из Кемеровского книжного издательства от редактора Тамары Ивановны Махаловой предложение прислать рассказы, или стихи, или то и другое: может быть, наберется на книжечку». В июне 1972 года к Екатерине пожаловали гости для подписания договора на издание сборника рассказов: В. М. Мазаев, Л. В. Глебова, И. М. Киселев. Весной следующего года вышла первая книга Е. Дубро «Вернусь звездопадом...». А в начале 1974 года Екатерина Дубро ста-

ла лауреатом премии «Молодость Кузбасса» в области литературы за 1973 год.

По воспоминаниям главного редактора журнала «Огни Кузбасса» Сергея Донбая, «ее трудно было уговорить публиковаться в журнале, но тем не менее в журнале “Огни Кузбасса” Екатерина Дубро публиковалась постоянно, в течение всей жизни». А я добавлю – и после ухода. Отрывок из книги «Узкий путь» был напечатан на страницах пятого номера журнала в 2017 году. Кроме повестей, рассказов и сказок Дубро писала о русских писателях и философах – их жизни, творчестве, миропонимании. Начиная с публикации материала об А. П. Чехове в 2004 году журнал «Огни Кузбасса» открывает новую рубрику «Библиотечество». В последующие годы опубликованы статьи Е. Дубро о В. Г. Белинском, А. А. Блоке, И. А. Ильине, Г. С. Сковороде, Л. Н. Толстом, Н. Ф. Федорове.

Вторая книга рассказов «Медленные часы» была издана в 1976 году. Как полагает Екатерина, это произошло «благодаря хорошим отзывам читателей, а также вниманию к моей авторской персоне редактора Л. В. Глебовой и тогдашнего главного редактора Кемеровского книжного издательства З. А. Чигарёвой». Там же, в Кемерове, вышло еще четыре книги Е. Дубро: «Второе начало», «Оглянись, расставаясь», «Сплошные вопросы» и сборник сказок «Бумажный корабль». В июне 1985 года Екатерина Владимировна была принята в члены союзной писательской организации. Седьмая книга «Нежность» выпущена в 2001 году издательством «Кузнецкая крепость». В 2002-м Е. Дубро присуждается литературная премия им. А. Н. Волошина. И в этом же году за особый вклад в культурное развитие города Юрги, выразившийся в многолетнем литературном творчестве, за стойкость и жизненное мужество Екатерине Владимировне было присвоено звание «Почетный гражданин города Юрги».

В 2007 году Дубро становится лауреатом премии Кузбасса. В последние годы жизни была дописана повесть «Дерево придорожное», основанная на личном материале. Екатерина Владимировна очень хотела «довести до чистой страницы» документальные повествования «Темная стража», «Пять минут неба», «Узкий путь», «Дела неот-

ложные», «Личная жизнь Вероники», «Камень перепутный». Все эти произведения вошли в издания, выпущенные общественным региональным фондом им. Е. В. Дубро, который был создан по инициативе Майи Борисовны Туралиной – сподвижницы и друга Е. Дубро.

Ушла из жизни Екатерина Владимировна Дубро 1 апреля 2008 года. В Юрге установлены две мемориальные доски: 19 октября 2009 года на здании по улице Достоевского, 10 (средняя общеобразовательная школа № 2, в которой с 1954 по 1964 год училась серебряная медалистка); 19 октября 2012 года на доме по улице Московской, 10, где жила писательница. Квартира по этому адресу была получена в новом пятиэтажном доме в 1963 году (раньше семья проживала в холодном, продуваемом всеми ветрами засыпном домишке). И, как написала Катя в книге «Жизнь...», «это явилось величайшим событием в жизни нашей семьи и, конечно, в моей жизни: у меня появилась отдельная комната с двумя окнами». В 2013 году в квартире № 3 по улице Московской, 10 создан музей Екатерины Дубро (хранитель М. Б. Туралина).

Книги Екатерины Владимировны Дубро:

Вернусь звездопадом... : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1973. – 164 с.

Медленные часы : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1976. – 192 с.

Второе начало : рассказы, повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1980. – 272 с.

Оглянись, расставаясь : повести, сказки. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1982. – 239 с.

Сплошные вопросы : повести, рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1985. – 206 с.

Бумажный кораблик : синие сказки. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1988. – 188 с.

Нежность : рассказочки. – Новокузнецк : Кузнецкая крепость, 2001. – 256 с.

Подсказка от Ангела : рассказочки. – Юрга : Юргинское полиграфическое производственное объединение, 2007. – 282 с.

Двойные бусы : повесть-сказка. – Юрга : Юргинское полиграфическое производственное объединение, 2008. – 176 с.

Дерево придорожное : повесть. – Юрга : Юргинское полиграфическое производственное объединение, 2012. – 152 с.

Личная жизнь Вероники : повесть. – Томск : Политехнический университет, 2012. – 158 с.

Зеленый виноград : житейские рассказы и рассказочки, стихотворения. – Юрга : Юргинское полиграфическое производственное объединение, 2013. – 110 с.

Жизнь... Юбилей. События. Факты. Вехи : повесть. – Юрга : Юргинское полиграфическое производственное объединение, 2014. – 80 с.

Светись, окно! : стихотворения. – Юрга : Медиасфера, 2014. – 178 с.

Азбука жизни моей : житейско-житийная повесть. – Юрга : [б. и.], 2015. – 81 с.



Геннадий Акепсимович Естамонов

*2 августа 1937 г., Сковородино, Амурская обл. – 13 июля 2012 г.,
Кемерово.*

Прозаик, журналист. Член Союза писателей СССР с 1987 года.

ДЯДЯ ВАНЯ

Дядя Ваня – столяр. Для нас – дядя Ваня, для взрослых – Иван Антонович Клопов.

У верстака стоит легко, уверенно, прочно. Большой, силища – коня поднимет. Смеется.

– Ну что ты рубанком тычешь, словно шилом в подметку? Держи его свободно.

Мы краснеем и дружно шмыгаем носами. Ребята постарше небрежно цокают сквозь зубы. Мол, чего там толкуешь, понимаем.

Рубанок в руках дяди Вани поет, и под пение это плывут стружки, тонкие и прозрачные.

– А теперь давайте посмотрим, что же вы уловили.

Мы стараемся в поте лица доказать дяде Ване, что мы кое-что поняли.

А он ходит от верстака к верстаку и, словно большой, добрый волшебник, посвящает нас в таинство удивительных дел. Десятки мальчишеских глаз и ушей ловят каждое его слово и движение.

– Молодец, Юра! Смотрите, ребята, как у него свободно ходит рубанок, словно санки по снегу...

Юра, красный от похвалы и внимания, старается вовсю.

Потом дядя Ваня неожиданно быстро идет в дальний угол, где у низкого верстака пристроился самый маленький из нас – Эдик Бужанский.

– Эдуард Батькович! А ты перестарался. Силенка у тебя и сноровка – дай бог! Похвалить бы, да воздержусь. Вон какая гора стружек. Зачем? Для растопки? И еще запомните крепко. – Лицо его становится строгим, даже хмурым. – Самое главное для столяра: сделать вещь – дело. Хорошее дело. Сберечь материал, при этом выдумку применить – два дела. Беречь отрезок доски, самую малую полешку – это значит беречь дерево.

Мы виновато смотрим под ноги, на стружки.

С каждым занятием по труду, как называли в детдоме столярное дело, мы все увереннее держали в руках инструмент, и чем больше пилили, резали, тем больше узнавали о лесе...

Иногда дядя Ваня ставил нас в тупик, казалось бы, простыми вопросами:

– Лес в нашем Верхотомье хорош?

Переглядываемся. Лес как лес. Наверное, никто из нас над таким вопросом шибко не думал. Привычное разве может быть хорошим или плохим? Небо хорошее? Смешно даже. Но мы не смеемся. Вопрос дяди Вани заставляет думать... Лес для нас и место для игр, и дом, вернее – продолжение дома. Провинишься – можно спрятаться от воспитателя, погоревать о несчастной доле своей, когда кажется, что все и всё против тебя.

Еще лес для нас столовая, столько в нем скрыто всякой вкуснятины. Как у хорошей бабушки в темном чулане. Правда, мы не только бабушек, но и матерей родных не знаем. Разве по рассказам да из книг представляем щедрых и добрых бабушек. Зато лес знаем. Луковицы саранок и кандыков, словно смазанные постным маслом, молодые корешки лопуха, будто вымоченные в сладкой патоке, стебли медуниц, кислицы – все принимали ненасытные наши желудки.

Мы знали: лес не оставит, не обидит нас...

А березовый сок? Что желаннее и вкуснее? Напьешься, сыт и рад, глаза блестят, а уж кожа на лице сразу розовеет. Розовеет и розовеет.

А хорош ли наш лес? Наверное, хорош, вот только грецкий орех не растет у нас. (Говорят, страшно полезный: съешь и два дня сытый ходишь, на хлеб смотреть не будешь. Поди, брешут?) Яблонь и груш тоже нет.

Знаем лес, а слушаем дядю Ваню с таким вниманием, которому мог бы позавидовать любой учитель.

Здесь, в мастерской, где можно говорить во весь голос, ходить, смотреть и даже шутить, чаще всего стояла тишина. Не та сонная, которую приносит лень и безделье, а рабочая, сосредоточенная, с перестукиванием, звоном пил, с шорохом падающей стружки. И над всем этим – голос дяди Вани. Неназойливо, то с шуткой-прибауткой, то почти сердито вел он бесконечный рассказ о лесе, успевая при этом что-то показать, подсказать, посоветовать, и все это не дробит его повествования, а вплетается в него незаметной нитью.

Неширокой полосой вдоль берега Томи тянется чистый, как убранная горница, сосновый бор.

Здесь нам нравится играть в войну или в разбойников.

Дальше от берега сосны, ровные и однообразные, как спички в коробке. Потом все смелее и смелее примешивается к соснам ель, лиственница, береза, осина, рябина, а у придорожья – тополь. Кое-где, словно редкие цветы в засушливое лето, вспыхивают своей особенной густой зеленью одиночки кедры. Дядя Ваня говорит, что когда-то в Верхотомке был хороший кедрач. Повывели. А жаль! Вот бы где полазить!

Смешанный лес веселый и богаче, его мы любим больше, чем чистый сосняк.

Дядя Ваня говорит, что осина, тополь, не говоря уж о кустарниках, – сорный лес. Выходит, бери топор и руби! Что же тогда останется от леса? Мы оторопело и недоверчиво смотрим на него: не шутит ли? Нет, серьезный. Даже повторяет несколько раз: сорный лес.

Мы в недоумении и растерянности. Спорим между собой на переменах, пока кто-нибудь не скажет:

– Да что вы, дядю Ваню не знаете? Пошутил он.

А может, действительно, и пошутил? Без его шуток и в мастерской было бы не так интересно. На подсобное хозяйство работать не рвались бы, когда он туда зовет.

А сенокос, а уборка, а посадка саженцев сосны и кедра, которую прошлой весной мы делали под его началом?

Разве все это шло бы так споро без дяди Вани, без его шуток, поговорок, пословиц, без его едких, но беззлобных насмешек над нами? Само собой понятно.

Бесшумно скользим по снежному покрывалу, вытканному узорами следов зверьков и птиц. Хорошо! Лыжи в детдоме любят. А если они еще сделаны собственными руками!.. Останавливаемся.

– Сосна – превосходное, отличное дерево. Неприхотливое, как русский мужик. Растет на песчанике и на болото даже лезет, а вон видите, – показывает дядя Ваня палкой в сторону Лысой горы, – на самом обрыве сосны. Почти на голом камне живут. Молодцы!

– Цы-цы-ы-ы! – разносится в морозном воздухе.

Падают снежные шапки, словно сосны бьют нам челом, и мы вслед за дядей Ваней летим вниз, в самый распадок.

Отдыхаем у лиственницы. Пикой взметнулась ввысь, словно на страже стоит, не дрогнет, не шелохнется...

– Крепкое дерево, – поглаживает ствол дядя Ваня, – знаменитому дубу не уступит. По триста лет стоят избы, сработанные нашими дедами. Ни гнили, ни плесени не боятся. Тяжеловаты только, по реке без мудрости не сплaviшь. Вот и чередуют ее, когда плоты выжут: сосна, лиственница. – И без всякого перехода: – Но больше всего я люблю все-таки березку. Материал хорош. Прочен достаточно, обрабатывается легко. А лес без березки не лес, и весна-то без нее не весна...

Слушаем его, открыв рты, только облачка пара отличают нас от пеньков в белых шапках да блеск глаз с заиндеветыми ресницами выдает наше любопытство, и узнаем мы как открытие, что от березы и осины, да и кустарников тоже, людям большая польза.

Из осины, например, спички делают. Хорошо горит дерево. К тому же осина – музыкальное дерево. А это понимать надо. Юрке больше всех понятно. Он у нас музыкант – и домрист, и балалаечник. Не каждое дерево для инструмента пригодно, не каждое дерево запоет. Среди многих пород деревьев осина музыкальностью отмечена.

Дядя Ваня не спешит надевать рукавицы. Ладони его огрубевшие мороз не берет, они словно корой защищены, только не поймешь какой: сосновой ли – коричневой, березовой ли – желтоватой с черными нарезками.

В его пальцах хрупкая, как льдинка, веточка осины. Он разжевывает кусочек и морщится:

– Как эту горечь зайцы глодают?

– Потому и глодают, что голодают, – подсказывает Юрка.

– Нет! Что-то они в ней находят, – задумчиво возражает дядя Ваня и сразу же совсем о другом: – Сибирячка вроде бы осина, а болезненная. Грибок есть. Стоит осенью полыхает, весь лес своим огнем поливает. Даже в пасмурный день веселит. А у самой вся сердцевина трухой стала. Ну чисто человек. Не тот, который охает да при каждом пустяке за поясницу или за сердце хватается. А такой, который и людей разве-

селит, и даже себе в своей хвори не признается. Вот вырастете – подумайте... Может, кто-нибудь из вас и найдет лекарство для осины. Не только люди, а зайцы тому в ноги кланяться будут.

Мы, наверное, все разом представили эту картину, как по-заячьи поклонился осине дядя Ваня, дружно засмеялись.

– Черти! Только бы гоготать! – строго так сказал, как скомандовал. Виновато умолкаем.

А еще, оказывается, на березах наросты бывают, наплывы такие. Мы их видели не раз. Капом называют. Так из этого капа шкатулки и разные красивые поделки вырезали. По всему миру раньше расходились. И были они на вес золота.

Вот ведь как бывает. Нам казалось, что мы знаем лес. Большую часть лета, весны и осени жили в нем. Он как книга, мы обложкой полюбовались, а прочитать не сумели. На другом языке словно написано...

Как-то зашли к дяде Ване домой, угостил нас своим знаменитым квасом. Квасок хорош, конечно, был, не зря славился на всю деревню, а вот ковш как сказка, на свету переливался скрытыми узорами: как вены в здоровом теле рдели те узоры на нем. Оказывается, из капа сделан.

Весна в том послевоенном году, последнем году нашего пребывания в детском доме, была ранняя, шумная, нетерпеливая.

Черные скворцы, облепившие березы, вели бесконечные заседания. Веселые и аккуратные домики привлекали внимание скворцов, а некоторые из них уже обживались воробьями. На соседних соснах даже сороки, равнодушные к благоустроенным квартирам, кому-то сигналили белыми боками и трещали деловито, успокаивающе: мол, все в порядке. Жилья хватит всем...

Скворечники мы изготовили на последних занятиях в столярной мастерской. Не сговариваясь, мы решили подарить новые квартиры тем, кому еще не раз суждено будет вернуться в Верхотомский бор.

...Мы редко бываем в своем детдоме, в стране своего детства. Стали взрослыми, умными, занятыми. Редко встречаемся друг с другом и еще реже собираемся группами. Но если встречаемся, сколько всего хорошего вспоминаем вдруг.

– А помнишь дядю Ваню?

– Ивана Антоновича? Клопова? Ну как же! Кто его не помнит?!

И это звучит как пароль. Пароль детства. Мы не замечаем тогда, что Колька – совсем полысел. Толик уже не прячет совсем округлившийся животик, а Витька – сутулится еще больше.

Мы снова пацаны. А среди нас – дядя Ваня. Не такой, как сейчас, с белой клочковатой проседью на висках, а с черной пышной шевелюрой, высокий, широкоплечий, веселый и умный рассказчик, добрый и знающий все на свете учитель.

Мы представляем, как Иван Антонович прямит спину, шевелит свои кустистые брови и говорит строго: «Почему же из вас никто ни по столярному делу не пошел, ни по лесному? Зря, видно, я рассказывал и приучал вас к лесу. Эх, молодежь!»

Голос его с хрипотцой, а лучики морщинок собираются в хитрую усмешку.

Мы договариваемся навестить старика. Назначаем срок. Потом его переносим, откладываем. То одно, то другое мешает нам. А время идет.

Посадки наши давно стали лесом...

1978

Татьяна Карманова (Естамонова)

ПРОЗАИК С СЕРДЦЕМ ПОЭТА

Геннадий Естамонов писал легко, как дышал. С самой юности в его записных книжках среди рабочих записей разбросаны... стихи, рифмы.

Неудивительно, что в одном из писем друг семьи, искусствовед Тамара Анисимова написала ему из далекой Беларуси: «Мне так думается: конечно, Вы, Геннадий, больше поэт, чем прозаик. Желание приподнять и воспеть то, что прочувствовано, что дорого. Если б Вы знали, сколько я получила удовольствия, как смеялась и плакала. Читала и гладила эту книжицу – такая она родная. Понятная... Огромное спасибо за написанное так искренне, просто и с большим сердцем».

По большому счету она права: Геннадий Естамонов и был таким прозаиком с сердцем поэта. Стихотворный ритм – музыка души. Не находя выхода, стих переливался у него в образы прозы.

Он не вел дневники, не записывал наблюдения и сюжеты. Садился – и писал. Ночами. Много курил, пил крепкий чай.

Правок было мало, совсем мало, отмечала его жена, его первый читатель, первый критик и редактор – филолог, журналист, писатель Зоя Естамонова. А он ведь не то что Литинститута не окончил, даже образования гуманитарного не имел. Был химиком, инженером-технологом.

Думаю: а может, поэтому легко писал? Может, потому, что не знал, как правильно? Не выдумывал сюжеты, не высасывал их из пальца... Писал, выплескивая то, что не мог держать в себе, чем хотелось поделиться с людьми.

Главная тема, с которой он начал свой творческий путь и которую он никогда не бросал, – это детство. Не сытое, домашнее, а детдомовское, трудное – военное, послевоенное. Лишенный с малых лет домашнего тепла, воспринимал коллектив педагогов и ребят-воспитанников как большую семью – с ее радостями и бедами. Детдомовской жизни он посвятил свои первые произведения.

С какой любовью написан рассказ «Дядя Ваня» о столяре Иване Антоновиче Клопове! На занятиях в столярной мальчик Гена впервые испытал уважение к труду, а самого мастера, как и все его друзья, считал отцом. В рассказах «Кобчик», «Обида», «Подарок» – взаимоотношения детдомовцев друг с другом и природой, их маленькие трагедии и радости.

Годы, проведенные писателем в детском доме, нашли свое отражение и в повести «Детдомовская любовь». Читатель попадает в дружный коллектив взрослых и детей, для которых детдом стал родным. Я не зря сказала «попадает»: Естамонов мастерски создает «эффект присутствия», позволяющий читателю ощутить себя не только находящимся на месте события, но и участвовать в нем. А разговор с читателем ведет неспешный, доверительный – так, словно встретились два старых товарища и вспоминают былые годы.

О нравственном становлении поколения, чье детство опалено Великой Отечественной войной, писатель рассказывает в книгах «Свое место», «Здесь я живу». Повесть «Долгая зима» посвящена событиям Гражданской войны и тяжелым временам коллективизации в сибирских селах. Повести предшествовала долгая работа в архивах, но в основном автор опирался на рассказы очевидцев тех лет.

Примечательно то, что никогда писатель не делил людей на «своих» и «чужих», на русских и татар, евреев и украинцев – с детства он общался с взрослыми и детьми разных национальностей. Люди для него – это большая дружная семья. Об этом повесть «Дом у шахты». Шахтерский поселок. Дом, в котором разместились семьи эвакуированных – русские, татары и немцы. «У меня пятеро друзей, есть и еще, но они школьные, а эти все домашние (рассказывает маленький герой Стас. – Т. К.). Живем мы в одном доме, вроде бы одной семьей. Сжились, сроднились роднее родных, как кусты малины на таежной гари. Нам кажется порой, что мы кровные родственники, хоть и лицами разные».

Вот так в бытовых ситуациях, ненавязчиво автор создает своеобразный символ семейственности разных национальностей Советского Союза. Писатель Зинаида Чигарёва подтверждает: «Повесть сильна своим интернациональным духом. Она, по сути, раскрывает источник той силы, благодаря которой мы победили в Великой Отечественной войне».

Рассказчик (или повествователь) и герой в прозе писателя чрезвычайно близки, а порой почти отождествляются друг с другом. И ни в одной повести или рассказе они не бывают антагонистами. Такое слияние голосов повествователя и героя говорит о стремлении автора к позиции не отрешенного судии, а родственника, сочувствующего, равного своим персонажам. Об этом и говорит множество добрых людей, которыми населена его проза.

Герои произведений Геннадия Естамонова – свидетели и участники Гражданской войны, коллективизации, Великой Отечественной войны, трудных, но созидательных послевоенных лет и разрушительных девяностых. Манера его письма искренняя и доверительная. Не зря же он писал: «Герои мои похожи на вас. Они любят работу, страдают, де-

лают ошибки, сидят в тюрьме, воспитывают детей. Они совсем обыкновенные, но они думают о смысле жизни, размышляют о добре».

Эту особенность его прозы подчеркивала и литературовед Т. Ваганова и считала главным достоинством прозы Геннадия Естамонова способность к «сотворчеству с читателем» и умение создать «удивительный, доверчивый, многомерный мир без авторитарности, не разъясненный до конца, недосказанный, дающий простор читательским ассоциациям».

Еще одна тема, проходящая через все его творчество, – это природа и взаимоотношения с ней автора. Он не мыслит себя ни вне, ни над природой. Природа огромна, добра, неисчерпаема и всегда рядом, даже если человек небрежен с ней, как нерадивый сын с матерью. Лес у Геннадия Естамонова живой, он и кормилец, и утешитель, и дом родной: «То тревожно шумящий, то печально-таинственный... лес для нас место игр и дом, вернее, продолжение дома. <...> Еще лес для нас столовая». Березовый сок, кедровые орешки, семена сосновых шишек, луковицы саранок и кандыка, колба, дикий лук-слизун на прибрежных скалах, боярка... К этому добавлялась огородная снедь: турнепс, морковка, горох, испеченная на костре «картошка-раскартошечка» – всем этим щедро делилась с детьми природа и земля в голодные послевоенные годы.

Через всю жизнь автор пронес эту бесконечную любовь к природе, он чувствовал ее живое дыхание, а его таежные походы были счастливейшими моментами в жизни и потом находили отражение в творчестве. «Сумерки спустились на тайгу, сгустились там до темноты, и темнота медленно потекла в распадки, лощины, русло реки, наполнила их собой и стала подниматься выше, поглощая свободное пространство. Огромный звездный купол сиял надо мной. Звезды переливались, мерцали и притягивали. Подумать страшно, какая бездна пространства и времени разделяют их друг от друга и от нашей матушки-Земли. А если поверить, что наша Солнечная система на краю Вселенной, то я сейчас, стоя на берегу Вилюйки, одновременно нахожусь на самом краешке мироздания и молча горюю о потерянной рыбе. Мне стало весело, и я громко рассмеялся».

Как химик, Естамонов, как никто другой, осознавал ответственность человека за состояние природы: вырубленные березовые колки в любимой Ивановке, где он жил летом, загазованный воздух и загрязняемые стоками реки. Поэтому находил время и писал очерки, в частности, о малых реках – притоках Томи: «Родная сестра», «Три сестры», «Золушка-Искитимка».

Особой болью для него, интернационалиста по убеждениям, стал распад Советского Союза, на который он отозвался повестью, написанной им в непростые для страны 1990-е годы, – «Торгуем все». Доверительные интонации, теплый голос писателя-рассказчика здесь исчезают, обретая довольно жесткую эмоциональность. Злая ирония, горечь – этими чувствами пронизано все повествование. К торгующим он относил и себя. В перестроечные годы нищеты он торговал своими книгами, стараясь заработать на дорогостоящие лекарства.

Ему хотелось сказать о многом, но подвело здоровье. Он не успел завершить то, что называл «Трудной повестью». Своей дочери и внучке он никогда не читал литературных сказок – придумывал сам; их, веселых и смешных, у него было великое множество.

На всю жизнь писатель сохранил любовь к поэзии. Последнее, что он написал незадолго до смерти, были стихи, переданные им жене из больничной палаты с припиской: «Что-то настроение у меня журавлиное...»

Вел вожак журавлиную стаю
С милых мест на неведомый юг,
В камышовых озерах оставив
Теплоту своих гнезд и уют.

А озера уж пенились снегом,
Многоствольный камыш жег свинцом,
И взлетевшая стая с разбега,
Горько крикнув, простилась с юнцом...

Татьяна Карманова

БИОГРАФИЯ ГЕННАДИЯ ЕСТАМОНОВА

«Про тебя, дорогая Сибирь...» Я закрываю глаза и переношусь на полвека назад.

Папа сидит на краю моей кровати и, убаюкивая меня, поет:

Песню пел паровоз
Под веселый стук колес.
Эту песню запомнили мы.
Эта песня про даль,
Эта песня про ширь,
Про тебя, дорогая Сибирь.

И ушел паровоз,
И замолк шум колес,
Но оставил он песенку нам.
Эта песня про даль,
Эта песня про ширь,
Про тебя, дорогая Сибирь...

Эта песня наша, семейная. Ее сочинили вместе папа и мама. Мама – филолог, выпускница Ленинградского государственного университета, редактор на только что основанном Кемеровском телевидении, папа – простой слесарь-аппаратчик на «Карболите»... Папа всегда был рядом. Возился со мной маленькой. Когда подросла – вместе гуляли и катались с горки, ходили в лес по грибы и на рыбалку. Если я собиралась заплакать, он спрашивал: «Ты рыбак или слабак?» И слезы улетучивались. Называла его «папушечкой». Наверное, он так дорожил семьей, потому что в детстве, по сути, ее у него не было. Он не особенно любил говорить о грустном, но его историю я знаю очень хорошо.

Родился Геннадий Акепсимович Естамонов 2 августа 1937 года в городе Сковородино Амурской области. Отец его Акепсим был непро-

стым человеком, достаточно жестким с детьми и женой, а мама Людмила была, наоборот, тихой и покорной. Когда она умерла, папе было девять лет, и его вместе с двумя младшими сестрами и братишкой отправили в Анжерский, затем в Верхотомский детский дом.

Видимо, из детдомовского детства у него такая сильная вера в коммуны, повышенное чувство справедливости и любовь к природе, ко всему живому. У детдомовцов тогда все было поровну, они жили, рассказывал папа, как в большой семье. Свободное время проводили в лесу, на реке, привечали и прикармливали своим скудным пайком всех окрестных собак, лечили больных животных. Жизнь в детдоме всегда вспоминал с огромным теплом, несмотря на все лишения: трудно жила страна в послевоенные годы.

...После смерти папы я перебирала его рукописи и нашла автобиографию. «Моя страница в рабочей биографии Кузбасса – двадцать лет работы на химических предприятиях. Начинал слесарем-аппаратчиком, заочно окончил Казанский химико-технологический институт. После службы в армии в 1959 году принят на завод «Карболит». Я горжусь, что был одним из тех, кто запускал первый в Союзе знаменитый цех ионообменных смол...»

Я будто услышала родной голос. Химическое предприятие. Ну какая уж тут поэзия? А он рассказывал про свои смолы как поэму читал! И даже стихи и сказки сочинял для меня про них...

Многолетний труд на кемеровских химических предприятиях «Азот», «Карболит», «Химкомбинат» был отмечен высокой правительственной наградой – орденом Трудового Красного Знамени.

Школа писательского опыта отца началась еще в армии, где он писал корреспонденции в армейскую газету Забайкальского военного округа «На боевом посту», и продолжилась в заводской многотиражке. Первый рассказ напечатан в 1962 году в газете «Химик». Очерки и рассказы публиковались в газетах «Кузбасс» и «Комсомолец Кузбасса», в альманахе «Литературный Кузбасс», в журнале «Огни Кузбасса». В 1961 году стал членом Союза журналистов СССР, а в 1987 году членом Союза писателей СССР.

Папа работал на заводе, а ночами писал. Химическое производство, ночные бдения, тяжелое детство – неудивительно, что здоровье пошатнулось, и сильно. После выхода на пенсию по инвалидности стало очевидно, что не лекари ему нужны, а целебное общение с природой. Именно природа всегда возвращала ему физическое и душевное здоровье.

...В середине 1970-х мама – Зоя Николаевна Естамонова – снимала очерк о художнике Викторе Зевакине. Съёмочная группа приехала в Ивановку, где у Виктора Сергеевича был летний домик. Затерянная в тайге деревня, добраться до которой можно было только по реке, Ивановка в то время была настоящим сибирским Барбизоном. Кроме Зевакина, ее «открывателя», здесь жили и работали Яков Буймов, Александр Макеев, Анатолий Чернов, Валерий Громов, Ольга Чукина, супруги Августа Тарнавская и Анатолий Хуторной. Приезжали погостить к друзьям и другие художники.

Много деревень красивых. Но Ивановка обладает особым магнетизмом. Более таинственной и обаятельной, чем она, в Кузбассе вряд ли можно найти. Иначе как объяснить, что она сразу брала в свой таежный плен всех, кто в ней хоть раз побывал, и ее облюбовало столько художников? Вот и мама в следующий раз приехала к Зевакину в гости с папой. Он даже не сомневался: никаких дач! Только Ивановка. Купили домик хоть и небольшой, но с огромным участком и единственным в деревне кедром возле дома. Он жил там с весны до поздней осени. Мама приезжала по выходным, а после ее выхода на пенсию они по полгода проводили в любимой деревне. Думаю, годы, проведенные в Ивановке, были счастливейшими в жизни родителей. Кузбасс соединил их судьбы, и 50 лет они были неразлучны; всякое бывало в жизни, но их любовь преодолела все невзгоды. Когда родилась моя дочь, папа так же нежно любил ее и возился с ней все лето в своей любимой Ивановке.

Мама... Не только его любимая женщина, но и единомышленник, и первый читатель, и редактор его книг. Она всегда удивлялась, что редактировать его книги практически не приходилось; папина грамотность, считала она, оттого, что он читал невероятное количество книг, ну а талант – дар Божий.

Отец вдоль и поперек исходил берега таежной реки Заломной, уходил в тайгу на несколько дней и очень часто рыбачил на Томи. Слушал рассказы местных жителей, которые, попривыкнув к художникам, теперь с гордостью говорили: «У нас настоящий писатель живет». И практически ежедневными гостями на папином дворе были собаки, которых он подкармливал. Местных лаек деревенские аборигены отпускали на «самовыгул» и не особенно заботились об их пропитании: «Пусть мышкуют». «Мышковали» у папы во дворе.

...Смотрю на графическую работу Ольги Чукиной. На переднем плане лицо отца на фоне реки Томи и маленькой фигурки рыбака – конечно же, это он, папа. Художница чутко уловила его невероятную связь с природой.

Он никогда не писал в Ивановке, вел жизнь деревенского жителя, но, приезжая в Кемерово, сочинял ночами свои повести и рассказы. Говорил, что Ивановка – это его энергетическая подпитка.

Прочитала сейчас написанное и подумала: какой-то получился портрет ангела. Нет, папа, конечно же, никаким ангелом не был. Мог быть жестким, любил черный юмор и сам был большим шутником, любил розыгрыши. Не всем это нравилось. Но вот ведь какая штука: сейчас вспоминается только лучшее.

Похожие друг на друга, мы нередко ссорились. Как-то он мне сказал: «А знаешь, сестры приехали к умирающему отцу. А он ждал меня. Я не приехал, не простил тогда. А сейчас очень об этом жалею».

Свою книгу «Детдомовская любовь», вышедшую в 1986 году, он подписал мне так:

Когда меня не будет в этом мире,
Вспомни.
Еще прошу, когда я есть сейчас,
Не забывай.
А если я бываю резким, злым, нескромным –
Суди меня, прости меня, но
Не осуждай.

Папа ушел из жизни 13 июля 2012 года.

В Государственный архив Кузбасса на постоянное хранение переданы документы, рукописи из семейного архива Геннадия Акепсимо-
вича и Зои Николаевны Естамоновых.

Книги Геннадия Акепсимовича Естамонова:

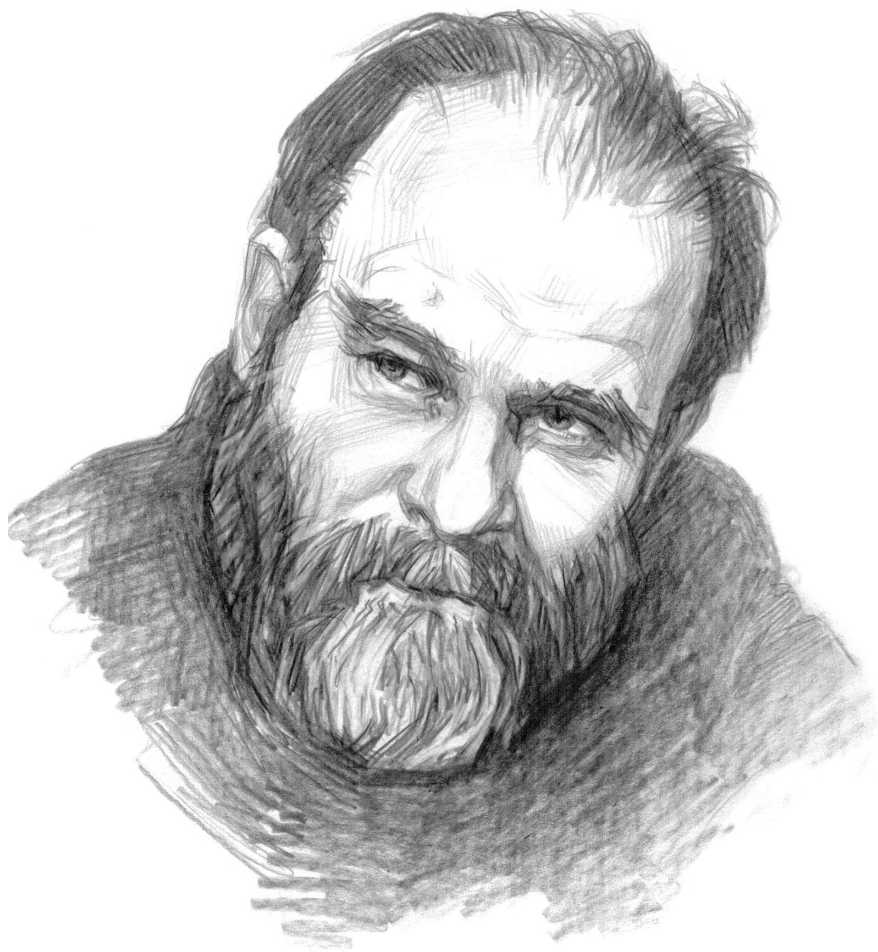
Здесь я живу : повести. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1983. – 272 с.

*Детдомовская любовь : повести, рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-
во, 1986. – 304 с.*

*Свое место : повести. – Москва : Современник, 1987. – 348 с. – (Новинки
«Современника»).*

Долгая зима : повести, рассказы. – Кемерово : Ковчежек, 1996. – 245 с.

Дом у шахты : повести. – Кемерово : Сибирский писатель, 2011. – 617 с.



Владимир Андреевич Коньков

*11 ноября 1935 г., с. Талое, Красноярский край – 18 января 1999 г.,
Кемерово.*

Прозаик, журналист, поэт. Член Союза писателей СССР с 1983 года.

РЯБИНА У КРЫЛЬЦА

Дмитрий Константинович все наказывал:

– Ты не вздумай без меня картошку копать. Знаю тебя, хлопотуню. Погода вон какая! Мелочь добирай, морковку подергай. А за картошку не берись, слышишь, не берись. К субботе непременно возвернусь.

Так он наказывал уже от калитки. Наталья с вечера мыла полы, выскоблила голиком и плахи, проложенные от крыльца к заплоту.

– Глади мне тут, – слегка толкнув Наталью в бок, шутливо состроился Дмитрий Константинович. – Глади!

На нем было длинное против теперешней моды серое габардиновое пальто и серая же фетровая шляпа. В одной руке сетка с гостинцами, к внуку на день рождения собрался, в другой – толстая полированная сучковатая трость фабричной работы. По домашним делам когда управлялся, то всегда пользовался своей, самодельной. Без палки уж годов пятнадцать как не ходит далеко; по травме из шахты вывели.

Но хоть и хром, отчего при ходьбе слегка сутулится в спине, Дмитрий Константинович выглядит бодро, осанисто. И уж никак не дать ему шестидесяти пяти, особенно когда вот таким франтом вырядится.

– А ты и не спеши. Чего тебе торопиться, Константиныч, – Наталья пристально оглядывает его, обирая с пальто чуть приметные не то ниточки, не то пушинки, – коли будут принимать хорошо, ну и гости. Хозяйство-то невелико, управляюсь...

Ее круглое со вздернутым носиком лицо румяно. Она в фуфайке, в стоптанных полуботинках на босу ногу. Полные икры красно обдало холодом от инея, выбелившего огородную зелень.

– Шла бы в избу, а то вот и ноги как в огне, еще и застудишься, – говорит Константиныч, легонько подталкивая ее.

– Да что мне станется, – улыбается Наталья, – я от мороза, как та рябина, только слаще!

– Да и то! – смеется Константиныч и, быстро нагнувшись (против него Наталья вовсе коротышка), целует ее.

Из-за калитки опять обернулся:

– К обеду в субботу жди.

Дмитрий Константинович оглянулся с моста, проулок их выходил к нему. Наталья стояла на крыльце на фоне сенок, желтеющих в утренней голубой светлости, и узорчато лежали на их тесовой крыше оранжевые гроздья рябины.

Маленьким прутиком посадил ее Дмитрий Константинович в год рождения сына. Она почему-то высоко в рост не пошла, раскинулась, расшеперилась, и ветки только что в дверь не лезут.

Оглянулся Константиныч, но махать не стал, как раз сосед Григорий Лешаков окликнул:

– В гости, Константиныч, в Междуречье? А что это ты без молодой-то али Генке мачеха не по нутру?

– А что он мне за указ – Генка? – Дмитрий Константинович чуть замедлил шаг. – Хозяйство, сам знаешь, не бросишь.

– Это верно, – подтвердил Григорий. – Ее, холеру-скотину, тоже кормить надо.

Он явно был настроен на разговор, подошел совсем близко к забору. Но Дмитрий Константинович сделал вид, что не заметил этого, и прибавил шагу.

Сын Геннадий прислал письмо: дескать, внуку твоему, Дмитрию Оськину, исполняется десять лет, посему ждет он деда в гости. Так и написал: деда. Вот и собрался Константиныч в Междуреченск, где живет Геннадий, он там горным мастером на шахте. Было это во вторник, поутру.

...А в субботу Наталья к обеду наварила борща, испекла пирог с рыбой (в магазин палтус привезли, а Константиныч очень уж любил, когда она рыбный пирог пекла). Часа в три стала затапливать баню. Печь Константиныч недавно переложил сам, новый бачок вмазал. И часу не прошло, а баня уже готова была. Наталья и корму задала курам и поросенку пораньше, и в избе прибрала. Глянет на часы, а уж четыре, пять, шесть...

Часов до восьми она все подтапливала баню. Потом поняла, что не приедет он сегодня. Топила она баню и в воскресенье к вечеру. Только Дмитрий Константинович и в воскресенье не приехал. А утром в понедельник, часов в одиннадцать, появился сын его, Геннадий Дмитриевич.

Наталья была в избе, когда услышала, как затыкала строго Жучка. Вышла на крыльцо и не признала было гостя. Виделись они один-два раза. Она прикрикнула на Жучку, бросила в нее попавшей под руку палкой, та забилась под крыльцо и все рычала.

– Здравствуйте, – сказал Геннадий Дмитриевич, когда поднялся на крыльцо.

Зашли в дом. Наталья молчала.

Гость тоже молчал, потом, все стоя у порога, объявил:

– Похоронили мы в субботу отца. В среду умер. Сердце отказало. В субботу похоронили.

Он прошел и сел на табуретку. А Наталья с удивлением и непониманием смотрела на него. Руки только к груди подняла, стояла и глядела на сидящего за столом в светлом плаще мужчину. Молчали.

– Чисто у вас, – глядя на пол, сказал Геннадий Дмитриевич.

Потом шляпу, что держал на коленях, положил на стол.

– Как же вы это так? – только и спросила Наталья и все смотрела на Геннадия Дмитриевича.

Ноздри его широкого большого, отцовского носа приметно шевелились. Единственно, что и произнесла.

Не поднимая голову, гость с нескрываемой досадой произнес в ответ:

– Да вы сядьте, чего уж там... – и, забрав со стола шляпу, стал вертеть ее в руках, стряхивая невидимые пылинки.

– Разделись бы, Геннадий Дмитриевич, – тихо пригласила Наталья. – А я тут сейчас. – Она медленно пошла из комнаты, осторожно притворила дверь.

Геннадий Дмитриевич перестал теревить шляпу и стал оглядываться вокруг. С тех пор как он был здесь последний раз, полгода назад, ничего не изменилось. Все было по-прежнему. Шкаф на стене между печкой и кухонным, отцовской работы, столом. Рукомойник около узкой отгородки возле двери.

Новое – только занавески на дверях в горницу, раньше их не было. Геннадий Дмитриевич привстал, протянул руку, в тесноте тут и подниматься с табуретки не стоило, и чуть приподнял занавеску. И в горнице

ничего не изменилось как будто. Прямо против двери, над комодом, на котором стоял телевизор, висел портрет молодых отца и матери. И все-таки что-то было в горнице от нее, этой чужой ненавистой женщины, с которой он приехал рассчитаться раз и навсегда. И за свой позор, что пришлось пережить в последний приезд, и за смерть отца, ибо был уверен Геннадий Дмитриевич: если бы не Наталья (он и имени-то ее не мог произносить без злобы), то жить бы да жить старику.

А позор вышел на всю Родниковую. На Родниковой тайн не бывает. У кого что ни случись, все равно как ветром по логам разносит, от старого террикона до Коровьего лога все узнают. Вот и в этот раз. Еще и до дома не дошел Геннадий, а про новость уже наслышался.

Он приехал с женой и Димкой попроведать старика да еще попытаться уговорить его все-таки продать избу и переехать в Междуречье. А тут видите: понавез дед ящиков из-под консервов, разобрал на досточки их и принялся старую избу обшивать. Одна стена у него уже готова была, а сенцы и вовсе новым тесом перебрал.

– Ты чего это, тятя? – поинтересовался Геннадий, после того как они поздоровались и закурили на крыльце. – Тут мне про тебя прямо анекдоты рассказывают! Я тебя все к себе жду. Пора и избу уж продавать, очередь на машину подходит! И вообще, старик один! Я сестре Юльке написал, а у тебя, говорят, медовый месяц? Это как же понимать, тятя?

– Так и понимать, что не твоего это ума дело, сынок. Приехали – ну и, пожалуйста, гостями в дом...

– Да она же нашей Юльки моложе, папаша, поддержала Геннадия сноха. – Прошлым летом – помните, как ее Поздничиха гоняла по всем трем Родниковым улицам? Да если бы одна Поздничиха... Честное слово, вы меня простите, но это уже ни в какие ворота... Люди аж у магазина встречают: «Свихнулся ваш дед, Наташку в дом взял!»

При этих словах и увидел впервые Геннадий Наталью на пороге отцовского дома. Двери растворились, и женщина встала как в рамке. Невысокая, плотная. Она слышала, все слышала, это было видно по лицу, сквозь круглые щеки которого проступила злость сдерживаемого гнева.

Сказала же тихо, без улыбки и с достоинством:

– Звал бы, Константиныч, гостей в дом. Чего на ветру-то держать. – И пошла сама, не закрыв дверь.

Старик дверь притворил и строго сказал:

– Наталья мне по закону жена. Расписались. В мачехи вам не навязываю. Но обижать не допущу...

Настырность отцовскую Геннадий еще с детства знал. Помнил даже, как они с матерью ему на шахту «тормозки» (то есть еду) носили. Однажды отец почти двое суток не поднимался из забоя, чинил мотор. Слесари не могли, видно, ничего поделаться, вот он и взялся им доказать.

Мать тогда всю ночь проплакала, глаз не сомкнула. Чуть свет его, Генку, за руку и через гору по лесу, так быстрее, на шахту. И всю дорогу почти бегом, да все в слезах; глядя на нее, и Генка ревел. А на шахте успокоили: «Живой ваш Оськин. Только сказал: пока не запустит мотор, на-гора не выйдет». На своем и настоял, «тормозки» ему со сменой передавали.

И дома все по-отцовски всегда было. Но ругани никакой. Может, мать с ним ладить умела, а может, и сам он. В доме как-то мало говорили, но, наверное, между родителями все-таки согласие держалось. Они все вместе делали. И даже по ягоду, Геннадий помнит, по землянику ходили вместе...

А теперь смотрит он на портрет над комодом. Прямо на него глядят отец и мать. И тут неожиданно подумалось Геннадию Дмитриевичу, что ведь, в сущности, ни того ни другого он как следует и не знал.

В тот приезд, уже сидя за столом, а Наталья оказалась мастерицей готовить, он не утерпел и опять завел разговор, только уже о матери. От обиды, что в их доме хозяйствует какая-то разбитная молодайка.

– Соседям-то не стыдно в глаза глядеть? Вы с матерью сколько – почти сорок лет прожили, внуки вон какие, а ты, значит, в память о ней любовницу заводишь? Ей, поди, над тобой, старым, потеха, помрет, думает, мне все и останется! Ты глухой, слепой, что ли? Значит, мать всю жизнь спину гнула со скотиной и огородом, нас растила, тебя обихаживала, а теперь это в приданое прелестной твоей барышне? Она тебе еще покажет, вон какая! Ядреная!

И все это при ней, при Наталье. Зря не зря, а вот сказал.

Рубанул кулаком по столу старик, все ж таки была в нем силенка, как рубанул – стаканы на пол, тарелки вверх дном. Ноздри раздулись, глазищи выпучил.

– Ты, – говорит, – подлец, за чьим столом сидишь?

А Наталья встала, подошла, руку ему на плечо положила и тихо сказала:

– Не шуми, Константиныч. Это же не Геннадий Дмитриевич говорит, это же все водка. А ты не шуми, вредно тебе, знаешь, так и сердце недолго надорвать... Давайте-ка по-хорошему поговорим.

Так и утихомирила старика, а то бы драка неминуемо. Наутро Геннадий Дмитриевич со всей семьей уехал молча. С тех пор и не бывал. А вот и пришлось снова побывать дома, в ostatний раз, только уж теперь и без матери и без отца.

Сидит он один в избе. Вот вернулась и Наталья. Глаза красные. Плакала. Однако голос ровный, без дрожи.

– Чего же вы не разденетесь, Геннадий Дмитриевич? Да в горницу проходите.

Наталья на своем настояла. Геннадию в горнице не сиделось. Раздвинул занавески в кухню, где Наталья хлопотала около печи.

– Выйду покурю, – сказал он.

Потому что все никак не мог подступиться к разговору, ради которого приехал. Эта Наталья вежливость, какое-то ее смирение все сбивали его с толку.

– Чего уж, – остановила она его. – Отец всегда в избе дымил. Вон и запас его. – Она указала на печной приступок. – «Приму» все я брала никак не меньше двадцати пачек зараз. Мама ваша, покойница, отец говорил, так же покупала.

Геннадию Дмитриевичу вспомнилось, что, действительно, у отца всегда на этом печном приступке лежали сигареты. Вот только какие, он этого не замечал.

– Григорий Лешаков – сосед, знаете? – спрашивал: чего это, говорит, Генка прикатил без Дмитрия? Ну я и сказала ему. – Наталья от печи обернулась и говорила вроде бы винась. – В субботу обязательно возво-

рочусь, сказал. – И не утерпела, подняла фартук и стала им утирать слезы, говоря: – Вы уж покурите в избе, Геннадий Дмитриевич, покурите...

Тут Григорий Лешаков со своей Клавдией вошли в избу.

– Вот так, значит, – вместо приветствия сказал Григорий, а Клавдия торопливо перекрестилась и добавила:

– Царство тебе небесное, Митрий Константиныч...

Наталья уткнулась в фартук. Сквозь слезы проговорила:

– Проходите в горницу.

Пришли еще соседи: Петр Табаков с женой. И изба уже полная. Геннадий Дмитриевич рассказывал, как приехал отец, как с Димкой они в шашки играли, как по городу гуляли, на скульптуру оленя ходили смотреть, потом на реку, даже в ресторан «Бельсу» заходили пиво пить. Старик бодро выглядел.

– Бодро, бодро! – подтвердил Лешаков. – Силенок в нем еще было. Нынче мне на покосе помогал. А говорил, помню, когда лежал прошлой зимой в больнице, что у него картиграмма обнаружилась плохая. Сердце как вроде надорвано.

– Да вить вот же мы с ним собирались печь у меня перебрать, – вставил Петр. – Вот дед, а? – удивился он, как будто сосед его невесть что отчебучил.

Про то, что Наталью не известили, о том никто не заговаривал. А она на стол стала собирать, выставляла посуду, вилки, хлеб. Разлила в рюмки.

– Вот к баньке купила, – виновато сказала Наталья и провела рукой по косам. – И платка-то черного нету. Говорил, в субботу возворочусь непременно. А вышло за упокой, Дмитрий Константинович.

Она посмотрела на фотографию над телевизором, и все поглядели. Молодо и строго из рамки глядели Оськины.

– Анна-то его, – сказала Клавдия, – тоже легко, от сердца же померла...

– Максим Завялов не знает, – сказал Лешаков. – Они же еще по Гражданской знакомы, в Кузнецке в ЧОНе вместе были. Митрий все рассказывал, как они банду в Кузедееве кончали. Бывало, подопьет как, об чем бы ни говори, а он на свое, на одно поворотит...

Поминал, поминал покойный молодые годы. В Тополинск на шахту Оськин приехал из Кузнецка, демобилизованный по ранению. Приехал с женой Анной. До того она в Кузнецке в няньках жила. Случалось, и в народом с чужим дитем прибегала. Дмитрий в буденовке ходил, портупая через плечо.

Поцеловал Дмитрий Анну впервые однажды по вечерней темноте, когда они возвращались из нардома.

– Прослышал я, – сказал он, – в Тополинске новый рудник открывается, дело интересное. Вот решил туда податься. На шахту. Поедешь со мной? – спросил он.

– Поеду, – не задумываясь согласилась Анна. – Надоело мне чужие пеленки стирать!

Оказалась она доброй хозяйкой, женой внимательной, чтоб ласковой шибко – не скажешь, но всегда уважительной, всегда помощница, всегда рядом. Может, и хранила что свое, а может, и сразу привыкла к тому, что мужнино слово первое. Только в доме было заведено: так, как скажет отец, тому и быть. Раз только у них крупная размолвка вышла. Незадолго до того, как ей помереть...

Геннадий Дмитриевич приехал и объявил, что решил он от жены своей Галки уйти. Они в Междуречье и жили. Дмитрий Константинович круто с сыном поговорил. Дескать, сводить вас никто не сводил, а вот теперь, когда двух детей нарожали, оказывается, и не подходите друг другу.

Мать вступилась за Геннадия. Тут они и повздорили.

– Не любит она его, понимаешь? – внушала мужу Анна, когда они вечером сидели на крылечке.

Летние вечера всегда так проводили. До темна до самого, после дел всех, сядут на верхнюю ступеньку и сидят. Дмитрий Константинович курит, Анна разговоры ведет.

– Жалко мне его. Чем с нелюбовью маяться, так уж лучше и совсем одному.

– Это что же за штука такая – любовь, по-твоему? – спросил Дмитрий Константинович. – Распустились, вот и все тут. Мается... А дети при чем? Вот ты с утра до вечера топчешься по хозяйству, и про любовь думать некогда. А может, тоже маешься?

– А чего про нее думать, про любовь? На ней душа человеческая и держится, – сказала Анна. Сказала не на судьбу в оглядке, а вроде как неудержанный вздох, что стеснение в груди облегчает, вырвался. – Голова с сердцем, бывает, не в ладу живут. – И неожиданно покаялась: – В церкву я тут ходила, ты уж не серчай. С Никитовой ходили. Поплакали, об Геночке Бога просила. Ладу бы в его жизни надо. Ладу бы...

Видать, дошли материны молитвы до Бога. Геннадий Дмитриевич по-прежнему живет со своей Галиной. Мать уже давно похоронили и отца вот в чужом городе зарыли в землю.

Лешаков все-таки спросил:

– А что, Гена, отца-то бы сюда привезть? С матерью бы рядом положить.

И все на Наталью посмотрели. А она – на всех и опустила голову виновато.

А Геннадий Дмитриевич сказал:

– Юлька, сестра, не захотела. Мы ее телеграммой вызвали. В Тополинске, говорит, никого наших не осталось. А у нас хоть будет кому на могилку сходить...

Замолчали за столом. Клавдия Лешакова поднялась. Встал и Григорий, за ним и другие соседи. Клавдия вдруг обняла Наталью, и заплакали они навзрыд, громко, как только бабы и умеют плакать. Остальные все вышли из избы.

На крыльце Григорий спросил:

– Дом-то неужто этой вертихвостке?

– Это еще с каких калачей? – удивился Геннадий Дмитриевич. – Она, можно сказать, его в гроб вогнала. Да лучше спалить. Я вот и приехал по этому делу.

– И то правильно. – Григорий понимающе покивал головой. – Ей что, дело молодое, завтра хахала приведет. Мало их у нее тут?

– И как старик такое учудил? – то ли удивился, то ли спросил Геннадий Дмитриевич.

– А это у них с прошлой зимы началось. Он тогда в больнице – помнишь? – лежал долго. – Григорий полез в карман за папиросой. – А она тут приглядывала по хозяйству.

...Было так. Весь январь Дмитрий Константинович пробыл в больнице. Перед тем как лечь, упросил он соседскую квартирантку Наталью – молодую, лет сорока, шуструю толстушку – похозяйничать без него. Работала она уборщицей в местном магазине. Говорят, была замужем. А в нынешнее время жила эта рыжая, с косой вокруг головы, на лицо симпатичная бабенка в свое удовольствие. Рассказывали, будто и выпить не пропустит, и мужиков уж на всех трех Родниковых улицах перебаламутила.

В обиходе же была она проста и обходительна, за что старики, хозяйева ее, очень уважали. Они-то и надоумили Дмитрия Константиновича попросить ее доглядеть по дому.

Несколько раз с передачей в больницу приходила, домашней еды приносила. Хозяйство она вела исправно. Блюла в избе чистоту.

Во всем этом убедился Дмитрий Константинович, когда из больницы выписался. Наталья в тот вечер и ужин сготовила. Нажарила картошки, достала огурцов из подпола. От денег за работу отказалась. Мол, самому пригодятся, а за красненьким сходил. Константиныч полстакана и выпил. Он уже давно себя удерживать стал. А Наталья весело предупредила:

– Ты мне, Константиныч, уж цельный наливай. И так жизнь половинчатая!

Была она в коричневом безрукавном платье, с лица светлая, румяная, головка аккуратная, все будто клонится на длинной шее.

– И то правда, Наталья, – сказал Дмитрий Константинович, – ты все в балахоне этом своем на людях, а поглядеть – баба ты ягодка...

– Только рыжая! – весело рассмеялась та, поднимая стакан.

– Ну и что, что рыжая? Зато сердечная и вон какая справная, а жизни, верно, нету...

– Не скажи, Константиныч, не скажи. От мужиков – что ли, не знаешь? – не пройтись. Да взять и соседа твоего Петьку, – смеется Наталья. – За твое выздоровление и с возвращением!

Медленно она выпила стакан, степенно на стол поставила. Взяла вилку, наколола на нее кусочек огурца.

– Веселая ты. – Константиныч с удовольствием ел картошку. – Заскучал по домашнему вареву. От научной диеты кишки чуть не слиплись. – И

неожиданно, без перехода, видимо, много думал об этом, сказал: – Генка в последний раз писал: хватит, говорит, людей смешить и нас позорить. Приеду и заберу. Целую комнату обещает отдать. У него палаты большие и этаж низкий – второй... Избу продадим, деньги, говорит, на твою книжку положим, нам они без надобности. Рассудил все как есть...

Дмитрий Константинович снова налил в стаканы.

– И верно, Константиныч, чего тебе бобыльничать? Был бы сирота. А то ведь и внуки есть, – заметила Наталья. – Хотя ты и с виду, конечно, еще справный, но одному-то сладко ли? Как вот она завоет, заметет, а?

Константиныч ладонью пригладил волосы. Они у него белые-белые, но густые, так торчком и торчат, как и в детстве.

– Оно, соседушка, не нами придумано-отмерено. У всякого своя радость. Генке – тому машину надо, Юлька с зятем в заграницу собираются. А у тебя опять радость – Петькиной Вальке досадить. Она бабенка, верно, злая, но уж ты бы ее пожалела, ведь трое же у них...

– Да на кой ляд он мне, ваш Петька, сдался, горе мое. – У Натальи от гнева даже слезы выступили и по щекам румянец пошел. – Да я же его дальше порога и не пускала никогда, а вот за то, что она на всю улицу меня позорит, этого я ей не спущу, повоюет она у меня. Коли я одна и слова некому сказать – так, значит, и вали все, что ни попало? Да был у меня свой такой Петька. Потерпела, потерпела, а потом в один миг рассчитала...

Она глубоко вздохнула, как бы самое себя останавливая. Неожиданно как-то хитро прищурилась.

– Ох и липучие вы, собачье племя, мужики! – рассмеялась Наталья, и гнева как не бывало. – Хирург ваш-то вовсе херувимчик. Образованный, при жене – и туда же... Может, во мне и впрямь сладость особая?

Наталья распалилась, смеется весело, голос напевный, и вдруг умолкла. Склонила голову, долго смотрела на скатерку и, точно разглядев что-то, провела по ней ладошкой, будто вытирая, а потом рукой как все равно паутину отвела с лица, улыбнулась себе, откинула назад свою рыжекосую голову – и Константинычу с улыбкой:

– В голове шумит. Давай песни петь, а? – И тихонько завела: – «Что стоишь, качаясь, горькая рябина...»

Подпевал и Дмитрий Константинович, смолodu он был не мастак на песни, поэтому шибко не выпячивался – так, басил потихоньку, что называется, за компанию.

Затявкала Жучка, потом приветливо завизжала, кто-то громко потолкался на крыльце, и вот позади белого клуба, закрутившегося в открытых дверях, оказался широкоплечий мужчина в фуфайке и без шапки.

– С возвращением, Константиныч, – обрадованно зашумел он. – Я своей говорю: у деда следы вроде как мужские во дворе видать, не иначе, оклемався наш сосед, не помер еще, – визгливо хохотнул мужчина, прошел и сел прямо к столу. – Она и говорит: а может, это твоя сучка кобеля привела. Это, Наташка, про тебя, значит. – Он опять весело взвизгнул. – Ох и стервы же вы друг на дружку, бабы...

– Ты тоже хорош гусь, – Наталья сказала без обиды, – я вот ей, твоей дорогой, еще косы-то расчесу... Ладно, скидай свою фуфайку, садись к столу.

Она встала. Около печки в простенке висел посудный шкафчик. Наталья достала стакан, вилку. Поставила все это перед гостем.

– Ну спасибочки! – развеселился совсем Петр. – Спасибочки! Ну, наливай.

Жучка вновь гавкнула, потом завизжала, и на этот раз вместе с белевыми всполохами морозного воздуха в избу вскочила маленькая женская фигурка.

– Сбежались, голубчики? – не поздоровавшись, спросила она.

– Здравствуй, соседка! – поднялся из-за стола Константиныч. Высокий, худощавый, он вовсе подпирал потолок. – Проходи, гостьей будешь.

И захромал навстречу. Избы-то всей было шага три...

– Нет уж, спасибочка, гостите сами. А ты, кобель, домой не показывайся!

Последние слова она прокричала, уже открыв дверь. Потом хлопнула ею так, что даже закачалась лампа над столом. И долго еще по полу тянуло холодом, остужая начавшееся веселье.

– Ну, Петька... – только и посочувствовал хозяин.

– И мне пора, Константиныч, спасибо за хлеб-соль, – поднялась Наталья.

Она стала собирать со стола.

– Оставь, чего уж, – Дмитрий Константинович тоже встал, – поди, не без рук. – И он, припадая на правую ногу, захромал вокруг стола. – И так тебе спасибо, в избе-то хоть живым пахнет.

– Да сядь ты, сядь! – Наталья взяла его за плечи и усадила на место.

Руки ее всего и момент один прикоснулись, а Дмитрий Константинович сквозь рубаху почуял их непривычное тепло и ласковую мягкость. Все это и происходило-то незаметную минутку, но обдало Константиныча жаром внутри. А Наталья уже поставила на стол большую чашку, из чайника плеснула кипятку, почерпнула ковшиком из бачка холодной воды, вылила опять в чашку и принялась мыть посуду.

Все у нее выходило складно, быстро, а она еще и приговаривала:

– Не надсадилась, поди. По-соседски как не помочь. А ты, Константиныч, и правда ездил бы к сыну. Он у тебя хороший, сноха учная и обходительная. В магазине я заметила, обходительного человека всегда видно. «У нас, – она говорит, – папаша только индийский чай любит...» Да и то сказать: семья – она и есть семья...

Потом повернулась резко так, платье туго на высокой груди натянулось, засмеялась:

– Пошли, кавалер! – Это она Петру. – Или женушку испугаешься?

– Чего это я пугаться буду? – бодрится Петр. – Правда, я без шапки.

– А тебе Константиныч даст. Найдется старенькая, Константиныч?

На лице ее улыбка. Говорит, а глаз с Петра не сводит. И словно разговор от них, от этих глаз, идет, слова не те, что Наталья вслух произносит, а другие – бесстыжие и ласковые. На Петра Константинычу и глядеть страшно стало. А Наталья уж в свою фуфайку облачилась. Тут Дмитрий Константинович что-то спохватился.

– Погоди-ка, соседushка, сей секунд.

Он прохромал в горницу, там загремел ящик комода. Долго искать ему не пришлось.

– Вот! – вернувшись к гостям, показал он большой черный с красными цветами шерстяной платок. – Тебе, Наташа, возьми. Его Анна всего ничего и носила. Моим девкам без надобности – немодный, а чего ему лежать? Возьми примерь-ка. Примерь.

Он с такой настойчивостью упрашивал, как будто боялся отказа. Наталья даже слова против не сказала. Движением привычным и быстрым она накинула платок на голову, туго обернув один конец вокруг шеи, и молча повернулась к Константинычу. Серьезно, чуть ли не строго глядела. Куда и игривость и смешливость пропали. Случается такое. Неожиданно на минутку раскроется человек и покажет неожиданно всю ясность и красоту свою.

– Ну и носи на здоровье, – сказал Константиныч. – А ты, Петр, и впрямь надень мой треух, завтра занесешь. – Он показал рукой на вешалку. – Не ровен час, и уши отморозишь.

...Стоят сосед Григорий с Геннадием на крыльце. Григорий оглянулся с опаской на дверь. Они остались вдвоем, Табаковы ушли, и доверительно вполголоса, почти шепотом заговорил:

– Это у них, Дмитрич, – зимой и случилось.

Геннадию Дмитриевичу стало не по себе. Припомнился ему последний приезд и разговор с отцом и то, что ни в какой командировке он не был. Просто не знал об отцовской болезни. Переписываться они не привыкли, так, открытки к празднику жена посылала, а тут чего-то у них самих дома не ладилось и, видно, забыли. Обидным и за себя, а больше всего за память о матери считал он стариковскую блажь... Они и строили вдвоем этот дом, прожили в нем всю жизнь – и на тебе! Он, Геннадий, зовет же отца к себе, комнату отдельную дает, на худой конец квартиру разменять можно, на его четырехкомнатную охотников всегда найдется. И на что сдалась отцу эта бабенка? Эта вертлявая толстушка на целых два года моложе сестры Юльки.

...Дом Дмитрий Константинович построил тогда, когда рядом еще ни одного соседа не было. И будили его с Анной летом поутру птичьих голоса, а зимой метелицы... Они с женой сами выбирали это место, в ту пору километрах в пяти от города и шахты. Сюда по угору ходили, косили вокруг траву. И не пугало, что до шахты далековато, зато привольно. Ребятишки, как зверята, круглый год на выпасах. Пили воду из родников, объедались саранками, пучками, мешками колбу – дикий чеснок – таскали. Генка с малолетства вместе с отцом на зайца да лисиц

охотился. Кузнецкие родственники, приезжавшие летом, откушав Ньюшиной рябиновой настойки, громко и от души всегда хвалили стол и место, но обязательно выговаривали за отдаленность.

Теперь этот дом самый старый на Родниковой улице. Их, к слову, уже целых три, Родниковых-то. Дома по логам и вверх по горе огромные, кирпичные, многие с полуподвалами, с мезонинами. Шахтеры основательно ставят дома. А дом Оськиных, что у самого подножия сейчас уже лысого перепаханного бугра, будто от бугра этого и цвет перенял, так его бревна потемнели, да и к земле пригнулся когда-то высокой крышей, и его два небольших окна смотрят в улицу из-за потрепавшихся наличников.

Уж после того как дочь Юлька вышла замуж и уехала, надумали вдруг Константиныч с Анной за земляникой сходить. Им пришлось идти через лог, застроенный домами, потом через вырубленную перепаханную рощу, спускаться к дальнему перелеску. До ягодников так и не дошли. Устали. Посидели около родника (он теперь как раз над дорогой оказался, что по кособору легла) и возвратились домой.

...Сосед Лешаков все дымил папирсой на крыльце отцовского дома и посвящал в подробности женитьбы отца Геннадия Дмитриевича:

– Наталья уж лет как пять-шесть у нас проживает. Бабенка, видишь, складная, ну вертихвостка, одним словом. Видать, заметила себе на уме, что старик долго не протянет, и повадилась постирать да прибрать... Глядь – и вовсе перебралась в избу... Ты, говорил я, соседка, никак спятил? Оберет как липку да еще и самого выгонит, на кой она тебе ляд, когда ты уж и не мужик вовсе? Это я его аккурат после сенокоса тем летом спрашивал. Он мне сено помогал косить. Ну, когда за столом-то сидим опосля, я и говорю: неужто сила в тебе мужицкая такую-то бабу иметь? И знаешь, что он объявил? Все ж он, должно быть, уж и тогда маленько на голову слабел. Мы, говорит, вчера по ягоду с Наташей – это с ней, значит, – показал через плечо на дверь Лешаков, – ходили. А верно, потому что пришел я его позвать, а во дворе одна Жучка. Еще подумал: и куда его унесло? То с утра все стучал топором. Видал, дом-то как обновил, вроде сто лет жить собирался. Вот и говорит: ходили мы по ягоду. А это знаешь теперь где? Аж во втором

перелеске. Может, помнишь? – спросил у Геннадия Лешаков. – Константиныч и говорит: прошли за пашни, а там опять бугры зеленые да березы и земляника-ягода. А сам смеется весело. Думаю, от бражки, может, охмелел, а он чудно и говорит... Я, говорит, вот последнее время все смерти боялся. Не того, что в землю, в пустоту закопают. А пустота, оказывается, просто во мне внутри жила. Ну а теперь вот и не жалко помирать. Это как, говорит, на покосе. Понял? Из кринки напьешься досыта, аж по лицу потечет, и все пил бы и пил.

А Геннадий Дмитриевич думал о том, что совсем об отце, о его жизни не знал он ничего. Не знал и не узнает никогда о том, как сошелся старик с этой молодойкой. Да, собственно, зачем ему все это, удивляется Геннадий Дмитриевич, отчего бы соседу Григорию помнить? Будто знал, что пригодится ему все это.

– А вообще-то отец твой мужик был мировой, уважал его народ. Очень уважал... – продолжает Лешаков.

...После болезни повадился ходить к соседям Дмитрий Константинович, и однажды застал он у стариков Наталью, которая там квартировала, одну. Вошел, когда она пол мыла босиком, в коротком розовом старом платице. Наталья не разогнулась, думала, кто из хозяев. Когда заметила, пружинно выпрямилась, тряпка в одной руке, другой лицо отерла и платишко стала одергивать. В шейный вырез сунула палец и кверху материю потянула, но ложбинку глубокую, розоватую не прикрыла. Сильнее надулось на груди, в боках кругло натянулось платье. Засовестилась.

– Чего же ты, Константиныч, молчком?

В платье этом ну прямо девка молодая, и краска в лице от растерянности.

– Проходи уж, проходи – подотру, – пригласила, когда Дмитрий Константинович за дверную ручку взялся. – Посиди со мной, поговори. Аль тоже боишься? – и засмеялась. – Не бойся! Давай-ка лучше сигаретку выкурим, пока моих нет. При них-то прячусь, бабка не любит. Она у меня совсем обезручила, – сокрушалась Наталья, как о родной. – Вчера уж и парила ее, и жиром растирала, а сегодня куда-то за мазью уплелась; добрая она, все доченька да доченька!

– Так-то и будешь по домам всю жизнь? – спросил Дмитрий Константинович.

Он осторожно прошел от порога и присел на подставленную Натальей табуретку, которую та предварительно рукой отерла.

– А чего мне? – Наталья присела напротив Дмитрия Константиновича на сундук. – Птица вольная.

– Сорока вон тоже вольная птица.

– По мне, лучше уж сорокой. Сосед твой все синичек ловит да по рублю за штуку продает, на бутылку всегда набирает, а сорок-то не ловят и не продают!

– А как же ты все ж без мужика в такой поре живешь, Наталья?

– Почто это так? Вон на любой Родниковой, у всякой собаки спроси – и та знает про моих мужиков.

– Я про другое. – Дмитрий Константинович сидел, опершись на палку. – На улице чего не наговорят. Слышал даже, будто ты Марье недостачу сделала.

– Почему это – будто? Ей тащи сколько влезет, обсчитывай, а другим нельзя? – обозлилась. – У меня все на глазах.

– Да брось ты на себя наговаривать, и чего собираешь...

– Я так ей и сказала: выведу я тебя на чистую воду. Сама сяду, а тебя выведу. Она Куркину девчонку на двадцать копеек обмешурила и глазом не повела. Девчонку дома выпороли, а она, стерва, в золоте ходит. А правды боится.

– Из-за чего ж ты вся такая колючая, а? – все любопытствовал Дмитрий Константинович. – И с бабами со всеми переругалась, и уж горда очень. Поди, и мужик-то из-за этого бросил?

– Ты бы лучше, Константиныч, про сороку рассказал. – Наталья вдруг рассердилась. – Ну чего пристал? Я тебе подследственная, допрос снимаешь? Живу как хочу. – И тихо добавила: – Жизнь как выйдет, так уж и не отвернешь. Своротков, может, и много, а где он твой, попробуй угадай.

– Я что пришел, – вдруг сказал Дмитрий Константинович, – зашла бы когда поубрать в избе, постирать, заплатить бы. Сам, что ни говори, не то дело.

– И мужиком ты, Константиныч, кажешься самостоятельным, а совсем как Петро чушь несешь. На кой ляд мне твоя плата? – Открыла печку, бросила в нее недокуренную сигарету. – Приду как-нибудь, подсоблю. – И поинтересовалась: – Сын-то пишет? Занятой он больно у тебя, ох уж и занятой...

После того разговора, когда Дмитрий Константинович пригласил Наталью помочь по делу, она только через неделю собралась. Дмитрий Константинович, видимо, не ждал. Растерялся, стал извиняться, отговариваться, дескать, и сам он со всем управляется, пошутил тогда, много ли старику надо. Однако Наталья послала его топить баню, воды греть для стирки, а сама в это время принялась за уборку.

Часа через три уже белье вывесила. Веревку натягивали вместе, сама же за прищепками к Лешаковым сходила: у Дмитрия Константиновича растерялись все. Ужин тоже Наталья готовила – долго ли картошку нажарить, а уходя, наказала, чтобы купил прищепки, чего это по людям ходить.

И в другой раз пришла. И опять они ужинали вдвоем. Дмитрий Константинович вспоминал свою жизнь, как с покойницей дом ставили. На шахте все говорили: и чего в глухомань залазить, а он на своем настоял. Гляди теперь – глухомань. Почитай все его собригадники, с которыми работал, сейчас на Родниковых живут. Воздух – приволье, и до города три остановки по асфальту.

Так и стала она заходить к нему. Вечером одним Дмитрий Константинович спохватился:

– Что-то я, Наталья, тебе табачку-то не предлагаю, ты уж не стесняйся, закуривай. – Это когда он закурил, а она убирала со стола. – А то вроде ты меня, как своей бабки, стесняешься.

Наталья засмеялась:

– Да я вовсе и не курю, Константиныч, это так, с горя да со злости. – И радостно добавила: – А Марью утихомирила я все ж. Ребятишек не обсчитывает теперь. Ну, баб да пьяниц – черт с ней, а вот ребятишек – уgomонилась.

Засмеялся и Дмитрий Константинович. Весело ему бывало в те дни, когда в доме объявлялась Наталья. Шума много становилось в его тихой

избе, и потом, когда ночью вставал он курить (давно уж у него эта привычка появилась), все еще в шорохах слышалось это веселое эхо.

...Геннадий Дмитриевич воротился в избу, когда Григорий ушел. Наталья сидела за столом в горнице, на ней был черный с красными розами платок. «Материн», – узнал Геннадий Дмитриевич, и неприязнь к этой толстозадой молодухе с большей силой вскипела в нем.

– Я ведь всего на несколько часов, – никак не называя ее, заговорил он. – Автобус у меня в пять. А еще тут дел разных... – Он сел. – Надо бы бумаги поглядеть, думаю, вы понимаете. Дело в том, что еще успеть к нотариусу...

Наталья подняла голову, посмотрела в глаза Геннадию Дмитриевичу, и, как она ни была ему неприятна, не сумел он не отметить, хоть и с ненавистью, красоту ее лица. От этого он еще больше ожесточился. Припомнился последний разговор с отцом, в Междуреченске уже...

– Ты все: старик, старик, – выговаривал Дмитрий Константинович, когда они с сыном вышли на балкон. (В доме Оськина-младшего курить было не принято.) – Действительно, годы не паспорт, их не потеряешь. И хочу я, чтобы ты знал, что вроде как бедою мы сошлись. Ей, беде, что старый, что молодой. Было их две беды, две разные, а теперь счастьем одним обернулись. Поначалу даже боязно было. Думал, не от корысти ли от какой пошла? А душу-то разглядел когда – а она у нее, как у малой дитяти, незамутненная, незапятнанная обманством и срамотою. Мне теперь и помирать ровно не боязно. Не один я. В памяти ее буду жить. Любим мы, сынок, друг друга. Может, и осудишь, тебя я тоже понимаю. Мать-покойница твоя хорошая женщина была, и врат не стану, без обмана и без упреков мы с ней век прожили. А вот волнения, – старик кулаком по груди постучал, – никогда не было. «Покойно мне с тобой», – все она говорила. Думал я, так и должно быть...

– Как же так, Геннадий Дмитриевич, – не утерпела больше Наталья, вырвалась боль и в горе слезами брызнула. – Ведь не чужая я ему-то была.

Сказала и испуганно ладошками рот прикрыла. Однако собралась с мыслями.

– Как же такое смогли вы? – И протянула руку за папиросой, Геннадий Дмитриевич пачку на стол положил.

Геннадий Дмитриевич поглядел на Наталью сдержанно, потому что раздражение в нем уже злостью кипятилось.

– Сами понимаете, что старик уж, можно сказать, был не в себе, поэтому суд полностью будет на нашей стороне. Мало ли у него было сожителиниц.

Наталья подняла голову. Наверное, в молодости Константиныч был такой же. Суровый, резкий. Сын очень на отца похож.

– Что вы, Геннадий Дмитриевич, какие у него сожителиницы? Да он же такой человек, он знаете какой человек? – Горе в воспоминании, видно, чуть загородилось, вот и вышло облегчение улыбкой, быстрой, но неуместной, оттого виноватой, и сразу же она пропала. – Самостоятельный человек, серьезный, – повторяет Наталья, – и не сожителиница я ему, – заявила она, – а жена. – И твердо так повторила: – Жена была... – и укрыла лицо черным платком с красными розами.

И могла бы вспомнить, если бы была в силах, как в самом начале апреля сломала она, Наталья, ногу. Разгружали ящики в магазине, она поскользнулась и упала, а ящик и придавил. Благо, больница рядом...

Дмитрий Константинович пришел на третий день к ней в палату. Встать она не могла, нога привешена была к железяке (вытягивали кость). И она впервые разглядела, какой он высокий и красивый.

Она так и сказала ему, когда первая минута неловкости прошла:

– Ты, Константиныч, как доктор прямо. Солидный, красивый, только что не щупаешь.

Все в палате засмеялись, а Дмитрий Константинович смутился. И от смущения его, и оттого, что не знал, куда банку с вареньем поставить, вовсе развеселилась Наталья и болтала без умолку, а вся палата так хохотала, что заглянула даже дежурная сестра и предупредила:

– Кончайте концерт, не в клубе находитесь.

Около месяца Наталья пролежала в больнице. Перед самой ее выпиской Дмитрий Константинович, а он носил передачи через день, наклонившись к подушке, чтобы никто не услышал, прошептал:

– Наташа, чего тебе у стариков делать, шла бы ко мне жить? Не все ли тебе где?

Наталья ему перед этим только сетовала, что неудобно ей перед бабкой будет, все ж человек она чужой, а по дому делать ничего не сможет еще. Нога-то в гипсе. Но такой оборот дела прямо огорошил ее.

– Как же мне тебя понимать, Константиныч? – со слезами в голосе спросила она. – Я к тебе как к родне, можно сказать, а ты вон как поворачиваешь. Что же ты, в полюбовницы надумал взять? – Тут уж совсем разозлилась. – А вдруг не справишься?

– Да как у тебя язык поворачивается, Наталья? – зашипел Константиныч. – Видать, полюбил я тебя.

– Да за что? – Наталья только рукой махнула, дескать, уйди.

Весь день и проплакала.

Дмитрий Константинович пришел за Натальей в больницу. Отвел ее к старикам, а на завтра пришел, сел за стол, и объявил, что просит он Наталью Никитичну выйти за него замуж.

Когда он осторожно – нога-то не гнется – вел ее по улице к дому, все соседи высыпали. И стыдно, и горько, и радостно было Наталье.

Хозяйкой она оказалась умелой, а с работы Дмитрий Константинович ее рассчитал. Зашел к ним однажды Петро, посидел, покурил, что-то про жизнь молодую спросил, но выставила его Наталья. Дмитрий Константинович и слова сказать не успел.

Соседи судили, рядили, ее осуждали, его жалели, словом, по-соседски перемывали им косточки. А Наталья, не обращая на все это внимания, лаской да шуткой обходилась со всеми. Она и сама не умела объяснить, отчего согласилась перейти жить к Дмитрию Константиновичу, что-то толкнуло ее к нему, каким-то незнакомым праздником поманил и не обманул, не разочаровал, а понес поперек молвы и хулы вместе с ней обиды и горечи, и забывались они в его сдержанной ласке, в его удивлении ею...

Ах, как она не соглашалась, уговаривала, но Дмитрий Константинович все-таки настоял на своем, и они сходили в загс, купили кольца, созвали соседей. И пили соседи вино, и кричали «горько», а они улыбались.

Она любила слушать его тихие слова, уложив голову на его плечо, когда они весенними вечерами после дневной работы сидели на крыльце. Днем они обшивали заново дом.

– Будет он у нас с тобой как игрушка, – говорил Дмитрий Константинович.

А еще он придумал сходить за рябиной. Объявил вечером. На крыльце сидели. Руку протянул к старому дереву. Чему-то засмеялся. Потом объявил:

– Надо бы и другое посадить – рябинку, а? Завтра и сходим. Вроде выходного у нас выйдет.

Они долго шли через лог, поднимались в гору, опускались опять в лог, пока не пришли в перелесок, где чуть ли не до самых белых весенних облаков тянулись к небу красноствольные деревья.

Дмитрий Константинович облюбовал прутик росточком чуть выше его, аккуратно, не повредить бы корни, выкопал, и обратную дорожку они несли его по очереди. Отдыхали, напившись воды из родника над дорогой, который так и бежит с незапамятных времен.

Геннадий Дмитриевич приехал с семьей на другой день после того, как они посадили деревце. Тогда-то в первый раз у них и вышел крупный разговор с отцом...

– Мне, Геннадий Дмитриевич, ничего не надо. Вы и не думайте, я сегодня и уйду, – говорит Наталья, утирая концом платка глаза. – Вот, если разрешите, платок возьму, память о нем... если разрешите. А вы его не знаете. Полюбовницы... Он строгости душевной был...

– Надо дарственную написать вам, – решился наконец объявить Наталье Геннадий Дмитриевич то, ради чего, собственно, он и приехал. – Отец завещание на вас оставил.

Ему совсем уже надоела эта бабенка, и время торопило.

– Какое завещание? Да я не умею. – Наталья непонимающе смотрела на него. – Сказала же я вам: делайте что надо. Я хоть сегодня уйду.

– Я заготовил, – Геннадий Дмитриевич положил на стол бумагу, – только надо вам к нотариусу сходить.

– Схожу, конечно, только бы не сегодня... – умоляюще поглядела на него Наталья. – Я совсем что-то не могу. – Она было улыбнулась, но

губы только искривились, глаза сузились, и все лицо некрасиво изломалось.

– Конечно, конечно. – Геннадию Дмитриевичу это явно было не по душе, но настаивать он не решился. – Вот и все, и мне, правду сказать, пора.

Наталья вышла вслед за ним на крыльцо. Геннадий Дмитриевич шел быстро, твердо и хоть не хромотал, а было в его стати что-то от отца.

...В конце зимы Геннадий Дмитриевич купил машину. Деньги от продажи дома они поделили с сестрой, и две тысячи, пришедшиеся на его долю, оказались к месту. Выехал он первый раз, когда совсем уже все высохло. Прокатил свое семейство по городу, потом через Усу в Ольжерас, доехали до «Распадской». Домой вернулись веселые и счастливые.

Он долго оставался в гараже, а когда поздно вечером ужинали, жена ему сказала:

– Знаешь, ведь завтра родительский день...

– С чего ты об этом? – удивился Геннадий Дмитриевич.

– Михайловна, соседка, заходила, сказала. Надо бы к отцу съездить, ни разу ведь не были.

Отцовскую могилу нашли не сразу. Прибавилось около нее, затеснили. Подошли к оградке. Помешкали, прежде чем открыть калитку, вошли. Геннадий Дмитриевич глядел на потускневший отцовский портрет, и тот, чьи черты хранила эмалированная пластинка, виделся совсем чужим.

– Когда ты посадил? – Жена указала пальцем на тонкий безлистый прутик, торчавший справа у входа, у самой калитки.

– Я? – удивился Геннадий Дмитриевич. Он даже не заметил серую веточку. – Я? Нет, это не я. Это, наверное, она, Наталья. – Геннадий Дмитриевич впервые назвал имя женщины, и оно теперь неразрывно стало с именем отца, хотелось бы того сыну или нет.

У Геннадия Дмитриевича задрожало внутри. Так случается от неожиданного окрика на дороге. И поднялась обидой в душе его досадная признательность к чужой женщине. Но больше всего язвило от стыдливой непонятной зависти к нему – покойному – за пережитую им на земле такую женскую верность.

Слезной тоской защекотала горло жалость почему-то к себе, а над могилой и над еще не разродившейся зеленью земель бился сизым трепетом день...

1977

ЛЕТЯТ УТКИ И ДВА ГУСЯ

Оказывается, степень раздражения от дорожных мытарств зависит от причин, побудивших тебя в дорогу. А поскольку у Георгия Серпухова причины были самые благодные и поспешности не требовали, то отсутствие петуховского автобуса его не очень огорчило. Маршрут официально закрыт не был; говорили, что утром одна машина уходила, правда, не вернулась еще. Серпухов предложил Косте пойти на розыски гостиницы. Дело шло к вечеру, и с утра можно будет заняться транспортной проблемой.

В гостинице (два этажа в рабочем общежитии) мест, конечно, не оказалось. На счастье, в коридоре возле дежурной стояло несколько стульев, на один из которых Серпухов и сел в ожидании. Костя же решил вернуться к автовокзалу...

Всего несколько недель назад «Аэрофлот» перенес Серпухова из снежной Воркуты к зеленому южному апрелю, весело встретившему его плеском лечебных родников и обещанием блаженного курортного безделья. Однако по расписанию, составленному судьбой без учета наших желаний, неожиданно подступил час спешно собираться Серпухову в другую сторону от дома – в Сибирь, где в маленьком шахтерском городке жили его родители. Еще учась в школе, дочка, когда родители собрались ехать в Воркуту, конечно, на радость бабушке, захотела остаться со стариками, тем более что собиралась поступать в медицинское училище в Кузнецке. Закончив училище, добилась направления в Тополинск, обещая в первый же отпуск приехать в гости к родителям, однако вместо этого собралась выходить замуж.

И вновь поднял его в небо самолет и понес теперь уже из лета в Сибирь навстречу весне. Она долго где-то плутала в этом году и только за несколько дней до прилета Серпухова успела сама приземлиться в шахтерском городке, рассадив по тополиным веткам взлохмаченных скворцов, не успевших еще расселиться по скворешням после возвращения из-за моря.

Встреча с родными, всегда радостная для Серпухова, на этот раз настораживала незнакомым ощущением тревоги и грусти. По-прежнему тщательно уложенные волосы на голове матери были неестественно ровного искусственного цвета. В ее шумной суетливости, как и в молчаливом медлительном отцовском объятии, чувствовалась какая-то неуверенность и неловкость. Только когда, отступив от сына, они пропустили к нему сноху, а Клава, обхватив Георгия за шею, неожиданно навзрыд заплакала, Серпухов, с растерянностью обративший взгляд к родителям, увидел, что перед ним стоят одряхлевшие старики.

«Когда же они так постарели?» – подумал Серпухов, а вслух попытался пошутить, хотя это у него и не очень получилось:

– Вроде бы не на поминки, на свадьбу собираемся! Чего же плакать?!

Потом, когда они с женой на несколько минут остались одни в комнате, мать с отцом занялись на кухне, Клавдия торопливо зашептала:

– Я, Гоша, все в себя не могу прийти. Лизка какая-то совсем другая стала. Так вроде все как было. Тараторит: «Мамочка, мамочка!», а в глазах что-то такое недоступное, затаенное, радостное... Господи, невеста!

А Серпухов тоже шепотом признался в том, о чем всю дорогу думал:

– А я почему-то боюсь с ней встречаться!

Разговор у Серпуховых, естественно, был только о предстоящей свадьбе. Клавдия, жена Георгия, сердито одернула свекровь, расхваливающую Лизкиного жениха, недавно закончившего горный техникум и странным образом оказавшегося еще и родом из Михайловки, из родной деревни Серпуховых.

– Чего ты, мама, радуешься? Девчонке бы погулять, осмотреться, едва паспорт получила, а ты радуешься. Могла бы хоть попытаться от-

говорить. Сама же писала, что она хотела в институт поступать. У нее ветер в голове, для себя рубашки не постирает, а туда же – невеста!

– Так что же? – засмеялась мать. – Ты, Клава, не сердись, дело прошлое, но мы отговаривали Гошу жениться. Да, да, извини, что было, то было. Тоже говорили, сынок, ты же учиться хотел, и что вышло?

– А что вышло? – В голосе Клавдии зазвучали нотки растерянности. – На что ты намекаешь?

– Хорошая семья. – Мать сделала вид, что не заметила волнения невестки. – Я и говорю. Надо на жизнь смотреть, как она есть. Пришла пора, значит, и девочке. Парень самостоятельный, тоже шахтер, ее любит. Вырастили, выучили внуку, чего же ты еще хочешь?

Это прозвучало так: хоть вы и родители, в воспитании ребенка главная роль наша, и доля правды в том была. Однако тема эта всегда приводила Клавдию в раздражение, но на этот раз она не успела слова сказать свекрови в ответ, потому что задребезжал звонок, извещающий о возвращении Елизаветы.

– Какой ты, папка, молодец! – с порога кинулась она к Георгию. – Приехал, ура! А я совсем забыла уж тебя, а ты все не едешь и не едешь!

Георгий с волнением обхватил своими сильными руками дочь, щупленькую – это ощущалось даже сквозь пальто – фигуру, и недоверчиво бросил взгляд на вошедшего за ней парня.

– Познакомь отца, Лиза! – шептала из-за спины сына улыбающаяся бабушка.

Юноша чуть зарумянился, но не смутился, не растерялся, протянул Георгию руку. Ладонь оказалась широкой, крепкой, тугой. Однако Серпухов отметил, что Клавдия права: совсем школьный вид у жениха. А бабушка уже приглашала всех к столу. Костя, как заметил Серпухов, выходило, осторожно наблюдал за ним, держал себя совсем по-домашнему. От вина парень отказался, точнее, об этом объявила дочь и пояснила, что Костя – мастер спорта по спортивной ходьбе, он «на режиме». Серпухов, хоккейный телевизионный болельщик, к спортивной ходьбе относился скептически, но вслух об этом говорить не стал. Приглядывался к парню Серпухов настороженно, как-то даже оборонительно.

Вино, привезенное Георгием, старый Серпухов разлил в серебряные с тонкой гравировкой рюмки старинной работы – семейная материнская реликвия, – и, как подобает, первую рюмку выпили за знакомство, а когда дед налил второй раз, Георгий спросил, прежде чем выпить:

– Так какие у вас, ребята, планы? Может быть, все вместе к нам в Воркуту поедем жить? У нас на шахте работа найдется. На свой участок устрою, – предложил Георгий.

Однако ему тут же возразила мать:

– Это куда, к вам? Вы что, так и собираетесь там вечно жить? Я думаю, что комнату, если им дадут, дети пусть берут, она лишней не будет, а первое время, мы с дедом так решили, будут они жить у нас. Ведь кто-то должен будет за маленьким присматривать.

– За каким маленьким? – удивилась Елизавета.

Наивный вопрос ее у старших Серпуховых вызвал улыбку, а у бабушки веселое замечание:

– После свадьбы, деточка, рождаются маленькие дети. И надо не одним днем, Клава, жить, уж сколько раз я вам говорила, – обратилась мать к снохе.

Она вообще относилась предвзято к Клаве, когда дело касалось внучки, забывая, что не она, а Клавдия – ее мать. Та в долгу перед свекровью не осталась и не без иронии заметила, что никто и не собирается отнимать у нее внучку, но тем не менее места и у них в квартире хватит на всех, как-никак три комнаты.

Елизавета с детства привыкла мирить бабушку с матерью и в этот раз поторопилась вмешаться, громко вступив в разговор:

– Пап, а Костя с отцом на медведя охотился. Костя ко дню рождения обещает мне подарить медвежью шкуру!

Теперь и Серпухов разглядел в золотистых крупинках карих глаз дочери ту скрытую незнакомую счастливую улыбку, о которой говорила жена.

Разговор и в самом деле повернулся. Георгий стал расспрашивать парня о Михайловке, о родителях. Оказывается, что жили они в деревне на Боровой улице, дальней от речки. Их всего две в Михайловке как было, так и осталось.

Смутно забрезжила в памяти какая-то неприятная история, связанная с магазином и с продавщицей Симой. В лицо ее, конечно, Георгий не помнил, а вот хорошо запомнилась порка, которую ему устроил отец, за то что побил он, пацан, окна в магазине. Видно, кто-то из старших подучил его.

– А что, батя, не махнуть ли нам на родину? – шутя предложил Георгий.

Исподтишка он оглядывал своих стариков. Широкие отцовские плечи будто угнули грудь, тяжестью выгорбили спину, коротко стриженные волосы пожелтели у корня. Всегда молчаливый, он теперь будто и вовсе разучился говорить.

– Дом наш, наверное, стоит, может, кто в нем живет. Самолетом до Верх-Амзаса, а там рядом.

– А чего дому-то не стоять? Сам срубил, сам лиственницы выбирал в тайге, – отец прищурился, – только какой из меня нынче летун, сынок, да хоть и в лодке. На воде сто лет не бывал. Отлетался я, а вы – что, конечно, возьмите и съездите. А дом стоит, не сделается ничего, – с обидой и задористо сказал отец.

Но Георгий расслышал спрятавшуюся за бодрыми словами тоску, и жалость кольнула в сердце.

– А я в четверг опять собираюсь домой, – сказал молча слушавший Костя, – у меня большой выходной, два отгула. Почти неделя получается. Можно бы вместе поехать. Лиза может отпроситься. Мы с ней собирались позднее, на ягоды, но раз так, здорово получается!

– Конечно, здорово, – подхватила дочь, – я попробую старшую уломать. Родители приехали, скажу. Она у нас добрая, поймет. Правда, папка, давайте вместе съездим...

– Это куда вы собрались, люди добрые? – Клава, конечно, слышала про эту Михайловку, которая для нее была просто мифом из Гошиного детства. – Туда как попадают-то? Да и кто это вас там заждался? – трезво рассудила она.

– Не умеем мы родню водить, – со вздохом сожаления заметил Серпухов-старший. – Сколько годов с братом Ларионом рядились свидеться? Он хоть к нам перед самой войной на два дня приезжал, а мы с

матерью так и не выбрались поглядеть на родной угол. А теперь, Гоша, твой брат там живет. Недавно и письмо прислал, по весне на пенсию собирается, приглашал приезжать!

– Скажете, папа, заждались там нас, подумайте только, – Клавдия была решительно против, – где это видано, чтобы родители невесты ехали первыми знакомиться? «Здрасте вам, продавцы со своим товаром, а?» Нечего пока нам там делать – и все!

Но неожиданно Георгий заупрямился. Может быть, его подталкивало безотчетное желание ближе узнать этого не очень разговорчивого, но с достоинством сидящего рядом с дочерью парня?

– А мы с Костей поедem. Елизавету не возьмем. Поедем вдвоем.

Жена и мать утверждали в один голос, что отцу невесты неприлично первым появляться в доме жениха, но Серпухов отговорился тем, что едет он навестить двоюродного брата, кстати, которого и вовсе не помнит, а уж насчет знакомства со сватами – это как получится...

И вот сегодня сидит Серпухов в неприятном коридорчике лесогорской гостиницы, за восемьдесят километров от родительского дома, не виня судьбу, поскольку уже не безотлагательные обстоятельства, а «серпуховская» блажь, как заметила мать, погнала Георгия по весенним хлябям в эти края...

Константин шумно ворвался в дверь гостиницы и с порога радостно закричал:

– Нашел, Георгий Иванович, пойдемте, попутку нашел! На автовокзале стоит, за углом, пойдемте! Крытый грузовик Петуховского рабкоопа!

Шофер не очень приветливо оглядел подошедших пассажиров, обошел машину вокруг, пнул ногой заднее колесо. Костя поторопился подтвердить:

– Как договорились, «красненькую», отец.

«Отец» – мужик неопределенного возраста, лет от тридцати до пятидесяти, густо кудрявый, темнолицый, усмехнулся, открыв дверцу в заднем борте.

– Лезьте вперед, к кабине, там скамейка. Груз там, он вам не помешает. Ну, если что, постучите, – закрывая дверцу, посоветовал он.

То, что они на пути к Петуховке, почувствовали скоро. Машину начало кидать по ухабам, а ящики и бочки, до того плотно, казалось, набившие кузов, вдруг ожили, угрожающе задвигались, норовя придать сидящих на узенькой доске около кабины.

Серпухов с Костей упирались ногами, отталкивали, удерживали их, но все в кузове прыгало и катилось на них. Когда же временно наступало затишье, то есть машина на некоторое время переставала переваливаться с боку на бок, тогда обыкновенную тряску они воспринимали как Божью благодать. Но не так уж и много было таких передышек. Поэтому и не заметили, как добрались до Петуховки. Машина вдруг сбавила скорость, отчего громко и прерывисто загудел мотор, потом запетляла и, наконец, совсем остановилась. Какое-то время они отдыхали от внезапно наступившего покоя. Потом послышался скрип вставляемой в замок дверцы ручки и дверца распахнулась.

– Живые, – не то спросил, не то удивился шофер, – выгружайтесь, приехали.

Серпухов спрыгнул, охнул от неловкого приземления на занемевшие ноги. Повел плечами, разгоняя застоявшуюся кровь, оглянулся.

Густо вечерело. Машина стояла около высокого дощатого забора с распахнутыми настежь воротами. Забор впритык примыкал к магазину, уже светящемуся желтыми окнами на неширокую, сжатую с боков еще заборами же площадь, покрытую густой, с редкими кирпичными крапинками грязью.

– Семеныч, приехал? – кто-то из стоящих на крыльце окликнул шофера. – Подсобить?

– Потребуется – кликнем, – закуривая предложенную Серпуховым сигарету, отозвался тот. – Воронье. На бутылку выпрашивают. Ждут специально. – И поинтересовался: – Вы чьи будете?

– Мы проездом, нам вообще-то в Михайловку надо, – объяснил Костя.

– Ну, мужики, – протянул с укоризной шофер. – Вам тогда надо было у заправки сойти. Там, глядишь, еще и дождались бы кого. Да и то вряд ли. По такой погоде днем не густо, а уж ночью и думать не моги...

– Может быть, какой дом заезжих имеется, – без особой надежды поинтересовался Серпухов, – бывает при конторах.

– Это, может, где и бывает, но не в Петуховке, мил человек. Но одну гостиницу я тебе предложить могу, если она не занята будет. Видишь? – Он показал на забор, за которым высоко раскидали толстые серые сучья по вечернему небу ракиты. – Бабка там одна живет. Она должна быть сейчас в магазине. Сторожиха она. Пошли, спросите.

В это время из ворот показалась женская фигура. Голова платком повязана до самых бровей, в фуфайке, обута в валенки с галошами. Она подошла ближе, и разгляделось ее лицо: с крупным, нависшим над губой носом, густо затянутое морщинами.

– Вот она, – бросая окурок под ноги, сказал шофер и окликнул: – Слышь, Варфоломеевна, постояльцев привез, не примешь? Люди не обидят.

– На меня уже обижалки кончились. – Голос бабки был громок и хриловат. – Спать-то где? На полу только, перин нет. Деньги вперед.

– Да нам бы крыша, – как можно обходительнее сказал Серпухов, боясь, как бы бабка не раздумала.

– Тогда пошли! А ты, Семеныч, сам ворота запри, как машину загонишь. Я возвернусь сейчас, – и шагнула прямо в грязь.

Подхватили свои портфели и рюкзак Серпухов с Костей. Георгий, сделав несколько шагов, обернулся к шоферу:

– Семеныч, приходите, поужинаем вместе! – И тут же у бабки поинтересовался: – Ничего, что гостя пригласил?

– Так он бы и без зова зашел. С рейса ему норма полагается. Надежда его знает. Но он мужик аккуратный. Ума не пропьет...

Избу от улицы загораживал высокий сарай. Она увиделась внешне – да такая малая, что Костя от удивления ойкнул. Островерхая замшелая крыша будто придавила сруб из широких, в два обхвата, лопнувших от натуги и времени бревен, нижнее из которых наполовину утопло в земле. Из разорванных дождем и морозом резных наличников чернела избушка в сумраке небольшим оконцем.

Чтобы войти, гостям поясню надо было поклониться, а пройдя сенки, с поклоном же войти в самую избу.

Бабка вошла первой, включила свет, распорядилась:

– Раздевайтесь, отдыхайте пока, курите, сама дымлю, да побежала я. Опосля разберемся, что почем.

При свете оказалось, что изнутри изба не так уж и мала. Печь делила ее как бы на две половины. В прихожей (вроде бы) стоял кухонный современный стол – крытый пластиком, узенький белый шкафчик висел на стенке. Дальнюю половину занимал диван, прижав в угол телевизор, рядом с которым теснился еще и сервант, уставленный рюмками, чашками, тарелками.

– Бабка при порядке, – оглядевшись, определил Костя. – С улицы прямо изба на курьих ножках! Да и хозяйка: вылитая Баба Яга, Георгий Иванович?

Они разделись и сели на табуретки около теплой печки.

Хозяйка вернулась не скоро. Пришел с ней и Семеныч.

– Здравствуйте вам, – приветствовал он из-за бабкиной спины, – вот вас привез сам, сам и в гости пришел.

Он аккуратно поставил на пол большую, тяжелую хозяйственную сумку, неторопливо снял кожаную куртку, повесил на вешалку и потом уже прошел сразу к столу, сел напротив курящего Серпухова. Хозяйка, тоже взяв с печного приступка пачку, вынула из нее папиросу.

– Может быть, закусим? – Серпухов вынул из портфеля бутылку водки, две банки консервов, завернутую в целлофан курицу, положенную матерью, полбуханки хлеба. – Стаканчики, хозяйка, найдутся?

– А отчего не найтись? – Бабка наблюдала за постояльцами, выпуская густо дым из ноздрей. – Ты консервы-то убери. Живой еды найдем. Не в городе живем. – С этими словами она вышла в сенки.

Семеныч для начала разговора полюбопытствовал:

– Дела важные в Михайловке? Нынче просто так по распутице не попрешь. А нужда – она погоды не спрашивает, погоняет.

Серпухов неопределенно сказал:

– Да есть делишки!

– У всех нынче делишки, – согласно подтвердил Семеныч.

Вернулась хозяйка с большой миской капусты, огурцов и куском сала.

– Вынь-ка колбаски из сумки у меня, Варфоломеевна, – подсказал Семеныч, – да долго не гоношись. Сама знаешь, идти надо. Утром опять гнать: Галина, путаница-ветреница, накладную опять же на растительное масло забыла, все ойкала, платье ей там надо было какое-то выкупить. Ну вот, завтра и поедем снова торговаться! – откупоривая бутылку, объяснил Семеныч.

– А ты наливай сразу, – пододвинула к нему хозяйка стакан.

Она выпила медленно, поставила стакан, вилкой подхватила капустный лист, заметив, что Костя не пьет, спросила:

– Желудочник?

– Желудок железо варит, – засмеялся тот, – не пью – и все!

– Ишь ты, – удивилась бабка, – ноне таких молодцов что-то не встречала. Может, из баптистов? Так отец – нормальный мужик!

При ее последних словах Костя хихикнул, но, взглянув на Серпухова, застеснялся, покраснел. А тот, пожевав, объяснил:

– Мы, мать, пока еще не родня. Едем, правда, вместе в Михайловку.

Старуха вдруг оживилась, в словах ее послышалось искреннее любопытство:

– Ты чего же забыл в Михайловке? Жильцов там полтора старика осталось.

– Приходилось там бывать, что ли? – удивился Серпухов, хотя здесь земляки не должны были бы быть в диковинку. – Может, Серпуховых кого знаете? Например, Савелия? Он мой двоюродный брат. На пенсию уходит. Вот проведать еду!

– Савелий на пенсию? – удивилась хозяйка. – Да я же...

Но в это время послышался скрип сенной двери. Кто-то толкался в темноте, пока не нашарил ручку избушной двери. И вот мужик просунулся на порог.

– Сколь вас, не надо ли нас? – втиснулся он в избу, подталкиваемый сзади.

– Вернулись, ханыги? Запозднились чего? – встала из-за стола хозяйка.

– Дак на протоке растаскивали затор, подь он весь... – Мужик в сердцах выругался. – Ты уж не тяни, Варфоломеевна, ребята извелись. Вам тут в тепле, мухи не кусают...

– Пошли, пошли, – вытолкала вошедших хозяйка, – лясы нечего точить, а то ведь и раздумать могу. – С этими словами она плотно закрыла за собой дверь.

– Это речники, ребята лес сплавляют. Ну вот, к ужину требуется. Всяк же живой человек, понимать надо. – Рассуждая, Семеныч разлил оставшуюся водку, теперь уже на три стакана.

– Дома ждут, понимаешь, да с утра в рейс. Ну, благодарствуйте за угощение, а с утра к заправке – знаете, где она?

– Я знаю, приходилось не раз бывать, – сказал Костя.

– Ты вправду, парень, не по болезни ли не пьешь?

Семеныч уже оделся и стоял у двери.

– Он спортсмен, – объяснил Серпухов.

Вошла хозяйка.

– Пошел, Семеныч? Ну, с богом! Дома скажи, мол, у Варфоломеевны почаявничал, ничего, скажи!

Она достала с печи папироску, закурила. Подсела к столу. Пододвинула тарелку с салом к Косте:

– Ты, сынок, коли не желудочник, ешь домашнее сало, полезное. А наелся, так включай телевизор. А мы еще посидим, как вас звать-величать-то? – обратилась она к Серпухову и прищурилась: не то ей дым попал в глаза, не то таясь чего-то.

– Георгием Ивановичем. А вас? Отчество-то знаю, Варфоломеевна.

– Ефросинья. Ефросинья Варфоломеевна. Давай-ка мы с тобой, Иваныч, выпьем за знакомство. У Савелия, значит, юбилей, говоришь?

– Случайно не знакомы ли?

– Знакомы. Жила я в Михайловке.

– Мы тоже оттуда. Может быть, и моих стариков помните? Дом наш сразу за школой, против магазина стоял. Я еще – конечно, не помню, все больше по рассказам – окна в магазине разбил. Единственно, что осталось в памяти, как отец солдатским ремнем порол... Можно сказать, первую землячку встретил, вот Кости если не считать...

– А родители-то живы?

– Вы их знаете? Живы, живы. Внучку, то есть мою дочку замуж собираются выдавать. А вот он, – Серпухов указал на увлекшегося те-

левизором Костю, – будущий зять. Родом тоже из Михайловки, а по специальности шахтер, как и я...

– Выходит, ты Иванов сын? Братья есть?

– Сестренка младшая, Галка.

– Так, значит, ты Гошка? Верно?

Теперь уж Серпухов пришел в восторг, оттого что хозяйка узнала его, и с умилением глядел на хозяйку. Длинный нос Варфоломеевны покраснел, густые седые волосы, скрученные в узел на затылке, у виска растрепались, но необычайно молодо, как-то отдельно от всей дряхлости лица глядели большие, чуть навывкате глаза. Опершись локтем руки, державшей папиросу, на стол, она откинула голову назад, словно бы приглашая Серпухова внимательней приглядеться к ней.

– Ну, а на гитаре-то отец еще играет? – после длительной паузы задала она вопрос, удививший Серпухова: он никогда в доме не видел гитары.

– Это, милая хозяйшюшка, вы нас с кем-то спутали. В нашем доме никогда гитар не водилось испокон. Может, у дяди Иллариона?

Старуха, пропустив его ответ мимо ушей, о чем-то своем спросила:

– Что же, так у вас о Михайловке и разговоров не бывало?

– Как это так, – Георгий чуть обиделся, – и мать рассказывала, как по ягоду ходили, как на пихтовом заводе работали, «лапку» рубили. Отец часто рассказывал, как с братьями охотились. Про дядьку вспоминали, который гулять любил. Так что деревню у нас в доме помнят.

– Последний раз давно там был?

– Да так вышло, что, как уехал пацаном, все не получалось съездить. Сам я шахтер, на Севере работаю. Дочка у стариков в Тополинске живет. Говорю вот, замуж собралась выходить. Отпуск у меня большой. Так я и решил брата повидать, на родине побывать, вот с Костиными родителями встретиться.

Все то время, что Серпухов говорил, старуха внимательно смотрела на него, но чувствовалось, что мысли ее заняты далеко не его рассказом. Она поэтому и перебила его, поднимаясь из-за стола.

– Ты подожди, сынок, я скоро, – встала она, опершись о столешницу скрюченными ревматическими пальцами.

Она пошла из избы не то чтобы нетвердой походкой, а как-то осторожно, словно бы оберегаясь чего-то. Вернулась она с непочатой бутылкой.

– Нет, нет, – запротестовал Серпухов, – это не по мне, мать. Причины для гулянки вроде бы и нету.

– Тебя не неволят. За шиворот лить не стану. Раз гость за столом, я по-хозяйски должна. Может, осуждаешь за тех мужиков, что приходили? Так я шибко не барышничая. Всего по пятерке и беру-то. Люська-продащица упростила, надоели они, говорит, мне, спасу нет. От мужика отрывают по ночам! Иди магазин отворяй, а он на пломбе же! Самой ей на дому держать не с руки. Хозяин ее в питье неумный. Вот я у нее вроде филиала получаюсь!

А мужик-то – сплавщик. За день по гальке да по зарослям сколь километров отмахают, сколь кубов посталкивают? Сегодня они засветло. А то всегда в темень на свою баржу. Дом водяной, сундук смоляной, сам холостой... Помахай-ка день багром. Выпьют – полегчает. А не полегчает, так померещится: вроде полегчало. Померещится-то померещится, – задумчиво глядит на Серпухова старуха, – а на душе станет ли легче?.. Давай споем, Иваныч!

Она как сидела в задумчивости, так и осталась, только едва заметно выпрямилась в спине, что-то молодое появилось в ее осанке.

– Ты больно не суди! – предупредила она Серпухова, и неожиданно в горле у нее захрипело, а потом сквозь хрип прорезался чистый высокий голос: – Летят утки, летят утки и два-а гу-у-ся-я. – Но надломился, запнулся звук в хрипоте, однако не совсем исчез, пробивался, и тогда удивительно, до слез жалостливо звучало: – Ко-го-о лю-у-блю, кого лю-у-блю – не дождуся-я.

Костя оторопело оглянулся от телевизора в их сторону, улыбнулся и, поерзав, устроился поудобнее на диване, продолжая досматривать кино.

– Нет, Иваныч. – Нос у старухи еще больше покраснел, волосы растрепались. – Укатали сивку крутые горки... А певунья я была. Частушки сочиняла. – И теперь уж с повизгиванием запричитала: – С неба звездочка упала, загорелась в поле рожь! С гармонистом целовалась, милый, ты меня не трожь!

В больших глазах ее засветилась не то невысказанная тоска, не то радость воспоминаний.

– А как пела, сынок, так и жила. А жизнь не песня. Песню я тебе и через слезы веселую спою, ну а попробуй в жизни минутку единственную другой раз прожить, переиначить, попробуй... Увидишь, этак не бывает... Вот гляжу я на тебя. Совсем не узнаю. Ты, видать, на мать много схожий. Я сроду бы не подумала, что будем, Гоша, с тобой вот так у меня за столом сидеть. Помнится, мальчонка ты был белоголовый, курявый, сжелта чуток, под вид овсяной соломы волосы... Барбариски, были такие конфеты, любил...

Серпухов теперь на хозяйку глядел с откровенным любопытством. Она, безусловно, почувствовала это.

Усмехнулась, подняла стакан:

– Значит, со свиданьем!

– Память у вас, Ефросинья Варфоломеевна, отменная, – выпил и Серпухов.

– Да уж, что втемяшилось в молодости – держится. А так не очень. Может, из-за этой памяти я и сплавщиков привечаю. Мужики-то сильные, а в жизни кутята, вот двадцать человек будет на барже – и всякий такой перепутанный, такой маятный, у самого все переломано, и другим от него несладко... Так вот и у меня было, Иваныч. Ты не сердчай на старуху, хошь, расскажу? Дак и не хошь, слушай! Торопиться же некуда...

Склонила голову к плечу. Взгляд ее уперся в столешницу, словно бы за ней виделось неразглядное.

– Я в молодости красивая была, певунья. Поверь, врать не стану, у Савелия попытаешь опосля. Но и по справедливости скажу тебе – строптивая... А у нас в Михайловке мужики, парни все больше по сплаву промышляли. И вот вышел у меня такой случай...

Серпухов не мог себе представить эту старуху со смятым красным лицом – румяной, звонкоголосой и молодой. А она вспоминала:

– Да я тебе, Иваныч, карточки покажу. Там все наши деревенские, пойдем, на диван сядь, а я карточки достану.

С необыкновенной легкостью, вроде бы и не пила, она поднялась из-за стола, резво и твердо ушла в другую половину избы, там, раство-

рив сервант, что-то стала искать. Серпухов в благостном настроении в это время размышлял о том, что вот как интересно случается в жизни, как из дорожного приключения может произойти приятное для души, как обо всем этом он потом будет рассказывать дома.

А хозяйка между тем уже нашла то, что искала. Это были толстые, в выцветших плюшевых корочках альбомы. Старуха уселась рядом с Серпуховым.

– Ну-ка, давай-ка, гостенек, поглядим!

На первой картонке страницы была фотография круглолицей – коса вокруг высокого лба, платье с высокими плечами и смешным воротником – красивой девушки.

– Видишь? – Прищурившись, старуха рассматривала фотографию тоже будто бы сторонним взглядом. – Парни, конечно, увивались, отбою не было. А я одного выгладела.

И Серпухов вновь удивился, разглядев в чертах фотографической девушки сходство с сидящей рядом старухой, сообразив, что это же она в молодости. А та мечтательно продолжала:

– Любить любила, а вот игралась с им, спасу нет. Больно он тихий был. Силища медвежья, а с девкой краснел да робел. Ну я его и дразнила. То с кем с гулянки уйду, а то у нас в школе кружок сделали, играли мы постановки, охоча я была в этих постановках с парнями целоваться...

При этих словах она даже с каким-то вызовом поглядела на гостя, и Серпухов, со снисходительной улыбкой слушавший ее, вдруг заметил в ее крепко выпирающих из-под век зрачках, окаймленных густотой морщинок, радостный блеск, словно бы отражение от потускневшей глянцевой вспышки с фотографии. Она одну за другой перебирала фотографии, Серпухов глядел на незнакомых, в непривычных одеждах людей, а она рассказывала о том, как однажды, когда ее парень вернулся со сплава, ему наговорили о ней всякой всячины и он, поверив, рассердился на нее. А она еще и гордая была, чтобы оправдываться.

В ту пору в школу приехала новая учительница. Стриженная «под фокстрот», со значком «Ворошиловский стрелок». При этих словах Серпухов подумал, видно, глубоко за живое задела старуху та учительница, что спустя столько лет такие мелочи не забыла.

– Это вот мы в районе, на смотре, со своей постановкой ездили. Мальчишка, что вот в этом углу, видишь, как раз и есть Ларион, дядя твой, – ткнула она негнувшимся пальцем в худенькое личико.

Дядю Георгий, конечно, не помнил, но под впечатлением рассказа ему показалось это лицо очень знакомым. Теперь он сразу узнал и хозяйку в улыбающейся и как будто вопрошающе смотревшей оттуда, из незнакомого далека... А она продолжала свой рассказ. Сплавщик ее, конечно, женился. Уехала из Михайловки и вышла замуж она сама. Но не пожилось с мужем, ребенок умер, она в Михайловку вернулась, стала работать в магазине. Несладко жилось и ее сплавщику.

– В Михайловке пихтоваренный завод открыли. Мужики многие на него устроились. На-ко, узнаешь? – протянула она ему еще одну фотографию, на которой снялись три парня.

В центральном он узнал отца. Дома, конечно, он видел фотографии молодых родителей, но такой у них не было. Отец сидел на стуле, нога на ногу, на колене – гитара, а двое парней стояли по бокам.

Серпухов даже ждал, хотел уже спросить, отчего это нет фотокарточек отца с матерью, коли Ларион нашелся, но все-таки этот снимок ему показался неожиданным и отчего-то неприятным. Он долго не выпускал его из рук, и обычное любопытство, с которым Георгий смотрел до этого момента, словно бы окрасилось в новый цвет, пробудив в нем особую заинтересованность. Она заставила его внимательнее прислушаться к словам старухи, вначале признавшись:

– А такой фотокарточки я никогда не видел.

Эти слова очень обрадовали хозяйку.

– А он же певун был, отец твой. И гитарист. Завод от деревни далеко был, в тайге, масло пихтовое круглосуточно гнали. Вот я и стала ходить туда к нему, когда он в ночь дежурил. Куда и гордость подевалась. Тоска заедать стала. Сидим вдвоем и поем на два голоса. Хорошо у нас протяжные выходили. Тихо. Тайга. Костер. Котел гудит. Никого нет. «Летят утки да два гуся» – эта наша любимая была... Напоемся да наплачемся. Звал он меня уехать вдвоем. А мне тебя жалко было. Уж такой ты картиночка был. Мать у тебя такая пригожая была, она во всем городском ходила, а тебя в воротнички с бантиками одевала, когда со-

всем маленький был, бабы наши все ахали! Придет она в магазин, ху-денькая, прибранная, тебя за руку ведет. Бабы без очереди пропускали, она не пойдет, ни за что не пойдет. Ох, и ненавидела я ее, дай ей Бог здоровья, а только зла не сделала, поверь! Она разве в бабьей судьбе своей виновата?

Старуха подняла голову, взглянула на гостя, и Георгий увидел: в глазах ее заблестела тоска...

– Ты не суди отца. Он уехал, со мной даже не простившись. А Савелий вас с матерью и сплавил потом на карбузе* вниз по Серебрянке. Вот все гляжу и не могу вспомнить: похож ты на Ивана или нет?

Она впиалась в него взглядом, в котором словно бы растворилась грусть, и стал он остер, пугающе остер. Казалось, старуха сумела распознать в лице Георгия дорогие черты, давно сбереженные в памяти. Она как бы глядела сквозь него, отчего Серпухов почувствовал напряженность. Губы его сжались в обиде и неприязни, точно так, как несколько дней тому назад в разговоре с дочерью, когда та объявила родителям: «В отпуск я к вам уже не поеду. Косте осенью в семейном общежитии комнату дадут. Его на очередь поставили в особый список, нужный человек на шахте». Дочери очень хотелось, чтобы жених понравился отцу, а у того поднялась тоскливая обида и недоверие к этому чужому парню за ту отдаленность, которая, он видел это и по лицу дочери, слышал по тону ее разговора, уже существовала из-за него между ними и дочерью.

Как тогда Серпухов спрятал глаза от Лизы, так и сейчас он отвел взгляд от пронзительного взора старухи и посмотрел на Костю, развалившегося на диване, а потом, для чего ему потребовалось некоторое мужество, вновь обернулся к хозяйке. И вдруг что-то вроде догадки смутно замерещилось в его сознании. Догадки о существовании какой-то непрерывающейся связи между жизнью его – Серпухова – и жизнями этих двух чужих и, по сути, незнакомых ему людей. До необъяснимо болезненной ясности в мозгу Серпухов со страхом и обидой вдруг осознал себя преступно причастным к тайне, так обидно разру-

* Карбус, карбуз – большая плоскодонная лодка. – Прим. ред.

шившей его сыновью почтительность. Ему вспомнилась постоянно хлопотливая мать, и уже по-другому теперь он принимал ее возражения против своей поездки в Михайловку – как желание оберечь его от той обиды, с которой, не делясь ни с кем, она прожила всю жизнь!

Мысль о матери вылилась в такую беспомощную растерянность на его лице, что старуха заметила это и стала успокаивать:

– Ты, Иваныч, не бери близко к сердцу! Жизнь – она штука путаная, виноватых, правых не найти, нет мне бы, старой, помолчать, да духу удержаться не хватило.

Не то винясь, не то, наоборот, почувствовав в госте родственную душу, доверительно продолжала:

– Я здесь при магазине уже почти пятнадцать лет. Приехала на месяц-другой. Избушку подешевле купила, чтобы, уезжая, все в Лесогорск собираюсь, бросить не жалко было, продать-то здесь не вдруг. Да только чего-то все задерживаюсь. Адрес, что ли, куда ехать, потеряла? Живу вот. Поночевщиков, квартирантов от жалости пускаю. Хотя денег мне и без них хватает. И гляди-ка, послал Бог тебя! А знаешь, – оживилась она, – не умею я Богу молиться. А зря, что не научили. В молодости, конечно, это без надобности, зато в старости, как мне сейчас к примеру, очень помогло бы, думаю. Вроде телевизора, только что для душевного разговора!

И совсем, может быть, желая отвлечь Серпухова от грустных мыслей, старуха заметила:

– Гляди-ка, жених-то твой! – и указала на уткнувшегося во сне на спинку дивана Костю. – Умаялся, сердешный, вы на диване и устраивайтесь, а я к соседке пойду, одна тут, вроде меня, горемыка. Я счас, Гоша, – по-свойски назвала она Серпухова детским именем, и тот мысленно даже не протестовал, – простыни достану, постелю... Закрывать трубу не буду, не угорели бы, под ватным одеялом не остынете...

Она надела ту самую фуфайку, в которой Серпухов впервые увидел ее, повязала платок и вышла. Разбуженный Костя, с капризным выражением невыспавшегося ребенка поглядывавший на то, как стелила бабка постель, быстро разделся и сунулся к стенке.

– Сплошное везение, Георгий Иванович, как в лучших домах Лондона, – попытался он еще пошутить, засыпая.

К Серпухову же долго не шла успокоительная немота. Она пробивалась к нему сквозь невообразимую путаницу воспоминаний детства, насаивающихся на образы фотографий из старухино альбома, не то укором, не то виной перед которыми ему представлялась благополучная родительская старость и вместе с тем вся его жизнь.

Но тут же Серпухов противился этой мысли, убеждая себя в том, что ничьей вины нет в этом. Однако эхо хозяйкиной хрипоты, словно бы затаившееся в молчании ночной избы, вдруг било в висок жестким: «А так ли?» Или вдруг звучали аккорды никогда не слышанной Серпуховым отцовской гитары, и в отчаянии, и с непонятной на что надеждой вглядывался Серпухов в бледное пятно окна, слыша, как рядом с ним на диване ровно и глубоко в молодом сне дышит Костя...

Когда Серпухов утром открыл глаза, он увидел в дверях хозяйку – в фуфайке, в платке. В сумерках утренней рани казалось, что она вовсе и не уходила с ночи, таким полузабытым домашним вдруг повеяло на Серпухова.

– Поднимайтесь, пора, Гоша, – таким спокойным голосом объявила она, – я вот от соседки чайку принесла. Попейте и быстрее на берег. Там катер ждет. На пикет сплавщиков доставляет, о вас я договорилась, до Михайловки добrosят. Так что вы подымайтесь, а я со скотиной управляться пошла.

Все это прозвучало по-домашнему заботливо, как будто старухе приходилось будить Серпухова не впервой. Да и тот не удивился, а принял все как должное, с легкой душой и искренне поблагодарил он хозяйку. Потом молча пили чай. Но уже не тягостным было то молчание, будто все так и ушло в ночь.

...Они стояли на крошечной палубе буксира, расталкивающего бегущие навстречу тяжелые серые волны. Утренний холод пробирался даже сквозь дождевики, одолженные им сплавщиками. Но от холода этого бодрило и было весело.

– Георгий Иванович!

Костя дернул Серпухова за рукав дождевика, а когда тот обернулся к нему, показал пальцем на берег. Там из прибрежных кустов у самой воды настороженно выглядывала лосиха. При приближении катера она медленно попятилась в глубину кустарника, недоверчиво следя за ним своими огромными глазами. Когда катер проплыл мимо, лосиха как-то вдруг затерялась, словно бы растворилась в серости утра, кустарника и воды.

Река сделала крутой поворот, и на мгновение вдалеке увиделся мысок за поселком, а на нем одинокая женская фигура. «Неужели Варфоломеевна?» – обрадованно и тревожно подумал Серпухов.

Мысок исчез, загородился прибрежным кустарниковым плетением, а вместе с ним и силуэт.

Но видение уже не оставляло Серпухова в покое. Опять с новой силой напомнило о себе вчерашнее, внезапно появившееся в избушке чувство не то удивления, не то восхищения этой женщиной, обернувшееся вдруг для Серпухова его безвинной какой-то виноватостью перед хозяйкой ночлежной избушки, виноватостью, которой, возможно, виновен каждый человек перед каждым и от непознаваемой таинственности которой и проистекает все несовершенство нашей жизни. А возможно, наоборот – скрепляется всечеловеческая цепь? Вот как, например, Серпухов, его мать, отец, дочь, Варфоломеевна и вот стоящий рядом, восторженно задравший лицо навстречу ветру еще чужой, но уже и родной парнишка. И, подчиняясь внезапно охватившему его волнению, Серпухов вдруг приобнял Костю. Тот повернул голову: он и в самом деле улыбался.

– Движок-то тянет, Георгий Иванович! И крепко тянет. – Парень топнул ногой по железной палубе.

Станным образом стук катерного двигателя не нарушал, а обострял ощущение тихой весенней широты реки, величаво плывущей навстречу.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

За распахнутым окном – июльская жара. Сквозь густую сетку листьев в комнату падают горячие куски света. Они и на столе, за которым друг против друга сидят двое. Душно. Голос звучит приглушенно.

– Как же не согласен? Все как есть правильно. Взял я на душу грех. Вот причина и вышла мне подпись ставить...

Косая челка седых волос перечеркивает лоб подследственного Николая Шитикова. Измученные бессонницей глаза с покрасневшими белками глядят в лицо следователю Трофимову.

– И под судом не приходилось бывать, а за что судить-то? Вот она, жизнь, вся на ладони.

Он поднял над столом руку, широко растопырив мозолистые пальцы, и будто сам удивился им: за всю жизнь, наверное, ни разу ему не приходилось так смотреть на свои руки. Засмутился, неловко потянувшись за ручкой.

Долго прицеливаясь пером, прежде чем вывести первую букву своей фамилии, он спросил:

– У меня деньги, понимаешь, на книжке, так теперь-то как бы сделать, чтобы ей, значит, получить, самой-то? Мы ведь не расписанные с ней. И можно, чтоб суд был в другом месте? Мне все одно теперь, а им-то жить здесь со стыдом? Вот, значит, и вышла мне причина подпись ставить, – отодвигая от себя листок допроса, повторяет Шитиков. – А теперь, гражданин мой дорогой, послушай, что скажу. Охота мне не для протокола, а ради совести по душам поговорить, не возражаешь послушать, а?

Молодой следователь кивает головой и серьезно смотрит на Шитикова.

– Я с войны начну. Ее и в теперешней жизни нашей не обойти, хоть с какого бока подступай. Так вот. Служили мы с Иваном, Марьиным мужем, с самой действительной. Ну, как братаны. Я сам себе голова, а у него, Ивана-то, Мария с дочкой в доме осталась. Он любил о семейной жизни поговорить, а мне это все в диковинку было, даже вроде смешно.

Ты не сердись, что так долго говорю. Хочу, чтоб понял ты главное,

не в оправдание я все, а чтобы главное ты понял. Она, Нинка, как тебе кричала: «Не виноват отец!» – так? Это я, значит, а ведь я ей вовсе и не отец! Понимаешь? Так уж ты потерпи, гражданин мой дорогой, послушай дальше.

Началось все в сорок первом, когда немец жал нас. Мы тогда и хутора обходить старались, в Белоруссии, значит, это. Обходили, обходили хутора, сил не было, а тут пришлось так, понимаешь, что ни свернуть, ни отвернуть, а про бой и думать нечего. Выдохлись ребята совсем. Вот и послал нас с Иваном капитан в разведку. Эх, да и ходить-то было нечего.

По жердочкам да по кочкам добрались до задов. Тихо в деревне. По проулочку было в улицу сунулись, глядим – мост, а немец, гад, раз в небо ракеты – мы и обмерли. Стоим, как два дурака, а вокруг бело. Опамятовались, да поздно – заметили. Мы к кустам назад, а по нам из автоматов. Рванулись мы в сторону через прясла, тут мне руку и обожгло. До камышей добегать стали, и Ивана достало. Ойкнул он – и как все равно подрубили. А небо от ракет белеет. Я его одной рукой подхватил. Откуда сила взялась, с перепугу, что ли? Подхватил я его одной, зубами за воротник держу и по воде шлепаю, наловчился как-то. Мычит Иван, значит, живой.

Долго брели по мелкоте. В глазах круги красные, а мне все ракеты чуждятся. Руку саднит. Челюсти, как у бульдога, вроде судорогой свело. Помню, кусты какие-то зачернели в сторонке, я к ним повернул, шагнул было, да прямо в омут-то с головой и ухнул.

Вынырнуть-то я вынырнул, дорогой товарищ, да только один. Сунулся было опять в воду, а дна и нащупать не могу. Вот оно как выходит...

Как выбрался на сушу, плохо помню. Открыл глаза, вижу: висит надо мной белый фонарь, как раз над головой. Вот и все, думаю, отовоевался, брат! А сам ни рукой ни ногой. Зажмурился, жду смерти. Только никто меня не трогает. Не вытерпел – страшно, а глаза открыть не могу. Господи, так тебя сая, я это звезду с фонарем попутал.

Стал соображать, где я. Слышу, Иван стонет вроде... Да и вспомнил я все. А голос дружка в ушах у меня, видать, остался. Здоровой рукой

воды нащупал. Плеснул в лицо, маленько просветлело в голове. А руку словно выкручивает кто или жгет каленым. Давай я изворачиваться, рубашу исподнюю рвать. Кое-как кусок оторвал, выше раны руку перетянул – немного полегчало. Приподнялся, что-то темное впереди вижу. Присмотрелся, а это та деревня, и совсем рядом, а вокруг вода блестит. Туман подниматься стал, сгустил черноту, хоть пей. И вот, веришь, первый и последний раз со мной случилось: заплакал я. Плачу и клянчу последними словами войну за подлость ее... Меня наши же, ребята рассказывали, потом и подобрали, кровью изошел. Думаешь, жалуюсь?.. Душа, видать, через край, не принимает больше, вот и говорю.

Нинка, слышь, на свиданке говорила, что мать-де слегла и, мол, велит она адвоката-защитника нанять. А я думаю так: ни к чему все это. Какой он ни был, а все одно человек ведь. В спокойствии рассудить, то не имел я никаких прав жизни его лишать, хоть и лиходей он, мучитель. – Шитиков помолчал. – Да, вот было оно и сплыло, спокойствие, товарищ следователь. И, может, правее всякого закона я себя в неправом-то деле чувствую перед совестью своей. Поэтому и нечего на адвоката тратить, им деньги еще пригодятся. Верно я говорю?

Сбился с разговора. Рука-то, видишь, наладилась у меня. Я до самого конца войны довоевал. А жене Ивана, Марье, тогда я так отписал, адресами мы с ним с первого дня поменялись на всякий случай: «Погиб ваш муж и отец героической смертью».

Шитиков замолчал. Следователь, достав из пачки сигарету, подтолкнул пачку по столу в сторону подсудимого. Закуривали молча. Каждый по несколько раз громко затянулся, прежде чем Шитиков заговорил снова.

– Сюда я прямо из-под Берлина. Как стали адреса заполнять перед демобилизацией, ну и решил я. До дому, алтайские мы, рукой подать. Думал: посмотрю, может, что подсоблю вдове. Стали к Тополинску подъезжать, пропал у меня сон и кусок в горло не лезет. Кое-как отыскал улицу Зеленую. Снег еще не сошел, грязища непролазная. Домишки кособокие стоят. Не то что сейчас – хоромы с верандами. Иду я к Иванову дому, показали мне издали проулок, а за спиной чую, как меня люди глазами провожают. Узнавать не узнают, а все смотрят: чей-то

солдат вернулся? А ноги мои вовсе не идут. Ну зачем, думаю, приехал, дурак?!

Остановился у калитки дух перевести, а дверь настежь, и баба простоволосая выскочила на крыльцо, а за ней девчонка.

– Здравствуй, – говорю, – хозяйка...

Как сейчас вижу: она головой так из стороны в сторону водит, а сама руками за горло схватилась. Только через порог ступил – кинулась ко мне, закричала. Ох, и страшен он, этот бабий крик. Стою столбом, не знаю, что делать, двери нараспашку, закрыть бы их, да не знаю, чего с хозяйкой-то делать. Утихла когда, стала на стол собирать. Я подарки им кое-какие привез, девчонка рада, побежала на улицу показывать, а мы с Марьей за стол сели. По одной да по другой выпили. Она все про Ивана пытается да про жизнь свою вдовью рассказывает. В голос не кричит, а нет-нет и всхлипнет да утрется передником.

Поздно мы засиделись. И всю ночь почитай не спал я, судьбу свою раздумывал. Утром проснулся когда, смотрю, сидит Нинка около моей постели, смотрит на меня. Вдвоем мы с ней, оказывается, остались, мать на работу ушла на шахту. Пошли мы с Нинкой на базар. Ну я, конечно, при параде, полный кавалер солдатской Славы, теперь и шахтерская у меня полная – все три знака, а видишь, что выходит, под корень жгу славу всю и сижу я тут перед тобой, седой да искореженный, опозоренный самым что ни на есть страшным позором...

Идем мы, значит, держу я девчонку за руку, а сам себе думаю: не знаешь ты, не ведаешь, дите неразумное, что это за дядька с тобой рядом. Все-то Ивана я вспоминал...

Пришли. Тебе незнакомо, а послевоенный базар – это хоть козу покупай, хоть воду «святую», ей-богу, там и такую продавали! Ну, мы с Нинкой, конечно, первое дело к конфетам сунулись, такие цветные палочки, уже не помню, сколько штук, но много мы взяли.

Смотрю, мужик в гимнастерке, видать, тоже демобилизованный, буханки хлеба продает. Я к нему: почем, браток? Он уже веселый, говорун такой – тебе, говорит, земляк, и по дешевке уступаю. За восемьдесят рублей срядились. Это верно, он дешево отдал, я ему деньги, а

он говорит: пойдём-ка по чарочке. Конечно, угостились, сперва он, затем и я от себя выставил, тут же опять у старухи какой-то и брали. Разговорились: воевали чуть не рядом. Да по этому делу мы почитай все земляки. Он говорит: догуляю и в шахту. Хватит бабам под землей сидеть, пусть теперь население увеличивают – говорун, конечное дело.

Нинку я при этом все при себе держал.

Вот я о себе говорю, а знаешь, теперь другой раз подумаю, может быть, не след мне приезжать было? Ты чего не подумай, живем душа в душу. А вот скажи, ну чего принесло?

Слово дружку дал? Такого и уговора-то не было, а, видать, засела в меня вина, что не уберег я его. Сам-то выкарабкался... Как ты думаешь? Видать, совесть-то в человеке самое беспокойное. Не надоел я тебе? Может, время занимаю, ты скажи, не робей, а то посиди, чуток послушай, тебе ведь жить да жить, поди, недавно за двадцать перевалило? Вот этикие и мы с Иваном были...

Ну, значит, накупили мы с Нинкой сала, консервов, конфет, да уж и не припомнить всего, и домой. А там название одно – что дом. Все подгнило, сараюшка вовсе развалилась, заплот только что не лежит. Как глянул на разруху эту, сердце зашлось.

Думаю, подсоблю малость хоть, кто ей что сделает, с утра до ночи почти на работе, а там подамся восвоюси. Ну и принялся, значит, за дело. Помню все как есть. Вот скажи, и дело совсем пустяковое, и годов сколько утекло, а вроде нонче все произошло. Помню, сижу это на сараюшке, крышу перебираю, а Мария с работы вернулась. Стала у калитки, смотрит и глаза утирает. Вот так и стоит, вижу. В фуфайке, глаза подсиненные, это от угля, в шахте ведь работала, платок цветастый на ней, и краем платка этого слезы вытирает.

Может, тогда и запала она мне на душу, но сам я еще ничего этого не знал, успокоить не умею, да и какой уж тут покой!

Так-то я, почитай, с неделю прожил. На сон я никогда не жаловался, а тут нейдет – и все! Нету сна, а все что-то саднит да саднит, вроде вот как потерять не потерял и найти не нашел. Кое-как самое аварийное я залатал, и ехать уж пора, конечное дело.

Сидим это мы с ней за столом, о том да о сем говорим, я тут деревню вспомнил, а там-то у меня и своих-то седьмая вода на киселе... А она возьми да и скажи мне:

– Ты только чего плохого не подумай, я вижу, ты человек самостоятельный, я ведь все равно квартирантов держу. Тяжело одной-то, да и во дворе когда помощь нужна. Коли некуда ехать, так оставайся, на шахте работы хватит. Дорого не возьму, а похлебать всегда сготовлю да обстираю. Там оглядишься, обживешься да невесту подыщешь, девки у нас – лучше не сыскать!

Остался я. А дня через два и на шахту пошел. Там меня в один час оформили, аванс выписали, и пошел я в забой. Работы никогда не боялся. Мы, деревенские, к ней привычны. Поначалу, правда, все наверх поглядывал, прислушивался, ну да это быстро прошло, освоился, принооровился. Дома все гладко. Мария – женщина строгая, да и я место помнил, квартирант и есть квартирант. А с девчонкой подружился, она меня дядей Колей стала кликать, а бывало, и на работу проводит, когда матери нет, и встретит, накормит.

С полгода так, может, более прожили. Позвали как-то под Новый год ее соседи, ну а она и меня с собою взяла, мы в одну смену оказались. Я еще не шел было, а потом думаю: все же праздник. Самогон там, пиво, бабы плачут, мужики, которые были, не отстают. Засиделись и домой уже затемно пошли. Возьми я на крыльце-то и обойми Марию. Скажешь, так, сдуру, от хмеля, от тоски по бабе? А кто ее знает, оно, может, и так. Мне ведь к третьему десятку подходило, а как по-настоящему обнимаются, и не знал. Она не оттолкнула, только голову на моем плече спрятала.

Стоим мы так на крыльце. А меня вдруг словно кто в спину толкнул. Отпрянул я от нее, она аж вздрогнула.

– Ты чего? – говорит.

– Не можем мы, Маша, с тобой, – говорю, – об этом думать.

– Что ж, – говорит, – я теперь на всю жизнь проклята?

А я возьми и да и брякни:

– Не ты, а я распроклят на всю жизнь.

И выложил тут я ей про нашу с Иваном последнюю разведку. И про болото, и про ранения, и про омут тот...

Она как-то с непониманием поглядела сперва, а потом как вскрикнет да завоет, что твоя волчица. И такой она мне разнесчастной показала, что впору хоть самому в петлю.

Ушел я от них в общежитие. Изредка заходил, все денег хотел дать, видно же, как надрыдается, да только не брала она.

– Нет у меня на тебя зла, – говорит, – но уж лучше бы не ходил ты.

А во мне что-то вроде повернулось. И укрепился я в мысли. Думаю, пусть самолюбием занимается, но я уж не мог, понимаешь, никак...

Не помню, сколько и времени прошло. Сошлись мы с ней. Девчонке, конечно, отец нужен был, да ведь и сами мы, поди же, не каменные. Не играли, конечно, свадьбы. Зато Нинке уж я справил свадьбу сразу и за себя. Нам как-то не до веселья было, вроде сперва как примерялись друг к дружке. Только, видать, забываться оно ничего не забывается. Другой раз чудится мне, что Мария еще и сейчас Ивана вспоминает, но я уже виду не подаю.

И как в лаву спустился, так до последнего дня на угле. Ну, постепенно, конечное дело, и в доме веселело. Коровенку завели, тряпки кое-какие, собирать стали на новый дом. Видал бы ты, как мы этот самый дом строили. Вдвоем. Я с одного конца бревна, она с другого. Иссохла сама, замучилась, а дом-то все выше и выше. Помню, последний венец клали, а она и признайся:

– Не могу я более тягость такую поднимать! Нельзя мне!

Видишь, как жизнь сама по себе действует и согласия не спрашивает.

Окна прорубили широкие, светло у нас в каждом углу. Кажись, и новоселье недавно справляли, детскую мы с солнечной стороны распланировали, а глядь – девка-то наша и заневестилась. Мария по хозяйству дома занималась, а Нинка на шахту пошла, мотористкой на обогатительную. Семья шахтерская, конечное дело. Семилетку закончила и пошла на шахту: учиться, говорит, еще успею. А тут другое подоспело.

У нас же на участке и работал парень. Ну и лихой же врубмашинист был Мишка! Если уж он на смене, завсегда уголь подрубит как надо,

все в аккурат, и машина как часы. Вот ведь свела же их судьба с Нинкой нашей.

Пришли одна вместе. Мишка бутылку на стол, так, мол, и так. Ну что ты будешь делать? Мать, конечно дело, в слезы, но отговаривать не стали. Решили: свадьбу будем делать. Мы с женой словно к своей свадьбе готовились.

Красиво отгуляли. Соседи и те радовались. Оба-то они красивые да здоровые, удача, говорят, Мария, у тебя с дочкой; люди поздравляют.

Прошло времени-то пустяк. Раз за столом сели, гляжу, а у Нинки под глазом синяк. Я за зятя. Так, говорю, у нас в доме не водится. Что это, говорю, к кровати еще привыкнуть не успели, а уже норов показываешь? Да по пьянке, отвечает. Ну, конечно дело, водка и из курицы петуха сделает. Думал, по нечаянности.

Затеяли мы молодым дом срубить рядом почти с нами, чуть за проуком. Зять как с шахты, так за топор, утром чуть свет и на сруб, работающий, сукин сын, был... Ох, радовались мы с матерью за Нинку. Новоселье чуть не неделю справляли, дружков у него, конечно дело, полгорода, надо всех ублажить. Мы не перечили, по обычаю как будто все шло. Мы, шахтеры, конечно дело, погулять по праздникам шибко любим. Очень мне по сердцу, когда у меня застолье полное, но ум-то завсегда при тебе должен быть, а коли нет, так и за стакан не хватайся, морока от тебя потом людям.

Это я теперь рассуждаю, а тогда как застлало zenки-то поначалу. Тут мне уж люди говорить стали, да и сам замечаю, что, как они переехали в новый дом, ну подменил словно кто зятя. А может, у нас подменный жил, кто его знает? Ну, не стало с ним спасу. Приду это я к нему: что же ты, Михаил, утворяешь, на шахте ведь уже народ пальцем в нас тычет!

– Ты, говорит, папаша, не сумлевайся, это временные трудности, и мы их преодолеем.

И верно ведь, дня три держится, не нарадуешься. И на шахте, и в дому горит работа в руках. А как сорвался – и покатилося, понеслось!

Однажды прибегает Нинка растрепанная, в слезах. С ножом, говорит, гонялся! А она последнее время ходила. Ну, я к зятю: спит себе,

гад, на полу прямо и во сне улыбается, чисто ребенок. Жалко мне его стало, дурак ты, думаю, губишь свою жизнь и не видишь как. Стал я вроде шефство над ним держать, неприметно так. Упросил, чтоб нас в одну смену перевели. Конечное дело, на шахту вместе, с шахты – тоже. Где какие дружки-приятели, а я тут как тут. Пойдем, дескать, Миша, жена с дитем (родила Нинка парнишку) ждет, ну и теща там чего напекла-нажарила.

Не совсем, но утих парень, за ум, похоже, взялся. Удочки купил, двустволку, на рыбалку стал ездить. Там тоже сухо не обходится. Но от воздуха, может, или от чего еще, но домой уж тихий приезжает. И на том, как говорится, спасибо!

Да ведь люди говорят: Бог-то Бог, да сам не будь плох. Уж не помню, с рыбалки ли или еще по какому случаю, а избил он, сволочь, опять Нинку. Правда, времени много прошло, Колька ходить начал – это они так внучонка назвали.

С участка он сбег. Перешел в посадчики на пятый. Рисковая работа, но, зверь, работы не боялся никогда, а деньги опять спускать стал. Я, говорит, может, как на фронте, каждый день риску поддаюсь. Я его и на пятом достал. Он со мной всегда уважительно. Я, говорит, папаша, осознал свою подлость. А после последней-то их войны ушла от него Нинка, прибежала к нам. А утром и воин припожаловал.

– При ваших, – говорит, – глазах, родители, я обещание даю подлость свою прекратить, потому как я семейству своему голова.

– Голова, – говорю, – да дурная, а ведь у тебя уже сын растет. Чего ты, – говорю, – думаешь?

– А думаю, – говорит, – жизнь на сто восемьдесят градусов повернуть.

Он же, шельма, сообразительный был, сукин сын!

Что делать прикажешь? Какой ни на есть, а все отец ребенку. И, конечно дело, все же в человека верится, не зверь же. У того, приглядишь, и то маленькая, а, поди, душа есть... А любовь? Опять, видел же я, что любила его Нинка.

До калитки, как говорится, не дошли, а он за свое. Грешен, не утерпел я, набил раз, прости господи, морду. Здорово набил, силушка еще

кой-какая держалась во мне. И знаешь, как будто на пользу пошло. Приутих, на работе складно стало. Начальник мне его как-то и говорит: «Шитиков, зять-то твой на исправление пошел, за ум взялся...»

Оно и верно, только, с другой стороны, оказывается, это я тебе скоро так говорю, а вольнили мы где-то года три, пожалуй. Он ведь, темная душа, что удумал: стал Нинку подговаривать дом продать. Дескать, потому у нас все кувырком идет, что старики мешают. Вон, мол, и Кольку от дома отучают. А внучок-то правда все у нас. В ясли мы не захотели отдавать. Мария по дому хозяйничает, а чтобы внучок по людям – да это же, конечное дело, ни к чему.

Ну, баба – она завсегда баба и есть. Ни слова, ни полслова не сказала, а пришла и объявила:

– Дом мы продаем и в Междуреченск поедем.

Ну, что тут делать? Жили бы, главное. Однако через полгода вернулись. Помог я ему на шахту устроиться. Начальник так и сказал: «Из уважения к тебе, Шитиков, только твоего зятя и беру». А жить-то на квартиру пошли, не захотели к нам в дом.

Думали, может, и верно добром живут.

На шахте мы редко с ним встречались, к ним я не ходил: не зовут, ну а напрашиваться ни к чему. Мария нет-нет да и забежит. Хорошего, говорит, мало, но все не так зверствует. А тут по шахте слух прошел, что чуть ли не неделю зять-то мой в загуле был. Я специально на участок наведалься, и там подтвердили это. Стыдобушка на седины-то мои, да больше обиды болезнь за Нинку грызет. А что делать?

Он меня как-то за мостом, со смены я шел, встретил. Лохматый, опухший, грязный, на себя непохожий.

– Опохмель, – говорит, – папаша.

Глянул я в шары его пропитые.

– Ежели, – говорю, – опохмелю я тебя, зятек, век не протрезвеешь.

Ведь вот сказал же такое. Не думал я ничего, а сказал. А он нехорошо засмеялся: мы, говорит, еще с тобой повстречаемся.

– Дома-то чего лютуешь, темная твоя душа, оставил бы невинных в покое, – говорю.

– А может, она и виноватая во всем, почем тебе промеж нас все знать? – отвечает он мне.

А сам все улыбается, да вижу, как-то все в натугу у него выходит.

Однажды после смены отдышал, приходит жена вся в слезах. Избил, изверг, Нинку, говорит, места живого нет. Ну и пошел я к ним в гости. Захожу в комнатуху – а какие хоромы-то были! – захожу, лежит Нинка на койке черная, глаз поднять не может, дрожит вся. Меня, глядя на нее, оторопь взяла.

– Одевайся, – говорю, – дочка!

Привел я ее домой, а Марии наказал гнать зятя в шею, если вдруг объявится.

Он и правда раза два без меня приходил, ну а потом вроде как и сгинул.

Месяца два прошло, слышу, говорят: рассчитался. Ну, думаю, черт с ним, может, бог унесет куда. А мы как-нибудь проживем. Нинка-то отошла совсем, повеселела. Решила на работу пойти, он ведь, нехристь, рассчитал ее, чтобы, дескать, не перетруждалась, ах ты, темная душа! Играет она дома с ребенком, матери по хозяйству помогает, и забывать мы про горе наше стали, как ровно про страшный сон.

Вчера прихожу с работы, с четырех я ходил, дома все вверх дном. Посуда перебита, у жены губа будто поджарена. Оказывается, зять в гости приходил. Ну, а дальше как в протоколе написано. Аккурат второй час ночи был: я, когда с койки встаю, завсегда время гляжу, привычка, конечное дело.

Кто-то в дверях трах, бах! Спрашиваю:

– Кто?

Молчат, а потом голос незнакомый:

– Отворяй, хозяин, гости пришли.

– Какие такие гости? – спрашиваю. А сам говорю бабе: – Кто-то заплутал, что ли?

А в тот самый момент булыжник, что у тебя на столе, дзынь в окно. Стекло вдребезги, и слышу, Мишка кричит:

– Нинка! Выходи, а я сейчас с тестем говорить буду!

Бабы всполошились, Нинка около меня тут, в одной рубашке мечется, все причитает: «Папа, ой, папа, ой, папа!»

А он, подлая душа, уже за наличники уцепился, окна-то у нас высокие, и по раме чем-то шарах. Ее как и не бывало, гляжу, а он это прикладом ружейным. Ну что, думаю, я на фронте не погиб, от народа почести за труд принимал, чтобы от поганых рук умереть?! Я вовсе не в оправдание, ты не думай, говорю. Но, видать, вскипело во мне. Годами, видно, собиралось, набаливало. Может, тогда я и не так складно думал, конечное дело, не до дум было. Может, потом сообразил, но по душе, гражданин мой дорогой, так выходило. Я было потянул за приклад, да он вырвал и стволом уже в пролом-то тычет. Я за ствол, он, видать, не ожидал, и вырвал я ружье. Он же, подлый, все одно в окно лезет, последними словами костерит нас. Ну, сунул я ему дуло в морду – нет же, не угомоняется.

Я и взвел курки. Может, поверху хотел, а может, и нет. Теперь кажется, что поверху, а тогда, думаю, в него целил.

– Уходи от греха! – кричу.

А он, подлец, не унимается. И когда дошло уж до нетерпения моего душевного, пальнул я из обоих стволов. Говорится все долго, а там-то если минутка прошла, так хорошо.

Загремело когда, помню, Нинка закричала. Оглянулся я, а глаза-то у нее точь-в-точь Ивановы – серые с крапинкой. И как это я раньше, думаю, не разглядел?

...За окном жара. В комнате обломок солнечного луча упал в графин с водой, что на подоконнике, и разбрызгался тихими маленькими пятнышками на полу. Одно из них легло около кирзового сапога Шитикова.

(«Разговор по душам», 1987)

Светлана Старовойтова

«ГОСПОДЬ ДАЛ МГНОВЕНЬЕ...»

*Но слышишь? На Млечном –
Коней перемена!
Меняются годы:
Уставший – на новый.
Поправим же сбрую
(Господь дал мгновенье)!
Натянем же вожжи,
Чтоб править судьбою!*

В. Коньков

В городской среде, в центре прогресса и техники, в ужатой земле чахлах клумб роскошным кустом стоит папоротник, таежный гость. В герое рассказа вызывает он немой вопрос: зачем так устроено в жизни – папоротник совсем лишний в городе, а растет? С этого незамысловатого, на первый взгляд, вопроса начинается сложная дорога размышлений героев произведений Владимира Андреевича Конькова. Сталкиваются в непрерывной борьбе зов тайги и трубный голос стройки, жажда природной тишины-покоя и радость динамичного мира строящегося города – будущего места всего самого желанного: новой жизни, созвучной прогрессу, достатка, каких-то иных, неведомых еще радостей. Сложно положение человека на этом перекрестке времен, мечтаний, жизненных задач.

В рассказах и повестях сибирского писателя опытный читатель советской литературы чувствует дыхание индустриального мира, находит традиции производственного романа. Коньков с уважением создает образ героя – строителя нового, человека, живущего ритмом стройки, шахты, уборки хлеба. Отзвуком ушедшей эпохи и конъюнктурной романтики «трудового энтузиазма», «десанта основного контингента строителей», вручения выпела-треугольника «с напи-

санными на нем золотом словами: “Победителю в социалистическом соревновании” звучит повесть «Брошенки» (1992, 1995) с первых страниц. Но, перечитывая текст, обращаясь к его первоначальному названию «На таежном разъезде» (1987), можно заметить, что фокус авторского внимания направлен на частную жизнь героев, для которых разъезд – это не только место временного жительства и сезонной работы, но и состояние жизни.

Задорно звучит во время праздника частушка, где рифмуются незатейливые слова «кофточка в горошинку» – «брошенки», но душевной боли, бездомья, житейского неуютя и одиночества полно последнее слово, странное, вынесенное автором в заглавие как знак общей участи героев. Мастерски сплетает он «венки судеб» разновозрастных женщин, волею случая оказавшихся в одном отдаленном местечке среди бескрайних просторов Сибири, где можно заблудиться и кануть «без следа в таежной глухомани». Но пропасть-затеряться среди людей невозможно! Даже если тебя предали собственные родители, как Татьяну Соснину, мечтающую жить «вечным пассажиром», потому что страшно привязываться к чужим людям, когда самым родным не нужна. Даже если судьба протащила тебя сквозь войну и концлагерь, как Лидию Забелину, заставляя смириться с невозможностью материнства и женского счастья. Даже если родилась некрасивой и несчастливой, как Клавдия Тобра, чья жизнь «пустоцветом катится», как признается себе героиня в «тоскливой откровенности души». Нет, не бросят люди, проверенные работой в бригаде, нет для них чужих печалей и слез. И тогда найдет человек себя и утвердится «в ряду сотоварищей», пробьется в его душе «тоненький корешок доверия» и появится в его сознании причастность к общему гнезду, обретет он свое место в большой человеческой семье.

Сложный, многоступенчатый сюжет повести, сплетение фрагментов шорской легенды и событий современности, воспоминания и непосредственно-прямая речь героев делают текст похожим на саму стихию жизни с ее непредсказуемыми поворотами (неожиданная встреча Лидии и Василия, которых разъединила война) и узнаваемыми испытаниями (любовь Алексея и Татьяны, чувство первое, еще не осознанное

обоими во всей глубине взаимной ответственности). И простая, незамысловатая, на первый взгляд, жизнь на разъезде оказывается воплощением глубины и правдивости сложной, такой противоречиво-прекрасной человеческой судьбы.

Изображение локальных, местного масштаба событий, связанных с несколькими героями, требует соответствующих жанровых форм, потому В. А. Коньков отдает предпочтение рассказу, но в его рамки умело заключает судьбы не одного поколения, заставляя читателя отождествляться душой на все хитросплетения стихии жизни. Leitмотивом в таком повествовании часто звучит невоплощенная или несбывшаяся любовь. Тексты эти особенно пронзительны, в них звучит исповедь героев, пришедших к суровой зрелости с чувством безвозвратной потери. Выбирая для заглавия строчку русской народной песни «Летят утки и два гуся...», автор ее же делает знаковой в истории любви старшего Серпухова и хозяйки избы, где случайно останавливается младший Серпухов, принявший спонтанное решение повидать родину свою – Михайловку. И в разговоре с Ефросиньей Варфоломеевной (такое мудреное имя у хозяйки) открывается ему неведомая сторона жизни родителей: история первой любви отца, его порыв жениться на матери, чтобы забыть гордую певунью, его горькие слезы, когда от тоски прибегала к нему на ночное дежурство Ефросинья. И звучала на этих тайных свиданиях любимая песня, в которой изливалась душевная боль по несостоявшейся, невозможной любви. Только слушая этот рассказ, понимает Георгий Серпухов, почему мать была против поездки, а отец хмуро молчал. «Жизнь – она штука путаная, виноватых, правых не найти...» – подытоживает ночной разговор Варфоломеевна, и приоткрывается читателю во всей своей «непознаваемой таинственности» процесс формирования «всечеловеческой цепи», где удивительным образом связаны все жившие и живущие люди. И имя этой связи – любовь.

При знакомстве со сборниками разных лет читатель видит, как оттачивалась автором исповедальная и очерковая конкретность текстов. Даже в работе с названиями отразился поиск писателем задушевного, точного слова. Рассказ «Разговор по душам» имеет и другие на-

звания: «А вот послушай, что скажу...» (книга «Утренняя смена», 1979) и «Выстрел» (цикл «Тополинские истории» в книге «Рябина у крыльца», 1995). Напряженный поиск объясняется сложностью проблематики текста, где автор размышляет над вопросами нравственной ответственности человека за свои поступки и дела других людей. Николай Шитиков, фронтовик, глава семейства, доблестный шахтер («до последнего дня на угле»), оказывается под следствием за попытку лишить жизни человека. От первого испытания (неудавшегося спасения фронтового товарища) до последнего (горькой попытки помочь дочери разрешить тяготы ее семейной жизни) ищет герой ответ на сокровенный вопрос: прав ли он, поступая по зову души, желая сделать лучше и не справляясь с этой задачей? Дочь Нина, жена Марья, дом – все это когда-то принадлежало Ивану, с которым на той далекой войне служил ныне подследственный Шитиков, и жили в окопах они «как братаны», служили честно, сражались рьяно, а выжил только Николай. Он и берет на себя ответственность за семью погибшего товарища, в мирной жизни готов он защищать их так же бескомпромиссно, как на войне. Вот только как его исполнить правильно – долг человеческий? Пронзительной деталью обозначит автор сердечную горечь героя, потаенную, за днями мирной жизни как бы утихнувшую, но вернувшуюся в переломе судьбы боль: «Оглянулся я, а глаза-то у нее точь-в-точь Ивановы – серые с крапинкой. И как это я раньше, думаю, не разглядел?»

Тревожными вопросами озадачен автор, отзывается навстречу этому смятенному поиску сердце читателя. Как жить-быть тем, кто по разным причинам оторвался от земли родной («Решение», «Папоротник», «Черный Амзас»), от почвы, зовущей «первопороджанина» (как назвал таких героев В. Шукшин) назад, к радости крестьянского труда («Поехал он к Черному морю»), к восторгу первозданной красоты природы – мира вне науки и прогресса («Как начинается луна»)? И о детях авторская забота, о тех, кто попадает в непростое положение в сложном взрослом мире, где родители не умеют беречь семью, хранить любовь, уважать друг друга, не умеют и не могут быть родителями («Айда, папа, айда!», «Когда распускаются листья...», «У “Доброго

пути"»)). Не менее сложные нравственные вопросы ставит перед героями Конькова и старость. Как так случилось, что из благих побуждений бабушки выросла черствость, корысть и эгоизм внука («Уголок свиданий»)? Как соединить семейные узы, когда-то давно разорванные охотчим до перемены мест мужем, не считавшимся с нуждами детей и жены жить оседло своим домом («Письмо из Таловки»)? Как простить обиды умершему человеку, построившему свое семейное благополучие на прихоти, перечеркнувшей чувства двух сестер («Поминки»)? Ответы на эти вопросы дает сама жизнь, сохранившая в душах героев щедрость, отзывчивость, любовь к родному человеку и твердую уверенность в том, что жить нужно по совести, как душа велит. И тогда отзывается стихия жизни неожиданным подарком – поздней любовью («Рябина у крыльца»), самой нужной, спасительной. А еще красивой – как рябина, посаженная «молодыми» возле старенького дома, тоже помолодевшего и посветлевшего от счастья, которое в нем снова поселилось. Многогранное это чувство заставляет отступить как деревенских сплетников, так и зло настроенного взрослого сына, рассерженного на отца не то за оскорбленную новым браком память о матери, не то за потенциальное соперничество с «мачехой» за наследство. Короток век человеческий – умер старик, но не закончилась история прекрасного чувства. Символом любви встает куст рябины теперь уже на могиле старика, такой горько-короткой, но навсегда красивой любви.

О произведениях начинающего писателя Владимира Конькова в предисловии к его первой книге «Утренняя смена» старший товарищ по перу Александр Никитич Волошин писал: «Почти все они в одинаковой степени обращены к раскрытию чистых, жизнеутверждающих сторон в поведении людей, к мотивированному отрицанию зла, к активной борьбе с ним». По прошествии времени мы можем добавить: и каждый герой, встающий на перепутье своей судьбы, обнаруживает не только внешнее, но и внутреннее зло, с которым бороться сложнее, сложнее различить его. Бешеный ритм цивилизации выбивает почву из-под ног человека, делает его недоверчивым и жестоким, равнодушным и завистливым. А где-то рядом проходит любовь, живет красота природы, бьют чистые родники и льется с ночного неба «лунный ли-

вень». Чуткий к этому чуду жизни автор скажет устами своего героя: «И не рассказать, как же это все мило, ребята. Слезой вот утираюсь не от боли, не от стыда, не от жалости, а оттого, что люблю я все это, и оно меня любит, потому и радостью дарит...» («Как начинается луна»). Твердо верит автор, что родник человеческой доброты неиссякаем, что мечте и любви всегда есть место в нашем сердце, что само существование человека на земле – большой и бесценный подарок, настоящее счастье.

Екатерина Тюшина

БИОГРАФИЯ ВЛАДИМИРА КОНЬКОВА

Владимир Андреевич Коньков родился 11 ноября 1935 года в селе Талое Красноярского края. После службы в армии работал электрослесарем на шахте в городе Осинники, затем наборщиком в типографии, метранпажем, литсотрудником городской газеты, редактором много-тиражки. Был избран секретарем Осинниковского горкома ВЛКСМ. С 1965 года работал корреспондентом и редактором Кемеровского областного радио, директором бюро пропаганды художественной литературы Кемеровской писательской организации.

Первый рассказ Владимира Конькова «Мать» был напечатан в 1957 году в газете «Комсомолец Кузбасса». Его статьи, репортажи, очерки печатаются в газетах, звучат по радио. В середине 1970-х годов он окончил Литературный институт им. Горького. В 1983 году Владимир Андреевич Коньков был принят в члены Союза писателей СССР.

В 1989 году Коньков основал и редактировал газету «Сибирский родник», являлся директором одноименного издательства. Издательство «Сибирский родник» специализировалось на выпуске книг сибирских авторов. С 1996 года В. А. Коньков был заместителем председателя правления Кемеровского отделения Российского фонда культуры.

Автор шести книг прозы: «Утренняя смена» (1979), «Уголок свиданий» (1982), «Летят утки и два гуся...» (1987), «Разговор по

душам» (1987), «Брошенки» (1992), «Рябина у крыльца» (1995) и одной поэтической книги «Мне послал тебя Бог...» (1995). Печатался в журналах «Огни Кузбасса», «Сибирские огни», в коллективных сборниках «Не покидай меня», «Литература земли Кузнецкой», «Шахтерский характер», «Мой дом – Земля», «Сибирский рассказ», «Писатели Кузбасса».

В своих произведениях Владимир Андреевич Коньков повествует о рядовых тружениках: шахтерах, строителях, сельских механизаторах. Однако писатель сосредотачивает внимание не на профессиональных проблемах и особенностях людей. В центре внимания духовные искания человека, его стремление к утверждению добра, человечности и справедливости. Герои рассказов Конькова – это горожане, которые в молодости уехали из села. А пожив в городе, начинают испытывать настоящую тоску по своей деревенской родине и возвращаются домой, где обретают силу и веру в свое будущее. Красной нитью в творчестве Владимира Конькова проходит тема военного детства, нелегкого времени, когда приходилось восстанавливать не только разрушенные города и села, но и природу.

Тревожили писателя и проблемы улучшения жизни общества. В статье «Казенный дом» он рассуждает о том, что же надо сделать, чтобы изменить нашу жизнь. «С чего начать? Может быть, с дома, подъезда, где живут и воспитываются наши дети, где они постигают те самые азы жизни? А ведь в наших казенных домах далеко не все так благополучно, как кажется на первый взгляд!» – считает Коньков. И, приводя различные примеры нашей неустроенности и беспорядков в обществе, он в конце концов приходит к мысли: «Нравственное возрождение страны кроется в сохранении веками собранной народом мудрости и целесообразности человеческих взаимоотношений. Это и есть та сила, которая нас всех и соединяет в народ».

Главное, что остается после прочтения книг В. А. Конькова, – это его уверенность в том, что во всех человеческих конфликтах, где бы и с кем они ни происходили, правда за добрыми чувствами. И пусть доброта не всегда приносит счастье, но она всегда права, ибо за ней будущее!

Владимир Андреевич Коньков ушел из жизни 18 января 1999 года. Похоронен на Центральном кладбище № 1 города Кемерово. На могиле установлен памятник с фотографией писателя.

Книги Владимира Андреевича Конькова:

Утренняя смена : рассказы, повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1979. – 152 с.

Уголок свиданий : рассказы, повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1982. – 134 с.

Летят утки и два гуся... : рассказы, повесть. – Москва : Современник, 1987. – 156 с. – (Новинки «Современника»).

Разговор по душам : повести, рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1987. – 240 с.

Брошенки : повесть. – Кемерово : Сибирский родник, 1992. – 80 с.

Мне послал тебя Бог... : стихи. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1995. – 63 с.

Рябина у крыльца : рассказы. – Кемерово: Сибирский родник, 1995. – 251 с. – (Русская сибирская проза).



Владимир Федорович Куропатов

*7 сентября 1939 г., с. Кузедеево, Кемеровская обл. – 9 марта 2011 г.,
Кемерово.*

Прозаик, журналист. Член Союза писателей СССР с 1979 года.

«ПОДУШЕЧКИ»

Мы встречали второй послевоенный Новый год. Я учился в первом классе. В школе был утренник. Ученики, подбадриваемые Дедом Морозом и Снегурочкой, выходили к елке и, запинаясь, рассказывали стишки, вразнобой пели песенки, разыгрывали малопонятные, а потому и скучные сценки. Но это ничуть не омрачало праздника, потому что самая приятная, волнующая минута была впереди. Ее ждали с затаенным нетерпением. И вот наконец она настала.

Дед Мороз принес из учительской эмалированный таз, с горой наполненный подарочными кулками, а Снегурочка достала из-под полы бумажку и, заглядывая в нее, стала называть фамилии:

– Кочуганова... Ерофеев... Данилов...

Ученики подходили к Деду Морозу и получали из его рук кульки. Что моя фамилия есть в бумажке Снегурочки, я не сомневался, но все же переживал, как бы Снегурочка не ошиблась и не назвала вместо меня кого-нибудь другого, ведь все-таки фамилии были сходные. Я даже не представлял, что было бы со мной, если бы Снегурочка чего-нибудь напутала.

– Шабров... Кречетова... Куракин... – медленно и внятно читала Снегурочка.

А кульков в тазу все убывало и убывало.

Я уже стал беспокойно поерзывать на скамейке, да и вид мой, наверное, был уже кислый, когда наконец услышал свою фамилию. Сорвавшись с места и не пройдя половины расстояния, что отделяло меня от Деда Мороза, я пролепетал блеклым голосом «спасибо» и протянул вперед сразу обе руки. Получив первый в жизни новогодний подарок, я, захлебываясь от радости, вприпрыжку побежал к выходу.

На улице, сглатывая слюну, с бережливой нетерпеливостью открыл кулек. В нем были бледно-зеленые карамельки – «подушечки». Точь-в-точь такие же, какие мать приносила иногда из магазина. Только, казалось мне, у этих вид был особенный – праздничный и блестяли они по-другому – игриво и весело. А запах от них исходил до того соблазнительный, что у меня слегка затуманилась голова.

Двумя пальцами, будто пинцетом, я осторожно подхватил одну «подушечку», положил на зуб и раскусил. Весь рот обволокло густым холодящим ароматом. Я ощутил такое удовольствие, какого никогда до сих пор не испытывал. Язык стал перебрасывать осколки конфеты от одной щеки к другой, осколки таяли, таяли и вдруг исчезли. И сразу на душе стало как-то неуютно. Я очень удивился этому, даже повел плечом.

Тогда я взял две «подушечки»: хрум, хрум.

«Хруп, хруп», – в такт отозвался снег под валенками. Это вышло неожиданно и забавно. Я тут же отправил в рот три «подушечки», и у меня получилось нечто иное: хрум-хруп, хрум-хруп, хрум-хруп...

Потом обнаружились и другие варианты. Оказалось, их было очень много, и разнообразие их зависело не только от того, в какой последовательности я раскусываю «подушечки» и переставляю ноги, но и от того, как часто раскусываю «подушечки» и как часто переставляю ноги. Самый интересный вариант, заключил я, тот, когда поживее работаешь челюстями и шагаешь ровно, без спешки. Тогда получается: хрум, хрум, хрум-хруп.

Я так увлекся этой необычной игрой, что не заметил, как подошел к своему дому. Возле ворот сунул руку в кулек, но там уже ничего не было. Неужели? Заглянул – пусто. Только несколько изумрудно поблескивающих осколочков лежало на дне. Я разочарованно высыпал их на ладонь, слизнул, а кулек скомкал и забросил в сугроб.

В дом я вкатился вместе с густыми клубами холодного воздуха. Мама хлопотала у печки. Отец сидел за столом и по-купчески, из блюдечка, пил чай. Это была одна из странностей моего отца: перед тем как начать есть, он всегда напивался чаю. Посреди стола стояла тарелка с пышными румяными пирожками. Я догадался по запаху, что это были мои любимые пирожки с морковкой.

– Вот и сын пришел, – обрадовалась мать, – сейчас завтракать будем. Ну, как там, на елке, хорошо было?

– Ага, здорово! – ответил я разухабисто, забрасывая на вешалку шапку.

– И подарки Дед Мороз давал?

– Ага! «Подушечки»! – все тем же тоном сказал я и сбросил пальто.

– Ну, угости нас с отцом. Мы ждали.

– А? – переспросил я, и мои глаза встретились с добрыми, ласковыми глазами матери.

– Мы, говорю, ждали, когда гостинца нам принесешь.

Голова моя мгновенно, как подрезанная, упала на грудь, пальцы, липкие от «подушечек», затеребили пуговицы на новой, сшитой матерью специально к празднику, куртке.

– Ты чего, сынок?

В ответ я шмыгнул носом.

– Так где же твои конфеты?

Я виновато засопел.

– Мимо Волосниковых шел? – зачем-то поинтересовался отец.

Я утвердительно кивнул.

– Тогда понятно. Подарок Пальма у него отобрала.

– Да ну. Где ей, Пальме, отобрасть, она ж меньше нашей кошки, – возразила мать. – Наверно, когда обметал валенки, положил кулек на лавку и забыл. – Мать глянула в заиндевелое окно. – Вроде правда лежит.

– Иди забери скорей, а то и впрямь Пальма учует, прибежит да съест, – сказал отец вкрадчиво.

– Или уже сам съел? – не столько вопросительно, сколько утвердительно сказала мать с обидой и уже с открытым укором.

Я засопел еще гуще, чем, разумеется, и подтвердил предположение матери.

– Вот молодец, сын, так молодец. Угостил родителей. Хоть бы по одной конфеточке принес. Петя с Шурой, бывало, всегда принесут. А ты в кого такой?..

Мне было мучительно стыдно. Я настойчиво искал выхода из своего унижительного положения. Но что можно было найти, что придумать? Все против меня. И все-таки я решил прибегнуть к своему испытанному приему. Кстати, подсказанному самой же матерью. Однажды я что-то такое натворил – не то залез в крынку со сметаной, не то в туюсок с медом – и стоял перед ней, как и сейчас, отпустив голову. Мать, тряся пальцем возле моего носа, строго сказала: «Знаю я тебя: когда не виноват – плачешь, а виноват – так только сопишь. Вот и сейчас...»

Эти слова матери я намотал на ус, при каждом разоблачении стал пускать слезу, и это почти всегда помогало мне избежать шлепков и подзатыльников. Конечно, сейчас был совсем не тот случай, но у меня другого выхода не было, и я решил: испыток не убыток, авось да поможет. Страдальчески перекосил лицо, я изо всех сил стал выдавливать слезу, одновременно тряс плечами и силился зареветь.

Но мои старания вызвали на этот раз совсем не ту реакцию, на которую я рассчитывал.

– А! Ты еще и плакать! Чтоб тебя!..

Обида матери вырвалась наружу. И, схватив оказавшуюся под рукой мокрую тряпку, она замахнулась было на меня, но отец остановил ее:

– Подожди.

Он обратился ко мне ласково, для моего отца даже чересчур, настолько ласково в таком случае.

– Сегодня праздник, Новый год. А ругань с праздником не дружат. Садись, сынок, за стол и ешь. Вот пирожков мать напекла, твоих любимых, с морковкой. – Отец подвинул тарелку с пирожками ближе ко мне, к самому краешку стола, и еще ласковее: – Садись, ешь.

Лицо отца было светлым и улыбчивым, оно могло бы вызвать доверие, если бы не глаза. Серые, острые, они смотрели из-под навеса лохматых бровей насмешливо и ядовито, в них была непонятная гипнотическая сила, и я почувствовал себя ничтожным жалким существом. А во рту стало сухо. И так отвратительно горько, как если бы я только что жевал не душистые «подушечки», а степную, выжженную солнцем полынь.

– Так садись же, ешь...

...Моя дочь покупает иногда «подушечки» – любит – и угощает меня. Я беру конфету, но не сразу решаюсь ее съесть: раскушу, а вдруг она – горькая. Как полынь.

БЕЛАЯ РУБАШКА

У меня был старший брат Александр. Он не вернулся с фронта. Он пропал без вести где-то под Харьковом. После него осталась большая фотография, которая хранится у меня. А еще храню в памяти своей случай о моем брате. Этот случай рассказал мне отец.

Было мне лет восемь или девять. Однажды зимним утром я проснулся от стука в дверь, которая тут же с сухим морозным скрипом, будто холст разорвали, отворилась, кто-то переступил порог, и дверь хлопнула – затворилась.

– Здравствуйте.

Я узнал по голосу, это пришла почтальонка тетя Клава Соломина. Живо поднялся на локте, откинул на спинку кровати цветастый ситцевый полог. Интересно было узнать: что принесла тетя Клава сегодня? Может, наконец письмо от Шуры? Может, он нашелся? Ведь находятся другие. Даже те, на кого приходили похорожки, вдруг объявлялись живыми и здоровыми. А на Шуру нашего ничего не приходило. Он пропал без вести. И я, как и мать с отцом, каждый день ждал, что мой брат придет или пришлет письмо. Шли день за днем, месяц за месяцем, год за годом, но ни самого Шуры, ни письма так и не было. А мы все ждали и ждали... Может, сегодня?

Тетя Клава плохо гнушится пальцами – видно, очень застыли они у нее – пошарила в тощеватой кирзовой сумке, достала бумажку, подала ее отцу. Он сидел возле сундука на маленькой табуреточке и починял колхозную упряжь – шорничал.

– Что это? Повестка вроде?..

– Куда? – встревожилась мать и через плечо отца заглянула в бумажку, но разобрать ничего не могла: она была совсем неграмотной.

– В милицию. К следователю, – сказал отец.

– О господи! – испуганно и тихо воскликнула мать. С просительной робостью посмотрела на тетю Клаву: – Может, это не нам?

– Чего ж не нам, когда нам. – Отец вздохнул с прерывистой протяжностью. – Садись, Клавдия, погрейся. Морозика-то совсем сдурел... «В ка-чес-тве сви-де-те-ля...» Это по крольча-а-атникам.

– А я уж думала, беда какая, – приободрилась мать и отошла к плите, на которой весело шипела жарящаяся картошка.

– Достукались Мишка с Васькой. Теперь, поди, засудят. – Тетя Клава опустила на лавку, поколотила валенок о валенок: ноги у нее тоже застыли.

– А то чего ж. Засу-у-удят. За такие дела по головке не погладят. – Отец положил повестку на стол.

Я понял, о чем шла речь.

В конце ноября взрослые парни Мишка Скрыбин и Васька Нечаев залезли поздно вечером в стайку к райпотребсоюзовскому шоферу Станиславу Бобровскому и украли четыре пары кроликов. Тоже разводить надумали. Станислав вышел на улицу то ли до ветру, то ли еще зачем и заметил от стайки к калитке следы. В тот вечер шел легкий снежок, а к ночи стих, на беду воров. Станислав взял спички и пошел по следам. Возле нашего дома спички кончились. Бобровский постучался к нам и, объяснив, в чем дело, попросил отца прихватить спичек и пойти вместе с ним.

Следы привели к дому Нечаевых. Побарабанили в сенную дверь. Вышла Нечаиха, мать Васьки.

«Кто там?»

«Не чужие. Василий дома?»

Нечаиха замялась, потом сказала:

«Нету. Гуляет где-то».

«Все равно открывай».

Деваться некуда. Нечаиха впустила Бобровского и отца в дом. На кровати лежали Васька и Мишка.

«Спите, хлопцы?» – спросил Станислав.

«Угу», – враз ответили парни.

«А что же одетые-то? Прямо в пиджаках? Чудно! И мешки за печкой чего-то шевелятся. Какой-то чудной дом...»

Нечаиха в слезы. Давай ублажать Бобровского. Мол, по молодости, по глупости парни созорничали. Накинулась на Ваську с Мишкой с запоздалой бранью. Потом опять принялась упрашивать Станислава простить «дураков». Бобровский забрал своих кроликов, и они с отцом ушли.

А на другой день Ваську и Мишку арестовали.

– Как жить-то станет Нечаиха, если Ваську засудят? Хворая она, – жалостливо сказала тетя Клава.

– Как миленьких засудят, Клавдия, – с каким-то безразличием произнес отец.

– Васька-то парень ничего. Это Скрябин, окаянный, Мишка подбил его.

– Что теперь рассуждать? Теперь ни тот ни другой не открутятся.

– Нечаиху, говорю, жалко, – грустно покачала головой тетя Клава.

– Что ж, что жалко, – с тем же безразличием сказал отец, прокалывая шилом ремень уздечки.

– Убиваться станет. Мать же...

– Не мать она ему, Клавдия. – Отец резко протолкнул иглу в проколотую шилом дырку.

– Как же не мать! Как не мать! – обиделась за Нечаиху тетя Клава. – Зачем, Федор Петрович, такое говорите... Ваську посадят – ладно, заслужил он. А старуха-то за что будет маяться? Она ж не помогала ему, не посылала за кроликами.

Отец ничего не сказал. Он прошивал уздечку.

– Мишка и взбаламутил Ваську, повел его на поводке. Скрябины – те вся порода воровская и других втягивают...

– Ты, Клавдия, помнишь, как мы сюда в тридцать третьем году по осени приехали? – зачем-то спросил отец.

– Как не помнить? Помню. В землянке жили.

– А землянка меньше бани. А нас шесть душ. Ни поить, ни одеть, ни обусть – ничего не было.

– Знаю. Как же.

– Не все ты знаешь. – Отец обернулся в мою сторону: – Проснулся, сынок?

– Тогда все плохо жили. Голодное время было.

– Так вот послушай. – Отец снова мельком взглянул на меня, будто тоже приглашал послушать то, что он сейчас будет рассказывать.

– По осени мы сюда приехали. Сами и ребяташки, что постарше, пошли в колхоз картошку копать. Урожай, слава богу, хороший был.

Картошкой нам и заплатили. Запаслись картошкой – до весны как-нибудь дотянем. Потом я и Шурка, ему уже лет четырнадцать было, в больницу устроились. Я плотничал, столярничал, печи переделывал. Шурка воду возил. А вечером в школу ходил. Аж туда, через бор. Далеко. Домой уже к ночи приходил. Раз в конце октября такой день стоял, так тепло было, покойно. А вечером как задует холодом, как зашумят сосны. Дождь полил, а потом и в снег перешел. Прямо настоящая зима началась. А Шурка в школу отправился в пинжачке, в ботинешках на босу ногу, без шапки. Застудится в такую непогоду парнишка и сляжет. Сидим мы с матерью возле стола, ждем, прислушиваемся. Ребятишки тоже не спят, тоже Шурку ждут. А на дворе такая буря, такая буря. Будто Сатана свадьбу справляет...

– Пап, а я тоже не спал? – спросил я.

– Ты? Тебя, сынок, тогда еще не было. Не родился... Зашуршало в сенях – мать к двери. Пришел наш Шурка. Ну, слава богу. А растрепанный, мокрый, холодный – смотреть жалко. Страшно смотреть, Клавдия... Мать засуетилась кормить. Достала чугунок из печки, вывалила в чашку картошку, кусочек хлеба отрезала.

«Садись, сынок, ешь – да на печку греться».

А Шурка, не пойму чего-то, мнется возле порога и смотрит боязно то на меня, то на мать.

«Мам, – позвал Шурка несмело, – я вот сейчас шел и нашел халат. Сшей мне из него рубашку к Седьмому ноября». – Вынул из-за пазухи белое и протянул матери.

Та уже принять хотела, а я говорю:

«Погоди, – и спрашиваю Шурку: – А где ты его, сын, в каком хорошем месте нашел?»

«Возле клуба. Он в канаве валялся. Я поднял...»

«Так, так... А напротив, – спрашиваю, – клуба кто живет? Ты знаешь?»

«Васса Васильевна Ткачева», – отвечает.

«Верно. А работает она где?»

«В больнице».

«Прачкой-надомницей. Так?»

«Угу».

«Так чего ж говоришь, что ты нашел халат?»

«Нашел, папа! Честное слово, нашел! Он в канаве валялся!»

«Верю. В канаве ты его поднял. Только не туда принес».

«А куда надо? Мама мне рубашку сошьет или Мане платье».

«Нет, сын, не будет ни тебе рубашки, ни Мане платья. Ступай и отнеси халат туда, где ему положено быть. Сейчас же».

«Так никто же, пап, не видел, как я его подобрал...»

«Ну так и что ж, что никто не видел? Все равно халат-то не наш, чужой. Ступай, неси...»

Опустил Шурка голову, молчит.

«Ты слышал, что тебе сказано?»

«Я, папа, отнесу, только завтра. Сейчас холодно».

«Знаю, что холодно. Но завтра, Шура, будет поздно уже. Неси сейчас».

«В бору страшно. Я боюсь».

«Но когда ты сюда шел, ты же не боялся?»

Ничего не сказал. Заплакал.

Вот тут мать и налетела на меня дроздохой:

«Парнишка замерз, вон аж посинел, а ты гонишь его! Утром отнесет...» – и тоже в слезы.

«Не утром, а сейчас же!»

«Пусть хоть поест...»

«Придет – тогда и поест. Ступай».

«Не сердце у тебя, а камень! Какой ты отец! Родное дитя сгубить хочешь...»

«Ступай, сын», – и дверь ему отворил.

«Отец! Слышишь?!»

Слышу. Я все слышу. Да не слушаю... Пошел Шурка...

Отец умолк. В одной руке он держал большую иглу, пальцами другой распутывал свившуюся восьмерками драгву. Я смотрел, как он это делает, а у самого сердце сжималось от жалости к брату. Я думал: «Эх, Шура, Шура, догадался бы ты. До речки-то шагов сорок. Халат в воду – и поплывет он. А сам пережди сколько надо в затишке под навесом и заходи в избу».

Но нет, отца не проведешь. Не простак он был.

– Пошел Шурка, а я ему вслед говорю: «Завтра я у Вассы Васильевны спрошу, все ли халаты у нее целы, не унесло ли ветром».

Ушел Шурка. А на дворе – вой, свист. Землянка наша аж постанывает и поскрипывает, бедная. Еще пуще разгулялась непогода. Мать села на сундук у порога и плачет. Голосит прямо. Меня на чем свет стоит поносит. Ребятишки на печи тоже ревут. А я сижу у стола, гляжу на картошку в мундирах, что мать для Шурки поставила, и тоже... Тоже чуть не плачу. Думаю: вот он мосток через речку перешел... коровник минул... в бор зашел. А в бору-то жутко что делается. Не то что парнишке, взрослому человеку страшно там сейчас. Может, не надо было б отправлять, подождать бы до утра?..

Отец склонился над уздечкой, но не шил, только разглаживал пальцами ремни и о чем-то думал. Задумалась тетя Клава. Мать, прислонившись к печке, печально смотрела на заиндевевое окно. А я лежал в теплой мягкой постели и представлял, как мой брат Шура шел в непогоду по старому бору...

Жутко гудели сосны над головой. «Ток... ток...» – то здесь, то там падали шишки и сучья. Шура то и дело вздрагивал, озирался по сторонам. А ветер рвал полы пиджака, будто хотел отнять и унести белый больничный халат, который Шура, конечно же, не украл, а нашел в канаве возле клуба. Он шел только туда. А потом пойдет еще обратно через этот страшный бор, потому что другой дороги домой не было...

Представляя это, я лежал в теплой мягкой постели. Примостившись у меня под боком, мурлыкал, будто рокотал маленький игрушечный трактор, кот Васька. У изголовья чуть потрескивали дрова в печи. Мерно тикали на стене часы-ходики. Хорошо, уютно было в доме. И от этого еще явственнее представлялось, как холодно, одиноко и жутко было в бору моему брату Шура.

Отец, ссутулившись, ворошил уздечку. Мать, стоя у печи, смахивала покотившуюся по щеке слезу. Тетя Клава смотрела перед собой, притихшая, скорбная. Им, наверное, тоже виделся Шура, идущий по бору в ту осеннюю ночь.

– И казалось мне, Клавдия, так далеко, будто на самый край света отправил я парнишку, – снова заговорил отец. – Болело мое сердце,

Клавдия, шибко болело. Ты мать и знаешь, как болит сердце по родным детям. Наверное, думаю, и впрямь сгубил я сына. Не вернется. А на дворе так завывает, так завывает. Кажется, конец света настает. Все: и мы с матерью, и ребятишки – сидим, плачем и ждем. Уже два раза рассвести бы должно, а его все нет и нет. – Плечи отца поднялись и опустились от вздоха. – Надо, думаю, идти встречать или искать. И уже встал, чтобы собираться, как скрипнула в сенцах дверь...

Пришел Шурка. Вот так и хотелось на колени перед ним упасть, когда глянул на него. Да Шура ли это мой?..

«Ну, сын, – спрашиваю, – отнес халат?»

«Отнес»... – Стоит у порога.

«Молодец, – подошел, погладил его по мокрой голове, – вот теперь садись ешь. Ешь, сынок, и ложись на печку спать. Утром на работу пойдем».

Вот так, Клавдия. За кого хочешь меня считай. Ирод я, супостат, изверг? Она, – отец указал на мать, – так меня и называла, пока Шурка ходил. Может, и правильно. А только, опять же, что мне было делать?

Тетя Клава мельком взглянула на отца и, опустив голову, покивала в строгой задумчивости, вздохнула:

– Да-а-а...

Мать положила на стол четыре ложки, принимаясь резать хлеб, сказала мне:

– Умывайся, сейчас завтракать будем.

– Утром поднялся я, – продолжал отец, – разбудил Шурку. Может, думаю, заболел, жар у него. Нет, вроде ничего, бог миловал. Значит, на работу пойдем. Собрались, сели завтракать. Только сели – стук в дверь. Заходит Васса Васильевна.

«Здравствуйте! – и с самого порога затараторила, уж такая тараторка была: – Ой, да Федор Петрович, ой, Родионовна! Да какое же я вам спасибо принесла! Шурик-то ваш до чего же парень путный, прямо золотой! Вчера среди ночи стучится к нам. Я открыла. Он говорит: “Тетя Васса, я вот в канаве халат нашел, возьмите, ваш, наверно”. Ох, да если б, Шурунька, мой, если б, детка, мой, – обняла Шурку за плечи, – а то ведь Чеснокова. Андрея Васильевича. Самóго главного врача.

Страсть какой строгий он человек. И что было бы со мною, если бы халат пропал, не знаю. Беда была б. Такая беда! Спасибо тебе, Шуронька, и вам, родители, спасибо! Другой бы кто поднял бы – и дело с концом, а мне бы беда. Спаситель ты мой!» – И Шурку в лоб поцеловала. Во как!

Отец засмеялся весело, счастливо и посмотрел на меня. Я уже сидел на табуретке возле стола и, дожидаясь, когда мать поставит сковороду с картошкой, вертел в руках ложку и болтал под столом ногами.

А отец продолжал:

– Выговорились, отстрекотала, отспасибкала Васса Васильевна, раскрыла сумку, достала рубашку, старенькую уже. Новая-то она, похоже, голубенькая была, а теперь уже вылиняла, белой сделалась.

«Мой, – говорит, – Генаша уже вырос из нее, в армии служит. На-ка, Шуронька, донашивай ее ты. Это тебе мой гостинец, благодарность моя».

И сует ему рубашку. А он не смеет взять, смотрит то на меня, то на мать.

«Бери, – говорю ему, – раз заслужил, сынок, значит, бери, не отказывайся».

Взял. Спасибо сказал. А Васса Васильевна еще и носки шерстяные вязанные достала.

«И это, – говорит, – тебе. Зима ведь идет».

– Вот так. – И отец снова посмотрел на меня добрыми веселыми глазами.

И мне сделалось радостно и от этого хорошего взгляда отца, и от того, что все так хорошо кончилось. А отец продолжал:

– Ребятишки – я и не видел как – проснулись, смотрят с печки, все аж светятся – рады за Шурку. И мать рада. И я, Клавдия, рад. Всем хорошо, все рады.

«Спасибо, – говорю, – и тебе, Васса Васильевна, садись с нами за стол, поешь что бог послал, чайку попей».

«Есть-то, – говорит, – я уже ела. А от чайку не откажусь», – и села рядом с Шуркой.

И тогда, сынок (отец обратился ко мне, лицо его вдруг посуровело, сделалось жестким, веселье потухло в глазах, но все равно они были до-

брыми. Строгими и добрыми), и тогда я сказал своим детям: «Что вы добудете своим трудом, стараниями, потом – вот только то и есть ваше. А если что иначе добудете – знайте: все то проклято. Людьюми проклято. Чужой хлеб – не насыщает. Чужая рубашка – не греет. Чужая слава – позорит. Чужое счастье – бедой вам обернется. У вас должно быть только ваше. И тогда вы будете жить покойно и радостно. Я говорю это вам, а вы скажете это своим детям, когда они у вас будут, а дети ваших детей скажут своим детям, а те своим. Меня этому учил мой отец, а отца – его отец... Так идет с самого начала рода людского. По-другому не было и не будет...»

Отец умолк. В избе сделалось тихо. Только одни настенные часы-ходики стучали: тик-так, тик-так... Однообразно и мерно они отсчитывали время, которому нет ни начала, ни конца. Тик-так, тик-так, тик-так...

– Вот и все. – Отец бросил на сундук уздечку, поднялся. – Ну, отогрелась, Клавдия? Раздевайся, завтракать будем.

– Я уже завтракала.

– Может, кто и видел, а мы – нет. Раздевайся. Успеешь, разнесешь свою сумку. Если кому радость в ней – радость и получают. А кому горе, так, может, оно и лучше, если чуток позднее. Поедим, да и я пойду к следователю.

– А что ты ему показывать-то станешь? – спросила мать.

– Что знаю, то и покажу. Лишнего не наговорю...

«Что вы добудете своим трудом, стараниями, потом – вот только то и есть ваше. А если что иначе добудете – знайте: все то проклято. Людьюми проклято. Чужой хлеб – не насыщает. Чужая рубашка – не греет. Чужая слава – позорит. Чужое счастье – бедой вам обернется. У вас должно быть только ваше. И тогда вы будете жить покойно и радостно. Я говорю это вам, а вы скажете это своим детям, когда они у вас будут, а дети ваших детей скажут своим детям, а те своим. Меня этому учил мой отец, а отца – его отец... Так идет с самого начала рода людского. По-другому не было и не будет...»

Эти слова отца я помню всегда. Может, не всегда я в жизни своей следовал родительскому совету, в чем-то грешил против его простой

истины, но я знаю, что сделал бы в жизни гораздо больше дурного, если бы не помнил слов отца. И теперь я повторяю слова отца своим детям, хочу, чтобы они запомнили их и донесли до своих детей, а их дети – до своих детей...

1977

ПЕРВЕЕ ПЕРВОГО

Помнится, в третьем классе мы учились во вторую смену. Однажды зимой, в самом начале урока, электрические лампочки мигнули раз, другой и погасли. Мы обрадовались: сейчас Мария Семеновна отпустит нас домой. «Забегу в магазин и куплю повидла», – решил я. У меня в кармане как раз был рубль: мать на кино дала. Кино я любил, повидло же любил больше всего на свете. Наверное, потому, что его редко привозили в магазин. Два дня назад – привезли. Надо успеть, а то разберут.

Но, к нашему разочарованию, Мария Семеновна не отпустила нас домой. Она очень ценила время.

– Подождем, – сказала учительница, – может, еще загорится. А пока давайте помечтаем. Мечтать можно и в темноте.

И мы стали мечтать. О будущем. О том времени, теперь – после войны – не таком уж далеком, когда жизнь будет интересной, веселой, все люди будут грамотными и всего будет сколько хочешь. Например, рассказывала Мария Семеновна, приходи в магазин, выбирай себе костюм, рубашку, ботинки, набирай полные карманы пряников, печенья, конфет... Что увидишь, чего захочешь, то и бери. Сколько хочешь! А самое главное – бесплатно, без денег. Денег при коммунизме не будет. Они станут ненужными, раз все бесплатно.

В то, что рассказывала Мария Семеновна, верилось, потому что очень этого хотелось, и как-то не верилось, вернее сказать, было трудно вообразить: всего сколько хочешь, а главное, бери все за так, без денег.

– И повидло будет бесплатно? – спросил я, переборов в себе робость.

– Все будет бесплатное, – ответила Мария Семеновна. – Значит, и повидло тоже.

– И его дадут хоть бочку?

– Хоть бочку, – засмеялась учительница. – Если съешь.

Если съешь! Да мне и трех бочек мало будет...

О чем рассказывала Мария Семеновна дальше, я как-то плохо слушал. Я представил себе, что уже настало счастливое будущее и я ем бесплатное повидло. Прямо из бочки. Ложкой. И без хлеба – так больше влезет.

После звонка я первым выбежал из класса, оделся и стремглав помчался в магазин. У прилавка была длинная очередь – давали пшено. Я кое-как пробрался за печку и увидел: одна на другой стояли две фанерные бочки. С повидлом. Значит, одну уже распродали. «Не устоят, конечно, до коммунизма и эти», – тоскливо подумал я.

Но, вспомнив, что коммунизм – это не только бесплатно, но всего сколько хочешь, успокоился: ну не устоят эти, так привезут другие. Доста-анется!

На рубль, что похрустывал у меня в руке, решил все-таки сходить в кино, а повидла наемся при коммунизме, а то очередина вон какая, да и сколько его дадут, на рубль-то.

Дома я взахлеб рассказал отцу и матери, как здорово будет в будущем: всего сколько хочешь, а главное – бесплатно! И в заключение провозгласил:

– Я себе бочку повидла возьму!

– Дай бог, – сказал отец, – дай бог. И когда же это будущее наступит? Учительница говорила?

– Я же говорю: когда всего будет сколько хочешь и – бесплатно.

Отец отрицательно покачал головой.

– Раньше, сынок, много раньше. Чтобы у тебя повидло было, что нужно сделать?

– Бочку из магазина прикатить, – ответил я не моргнув глазом.

– Верно рассуждаешь, – улыбнувшись, поощрил отец. – А еще раньше?

Я пожал плечами.

– Запечатать ее. Так? Так. А до этого? Повидла в нее наложить. А перед тем? Яблок, груш, слив наростить. А сначала садов насадить. А иначе как? Задом наперед коня не запрягают. А первое первого – надо всем работать научиться. Мария Семеновна ведь так вам объясняла: будет каждый работать сколько надо, по совести, и будет всего сколько хочешь. Так она говорила?

Я шмыгнул носом.

– Или ты не слушал – бочку с повидлом открывал?

Отец немного ошибся в своем предположении. Тогда, на уроке, я не потрудился даже открыть бочку. Начал – я уже говорил об этом – есть повидло сразу. Ложкой. И без хлеба – чтобы больше влезло.

1980

КОНОКРАДСКОЕ ВЕДРО

После войны в нашем селе много говорили о бродягах и рассказывали случаи один страшнее другого. Кого-то обворовали, все подчистую унесли; у кого-то корову из стайки увели, а хвост зачем-то отрезали, свили кольцом у ворот и в середину куриное яйцо положили; кого-то в бору раздели, за ноги к суку подвесили; в соседнем селе всю семью вырезали...

Было лето. Мои и Петькины родители уехали на покос. Входную дверь в хату замкнули, нас оставили в сенках – вдруг дождь пойдет. Наказали нам строго-настрого: от двора – ни шагу, а то бродяги...

Бродяг мы с Петькой никогда не видели и потому не боялись их. Нарвали на грядках огурцов, забрались на кровать, специально для нас в сени выставленную, хрумкали огурцами, балагурили. Потом нам сделалось скучно.

– Пойдем порыбалим, – предложил Петька.

– Велели же – никуда.

– Да кто узнает-то?

– А вдруг бродяги?

Петька задумался, поскреб пятерней живот.

– А мы знаешь как?.. Пошли к воротцам – покажу.

Петька поднял с земли соломинку, переломил ее и хомутиком при-
мостил на крючке.

– Если придем и ее не будет, значит, кто-то приходил, если так оста-
нется – никого не было. Понял?

– Понял. Ну, бери удочки.

Когда вернулись с Теша с тремя пескарями – соломинка была на
месте.

– Я же говорил. Айда на гору клубники поедим...

Пришли с горы – соломинка висела как висела. Надо же! Такая
простая и такая надежная Петькина придумка.

И в следующие дни мы занимались чем хотели, время от времени
прибегая домой, чтобы проверить соломинку. Она всегда оказывалась
на месте и тем самым как бы поощряла нас и дальше нарушать роди-
ТЕЛЬСКИЙ НАКАЗ: от двора – ни шагу.

Но однажды под вечер, накупавшись до гусиной кожи и посинения,
прибежали с Теша и не только соломинки не обнаружили, но нашли
сам крючок откинутым, а сенная дверь, которую мы подперли метлой,
была чуть приоткрытой.

Мы в страхе переглянулись. Заходить во двор не решались.

– Что теперь будем делать? – спросил я шепотом.

Петька, может, что-то и ответил бы, но не успел. Сенная дверь то-
ненько заскрипела и приоткрылась пошире. Мы уже приготовились
закричать «мама» и дать деру, но тут показалась в проеме двери хоро-
шо знакомая нам рыжая шапка деда Волосникова.

– Вот они, молодцы, возъявились! – принялся журить нас дед. –
Это вы так-то домоседничаете? Вам что наказывали? А?.. Неслухи! У
них все беганьки на уме, все беганьки. А тут вон по улице воры ездят.
Не видели?

– Какие воры?

– Знамо дело, нехорошие. Какие же еще. На телеге – два мужика
и баба. Поезживают да на избы поглядывают. Не иначе, конокрады,
самый хитрый воровской народ. У меня глаз вострый, за свою жисть
разных людей пересмотрел... Так чего ж, спрашиваю, дом бросаете?..

Посапываете?.. Ну ладно, хлопцы, дело молодое. Вовка, ну-к, слазь-ка на горище...

Я мигом слазал на чердак, протянул деду несколько табачных листов.

– Да куды столь-то?! Мне и надоть-то всего понюшку. Вот захотелось – спасу нет. Приволокся – никого. Хотел сам полезть, да, думаю, свалюсь еще, с лестницы-то, расшибусь.

Сделав ладонь гнездышком и положив в нее несколько табачных лоскутков, дед тщательно и долго растирал их большим пальцем; когда убедился, что на ладони пыль, отправил маленькую, не как мой отец, щепоточку в одну ноздрю, потом в другую и застыл, будто прислушивался к чему-то в самом себе, приоткрыв беззубый рот. Потом судорожно затряс головой, рот стал открываться шире, шире...

– Ха... хап... хап-чи! Ой, хорош, сатана! Вы, хлопцы, подрастете, дак не курите. Нюхать привыкайте: чаду никакого, а шшыкочет. И на зренье... а... хап-чи! До самого нутра продирает, сатана!.. На зренье влияет, отец твой сказывает.

Сунул табачные листы в карман фуфайки, поднялся.

– Вишь ли, ночевать они просятся.

– Кто?

– Да эти-то, конокрады которые. И ко мне просились. Но я их вижу, глаз у меня острый. Всех уже обежал, упредил; караультесь, говорю. Подъедут к вам, так вы скажите, мол, без отца-матери ничего не знаем. Ну, пойду, домоседничайте.

– Страшает, никто, поди, и не ездит по улице, – сказал Петька, правда, кисло. – Что-то долго наши не едут, – стал на койку, выглянул в оконце, выходящее на дорогу, ведущую в поле, и тут же отшатнулся: – Конокрады!

– Где?!

– За вашим огородом.

– Не ври. – По моему телу побежали мурашки.

– Чес слово! – прошептал Петька. – Глянь.

Перебарывая страх, я одним глазом выглянул в оконце и увидел: в конце нашего огорода стояла подвода. На телеге сидели мужчина в

синей одежде и женщина, на прясле, тоже в синем, еще один мужчина. Тот, что на телеге, показал рукой на наш дом, который на прясле, обернулся в мою сторону. Я присел.

– Ну? – спросил Петька.

– Ага. Что теперь делать будем? Побежали к деду.

Петька не ответил. Он снова прильнул к оконцу и закричал:

– Едут!

– Сюда?

– Наши, говорю, едут! Вон уже с горы спускаются!

Мы стремглав побежали встречать наших.

Отец, как всегда, остановил коня, мы забрались на телегу, и я приник к уху отца:

– Пап, вон за нашим огородом воры стоят. Конокрады. Будут проситься ночевать – ты их не пускай.

– Конокрады? Кто тебе сказал?

– Дед Волосников. Их никто не пускает – боятся.

А тем временем конокрадская повозка выехала на дорогу и остановилась возле самых наших ворот. Один мужчина, тот самый, что сидел на прясле, пошел нам навстречу. Хотя я уже никого и ничего не боялся, но все-таки спрятался за спину отца.

– Кто ел кашу, а кто щи, здравствуйте, товарищи! – сказал конокрад, «что сидел на прясле».

– Доброго и тебе здоровья, добрый человек, – сказал отец, натягивая вожжи.

– Нас трое – и все добрые. Не откажи, хозяин, пусти переночевать. Может, завтра спасибо скажем.

– Таким веселым и захочешь, не откажешь, – засмеялся отец.

«Конокрады» оказались рабочими с какой-то новокузнецкой шахты. Ехали они на Алтай покупать, а не воровать – дед Волосников, как с ним часто случалось, напутал – лошадей. Ужинали мы все вместе, и тот, «что сидел на прясле», – звали его Васей – балагурил, шутил без умолку.

– Прадед у меня чумаком был. В Крым хлеб возил, а из Крыма соль да рыбу. Остановится возле какой-нибудь хаты, крикнет: «Тетка!» Та

выйдет: «Шо?» – «Тетка, вынэсы напыщя, бо так йисты хочетця, шо нэма дэ пэрэночуваты». И – все в порядке. Я весь в него...

– Так ты хохол? А у меня Родионовна – хохлушка.

– Вот видишь! На всем жизненном пути одни хохлы мне встречаются. Отец – хохол, мать – хохлушка, в поселке нашем шахтерском одни хохлы были. В начале войны отца, как шахтера, в Кузбасс эвакуировали. Само собой, нас – с ним. Ну, думаю, хоть теперь от хохлов отдохну. Куда там, их и здесь полно. Надеялся, в армии-то уж без них обойдется. Нет! Повар – хохол. Тезка мой – Васыль. Лавровый лист получал, а в борщ не кидал. Солдаты с жалобой к командиру: мол, так и так – обижает. Командир призывает Васыля: мол, так и так – обиду имеют, почему лаврушку не кладешь? А Васыль ему от всего чистого сердца: «Товарыш командыр, та воны ж його нэ едят. А шче ропшчуть...» Не-е, с хохлами не заскучаешь: веселый народ!

– К Сибири-то привык? – спросил отец.

– Жить можно. Только зима длинноватая. Но что делать – видно, годы не те.

– Это как? – не понял отец.

– Это когда я маленький был, вот с Вовку, мне моя бабка, как солнце к весне повернет, говорила: иди, мол, посмотри, какие сосульки, короткие или длинные. Если короткие, то весна ранней будет. Я выйду, посмотрю и, какие есть, все сосульки собью. Через неделю – весна-красна, сады цветут. Это только в детстве получается. Ты, Вовка, не сбиваешь сосульки?.. А ты попробуй. Только не забудь.

Я не забыл. Следующей весной только и делал, что сосульки сбивал, но... Может, что не так делал?..

Наутро после завтрака девушка-«конокрадка» убирала со стола, подметала пол, мужчины тем временем запрягали лошадь. Перед тем как распрощаться, Вася протянул матери плату за ночлег и харчевание. Мать отстранилась от Васи и призывающе взглянула на отца.

– Не надо, – сказал тот.

– Если кому я должен, Петрович, мне черт снится. Под самую Пасху.

– А у меня Василий, не заезжий двор.

– За добро добром платят.

– А съешь деньги, – засмеялся отец. – Вот когда я к тебе в гости приеду, тогда и отплатишь, а нет, так на том свете угольками расквитаешься.

– Тогда, Петрович, как я вчера обещал: спасибо вам от нас всех.

– Вот это другое дело. Будете назад ехать – милости просим опять.

Отец открыл ворота.

– С богом.

– Но! – дернул вожжи Вася и уже на ходу спросил: – Ты, Петрович, какую кашу больше всего любишь?

– Пшеничную.

– Вот и ешь ее на здоровье.

– Ел бы, да пшена нет.

– Есть, есть.

– Чего? – не понял отец.

– Будь, говорю, здоров. А ведерко-то сохрани...

Отец пожал плечами – не понял последней шутки Васи-балагура, вернее, не понял, шутка это была или что другое.

Все прояснилось через какие-то минуты, когда отец зашел под навес за сбруей Воронка. Возле дуги, прикрытое рогожей, стояло почти полное ведро пшена.

– Ну Василий! И когда успел?! Ой, дошлый, холера, – беда! Вот тебе, сын, и конокрады...

Мы копали картошку, когда они подъехали к нашему двору с целым табуном – наверное, около двадцати – лошадей. Отец приветствовал Васю и его товарищей как старых добрых приятелей.

Вася, как и в прошлый раз, сыпал шутками-прибаутками, рассказывал про Алтай, про покупку лошадей. Между прочим спросил:

– А ведерко-то, Петрович, цело?

– Цело, цело твое ведерко.

Они оба засмеялись, Вася сказал:

– Не мое, казенное.

И Вася опять пустился рассказывать об алтайских приключениях.

Наутро они уехали. За словами прощания и отец, и Вася забыли про ведро.

– Может, еще приедет когда Василий, – все мечтал отец. – Веселый парень!

Вася у нас больше не был. И, естественно, ведро перешло в нашу собственность. Видно, сработанное каким-нибудь кустарем-надомником, оно было единственное в своем роде, во всяком случае, в нашем селе я таких не встречал: цилиндрическое, высокое, алюминиевое. Оно было очень легкое, и мать любила ходить с ним в стойло доить в обед Жданку. Ведро это мы так и называли – конокрадское.

– Сходи с конокрадским ведром на родник, – говорил мне отец.

Или:

– Такой коровы, как наша Жданка, во всем районе нет. Летом, в самый напор дает полное конокрадское ведро молока...

Кто-нибудь, бывало, интересовался:

– А почему ведро – конокрадское?

– А это пусть он расскажет, – показывал отец на меня, смеялся и начинал рассказывать то, что я уже рассказал...

1980

ПО СЕМИБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

В шестом классе первого урока литературы у нас не было. Потому что учительница, которую направили в нашу школу, как мы поняли из досадливого и ироничного объяснения директора Александры Ивановны, немножко заблудилась и очутилась в другой школе – городской. Было не совсем понятно, как взрослый человек может спутать город с деревней... Но раз такое случилось – значит, может.

– С завтрашнего дня, – сказала нам Александра Ивановна, – уроки русского языка и литературы у вас станет вести Герасим Гаврилович Корсаков. Временно, пока не пришлют новую учительницу. А сейчас вы можете выйти во двор и погулять. Только, пожалуйста, тихо. Ти-хо. Ясно?

– Все ясно, – сказал Петька Резуненко и продекламировал на весь коридор: – Эта песня хороша, начинай сначала!

Этим самым Петька выразил свое ироническое отношение к тому, как часто у нас менялись русаки и русачки. Выйдя на крыльцо, Петька уселся на ступеньке и, чтобы со всей точностью определить степень нашего невезения, принялся считать, сколько их, русаков и русачек, сменилось в прошлом году. Загнул все пальцы левой руки – не хватило, стал загибать пальцы правой руки, но сбился со счета, плюнул, выругался.

– Весной будем считать, сразу за два года... – посмотрел на меня искоса и ехидно. – Поди, радуешься?

– С чего бы?

– Так Лысый же завтра придет.

Каждый учитель в нашей, как и в любой другой, школе носил какое-нибудь прозвище. Как невозможен, скажем, хлеб без корки, так немислим был у нас учитель без прозвища. Лысым мы называли Герасима Гавриловича Корсакова.

– Ну и что? – спросил я совсем равнодушно.

– Так он же твой дя-я-дя.

Герасим Гаврилович в самом деле доводился мне дядей. Однако же если учесть, что Александра Михеевна была мне не родной матерью, а мачехой, а Герасим Гаврилович был мужем тети Ани, сестры моей мачехи, то, выходит, мне он доводился таким же дядей, как и всем ученикам нашего класса, в том числе и Петьке, моему двоюродному брату по родной матери.

Аккуратное сложение и подтянутость Герасима Гавриловича несколько скрадывали его возраст. Но коротко подстриженные, меловой белизны волосы и отчетливо выделявшийся в окружении их розовый островок плешинки в такой же мере старили его. Как бы маленький плюс уравновешивался маленьким минусом, и на вид Герасиму Гавриловичу было столько, сколько было на самом деле – лет около пятидесяти пяти. Поводом для прозвища Лысый послужила, разумеется, плешинка.

Замечу, что прозвища у нас давались учителям не ради прозвища, а для того, чтобы вызвать хоть какую-то ответную реакцию, иначе оно не имело бы смысла и не обладало бы никакой жизнеспособностью.

Все учителя реагировали на свои прозвища. Каждый по-разному. Случались даже истории. Порой забавные и интересные.

Но, пожалуй, то, как относился Герасим Гаврилович к своему прозвищу, было интереснее. Он был к нему до того равнодушен, словно бы плешинка розовела не на его голове. Ученики нервничали, говорили, что до него «не доходит», и испытывали всяческие средства, чтобы «довести» до Герасима Гавриловича, что он – Лысый. Средства были дерзкие, отчаянные. Например, старшеклассники, у которых Герасим Гаврилович никогда не преподавал, кодлой сочиняли о Лысом разные стишки и отдавали их младшему сыну Герасима Гавриловича, первокласснику Генке, чтобы он вложил эти стишки в тетради, которые отец приносил домой для проверки.

Генке наказывали популярно и строго:

– Когда твой пахан найдет в тетрадке стишки и начнет их читать, зырь в оба, глаз с него не своди, запоминай, какой он будет. Если что скажет, тоже запомни. Завтра нам все расскажешь. Понял?

– Ага, ага. Понял, – часто кивал головой Генка, готовый с честью выполнить возложенное на него поручение.

На другой день Генку встречали на крыльце, не совсем вежливо брали за шиворот и торжественно тащили в раздевалку. Зажимали в дальнем углу, нетерпеливо начинали допрос:

– Ну, как?

Простодушно пожав плечами, Генка давал ответ:

– А никак. Я положил в тетрадку – он прочитал. Сначала упражнения прочитал, отметки поставил, потом прочитал то, что вы дали.

– Ну, ну?..

– Вот и все.

– Как все? А куда дел?

– Что?

– Что! Стишки, бал-да!

– Кто?

– Кто-кто! Дурачок! Пахан твой.

– Там же в тетрадке и остались.

– Во-о-от Лысый! – Допрашивающие в недоумении переглядывались. – Ну, а когда читал, хоть злой был?

– Не-е-е, ни капли.

– Может, хоть хмыкнул или что?..

– Не-е-е. Только ошибки исправил, и все.

– Ну Лысый! Ну Лысый! Не клюет! – сокрушались старшеклассники. И, видя в Генке плоть и кровь Лысого, говорили ему презрительно: – А все равно твой пахан – Лысый! Вот так, понял?! Шмаляй!

– По-о-онял! – охотно соглашался Генка и, радуясь, что ответ прошел без особых осложнений, резвым козликом, вприпрыжку бежал в свой класс.

Листки со стихами, найденные учениками в своих тетрадях, шли гулять по всей школе. Стишки выучивали и декламировали не таясь все, кто хотел. В общем, это были безобидные творения. Правда, порой бессмысленные и почти всегда безграмотные, так как писались наспех, а главное, не для проверки. Грамматические ошибки Герасим Гаврилович исправлял, бессмыслицы жирно, как бы укоряюще, подчеркивал красными чернилами, а на полях ставил головастые вопросы. Иногда пытался дотянуть стихки до более или менее приемлемого уровня: зачеркивал отдельные слова и вписывал другие, считая, что так будет лучше. Помню, в четверостишии:

Лысый спит и видит сон:
Будто в класс заходит он,
А за партами сидят
Двадцать с лысинкой ребят –

Герасим Гаврилович в последней строке выражение «с лысинкой» зачеркнул и выше написал «лысенких». Исправленный вариант и был принят всеми.

Невысокий, кругленький, в защитного цвета диагоналевой гимнастерке с отложным воротником, в диагоналевых же, но синих галифе, в сверкающих сапогах, он вошел в наш класс с улыбкой: наверное, в коридоре с кем-то говорил о чем-то веселом. И он не торопился погасить улыбку. С нею прошел к столу, положил журнал, с нею оглядел нас всех внимательно и сказал:

– Ну что, братцы-кролики, здравствуйте? Как зовут меня, знаете? Зна-а-аете. Ну и я вас, шалунов, знаю. Как же! Ну, а за каникулы-то как, – плутовски прищурил один глаз, – подпортились, поди, а? Или нет, ничего? Возмужали, вижу. Прямо все такие раскрасавицы и добры молодцы, о которых в старинных песнях поют да сказки сказывают. – И как бы кстати спросил, засветившись еще большим лукавством: – А вот кто их, сказки, такие интересные и забавные, порою страшные, складывает?

«Действительно, кто?» – задумались мы, совсем не подозревая, что своим вопросом Герасим Гаврилович начал вступительный разговор о жанрах устного народного творчества – первой теме по литературе. И до того увлек нас этим разговором, что мы не смогли даже пофокусничать. Была у нас, как и всюду, такая традиция. Перед всяким новым учителем мы с той осторожностью, с какой путник темной ночью пробирается по незнакомой тропе, выкидывали разные номера: спрашивали что-нибудь нарочито глупое, корчили рожицы, когда учитель проходил между партами, стреляли из-за его спины в доску из резинки. Все это, понятно, делалось, чтобы разведать слабые и тугие струнки нового учителя, на каких можно играть, а на каких опасно. На первом уроке Герасима Гавриловича было просто не до этого. Только Петька Резуненко исхитрился и отмочил один номер. Да еще какой рискованный и необычный! Потом Петька признался, что сразу же после его выходки ему сделалось так не по себе, что у него даже шевельнулись уши и вспотел, одновременно похолодев, самый кончик носа.

Когда Герасим Гаврилович предложил нам назвать, кто знает какие пословицы и поговорки, все стали дружно поднимать руки.

- Ученье – свет, а неученье – тьма.
- Дело мастера боится.
- Любишь кататься – люби и саночки возить.
- Сделал дело – гуляй смело.

Герасим Гаврилович одобрительно кивал головой:

– Правильно... Хорошо... Верно... Так, скажи теперь ты, – обратился он наконец к Петьке, нетерпеливо и энергично вытянувшему вперед руку.

Петька встал гвоздиком и четко рубанул:

– Не всякий лысый – философ! – На слове «лысый» Петька сделал такой нажим, что его невозможно было не заметить.

То ли мне показалось, то ли в самом деле по классу прокатилось волной:

– Ы-ы-а-а-х-х...

Все замерли и выжидательно смотрели на Герасима Гавриловича. А он поднял брови, приложил ладонь к уху и, наклонив голову в сторону Петьки, переспросил, вдруг сделавшись серьезней:

– Как-как? Повтори-ка!

– Не всякий лысый – философ! – не моргнув глазом и так же четко, как в первый раз, произнес Петька и сделал на слове «лысый» еще больший нажим.

Мы совсем оцепенели и ждали, что будет.

Герасим Гаврилович вскинул брови на такую высоту, что на лбу его собрались все морщины и поползли назад, к розовой плешинке.

– О! – воскликнул Герасим Гаврилович, поднял вверх указательный палец и пристальным взглядом медленно обвел класс, совершенно не понимающий, как расценить восклицание учителя. – О! Вы слышите! Не всякий лысый – философ! Это же великолепно сказано! Нет, вы вдумайтесь: мало иметь лысину, чтобы прослыть философом. А?.. Мудро! Однако, Петро, – Герасим Гаврилович обратился к Петьке, – есть другая и тоже справедливая пословица: «Иной лысый стоит кудрявчика» (как нам показалось, Герасим Гаврилович тоже сделал нажим на слове «лысый»). И обе, твоя и моя, утверждают то, что утверждает третья: «Ум не в волосах, а в голове». Верно?

Герасим Гаврилович тоненько и весело засмеялся. Приободрившийся класс дружно поддержал учителя.

Наверное, в этот момент Петька и представил себе другой, не очень приятный исход выкинутого им номера, и у него, как он говорил, шевельнулись уши и вспотел, одновременно похолодев, кончик носа. Но поскольку все кончилось благополучно, мало того, дерзкая вылазка даже подняла Петьку в глазах учителя и учеников, это его взбодрило, и он с достойным видом воителя, по заслугам воздающего своему противнику, сказал:

– Остер топор, да и сук зубаст.

Конечно же, под острым топором Петька подразумевал себя, а под зубастым суком – Герасима Гавриловича. Хитрый Петька рассчитывал быть поощренным еще раз и не ошибся.

– Да я, брат, смотрю, с тобой разговориться что меду напиться. Садись, Петро, великолепно! – Откровенно восхищенный Петькой, Герасим Гаврилович обратился ко всему классу: – Видите, что есть такое русские пословицы и поговорки? Они так мудры, метки, остры, что, используя только их, можно устраивать настоящие словесные поединки. Как это сумели мы с Петром.

Петька, приняв гордую позу, достойно кашлянул.

А когда урок закончился и все высыпали во двор, Петька заключил категорически:

– Не-ет. Наш Лысый – философ! – Теперь он сделал нажим на слове «наш». Потом добавил разочарованно: – Только чует мое сердце, пацаны, «в угол» у него фиг сходишь. Вот посмóтрите...

Петька оказался прав.

Хождение «в угол» было одним из самых замечательнейших изобретений Петьки Резуненко, и я расскажу о нем поподробнее. Как и многие замечательные и великие открытия, оно родилось в хитроумной Петькиной голове самым неожиданным образом в самый критический момент. Он не раз признавался нам, что его осеняет именно тогда, когда уже все кажется безнадежным и пропадающим.

Так вот однажды, еще в четвертом классе, когда нас учила Мария Семеновна Перепелицына, Петька не выучил стихотворения и очень переживал. Конечно, только из-за того, что не выучил, он никогда не стал бы переживать. Но в тот день его должны были спросить. Знал он это точно. Потому что умел вычислять, по какому предмету и в какой день его спросят. Вычислял, хорошенько готовился, получал хорошие оценки и потом подолгу не заглядывал в учебник. Как получилось, что тому была за причина, сказать не могу, но стихотворение в тот раз он не выучил и лихорадочно думал, как быть. Что делать? Не единицу же получать. Сказать, что болела голова? Мария Семеновна не поверит,

потому что все, в том числе и Петька, очень уж часто сваливают свои грехи на якобы больную, а на самом деле вполне здоровую голову. Тогда, может, живот болел? Нет, тоже не поверит. Какая разница, что живот, что голова. Петька лихорадочно искал какую-нибудь вескую уважительную причину. Но она не находилась. А между тем время шло. Его становилось все меньше и меньше. Наступал роковой момент.

– Рассказывать стихотворение пойдет... – Мария Семеновна склонила голову над журналом.

Петька был убежден, что будет названа сейчас его фамилия. И тут-то его осенило! Он оторвал от последней страницы тетради по арифметике небольшой клочок, запихал его в рот, сделал тугой шарик, и в тот момент, когда Мария Семеновна подняла голову, Петька пульнул шарик в Юрку Шаброва.

– ...пойдет Резуненко. Резуненко!!! Это еще что такое?! – Мария Семеновна даже притопнула от возмущения и негодования каблучком. – Сейчас же стань в угол!

Именно этого Петьке и нужно было. Он поспешно, боясь, как бы учительница не переменяла своего решения, но и не так уж скоро, чтобы у Марии Семеновны не возникли какие-нибудь подозрения, поднялся и прошагал в угол возле двери. Теперь он знал: беда миновала его. Потому что ученик, стоящий в углу, не только лишался всех прав, но и был освобожден от обязанностей, в том числе от обязанности отвечать на заданные вопросы. От него требовалось только одно – стоять и не позволять себе новых безобразий. Пока шел опрос, Петька смиренненько стоял в своем углу. А когда Мария Семеновна поднялась, чтобы начать объяснение нового материала, он посмотрел в ее глаза так умилительно и трогательно, что сердце Марии Семеновны растаяло. Петька получил прощение и сел на свое место.

Этот удавшийся прием Петька стал использовать во всех крайних случаях, которые, как он потом признавался, почему-то стали учащаться. Накопив достаточный опыт хождения «в угол», он с присущей ему щедростью поделился им со всеми желающими.

– Трудного тут ничего нет. Главное – отмотчить такое, чтобы только – «в угол», – инструктировал Петька. – Переборщишь – пропал, недоборщишь – тоже пропал. Нужно так, чтобы только «в угол».

Петька знал, что говорил. Недоборщить – значит быть поставленным на ноги. Ты лишаешься права сидеть, но за тобой остается обязанность отвечать на вопросы учителя. Переборщить – значит быть выпровоженным из класса и попасться на глаза Александре Ивановне, директору школы, и тогда все может кончиться совсем скверно, даже вызовом родителей в школу. Прав Петька. Нужно отмачивать такое, чтобы только – «в угол». Работа тонкая. Но скоро мы так наловчились ходить «в угол», что успеваемость, к удовольствию учителей, заметно повысилась.

Петькины слова насчет того, что у Лысого «в угол» не сходишь, оказались пророческими. Герасим Гаврилович умел не замечать все наши номера и фокусы. Ну а коль так, то кому же захочется что-то вытворять? Да и, по правде говоря, вытворять было некогда. Уроки Герасима Гавриловича я бы сравнил с увлекательной книгой с интересными картинками. До фокусов ли, когда ты взахлеб читаешь страницу за страницей и перед тобой постоянно стоит вопрос: а что дальше, а что потом? Порассматриваешь разноцветные картинки, понаслаждаешься ярким изображением того, о чем пишется, и опять читаешь: а что дальше?

На лице Герасима Гавриловича постоянно блуждала легонькая, ласковая и немножко ироническая улыбка. Она то раздвигалась, делалась шире, то чуть-чуть угасала, но никогда не угасала совсем. За ней скрывалось все: и мысли, и намерения его, которые очень хотелось угадать, но угадать заранее было никак невозможно. Оставалось одно – следить внимательно за каждым словом, жестом Герасима Гавриловича и узнавать все в свое время. Он куда хотел, туда и вел нас.

Ответы учеников Герасим Гаврилович выслушивал обычно стоя, прислонившись плечом к косяку двери, приложив ладонь к щеке и устремив взгляд в пол. К примеру, Танька Плотникова рассказывает о разорении Рязани Батыем. Бойко рассказывает. Герасим Гаврилович внимательно слушает. На лице – улыбочка. Раз слушает, не перебивает, думает Танька, значит, правильно отвечаю. И продолжает еще бойчее, норовя припомнить, как написано в книге. Рассказала. Довольная, рас-

красневшаяся от старания, вопросительно смотрит на учителя. Гадает: четыре или пять?

«Четыре или пять? – гадаем мы. – Конечно, пять. Вон как шпарила. Почти назубок. Плотничиха же! Аккуратистка, примерная ученица!»

А Герасим Гаврилович, не меняя позы, стоит и молчит, о чем-то думает. Танька нетерпеливо ждет. Весь класс ждет.

Наконец Герасим Гаврилович отнимает от щеки ладонь, легонько отталкивается от косяка, раздвигает улыбку пошире, вскидывает вверх указательный палец:

– О! – Направляет свою улыбку на Таньку. – О! – Подходит к ней. – Как, бишь, тебя – Таня?

– Таня.

– Та-ня, – произносит Герасим Гаврилович задумчиво и нежно, склонив голову набок. Обращается к классу: – Та-а-ня. Нет, вы слышите, как это звучит: Та-а-аня... Слышите?... Надо уметь не только слушать, но и слышать. Что суть вещи разные. Не только смотреть, но и видеть. Кинорежиссер Довженко, если мне память не изменяет, сказал: «Двое смотрят вниз. Один видит просто лужу, а другой – отраженные в ней звезды». А вот как однажды сказал мой ученик: «Пушкин пишет стихи так, будто скользит коньками по зеркалу льда». Прежде чем сказать такое, он читал Пушкина. А раз читал, значит, что-то видел, слышал, представлял, может, ощущал. «...Будто скользит коньками по зеркалу льда». В чем-то все-таки прав мой ученик. А?... Та-аня... Какой букет звуков!.. – Немножко помедлив, продолжает: – Когда я в Могилеве служил мальчишкой в лавке (Герасим Гаврилович был родом из Белоруссии. Говорил он с устойчивым акцентом: яшчык, мальчык), хозяин завел себе маленького попугайчика. Забавная такая птичка. Что бы хозяин ни сказал, бывало, почти все повторит. Года, однако, три он у него жил и все повторял. А своего ни одного слова не придумал. И не заметил я, чтобы у него руки вместо крылышек выросли. Ничем на человека не стал похож, так птичкой для забавы и остался. – Поворачивается к Таньке Плотниковой: – В хрестоматии повесть читала? – и, упреждая ее ответ, поднимает руку: – Не говори, знаю, читала. И не единожды. Значит, за всем, что происходило давным-давно в Рязани и вокруг нее,

ты наблюдала как бы со стороны. Вот и рассказала бы нам, как свидетель тех страшных событий, что ты видела, слышала, переживала. Вот это нам было бы интересно послушать. А пересказывать зачем? Все читали, а кто не прочитал, пусть прочтает сам... Я знаю, ты девочка хорошая, старательная, но – нуль! Цена таким ответам, запомни, нуль.

У Герасима Гавриловича была своя система оценок – семибальная, представляющая собой как бы наращенную с обеих сторон общепринятую пятибальную. Единице в его системе предшествовал нуль, а за пятеркой следовала еще шестерка.

Однако эта его система носила всего лишь символический характер. Когда ответ ученика Герасиму Гавриловичу не нравился, он говорил:

– Нуль, – но тут же добавлял: – Хотя и с сожалением, но в журнал заносим «один».

И ставил ровненькую, как спичка, палочку. По-нашему – кол. Иногда Герасим Гаврилович объявлял «нуль», но в журнале ничего не ставил, почему-то не находил нужным. При этом он просил ученика:

– Запомни: цена таким ответам – нуль...

В случае же, если ответ Герасиму Гавриловичу очень нравился, он восклицал:

– О! О!.. Превосходно! Ш-ш-шесть! – Решительно брал ручку, добавляя: – Но, к сожалению, «пять» пишем, «один» запоминаем. Обязательно! Да такое и не захочешь – запомнишь! Оригинально!..

– А что значит слово «оригинально»? – спросил однажды Петька.

– Оригинально? Это значит сказать или что-то сделать по-своему, как еще никому не удавалось. К примеру, ты, Петро, иногда бываешь оригинальным.

Последними словами Герасима Гавриловича Петька был весьма польщен. И решил еще прочнее и надежнее укрепить в учителе, а заодно в учениках мнение, что он, Петька, и в самом деле не лыком шит и может быть оригинальным в чем хочешь.

На следующем же уроке Петька поднял руку выше всех и по собственному желанию пошел рассказывать наизусть «Песнь о вещем Олеге» Пушкина. Начал, как и подобало ему, бойко, четко, выразительно:

Как ныне сбирается вещий Олег
 Отмстить неразумным хазарам,
 Их села и нивы за буйный набег
 Обрек он мечам и пожарам.
 С дружиной своей, в цареградской броне,
 Князь по полю едет на верном коне...

Отчеканив это шестистишие, Петька с подчеркнутой многозначительностью в голосе сказал:

– И так далее.

Герасим Гаврилович, стоявший в своей обычной позе возле двери и внимательно слушавший Петьку, поднял на него ничего не понимающий взор:

– «И так далее»? Что это?

– Ну, бывает же, когда хотят сэкономить бумагу, то пишут: «и т. д.», «и т. п.», «и пр.», «и др.», а когда хотят сэкономить время, то говорят: «и так далее». Вот я и экономя. Зачем все рассказывать, когда и так каждому ясно, что Олега ужалила змея и он умер. Да и сами вы говорили, – в этом месте Петька немного снизил голос, – что от пересказываний пользы никакой.

Герасим Гаврилович блуждающим взором, словно бы только что очнулся ото сна и не мог понять, где он, обвел класс и лишь потом поднял палец.

– О!.. О!.. Он рассказывает... – Повернулся к Петьке: – Что ты нам рассказываешь?

– «Песнь о вещем Олеге» Александра Сергеевича Пушкина, – ничуть не теряя достоинства, ответил Петька.

– Он рассказывает *песнь*! Говорят: из песни слова не выкинешь. Почему? Да потому, что после такой операции она сделается инвалидом второй группы! А он, – Герасим Гаврилович, как штыком, ткнул пальцем в Петьку, не поворачивая к нему лица, – он – вандал! Палач! Грубой ручищей схватил чудное творение и ничтоже сумняшеся одним махом отсек ему голову, а туловище вместе с самым дорогим – душой – выбросил к чертям собачьим! Ты понимаешь, что ты содеял?! – обернулся к Петьке.

– Зато так – оригинально, – попробовал защититиь себя Петька.

– Псев-до! Понимаешь? Не понимаешь. Значит – лже! Лжеоригинально! Преступно-оригинально! Это кощунство! Начинай все сначала.

Петька заметно скис. Замялся. Однако делать было нечего, начал. Но, дойдя до тех слов, после которых он сказал «и так далее», запнулся и опустил голову.

– Дальше? – как бы подстегнул его Герасим Гаврилович.

Петька утер рукавом нос, хотя делать это было совсем необязательно.

– Забыл...

– Нуль, – сказал Герасим Гаврилович, словно пригвоздив Петьку к позорному столбу, и взял ручку. – Нуль, но с величайшим сожалением пишем «один»...

«Ну и Лысый! Я же говорю – философ. Его фиг проведешь. А колище мне всади-ил! Я заглянул. Жирный и во всю клетку», – безо всякого огорчения скажет эти слова Петька потом, на перемене.

А пока шел урок...

– «Песнь о вещем Олеге» пойдет рассказывать... – Герасим Гаврилович склонился над журналом.

– Можно я пойду? – донеслось робкое с задней парты.

Все разом оглянулись до того удивленные, как если бы услышали живой голос самого Александра Сергеевича. Оглянулись и увидели Вовку Стебенькова с поднятой рукой.

– ...пойдет Стебеньков, – сказал Герасим Гаврилович и отошел к двери.

Никакого удивления на его лице мы не заметили.

Вовка Стебеньков был в нашем классе на особом положении. Впрочем, Вовкой его никто не называл. Учителя, разумеется, только Стебеньковым, а мы, ученики, Коланей. Это прозвище тащилось за ним еще с первого класса. А получил он его за рекордное число колов как в тетрадках, так и в журнале. Перетягивая из класса в класс, Лидия Степановна дотянула его до пятого. Удалось ей это только потому, что Коланя, как правило, в конце учебного года брался за ум и начинал

учиться так, что утирал носы самым способным ученикам. А потом, словно бы боялся потерять свое прозвище, опять лоботрясничал до самой весны.

В пятом Коланя застрял. Наверное, потому, что учителя по разным предметам были уже разные и тянули они его не очень дружно. В шестом Коланя тоже остался на второй год. Его определили в наш класс. По-видимому, он решил остаться в шестом и на третий год: к учебе был равнодушен так же, как, скажем, гусь к сену. Как и положено лоботрясу, Коланя сидел на камчатке, то есть на самой последней парте в углу. Спокойный от природы и апатичный от обуявшей его лени, он никому не мешал, не безобразничал. Поставив на парте кулак на кулак, он клал на них голову и со сладкой мечтательностью смотрел в окно. Смотрел, смотрел – и засыпал. Очнувшись, зевал, потягивался и начинал чем-нибудь развлекаться. Рисовал, читал книжки или просто рассматривал в них картинки. Что-нибудь жевал, иногда пил принесенный в бутылке мед. Учителя, видя все это, никаких замечаний ему не делали: все, что не мешало работать с классом, Колане разрешалось. Домашних заданий не проверяли, за пропуски уроков не ругали. Коланю просто не замечали.

Правда, однажды, в самом начале учебного года, новенькая историчка, задав классу вопрос, посмотрела в журнал и вызвала отвечать Коланю, который как раз начал засыпать, положив голову на кулаки. Услышав свою фамилию, он даже изумился – наверное, так странно для него она прозвучала. Поднял голову, удивленно и сонно посмотрел на учительницу, после некоторого колебания стал тяжело, по-стариковски, только что без кряхтения, подниматься, но во весь рост так и не поднялся, сел на спинку скамейки и сказал вяло, через силу:

– А меня не надо спрашивать.

– Почему? – удивилась учительница.

– А все говорят, что я этот... как же... дебил. – И, как бы подтверждая сказанное, изобразил на лице идиотскую улыбку. – Вам разве не говорили? У нас на всю семью – одна извилина. И та прямая. Гы-гы... – И, как мешок с овсом, сполз на скамейку.

Класс засмеялся, а учительница смутилась – ей, наверное, и в самом деле забыли сказать о Колане, – пожала плечами и вызвала отвечать другого ученика.

Уже со следующего урока историчка, как и другие учителя, не стала замечать Коланю. Значит, получила о нем исчерпывающую информацию.

То одиночество, в котором протекала школьная жизнь Колани, порой наскучивало ему. Видно, и его душа, от всего отрешенная, беспечно дремлющая, все-таки требовала общения с людьми. Когда это требование бывало особенно настойчивым, он поднимал руку, желая что-то сказать. Но учителя старались не замечать Коланиной руки, зная наперед, что ничего путного он не скажет.

Тогда Коланя, улучив момент, вклинивался:

– Вот свежую рыбу ловят в реках, соленую – в соленых морях. Это я знаю. А копченую? В копченых, что ли? – При этом лицо он делал глуповато-наивным.

Учительница географии смотрела на него насмешливо и брезгливо и мерно кивала головой:

– Какая ты все-таки темнота.

– Да? Значит, вы меня боитесь?! – картинно удивлялся Коланя.

– С чего бы это?

– А темноты все боятся. Даже взрослые. А женщины так в первую очередь...

Класс был доволен, смеялся.

Учительница строго замечала:

– Ничего смешного не вижу. Просто глупо.

А то Коланя предлагал разгадать загадку:

– До каких пор волк в лес бежит?

Но вместо разгадки ему говорили:

– Да-а-а, трудновато, видно, тебе жить вот так, лоботрясничая.

– А я стойкий. Трудностей не боюсь, – не теряясь, отвечал в тон Коланя. – Как-нибудь перезимует. Нам не привыкать.

Наверное, вот так же и на уроке литературы однажды потребовала, напористо и безудержно, Коланина душа общения.

Речь у нас шла о былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Герасим Гаврилович объяснял нам значения употребленных в былине старорусских слов, когда Коланя беспардонно вылез:

– А я вот сижу да думаю: во время войны наши солдаты были Ильями Муромцами, а фрицы – погаными соловьями-разбойниками, – и умолк, изобразив, насколько мог, глупое лицо.

Умолк и Герасим Гаврилович. Поднял на лоб очки, одновременно захлопнув хрестоматию, выпустил на широкий простор свою улыбку, пристально, с любопытством поразглядывал Коланю, поднял вверх палец:

– О!.. О!.. Стебеньков! – Рассек воздух пальцем, направил его на Коланю и обратился к классу: – Я слышал. А вы?.. Что есть такое фокус, знаете?.. – Рукой, в которой держал хрестоматию, махнул на Петьку, открывшего было рот: – Да я не о твоих выходках. У этого слова есть еще и другое значение: точка, в которой собирается пучок лучей. Так вот он, Стебеньков, собрал, сфокусировал в словах, которые вы только что слышали, самую суть, соль бычины. Он, – Герасим Гаврилович ткнул пальцем-штыком в Коланю, – постиг тайну произведения с необычайной, с завидной простотой! Великолепно, Стебеньков! Оригинально! Шесть. С плюсом! Но, к сожалению...

Герасим Гаврилович поставил Колане пятерку с плюсом. Коланя, не ожидавший ничего подобного, смутился и спрятался за спины впередисидящих учеников, но в душе, надо думать, был польщен. Каким бы лоботряс ни был лоботрясом, пусть хоть самым распоследним, а самолюбие есть и у него.

На следующих уроках русского языка и литературы Коланя по-прежнему бездельничал. Однако стал иногда краем уха слушать, о чем идет речь. Говорю это с полнейшей уверенностью. Потому что, бывало, нет-нет да и бросит Коланя, как бы нехотя, какую-нибудь реплику.

Скажем, Валька Козлова написала на доске под диктовку Герасима Гавриловича предложение: «По небу плывут рыхлые облака».

Кто-нибудь найдет допущенную ошибку, скажет:

– После «л» надо писать «а».

– Верно. Почему? – повернется Герасим Гаврилович к Вальке.

– Это слово надо запомнить, – неуверенно скажет Валька Козлова.

– Можно, конечно, и запомнить. Все что хочешь можно запомнить.

Но все-таки лучше понять. А когда поймешь, запоминать уже не надо... Но вернемся к «облакам».

– Нужно найти родственное слово, в котором «а» стоит под ударением...

– Верно. И какое это слово?

И начинается поиск родственного слова.

– Облачко.

– Облачность.

– Облачный.

– Облачище, – предлагают ученики.

– Нет... нет... Не там ищите.

– Да обвола-а-акивать, – не поднимая головы и не отрывая взгляда от окна, скажет Коланя с некоторой раздраженностью.

Мол, я не стал бы вмешиваться в ваши дела, но, поверьте, надоело, слушать тошно, такого пустяка сообразить не можете.

– Слышали? Обвола-а-акивать, – повторит Герасим Гаврилович. – Все вы на одном месте топтались. Так не найдешь. А вот Стебеньков – смелый, ступил шаг в сторону и – нашел. О!..

Коланя испытывает удовольствие. Как он ни старается, чтобы это не проявлялось внешне, ничего у него не получается – видно.

Кидать реплики на уроках Герасима Гавриловича стало для него своеобразной игрой, развлечением. А всякая игра, если она нравится, вызывает азарт. Коланя все больше и больше прислушивался к тому, о чем идет речь на уроке, и заметно меньше дремал и глазел в окно. Случалось, что Коланя поспешал и говорил что-нибудь невпопад.

– Не то, – как и каждому другому ученику, возражал ему Герасим Гаврилович.

Колане становилось досадно. Стучал кулаком по лбу, ругал себя вполголоса:

– Не знаешь, так не высовывайся, дурак...

Однажды мы писали в классе сочинение на тему «Запомнившийся мне случай». У каждого ученика такой случай нашелся. Кто-то прошлым летом ходил в лес по ягоды и видел там зайца, кому-то посчастливилось поймать громадную жуку, кого-то прокатил на автомобиле дачник... Вот тут Петькино «и так далее» будет как раз на своем месте, потому что каждому ясно: ребяташек волнует то, что им близко, что, на их взгляд, значительно, то они и описывают.

На другой день Герасим Гаврилович принес стопу тетрадей с нашими уже проверенными сочинениями, снял сверху одну тетрадку, положил ее на свой стол, остальные протянул дежурному:

– Раздай.

Когда все увидели свои оценки и исправленные ошибки, заглянули в тетради соседей, погалдели, Герасим Гаврилович взял отложенную тетрадь, затасканную, помятую, с кляксами и жирными пятнами на обложке.

– Теперь все послушайте. – Открыл тетрадь и стал читать.

За давностью лет я, конечно, не смогу сейчас точно воспроизвести то, что прочитал нам Герасим Гаврилович, но смысла помню отлично. Был он таков.

Случаев разных полно. Что ни день, то какой-нибудь да случай. Вот хотя бы вчера. Пришел я из школы, матушка налила мне миску щей и говорит: «Ешь. Горячие щи, вкусные». И подала ложку. Деревянную. Старую-престарую. Узоров, какие были на ней, давно уже не видно. Края потрескались, местами выщербились. Этой ложкой еще мой дедушка ел. «Скоро, наверное, выбросят ее, – подумал я про ложку. – А знает ли она вкус щей? Ведь всю жизнь в них купалась? Ничего она не знает. Дерево и есть дерево». Поел и пошел в библиотеку, книжки сменить. Прихожу, а библиотекарь Василий Хорин сидит в шапке и дымит вовсю сигаркой. Сколько лет уже сидит Хорин среди такой уймы книг, а толку-то от этого – культуры не набрался.

– О!.. Уразумели? – спросил Герасим Гаврилович, кончив читать. – Великолепно! По содержанию лучшее сочинение из двадцати шести. Оригинально! Это ж притча!.. А теперь полюбуйтесь-ка. – Герасим Гаврилович, приложив тетрадь к груди, показал нам текст. – Видите?

Мы увидели. Сочинение занимало всего одну страницу. Но на этой странице было сделано столько исправлений красными чернилами, что создавалось впечатление, будто на ней давили ягоды малины.

– За содержание – шесть с двумя, с тремя плюсами, за грамматику – три нуля! – Герасим Гаврилович подошел к Колане, бросил на парту тетрадку, приставил к Коланиному лбу указательный палец. – У тебя ж ума палата, на четверых хватит, еще и пятому останется, – наклонился

к самому уху Колани и как бы по секрету, но громко, чтобы слышали все: – А кем ты им кажешься? – Обвел класс рукой. – Задумывался? Ни черта не задумывался. Воли, усидчивости в тебе нет. А человек без воли – солома! Труха! Таких не уважаю. А чего мне тебя уважать, если ты безразличен сам к себе? Значит, ты тоже себя не уважаешь. Сиди кисни. – Герасим Гаврилович резко повернулся и направился к своему столу. Не дойдя до него шага два, обернулся: – Все-таки ты подумай...

А на другой день вслед за Петькой, потерпевшим большую неудачу со своим «и так далее», Коланя, к великому удивлению класса, вышел по собственному желанию читать наизусть «Песнь о вещем Олеге» Пушкина. Смущенно, отвернув голову в сторону, чтобы не смотреть ученикам в глаза, он без единой запинки рассказал все от первого стиха до последнего. Герасим Гаврилович поставил ему оценку. Какую именно, сейчас не помню. Только не «шесть, к сожалению, пять пишем, один запоминаем» – это точно. Герасим Гаврилович не очень высоко ценил наше мастерство художественного чтения. Слушая нас, он часто мотал головой и морщился, как если бы, рассказывая стихотворение, мы постоянно наступали ему на больную мозоль. Сам же Герасим Гаврилович читал превосходно. Его можно было заслушаться. И мы заслушивались. Очень вероятно, что со временем он смог бы и нам, если не всем, то кому-нибудь из самых способных, передать хоть небольшую толику своего мастерства. Тогда ему меньше приходилось бы морщиться, и, как знать, может, иногда он произносил бы свое: «О!.. Великолепно!»

Но однажды, закончив урок, он закрыл журнал, снял очки, спрятал их в нагрудный карман гимнастерки, улыбнулся и сказал:

– Ну вот, братцы-кролики, и все. Теперь с вами будем встречаться только в коридоре, на улице... Завтра к вам придет новая, постоянная учительница. – Сунул под мышку журнал, сделал прощальный знак рукой. – Будьте молодцами, – и направился к двери.

Все мы, и Коланя тоже, были опечалены, нам не хотелось расставаться с Герасимом Гавриловичем, хотя еще и не привыкли к нему как следует, хотя еще и не поняли его до конца. Явившись к нам добрым и пламенным сказочником, он прочитал нам только несколько страниц из большой интересной книги, показал кое-какие картинки и ушел... А

самое-то интересное, самое увлекательное в той книге было бы потом, впереди...

На другой день в наш класс вошла новая учительница. После первого же урока Петька сказал:

– Нормальная русачка. «В угол» у нее ходить можно запросто...

1984

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

Ночевал я на сеновале у чужих людей в чужой деревне. Проснулся от яростных, клубящихся раскатов грома, барабанного боя нечестных, но крупных капель по железу кровли и от душного, дурманящего голову запаха свежего сена. Глянул на часы – без четверти семь. Первый автобус уже ушел, до второго гроза наверняка успеет стихнуть. Так что, сказал себе, валяйся вволю. И в этот самый миг квадрат лаза вспыхнул, как взорвался, ослепительным белым светом, и прямо над моей головой сухо и с такой силой треснуло, будто мир раскололся вдребезги, как ореховая скорлупа под кованым каблуком. Меня вдавило в сено, но тут же подбросило, и я, машинально схватив лямку рюкзака, но забыв про обувь, ошалело кинулся, сам не зная зачем, к лазу. Поставил ногу на ступеньку лестницы, а вторую уже не решился: сплошной стеной хлынул дождь. Я вяло осел на заелженный венец сруба.

Сюда же, под козырек сеновала, метнулась с дороги бабушка с ведерком воды. Прислонилась к стене, опустила ношу на землю, запрокинула на меня голову:

– Ка-а-ак он хряснул-то! Испужался?

– Нет, – сказал я.

Бабушка порассматривала меня лукаво и недоверчиво: ой ли?

– А я так... – засмеялась. Смех молодой, звонкий. – Я до страсти оробела. Ажно присела. Ровно курка перед петухом.

Чуть припечалилась, сцепила на животе руки и стала смотреть на бойкие отвесные струны дождя. Невысокая, аккуратненькая, в свежем

цветастом переднике, босая, на голове – шалашик белой косынки в частых мокрых рябинах...

Сверкнула молния. Бабушка запоздало заслонила от нее ладонью.

– Восподи...

Остальные ее слова я не расслышал: загромыхало снова, но уже не с такой силой, как прошлый раз.

– Ты Казанцевым-то кто будешь? – полюбопытствовала бабушка, не отрывая взгляда от дождя.

– Никто. Случайный ночевальник.

И я объяснил: возвращался из лесу с грибами, ступил не на ту тропку, шел по ней и очутился в незнакомой деревне. Надвигалась ночь, попросился на сеновал – не отказали.

– А я вот чуток всего не дошагала до своей избы, – кивнула на домик через несколько дворов наискось, чем-то напоминающий – своей опрятностью, ухоженностью, что ли, – хозяйку. – Думала: успею, обернусь, да не вышло.

– У вас же, вижу, колонка под самыми окнами. Или не работает?

– Чего ж, работает. На полив, стирку, мытье из нее беру. А пить не могу: ржой отдает. Вот и хожу вон аж куда, в хмелевский – наш, значит, колодец. Ведерка мне, одной-то, на день за глаза...

– Это как же, – не понял я, – дом ваш здесь, а колодец там...

– А просто, душа моя.

Бабушка подняла на меня глаза. Были они, я еще раньше заметил, молодые, как и смех ее, и синие-синие.

– Раньше, до колхозов-то еще, дом свекра моего там стоял. Место, видишь, широкое, разгульное, а недоброе: кони зачали падать. У свекра Кузьмы Тарасовича кони были ай да ну какие – и все в одну зиму свалились. А то вечером, как солнце зайдет, кто-то зачинает стены с улицы ровно метлой мести. Свекор выйдет, все кругом обсмотрит – никого. Только он в избу – опять метет. Недоброе, сказали старики, место, симись, мол, Кузьма Тарасович. Пришлось перенести дом сюда. А колодец, как ни ухитрялись, не смогли, – плутовато прищурила глаза. – Теперь тебе понятно?

– Понятно. Ну, а это место как, добрым оказалось?

– Тут ничего, слава богу. И скотина хорошо велась, и всякий прибыток был, и никакая хворь в дом не входила. Может, все так бы и шло, да война проклятая порушила. Считай, на нет семью извела. Среди них и муженек мой, Гриша... Которые из пушек палят, а ну-ка, скажи, как называются?

– Артиллеристы.

– Вот ём, тирилистом – никак слово не выговорю, – Гриша и был. Братья-то раньше погибли, а он перед самым уже концом: четырнадцатого апреля сорок пятого. Похоронку так и берегу – всего-то и памяти от него. Свекор все говорил: мол, Гринька придет. Бог его сохранит, у Гриньки сын вон растет, а сыну отец нужен. Может, вправду у Кузьмы Тарасовича надея на Бога была, а может, просто себя да нас со свекровкой утешал: те-то трое холостыми на фронт ушли. А рассудить, так и нашего с Гришей супружества не было: на Первомай свадьбу сыграли, а в конце июня уже разлучились. Думали, ненадолго, самое большое до зимы. Гриша смехом сказал мне: мол, пока я немца бью, ты б сподобилась да сына мне родила. Наказ я исполнила, а вот наказчика не дождалась... Она же, война-лиходейка, и свекровку мою раньше срока надломила. Шутка сказать – четверых слезами обмыть. Истомила печаль ее сердце, ровно моль одежду. В день, как на Гришу похоронка пришла, свалилась и уж больше не поднялась. В три недели, как свечка до полочки, дотлела. Тут тебе, конечно, и хлад, и глад, и насада сказались – все, что за четыре года вынесено... И осталось от всего роду нашего: свекор, я да сынок мой Генашка. Когда сорочины свекрови отвели, свекор мне и говорит: свези меня, дочка, в приют. Какая тебе корысть от меня, сидня: к той поре у него ноги стали отказывать. Да и кто, говорит, я тебе? Чужой дядька... Вот оно как: беды с улицы придут, а победков сами наделаем. Ох, и разобиделась же я на него! Говорю: «Так какая же тогда, тятя, я тебе дочка, коли говоришь: свези. А не известно тебе?» Заплакал. Я – следом. Хороша эта утеха, да шибко-то баловаться ею некогда. Утерли слезы да и почали жить дальше: он при мне, я при нем. Так шестнадцать годков друг для дружки костылями и пробыли. Я раным-рано встану, еды, какой уж там Бог послал, наварю

и – на работу колхозную. И не волнуюсь: мальчонка у меня при живой душе оставлен. С ногами-то у Кузьмы Тарасовича как-то больно чудно было: и болеть не болят, и не ходят. Так он как приноровился: когда меня дома нет (а я все ругалась, не во вред бы), нальет в чуни воды – ноги-то маленько и войдут в чувство. И перебирает потихоньку с палочкой по избе да по двору, занятое себе выискивает. Без дела часу прожить не мог. То он табуретку чинит, то ножницы точит или корзинку сплетет, а то новый ковшик из дерева вырезает или ложки – все чем-нибудь угодить-пособить хотел. А, хочешь знать, главная его подсоба была то, что самосад курил. Войдешь в избу – табаком пахнет, значит, тут мужик обитает, значит, не сырый дом. И силы-то в тебе подымаются. Вот хоть ты смейся, хоть что, а я тебе всю правду сказала...

Дождь, чуть притихнув, припускал с новой силой. Однако небо мало-помалу уже приподымалось, а гром откатывался на края его.

– Сам-то откуда будешь? – спросила бабушка.

– Из Кемерова.

– И давно там живешь?

– Да уж лет пятнадцать.

– И мой Геннадий до прошлого года в Кемеровой жил. На заводе инженером работал. Комаров Геннадий Григорьевич. Может, слышал? Хотя там Комаровых, поди-и...

– А почему Комаров-то, если колодец – хмелевский?

– И это просто, душа моя. Свекор мой, Кузьма Тарасович Хмелев, овдовел и женился в другой раз на вдовой же Анне Михайловне Комаровой, свекрови моей. У нее двое парнишек было, у Кузьмы Тарасовича – один. Одного местного нажили – стало четверо. Тогда и поставили дом там, где колодец теперь. Гриша мой Комаровым был. По метрике. Но метрика – что? Бумажка. А семья вся Хмелевыми звалась. Вот когда свекровка-то моя померла, люди, понятно, у кого языки позлее, и стали подзуживать с одной стороны свекру, с другой мне: мол, совсем чужие вы друг дружке. Потому и засобирался он в приют. А я ему говорю: «По рожденью, тятя, все снохи всем свекрам чужие, а по обхождению ты мне роднее родного батюшки». И все, до самой его смерти разговору об этом у нас больше не заходило. А умер он, когда Генашка уже на втором курсе учился...

– А теперь ваш сын где живет?

– В прошлом годе в Тюмень перевели. На повышение. Теперь, – бабушка вздохнула, – редко ко мне навещается. Но спасибо, снохи с внуками не забывают. У меня ведь, – лукаво прищурилась, засмеялась звонко, – сын один, а снох аж три! – Упреждая мой вопрос, подняла руку: – А уж это-то, душа моя, по нынешним временам и подавно просто: прохвост мой Генашка, хоть и на инженера выучился. Седина уже в волосах, а он все жен меняет. Да жены-то все какие ему попадают-ся! Хоть Валю возьми, хоть Надю – и умные, и работающие, и красивые. Про Ирину пока ничего не скажу. С личика, правда, ничего так, смазливенькая, но с лица ж воду не пить. А про остальное не знаю. Там уже, в Тюмени, поженились. Весной на два дня приезжали. Так разве же поймешь человека за два-то дня? Но с виду вроде спокойная и рассудительная. Спрашиваю у Геннадия: «Ну, сын, и на сколько ты с ней?..» Говорит: «Все, мама, теперь окончательно, Иринка мне по душе». Так и первые, когда женился, по душе были, а вон двое парнишек безотцовщиной растут! Тебя, говорю, фашист этот, Гитлер, осиротил, а ты сам... – Бабушка нахмурила брови: – Твои-то детки при тебе живут?

– При мне.

– Вот и ладно, вот и хорошо... Это в июне Валя с Вадиком у меня гостили. Сама-то она, правда, только день побыла да и поехала – работа. А Вадик – тот три недели пожил. Двенадцать лет мальчонке, а такой уже смекалистый да расторопный. И картошку мне выполол, и крылечко починил, и дров мы с ним напилили... Куда, говорю, с добром парень. Дай бы бог так и дальше. А вот за дальше-то я уже и боюсь! Сейчас он еще ребенок, сейчас на него еще и материнской управы хватает: Валя – она строгая. Но все равно женщина ж. Что там ни говори, а птица крыльями сильна, а семья – мужчиной. Опять свекра своего Кузьму Тарасовича вспомню: и совсем старичок, и хворый, а мне подмогой был. Если бы не его наставления, так Генашка, может, не только бы многоженцем стал...

Дождь заметно поредел и, словно притомившись, сыпал уже без прежней прыти, как бы нехотя. Бабушка посмотрела на небо: сквозь лохмы рыхлых облаков кое-где уже проглядывались голубые проплешинки.

Перевела взгляд на свой дом, призадумалась на какое-то время и вдруг, как бы вспомнив позабытое что-то, засияла радостно:

– Вчерась Сашенька – это меньшей, в четвертый класс пойдет – письмо мне прислал и хвалится: купил в магазине части и сам склеил ироплан; прочитал книжку про пионеров; на улице десять копеек нашел – в копилку бросил, хочет новую клюшку купить к зиме; у соседей котенок потерялся было, а намедни нашелся... Про все чисто бабушке доложил. Уж такой лопотун – что в письмах, что наяву...

– Саша – это Надин?

– Нет, душа моя, Надин – Кирюшенька. Тот еще только «дай-дай» говорит. Может, теперь и еще чему научился – все-таки десять дней, как был тут...

– Так вы же говорили, что у вас двое внуков.

– Такого я тебе не сказывала.

– Да только что...

– Только что я тебе поведала: мол, у моего сынка двое мальчат безотцовщиной растут. А внуков у меня трое.

– Что-то не пойму я вас.

– Сейчас поймешь. Я тебе и это разобъясню. Тут тоже все проще простого. Значит, первая Геннадьева жена – Валя. Нажили они Вадику и Сашеньку. Разошлись. Женился Генашка на Наде. Прожили чуть больше года – разошлись, ребеночка родить не успели. Вскорости Надя вышла за Анатолия. Родился у них Кирюшенька. Так вот Надя мне кто? Сноха? Сноха. А ребеночек снохи кем свекровке доводится? Внуком. Кирюшенька – мой третий внук. Видишь, тут и понимать-то нечего. – Довольная своим объяснением, бабушка сдержанно, почти беззвучно засмеялась. – Это Надя с Анатолием вскорости после женитьбы приехали ко мне в гости. Ну, Надя, как и раньше, все кличет меня: мама, мама. Анатолий слушал, слушал да и спрашивает: «А мне-то, Наталья Егоровна, как вас называть и кем я вам буду?» «А будь, – говорю ему, – хорошим мужем моей Наденьке, а тогда и мне станешь хорошим человеком. А называй меня, как тебе назовется». – «Не, – говорит, – и добро, мать, договорились». Так с тех пор матерью и зовет. А чего, пусть, мне глянется... А человек-то он и вправду хороший. Живут

душа в душу. Не-ет, за Надю я теперь спокойна. Теперь только и думы мои что об Вале. Плохо у нее с фатерой. В однокомнатке с двумя ребятами – это что ж за житье? Никак большей не может добиться. Я ей говорю: и не надо, и не хлопочи. Собирайте манатки – да и сюда. Я же не вечная. Случись что со мной, дом-то кому отойдет? Геннадию он нужен, что ли? Ты, говорю, в городе медицинская сестра и здесь будешь ею же. Тем паче сама ты деревенская, ко всему приспособленная. А по городу соскучишься, так на автобус и через час – там. А может, намекаю, и не соскучишься, вдруг человек какой приглянется тут, а ты ему. Вздохнула: «Кому я, мама, теперь нужна?» Э-э-э, думаю, милая, еще как нужна будешь, как нужна... «Собирайся-ка, – говорю, – сходим в березнячок за вениками». И пошли мы... К слову, в июне это было, когда они с Вадиком приехали. Повела я ее не тут, не улицей, а во-он тем проулочком. Валя говорит: «Тут же, мама, дальше». А я ей: «Дальше – надеи больше, а где короче, там уж веники повывоманы». А сама Бога молю: хоть бы Николай Захаров дома был, а уж заделье-то в дом взойти всегда отыщу. А никакого заделья и не потребовалось: вот он, Николай, картошку тяпает. Подошли к городьбе, поздравствовались, остановились, как в деревне и заведено. Посудачили про то да про это, пошутили-посмеялись да и пошли мы дальше, а Николай дальше тяпать стал. Идем, я привздохнула да и без назойства Вале рассказываю: вот, мол, всем хорош человек – и видный из себя, и трезвый, и при должности, мастерскими колхозными заведует, – а семейная жизнь не задалась. Благоверная-то его крутила с кем ни попадя, позорила мужа, а прошлой зимой, когда Николай в отпуск уезжал, укатила с каким-то сезонником. И без следа. Старшая девочка в городе учится, а меньшая, Сонюшка, при Николае живет... Рассказала я Вале это, привздохнула еще разок, а тут мы и в рощицу вошли. Сломали веточек на три веничка и домой. Вот теперь можно и покороче пройти, по улице. Дома уже – будто так просто, но выказывая, что немножко и неспроста, – говорю: «А человек он вполне самостоятельный, Николай-то Захаров». Ничего не ответила моя сношенька. Но лицом зарделась. А мне это уже и ладно, это уже ответ. На остановке, как ей в автобус садиться, я уж попрямее: «Езжай, дочка, и думай. И я тут думать буду». Махнула

она рукой: «Да ну вас, мама...» – И засмеялась. И это мне тоже пригладилось, как засмеялась. Покатил ее автобус в город, а я прямехонько к Николаю. «Ну, – говорю, – ты чего-нибудь понял из моего давешнего посещения или растолковать тебе?» Мотнул головой: ну, мол, Егоровна – и засмеялся точь-в-точь таким же смехом, как и Валентина на остановке... По секрету тебе скажу, – бабушка приглушила голос, – дело у меня, считай, слажено. В те три недели, что Вадик у меня гостил, свела я его и с Николаем, и с его Софьюшкой. И такая дружба меж имя началась, такой тут гвалт был... Я тебе про Сашенькино письмо рассказывала, да мы с тобой перебились. Так вот, дальше-то он пишет: Вадик, мол, мне все рассказал и мамке тоже рассказал про дядю Колю и про Соню, я тоже хочу с ними сдружиться; в следующее воскресенье, баба, мы приедем все: и мамка, и Вадик, и я. Вот и жду. Переживаю, конечно, крепко. Но ничего, ежели какая загвоздка выйдет, так я Поликарповну выдвину вперед, товарку свою лучшую, уж против нее-то Валентине не устоять будет – не старуха, а сущий генерал! Сейчас хотела зайти к ней, еще разок обо всем перемолвиться, да гроза помешала... Ох-хо-хо, сын, говорю, грешит, а мать искупай вины его. А что, душа моя, делать остается? Хочется, чтобы счастьяца всем перепало...

Солнечный свет озарил землю. Лужи зеркально заблестели, радужно заискрилась листва деревьев, трава. Где-то близко истоиво-звонко пропел петух. В другом дворе слабосильно, с нежной корявостью ответил ему молодой петушок. Воздух наполнился запахами августовской спелости.

– Вот и распогодилось, слава тебе восходи...

Бабушка поддела дужку ведра, однако тут же выпустила ее, распрямилась. Сунула руку в карман передника, достала туго налитой красный помидор:

– Возьми-ка вот. Первенький, на корню дошел. Хотела Поликарповну одарить, да, говорю, не случилось зайти. Бери, бери! А ей в другой раз снесу – теперь-то они пойду-у-ут...

Подобрав подол юбки и осторожно ступая босыми ногами по раскисшей глине, она шла к своему дому. Вдруг, будто хоронившиеся до этой поры где-то за углом, настигли ее быстрые редкие нити дождя, озорно ударили по спине, плечам, голове.

Бабушка вздрогнула, остановилась, обернулась ко мне, возвестила с детским восторгом:

– Слепой дождь! Слепой! – засмеялась и, вся праздничная, в праздничном же солнечном блеске, пошагала дальше...

1985

ВОЛООКИЕ ГЛАЗА

Расскажу о пережитом мной событии полувековой давности. По силе душевного потрясения оно, пожалуй, не может сравниться ни с чем из всего того драматического, что мне выпало пережить позже.

Во время войны сельским рабочим и служащим для облегчения их участи правительство разрешило заводить рабочий скот – лошадей и быков – и засеивать участки пустующей земли просом, гречихой, чумизой, ячменем. Отец мой был утильщиком – заведовал складом вторсырья, и нам километрах в четырех от села отвели деляну залежи. И был у нас выхолощенный бык. Как-то получилось, что отец звал его Мишкой, а мать, а следом за нею я – Буськой, из-за его редкой бусой масти – это что-то серо-голубое. Принесла его наша Зорька через пять месяцев после моего рождения. Судьбой ему было отмерено пробыть на этом свете восемь лет. Конечно, для быка возраст не предельный. Однако уже в этой поре почти всякое крупнорогатое тягло становится костлявым, со впалыми боками, угрюмым и бесстрастным. Наш же Буська, несмотря на постоянное труженье, всегда был упитанным, с широкой спиной, отчего казался немного кургузым. И по нраву он оставался живым ребячливым бычком с ясным, улыбчивым взглядом больших волооких глаз. Буську мы любили, как равного члена семейства, – а я еще и как друга, брата – его холили, во всем поблажали, берегли, потому он так и выглядел.

Теплое, золотистое весеннее утро. Отзавтракав, отец выходит во двор, велит мне:

– Беги, сынок, за Мишкой. Пора.

Буська на лужайке близ нашего дома пощипывает молоденькую ярко-зеленую травку. Замечает меня, несущегося к нему вприпрыжку, по-

дымает голову, перестает жевать. Притворно гадает: «Кто это ко мне так резво? Чей это, не пойму, малец? А вот я его сейчас, – набывается, – ка-ак под-дену на рога да ка-ак ах-ну оземь!...»

– Буся, Буся, айда, папа зовет.

Буська – конфузливо:

«О-о-о, это ты, Вов? Не узнал! – Глаза смеются. – Вот, ей-богу, не узнал. – Склоняет передо мной голову: – Виноват».

Одновременно этот его жест обозначает еще и приглашение прокатиться. Становлюсь на рога, – а они у Буськи роскошные: широко разбросившись, плавно и строго симметрично описывают, тоже плавно утоняясь, дуги, самые кончики рогов, как бы ради форса, чуть вздернуты, – Буська осторожно подымает голову и меня на ней, по шее заползаю на широкую спину, разворачиваюсь, усаживаюсь поудобнее, ощущаю тонкое, нежное, очень родное тепло, входящее в меня от короткой, плотной и мягкой шерсти. Произношу по-командирски:

– Цоб!..

Буська степенно, будто везет не босоногого мальчика, а какую-то важную персону, вышагивает к уже раскрытым отцом воротам. Навстречу выходила мать с кусочком хлеба, посыпанным солью. Буська, загодя источая обильную, падающую нитяными обрывками на землю слюну, вежливо принимал угощение, сочно, с благодарным сопением жевал его. Отец тем временем снимал меня с Буськи. Надевал на него седелку, хомут с разрезанным посередине подшейным войлочным валиком и запрягал в телегу, на которой лежала свернутая в рулон кошма, кое-какая отцова и моя одежда, кожаная сумка с едой и плужок с одним колесиком.

Мы ехали в поле. Шел Буська мелким бодрым шагом, весело помахая, как бы развлекался, белой кисточкой своего недлинного хвоста: везти полтора седока, плужок да кое-какую мелкую поклажу не было для него работой.

Настоящая работа – шагать по неудобной узкой борозде и круг за кругом тянуть и тянуть плуг. Весь вытянувшийся вперед, сторбившийся, ступает Буська грузно, тяжеловесно. В нем напряжены все жилы, даже хвост тугой, скрюченный и завернут набок. Задние ляжки вздуты

и каменно тверды. Веревочные постромки натянуты как струны. Сухο поскрипывают и пощелкивают сыромятные гужи, по-щеньячьи повизгивает и поскуливает колесико плуга. А от лемеха, отполированного до зеркального блеска, косо отваливается бесконечная, тяжелая, маслянистая лента земли.

Иногда мои и Буськины глаза встречаются.

«Ты устал, Буся?» – Мне жалко его.

«Ничего-о-о. Надо ведь». – В этом ответе безунывность и спокойное достоинство.

Будто слыша нас, отец коряво – во рту у него пересохло – говорит:

– Дойдем, Миша, этот кружок и передохнем. – Изловчается на ходу, не отрываясь от плуга, утереть об рукав мокрый от пота лоб и, чтобы Буське было полегче, сильнее сжимает ручки плуга и подталкивает его...

Вот и дошли круг.

– Тпру-у-у.

Отец, покачиваясь, заходит вперед, выпрягает Буську и отпускает в рощицу пастись.

На опушке рощицы шалаш. В нем мы с отцом обедаем. После чего отец раскатывает кошму и ложится с часок подремать. А я чем-нибудь забавляюсь. Например, кладу на муравейник обслонявленную соломинку, через некоторое время беру ее и слизываю набрызганную муравьями остро и жарко пахнущую кислоту. Потом делаю лук и стрелы, охочусь, конечно безуспешно, на ворон, набираю букет медунок и подснежников для мамы. Наконец, принимаюсь – это уже моя обязанность – собирать сушняк для вечернего костра: отец и Буська чаще ночевали в поле, а я вечером бежал домой, чтобы поутру принести еду.

Однажды, когда отец дремал в шалаше, а Буська пасся, я, собирая дрова, вдруг увидел в нескольких шагах от себя на солнечной прогалине двух гадюк: одна большая, черная, блескучая, другая поменьше, серая, по спине ромбики. Обе они высоко, наверное на треть своей длины, вздыбливались, разом откачнувшись назад, с шипом набрасывались одна на другую, перевивались, сворачивались в один клубок, развивались и вновь вздыбливались и перевивались. Дерутся, решил я

и, чтобы получше было наблюдать их бой, сторожко ступил ближе к ним. Змеи, услышав хруст сухой былинки под моей босой ногой, насторожились и зашипели в мою сторону так густо и угрожающе, что это слышал и бывший неподалеку Буська. Он встрепенулся и сделал два скачка к гадюкам. В каком-нибудь метре от них стал рыть копытом землю, грозно и гулко трубить, то и дело мотая головой в мою сторону, дескать, уходи, живо уходи отсюда. Пятясь назад, я увидел, как змеи всполошенно расползлись в разные стороны...

Спустя годы мне попалась одна интересная книжка о разных пресмыкающихся. И я понял: то, что наблюдал тогда, было вовсе не боем гадюк. Это они так миловались: весной у них брачный период. Кстати, черная была самка, а серая – самец. В эту пору змеи очень агрессивны, могут напасть и ужалить. Буська (равно и все его сородичи) знал это без всяких книжек. У него это знание врожденное, и он отвел от меня беду.

Заслышав Буськин рев, отец пробудился, высунулся из шалаша:

– Что там у вас?

– Змеи.

– Ну вот. А ты все босой бегаешь. Обуйся... Ну что, брат Михайла, никто за нас не допахал поле? Тогда, наверное, давай будем сами потихоньку...

После пахоты было боронование поля, засеянного отцом вручную. Потом Буська пахал огород. Потом возил из лесу дрова, жерди, столбцы для ограды, таскал на покосе копны... А там уже и уборочная подходила. Возил на ток, устроенный там же в поле, снопы, домой – зерно и солому. А еще из окрестных деревень он возил разный утиль. Словом, без работы наш Буська никогда не оставался. И всегда на мой вопрос, не устал ли он, его большие красивые волоокие глаза отвечали:

«Ничего-о-о. Надо...»

Поздней осенью сорок шестого года, уже в самое предснежье, отец и мой старший брат Петя, вернувшийся с войны, поехали на Буське в лес за пихтовыми бревнами для новой стайки. Меня, как ни просился, не взяли.

– Мы там долго будем, – сказал отец, – а погода, видишь, хмурая, холодная.

Ближе к вечеру я залез на наши большие и высокие ворота, лузгал семечки и поглядывал на гору, с которой серой лентой сходила вниз, к ручью, дорога. Завидев на горе подводу, с восторгом возвестил себе и маме:

– Едут! Наши едут!..

Спрыгнул с ворот и стремглав – к ручью. Когда я примчусь к нему, подвода – не раз проверено – будет уже на этом берегу. Отец остановит Буську, подымет меня на воз и, как всегда, отдаст мне вожжи.

Добежал и... увидел страшное.

Рядом с обвалившимся мостком через ручей, который, впрочем, журчал только в весеннюю пору, а теперь был просто мокрой канавой, лежала вверх колесами телега, под ней пихтовые бревна. А на этом берегу лежал на боку Буська. Одна его задняя нога несуразно торчала вверх, ее подпирала оглобля, другую оглоблю придавил всей своей тяжестью Буська. Буська храпел: при крушении хомут свернулся набок и сдавил ему горло. Отец и брат суетливо пытались добраться до супони, чтобы развязать ее. Но у них ничего не получалось, она была под шеей Буськи. А из его приоткрытого рта вырывались хрипы и уже пузырилась пена.

– Буся! – испугался я.

Его добрые, притуманенные глаза сказали мне:

«Ничего-о-о. Бывает. Ты не горюй...»

– Надо, сын, гуж обрубить, иначе погубим Мишку, – сказал отец Пете. И мне через плечо: – Вова, живо топор! Вон сзади тебя...

Обернулся. Большой, острый, с блестящим лезвием, с отполированными ладонями отца топором, топор лежал в нескольких шагах от меня. Метнулся к нему. Неловко – тяжелый он, большой – поднял, положил на сгиб левой руки и бегом – ведь Буська пропасть может! – к отцу. Но обо что-то второпях запнулся и, выронив топор, упал. Удивился: в пальцах левой руки какое-то приятное-приятное тепло. И тут же оно сменилось нарастающей пронзительной болью. Ко мне ринулись отец и брат. Поставили на ноги. Не знаю, на чем держались три моих пальца – средний, безымянный и мизинец, – наверное, всего лишь на честном слове, они безжизненно болтались, по ним ручейками стекала на траву кровь. Я заревел.

Петя вынул носовой платок. Стали суетливо – ведь еще же и Буська! – перевязывать раны, строжиться: «Не дергайся!.. Терпи!.. Да перестань же реветь!..» Наконец сказали:

– Живо домой!..

И вот тут-то одновременно послышались резкий деревянный треск и надрывно-натужный Буськин взрев.

Все взоры на него. Увидели: он стоит на коленях, на хребте переломленная надвое оглобля. Хомут все так же набекрень, но супонь теперь вот она – развязывайте. А глаза Буськины, полные тревоги и сострадания, устремлены на меня, в самое мое сердце:

«Вов, Вов... Больно тебе?.. Но ты не горю-у-уй. Обойде-отся...»

Потом, вспоминая все это, отец говорил: «Кто знает, сын, может, то и спасло Мишку, что он шибко тебя любил. Это какая же силища в нем поднялась, а?!»

Вот смотрю на пальцы своей левой руки. Три из них – средний, безымянный и мизинец – немножко горбатенькие, заметны на них рубцы, а так пальцы как пальцы – действуют не хуже других семи...

Конечно, тот день был для меня днем большого душевного потрясения, но это еще не то потрясение, о котором я обмолвился в самом начале своего рассказа.

В следующем, стало быть, в 1947 году теплым летним днем отец и я ехали куда-то (сейчас уже не помню куда) на Буське по роскошному нашему бору, разделяющему Кузедеево на две части. Вожжи держал я и был очень горд. Буська, как обычно, весело помахивал белой кисточкой своего хвоста. А отец, думая о чем-то, тихо посвистывал. Вернее сказать – пошипывал: очень уж глухо у него получалось. Он это понимал. Но надо же было как-то выразить свое хорошее настроение.

Навстречу нам шел какой-то незнакомый мне высокий дяденька.

– Здоров были, Петрович. Радио сегодня утром слушал? – сказал еще шагов за десять.

– Нет, не случилось.

Отец дотянулся до вожжей, остановил Буську. Поинтересовался:

– Что-то важное передавали?

– Куда как важное. Москва сказала, что хватит нам с тобой пахать да сеять. А рабочий скот сдать. Не то такой штраф принесут, что и портки продашь. Так-то, брат. – Дяденька пошел дальше.

И мы поехали дальше. Отец сделался печальным. И у меня на душе сделалось неуютно. И Буська чего-то сник и перестал помахивать своей белой кисточкой...

Прошло недели три. И вот...

Было уже не раннее утро. Солнце обливало землю золотым светом. Отец, собранный по-дорожному, подвел на поводе Буську к самому крыльцу. Позвал маму и меня.

– Ну что ж, Миша... – сказал скорбным, дрожащим голосом. – Спасибо тебе и за службу, и за дружбу. А если что не так меж нами было, то не помни зла – прости. – Склонился, поцеловал Буську в лоб.

Буська не шелохнулся, стоял понурый, кручинный.

Мама тоже поцеловала его. Утерла слезы, погладила Буську по шее. Обычно в таких случаях он пошевеливал ушами – нравилось. Теперь же никак не ответил на ласку, будто окаменел.

– Попрощайся и ты, сын, – сказал отец.

Но я стоял потрясенный тем, что вдруг увидел: из Буськиных волооких, всегда таких красивых, а теперь мерклых, затуманенных печалью глаз выкатываются крупные, хрустально сверкающие шарики, они падают на грубые, бугроватые плиты тротуара и вдребезги о них разбиваются.

– Что это?! – спросил.

Хотя, конечно, понимал – что, но не верил.

– Плачет, – таинственно меж всхлипами шепнула мама отцу, тоже сглатывающему слезы...

Мне всегда было так хорошо, так счастливо рядом с Буськой, моим другом, братом. Мир виделся лучезарным, трепетно-радостным и надежно-бесконечным и вечным. И вот вдруг я почувствовал: этот мой мир разламывается, рушится. Сейчас, через мгновение он, как и эти хрустальной чистоты шарики, падающие из Буськиных глаз, сорвется в бездну и, ударившись о какую-то неведомую каменную громаду, разлетится вдребезги. И – настанет кромешная тьма.

– Буся! Бу-сень-ка!!

Я кинулся к своему брату и повис на его шее. Дальше ничего не помнил – погрузился в черный мрак...

Очнулся под яром на речке Теш, неумолчно журчавшей за нашим огородом, и увидел склоненную надо мной маму...

1997

Елена Трофимова (Куропатова)

ВОСПИТАНИЕ ДОБРОТОЙ

Если бы Владимир Куропатов сознательно не выбрал писательскую стезю, то непременно преуспел бы в педагогике. Собственно, и образование, и опыт такой у него имелись: педагогический институт, преподавание в профтехучилище и горном техникуме в молодые годы. А позже, уже став известным литератором, вместе с угольным генералом Александром Ивановичем Шундулиди Владимир Федорович организовывал для школьников «эстетические субботы» в шахтерском поселке Малиновка, куда приглашал своих братьев по перу, художников, музыкантов. Вел факультатив по эстетике в одной из кемеровских школ...

Педагогический взгляд на жизнь мы обнаруживаем и в его литературном творчестве. Во всем, что написано им, есть воспитательный момент. Куропатов никогда не писал ради того, чтобы просто развлечь, повеселить, пощекотать нервы читателю. Хотя его истории бывают и забавными, и комичными, и драматичными. Но нет ни одной, даже в сериях его коротких рассказов «Возгласы» и «Нужны очки», которая не заставила бы нас задуматься, вынести урок. Что ни рассказ – урок нравственности и доброты. Но не навязчивое и нудное поучительство, ни в коем случае. Сама жизнь, небольшой срез которой он случайно подсмотрел и показал, дает нам толчок взглянуть со стороны на ситуацию, на себя, сделать вывод и измениться к лучшему.

«Доброе начало заложено в человеке самой природой. Но это начало надо пробудить, заставить пробудиться. Чья это забота? Всех. Но

прежде всего родителей и учителей», – пишет автор в предисловии к книге «Зеленый луч».

Ключевая фигура многих рассказов и повестей, образчик мудрости – отец, глава рода, семьи. В рассказах «Пожили-поработали», «Подушечки», «Белая рубашка», «Первое первого», «Конокрадское ведро» и других, не говоря уже о биографической повести «Имя отчее», фигурирует герой, прототип которого – реальный отец писателя, Федор Петрович. Именно он послужил мерилom для вырисовывания других персонажей старшего поколения, встречающихся у Куропатова: главы большой хлебосольной семьи Трошковых – Василия Кузьмича («Середина жизни»), строгого, но справедливого председателя колхоза Степана Семеновича Пивоварова («Сашка-водовоз»), бригадира дяди Гриши («Самый светлый день»)... Они передают опыт, учат уму-разуму молодежь, по-отечески ласково журят мальцов, прощая им шалости и ошибки. «В главном все отцы одинаковы», – пишет автор в предисловии к книге «Имя отчее». И там же: «Кто старше, многоопытнее, мудрее – тот нам и отец. Я бы даже сказал: Жизненный Опыт – это и есть бессмертный Отец человечества. Опыт драгоценными зернами рассредоточен во множестве смертных человеческих отцов, а в этих зернах – жизнестойкость и крепость, необходимые сынам».

Многие рассказы – это подлинные истории, воспоминания из детства самого писателя. Детства, пришедшегося на военную и послевоенную голодную, нищую пору, когда ложка повидла, конфеты «подушечки», новая рубашка были самой большой радостью для ребенка. И, казалось бы, нужно ли ругать восьмилетнего пацаненка, за то что тот увлекся и приговорил целый кулек конфет, подаренных ему на новогоднем утреннике? Мудрый отец знает, как без упреков и наказания преподать сыну урок. И то, что история запомнилась герою на всю жизнь, говорит о том, что отец все сделал правильно.

Ценность рассказа «Белая рубашка» не только в проиллюстрированной заповеди «Не укради». Юный читатель может поставить себя на место главного героя, четырнадцатилетнего Шурки, подобравшего в канаве медицинский халат, чтобы мать сшила ему рубашку, а строгий

отец немедленно отправляет парнишку отнести пропажу владельцу – ночью, в бурю, через лес. Но здесь есть над чем задуматься и родителям – стоило ли пожалеть ребенка и, возможно, вырастить негодяя или быть жестким и неумолимым и преподать нравственный урок? Наверное, каждый читатель примерял к себе оба варианта, задумывался, как бы он поступил на месте родителей мальчика.

Так что, читая Куропатова, лучше узнаешь свой внутренний мир, свои моральные устои. Может быть, это и есть одна из самых важных задач литературы – открывать человеку себя, прибавлять ему мудрости.

Нельзя не согласиться с Валентином Распутиным, который говорил: «Читатель учится у книг не жизни, а чувствам. Литература, на мой взгляд, – это прежде всего воспитание чувств. И прежде всего доброты, чистоты, благородства». Творчество Владимира Куропатова соответствует этой установке полностью.

Именно поэтому рассказы «Подушечки», «Белая рубашка», «Первее первого» можно рекомендовать для детского чтения. Но Куропатов не писал специально для детей. Его адресат в первую очередь взрослый читатель, который ответственен за то, какие нравственные ценности получит подрастающее поколение. И очень важно, кто передает эти установки.

Не обошел вниманием Владимир Куропатов и школьную тему, представив в рассказе «По семибальной системе» образ неординарного учителя литературы Герасима Гавриловича Корсакова – персонажа не вымышленного, а реально существовавшего жителя родного села писателя. Любовь и уважение к прототипу буквально выплескиваются со страниц. Перед его светлым образом, как признается автор, тускнеют образы других, даже очень хороших учителей, повстречавшихся ему на жизненном пути. Герасим Гаврилович умел завладеть вниманием ребятни прямо с порога, так что даже хулиганы забывали отмочить какой-нибудь фокус. «Уроки Герасима Гавриловича я бы сравнил с увлекательной книгой с интересными картинками. До фокусов ли, когда взмахнешь страницей за страницей и перед тобой постоянно стоит вопрос: а что дальше, а что потом?.. Он куда хотел, туда и вел нас». И вел любимый учитель, конечно же, к хорошему, потому что

воспитывал добротой, видя в каждом ученике личность, а с помощью литературы учил их мыслить, жить праведно и достойно.

«Хорошо может видеть людей и землю только тот, кто их любит», – писал Константин Паустовский. Уж чего-чего, а любви у Владимира Куропатова много. Он любит своих героев со всеми их страстями и слабостями. Его называли идеалистом, потому что часто рисовал людей такими, какие они должны быть. Например, бабушка из рассказа «Слепой дождь» всю жизнь ухаживала за свекром, хотя он ее погибшему на фронте мужу был не родным отцом, а отчимом; не держит обиды на бывших снох, напротив, любит их по-матерински и даже помогает устроить новые семьи. И видно, как сама она счастлива от этого. Ну где вы видели в жизни такую свекровь? А писатель рисовал и верил, что люди должны быть такими. Он, как истинный учитель, создавал образцы для подражания, помогая своим читателям стать добрее, а значит, счастливее. А чем больше счастливых людей, тем лучше и краше мир вокруг.

В рассказах Куропатова хорошо видно, на каких уроках своего отца, любимого учителя, хороших людей, во множестве встреченных им на жизненном пути, родилось его собственное мировосприятие. Это мировосприятие, в основе которого доброта, любовь и уважение к труду, родной земле, живущим на ней людям, и есть тот воспитательный момент, которым так ценно и сегодня творчество кузбасского писателя.

Елена Трофимова

БИОГРАФИЯ ВЛАДИМИРА КУРОПАТОВА

Владимир Федорович Куропатов родился 7 сентября 1939 года в большом старинном селе Кузедеево на юге Кемеровской области, а вернее, в деревне Аил, входившей в это село. Был последним, поздним ребенком в семье – поскребышем, как тогда говорили. Когда он пошел в школу, старшие дети Куропатовых кто уже умер, кто не вернулся с фронта, кто обзавелся своей семьей и жил отдельно. Вся сила роди-

тельской любви, помноженной на мудрость и жизненный опыт, досталась младшему. Как признался сам писатель в повести «Имя отчее», «родители меня немного нежили и холили. Только немного».

Когда Владимир Куропатов, уже известный писатель, встречался с читателями, ему чаще всего задавали вопрос о том, как он стал писателем. И он рассказывал, что писательский зуд почувствовал рано, когда еще и писать-то не умел. В качестве стола служил кухонный табурет: вставал на колени перед ним и исписывал тетрадь строчками каракулей... В пятом классе занялся «серьезной» литературой – писал стихи. Но стеснялся кому-либо показывать их. Уезжая поступать в техникум, спрятал тетрадку на чердаке. Больше ее никогда не видел. «Заглянуть бы в нее сейчас, хоть глазком, – мечтательно вздыхал писатель, замолкал на минуту, уносясь мыслями куда-то далеко. – Все кажется, будто могу там найти ответ на что-то важное...»

А важной для формирования будущего литератора была атмосфера, в которой он рос и воспитывался, люди, которые его окружали. Главный из них, конечно же, отец Федор Петрович – человек простой, от сохи, но со своей жизненной философией и, главное, высоконравственный. Он был выходцем из Саратовской губернии, из большой – двенадцать детей! – крестьянской семьи. Подростком уехал с дядей на заработки в казахские степи. Партизанил в Гражданскую войну, трудился конюхом, шорником – шил конскую упряжь. Здесь обзавелся семьей.

В Кузедееве, куда семья в 1935 году переехала в поисках лучшей, сытой доли, отец заведовал заготовительным пунктом вторсырья. Семейная легенда гласит, что, когда он уходил через полтора десятка лет работы с этой должности, обнаружилась недостача – шесть килограммов макулатуры. «Недостачу макулатуры отец связывал со мной, – читаем опять же в книге “Имя отчее”. – Это-де Вовка приходил в склад и утаскивал разные книжки. Говорил он это с тем снисходительным укором, без которого трудно в таком случае выразить родительское самодовольство: мол, пытливость, тяга к знаниям...»

Федор Петрович Куропатов и сам любил читать, а потом философствовать вслух о прочитанном. А еще у него, чуть ли не у единственного в селе, был патефон, и по вечерам односельчане собирались в его

доме послушать музыку. Из пластинок – большей частью русская классика, народные песни и романсы, которые очень любила мать, Агриппина Родионовна. Семья Куропатовых часто привечала незнакомых, оставляла ночевать путников, сдавала горожанам на лето комнатку с отдельным входом. Маленький Владимир любил послушать рассказы этих людей, приглядывался к лицам, старался понять характеры. Некоторых из них он позже поселит в своих рассказах.

В школе Владимир больше всего любил уроки математики, физики, истории и литературы. Интерес к этим предметам он связывает прежде всего с учителями, которые вели их: Александром Павловичем Андрахановым, Максимом Михайловичем Борискиным, Герасимом Гавриловичем Корсаковым. Все они, по словам самого писателя, были неординарными личностями, учили мыслить, наблюдать. Они оказали на него большое влияние и так или иначе способствовали тому, что он обратился к литературному труду. А Герасим Гаврилович даже стал прототипом героя рассказа «По семибальной системе».

Окончив семилетку, в 1955 году Владимир поступает в Осинниковский горный техникум. Живет в общежитии, занимается общественной работой – редактирует стенгазету. Читает толстые тома Тургенева, Чехова, Горького, зарубежных классиков, центральные газеты, брошюры общества «Знание» на общественно-политические темы.

В 1957 году начал вести дневник. «Это будет способствовать расширению кругозора, пониманию жизни и усовершенствованию моего языка», – пишет 17-летний юноша на первой странице. Заносил вечером свои впечатления о прочитанном, пытался сам что-то сочинять, сладко мечтал о литературном будущем. Владимир занимается в литературном кружке, отправляет небольшие заметки в городскую газету. Первый успех пришел 6 ноября 1959 года, когда в газете «За уголь» вышел его очерк «Компас» о молодом шахтере, пианисте, который даже после травмы пальцев остался верен музыке – обучился играть на скрипке. Очерк прозвучал и на городском радио, автора поздравляли, его захотел увидеть редактор газеты...

Но случилось так, что на экзаменах по двум предметам Куропатов схлопотал «неуды»: по иронии судьбы это были электротехника,

которую через несколько лет он будет преподавать в училище, и литература, которая станет судьбой. Перевелся на вечернее отделение. Пошел работать подсобным рабочим на стройку, а с осени 1957 года, когда исполнилось 18 лет, в шахту такелажником, электрослесарем, рабочим маркшейдерского бюро, десятником вентиляции. От отца, конечно, получил взбучку. Но в то же время слышал, как старик рассказывает соседу: «Вишь, сын-то какой молодец: вечером теорию изучает, а днем проверяет ее на практике в шахте».

Отца он не подвел – техникум окончил хорошо, летом 1960 года получил диплом горного техника. Но шахту по состоянию здоровья пришлось оставить. Преподавал электротехнику в горнотехническом училище. В апреле 1962 года женился на Тамаре Ивановне Жоровой. В семье Владимира и Тамары Куропатовых родились дочь Елена и сын Александр. В 1966 году работал редактором местного радиовещания на шахте «Шушталепская», в 1967 году – редактором шахтовой многотиражки «Рабочий». Параллельно с 1962 года заочно учился на факультете русского языка и литературы Новокузнецкого педагогического института. В 1968 году получил диплом о высшем образовании.

Владимир Куропатов продолжал активно писать в городскую газету, завоевывать областную прессу – отправлял заметки в газету «Комсомолец Кузбасса». И в 1969 году его пригласили штатным литературным сотрудником главного молодежного издания области. Переехал в Кемерово. После нескольких острых материалов-расследований, подготовленных по письмам читателей, Владимира Федоровича повысили до начальника отдела писем. Редактор газеты Рудольф Ефимович Теплицкий отмечал на планерке: «Умеешь расследовать, интересные детали подмечать, результата добиваться. А самое ценное то, что равнодушен к обиженным и униженным людям». Некоторые материалы Куропатова вызывали эффект разорвавшейся бомбы: экстренно принимались меры, виновных освобождали от высоких должностей, возбуждались уголовные дела... «Побольше бы таких статей!» – писали читатели.

В это же время Владимир Куропатов писал художественную прозу. Наконец решился показать несколько рассказов специалистам, про-

фессиональным писателям. Геннадий Юров оценил: «Старик, это от Бога!» Владимир Мазаев, который в то время был главным редактором областного альманаха «Огни Кузбасса», отозвался лаконично: «Мне понравилось». И в 1974 году четыре рассказа Куропатова появились в «Огнях Кузбасса». Его пригласили на областной семинар молодых литераторов, где творчество начинающего писателя оценили положительно. Конечно же, была и критика, и дельные советы, и наставления.

Через год с небольшим – рекордный по тем временам срок – в Кемеровском книжном издательстве вышел первый сборник его рассказов «Пожили-поработали». Он сразу нашел дорогу к читательским сердцам. Герои произведений Куропатова – простые деревенские жители, которые трудятся на земле, живут по совести, обладают природной смекалкой и юмором. И видно, что рассказчик любит их – за их странности и слабости, за благородство и порядочность.

К этому времени Владимир Куропатов ушел из «Комсомольца Кузбасса» на вольные хлеба – занялся профессиональным писательским трудом. Публиковался не только в областном альманахе, но и в региональных и столичных журналах: «Сибирских огнях», «Волге», «Молодой гвардии», «Неве», «Нашем современнике» и др.

В 1979 году принят в Союз писателей СССР. В том же году Владимир Куропатов был в Москве участником VII Всесоюзного совещания молодых писателей, на котором Валентин Распутин, выступая с обзором прозы молодых, с трибуны произнес: «Запомните это имя – Владимир Куропатов из Кемерова». А после очередной публикации в «Нашем современнике» Владимир Федорович получил письмо от Василия Белова: «Только что прочитал Ваши рассказы в журнале “Н. С.”. И не мог утерпеть – пишу Вам и говорю спасибо. Все просто, и все правда, и язык добёр, немногословен, и все на месте... Желаю Вам сорок таких рассказов (хотя я и не сторонник бессюжетной новеллистики), хорошей повести в этом духе и... романа! А то совсем скучно в русской литературе...»

Владимир Куропатов выполнил наказ старшего товарища и даже перевыполнил. С 1976 по 1997 год вышло 13 книг повестей и рассказов, две из которых – «Люди с этого света» (1980) и «Середина жиз-

ни» (1984) – в Москве. В них в общей сложности, конечно же, больше сорока рассказов и повестей, правда, нет ни одного романа. Произведения Куропатова включались в сборники и антологии под одной обложкой с Виктором Астафьевым, Валентином Распутиным и другими корифеями современной русской прозы. Несколько рассказов опубликовано в коллективных сборниках русских писателей на японском, венгерском и украинском языках. Получал от редакций и журналов, и издательств благодарственные письма и телеграммы, был лауреатом нескольких всероссийских и региональных премий.

В восьмидесятых годах писатель все чаще обращается к публицистике. В № 7 за 1987 год журнала «Наш современник» выходит публицистический очерк «Лавина». Построенный на конкретных фактах, он вскрывает сущность таких явлений, как бюрократизм, стяжательство, равнодушие, общественная пассивность, а также показывает изломанные судьбы людей и называет тех, кто эти судьбы искалечил, – руководителей и чиновников, формалистов, не желающих видеть правду, а преследующих лишь свои шкурные интересы. Очерк вызвал большой резонанс: были отзывы центральной печати и письма-отклики читателей со всех концов страны. Только в коридорах областной власти «не заметили» публицистических выступлений писателя. Между тем Владимира Куропатова удостоивают звания лауреата премии журнала «Наш современник» в области публицистики. В этом же году из-под его пера выходит еще два остросоциальных очерка – «Достоинство» и «Палки в колесе», которые в начале 1989 года издаются под одной обложкой с «Лавиной» в Кемеровском книжном издательстве. Книга называется «Сюжет для романа без пролога».

Много тем подбрасывали читатели – в письмах и на творческих встречах, которые Владимир Федорович проводил с большим удовольствием. Обратная связь с читателем была очень важна для него. Хотя, как он сам отмечал в одном из интервью, читатели очень различаются по целям чтения: «Кто-то читает все без разбора, чтобы убить время, кто-то читает то, что щекочет нервы... Но есть истинные читатели, грамотные, с тонким вкусом, есть неграмотные, но наделенные природой эстетическим чутьем – этих я обожаю: мудрые, рассудительные, твер-

до стоящие на земле, обычно хорошие рассказчики. Когда пишу, вижу перед собой именно этого читателя и ориентируюсь на него». Среди его читателей, а вернее сказать слушателей, были и люди незрячие, которые тоже хотели быть причастными к кузбасской литературе. Он иногда выступал перед ними со своими рассказами. Его книга «Таинственная душа», записанная на аудиопленку, стала победителем конкурса Российской государственной библиотеки для слепых на лучшую озвученную книгу (1997).

Владимир Куропатов много работал с начинающими авторами: видно, педагогическая жилка, не вполне реализованная в молодые годы, требовала точки приложения. Ему присылали рукописи, на которые он давал подробные рецензии, а авторам – советы. Авторы приходили к нему домой и засиживались допоздна в гостеприимном доме, где всегда был вкусный чай, а то и обед, приготовленный супругой Владимира Федоровича – Тамарой Ивановной. Работа с рукописями подразумевалась и на посту ответственного секретаря литературного альманаха «Огни Кузбасса» в 1978–1979 годах. С 1997 года был главным редактором журнала «Литературный Кузбасс», где немало страниц отдавал молодым. В те сложные времена приходилось много сил тратить на поиски средств для издания журнала. При этом Владимир Федорович нисколько не снижал собственной литературной активности, публиковался практически в каждом номере. В 1991 году Владимир Куропатов под эгидой Союза писателей Кузбасса основал газету «Благовест», стал ее редактором. На ее страницах поднимались темы нравственности, воспитания, возрождения духовности русского народа, за что сам он всегда ратовал и считал себя, как работника культуры, ответственным.

В. Ф. Куропатов имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» (1995), награжден областными медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени (2002), «За веру и добро». К этому времени он редко участвовал в общественных мероприятиях, нечасто предстал перед телезрителями и радиослушателями. Самым большим удовольствием для него были поездки в Кузедеево. Свою малую родину он любил всем сердцем и старался не только воспевать ее в

своих произведениях, но и помогать реальными делами. Поэтому обивал пороги разных инстанций, создавал общественное мнение в прессе, добиваясь строительства моста через Кондому, который соединил две части села. А еще собрал творческую группу для создания фильма «Кузедеевские кружева».

Другим большим удовольствием для Владимира Федоровича была дача, которую он построил своими руками в селе Улус в 20 километрах от Кемерово. Этот маленький однокомнатный домик с верандой и банькой он называл «избой-писальней». Здесь он, действительно, по неделям оставался в одиночестве, чтобы углубиться в литературную работу. Или, наоборот, отвлечься и отдохнуть от нее, предаваясь труду физическому: рубил дрова, копал и поливал огород. А то уходил на весь день в лес собирать грибы и разные коряги, из которых создавал произведения другого жанра, далекого от литературы, – мастерил забавные скульптурки, настенные панно, пепельницы и подставки под карандаши и даже журнальные столики.

В начале 2000-х годов Владимира Федоровича постигла тяжелая болезнь. Поначалу он еще пробовал писать, но из-за последствий инсульта ему с трудом удавалось держать ручку. В течение десяти лет он медленно угасал в забвении, рядом были лишь близкие и родные. 9 марта 2011 года Владимир Федорович Куропатов скончался. Он похоронен в Кемерово на Центральном кладбище № 4 (аллея 21, ряд 8).

В год смерти, в ноябре, в родном селе Кузедеево состоялись Первые Куропатовские чтения, организованные педагогом дополнительного образования Кузедеевского дома детского творчества Мариной Картопольцевой. Жители села читали отрывки из произведений писателя-земляка, исполняли его любимые песни. К этому же событию был приурочен и конкурс короткого рассказа молодых авторов Кемеровской области. В 2019 году, в год 80-летия писателя, в Кузедеевском филиале муниципальной библиотеки Новокузнецкого района прошли Вторые Куропатовские чтения. А в областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова состоялся вечер памяти.

В Государственном архиве Кузбасса создан персональный фонд № Р-1267 с творческими материалами и фотодокументами В. Ф. Куропатова.

Книги Владимира Федоровича Куропатова:

Пожили-поработали : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1976. – 119 с.

Зеленый луч : повесть, рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1979. – 160 с.

Люди с этого света : рассказы. – Москва : Современник, 1980. – 255 с.

День обещает быть хорошим : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1982. – 144 с.

Имя отчее : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1982. – 206 с.

Середина жизни : рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 206 с.

Плоть от плоти : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1985. – 317 с.

Белая рубашка : повесть, рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1986. – 192 с. : ил.

Таинственная душа : повести, рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1988. – 271 с.

Сюжет для романа без пролога. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1989. – 144 с.

Безмолвствие : повести. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1990. – 253 с.

Долгая неделя : книга прозы. – Кемерово : Ковчежек, 1997. – 280 с.

Первое первого : рассказы. – Кемерово : [б. и.], 2021. – 96 с. : ил.



Сергей Михайлович Павлов

14 июня 1952 г., Белово – 9 мая 2020 г., Кемерово.

Прозаик, журналист. Член Союза писателей России с 2003 года.

О ЗВУКАХ

Мир полон звуков. Они с нами повсюду и всегда: от первого крика новорожденного и до предсмертного хрипа умирающего. Мы существуем в мире звуков, они живут в нас. Но редко кто задумывается над вопросом: я и звук. Для большинства людей звук существует в плане «громко» – «тихо». Резанет по ушам децибелами – громко! Надо убавить звук. Зазвучит что-то тихо, невнятно – прибавляем громкость.

А сколько разных звуков – от шепота до рева – остается вне поля нашего слуха! А может быть, в этом есть своя благодать, что из океана звуков мы выделяем для себя лишь толику его?

Наверное, впервые я всерьез задумался о роли звуков в жизни, когда в одной книжке о войне прочитал удивительную фразу: «Военные просыпаются от тишины...» Все четыре слова – простые, понятные, но в этой связке они являют парадоксальное наблюдение о взаимоотношении человека и звука. Ведь в обыденной жизни все наоборот: здоровый крепкий сон требует тишины, покоя, а здесь... Ненормальность обстановки вызывает ненормальность поведения человека. Война – самое ненормальное состояние, в которое может быть вовлечен человек: рожденный жить идет убивать себе подобных или быть убитым самому. Вот такой непростой ассоциативный ряд невольно выстраивается в сознании после прочтения этих четырех слов: «Военные просыпаются от тишины...»

Наша избирательность к звукам – великое благо, иначе как объяснить то состояние, когда мы, пресытившись разноголосицей повседневной городской жизни, стремимся на природу – в шелестящий покой леса, в безмолвную тишь озера. И уже в первые минуты там тебе начинает казаться, что ты совсем один на белом свете, что ты растворился в пронзительной тишине, стал невесом и паришь туда, вверх, в темное безмолвие, к холодным и далеким звездам, которые кто-то зажигает над нашей головой с завидным постоянством...

Ти-ши-на! Но проходит совсем немного времени, и твой слух начинает выделять в этом ночном безмолвии легкие, прозрачные звуки. Они не наваливаются на тебя, не обрушиваются внезапно и неоодоли-

мо, как это случается в большом суетливом городе, а проникают в твое сознание исподволь, мягко, нежно, через трель цикад, треск дров в догорающем костре, шелест листьев в ночной тишине, едва уловимый плеск воды лесного озера от разыгравшейся рыбы. Через эти трепетные звуки ты ощущаешь свою связь с жизнью, с природой, и именно они вызывают у тебя неудержимое желание как можно дольше оставаться в этом сладостном состоянии парения между небом и землей, между бытием и вечностью...

Но вот в естество природных звуков вплетается еще один, волнуящий душу – звук музыки. Слабый, робкий, он доносится с противоположного берега лесного озера. Там, в заозерной дали, кто-то, не услышав голоса природы, включил свой радиоприемник или магнитофон, и над дремлющей поверхностью озера полились нежные звуки музыки. Слух не сразу определяет упоительную мелодию «Одинокого пастуха» Джеймса Ласта. Боже! Как пронзительно плачет флейта, передавая неразделенную грусть влюбленного юноши! Мгновение – и чарующая музыка заполнила собой темную чашу озера, вспугнула тишину с припавших к воде берегов, запуталась в прибрежных камышах, заставив их дрожать в унисон мелодии. И тебе уже кажется, что не звуки музыки, а сама жизнь оживает в этой волшебной ночной тишине, и память уносит тебя в далекую светлую юность.

...Нас много. Мы вместе. Мы танцуем. Последний день сезона в пионерском лагере – прощальный вечер. Завтра мы все разъедемся по разным городам, поселкам, чтобы уже никогда больше не встретиться, но сегодня мы еще вместе. Время, проведенное в лагере, сдружило нас, а кто-то узнал пронзительное чувство первой влюбленности, но день завтрашний уже сурово надвигался, готовый разрушить наш мир. Словно понимая скоротечность сущего момента, кто-то постоянно ставил одну и ту же пластинку – «Одинокого пастуха», но никто не возражал, потому что каждый в душе грустил вместе с флейтой влюбленного пастуха. Моя девушка пытается что-то мне объяснить, она говорит хорошие и нежные слова, но, проникшись щемящей тоской музыки, вдруг умолкает, глаза ее блестят от нахлынувших слез, и наш танец продолжается в полном молчании. А в зале звучала музыка...

Почему же сейчас на берегу лесного озера мне вдруг вспомнился тот танец, закрытый от дня сегодняшнего многими годами? Полжизни отделяет меня, зрелого мужчину, от того влюбленного юноши – тридцать лет! И только звуки той проникновенно-грустной мелодии связывают в сознании воедино этих мужчину и юношу, дают ощущение масштаба прожитых лет.

А существует ли мир без звуков и каков он?

СУРДОКАМЕРА... Строго ограниченный мирок, лишенный всякого звука. Но это не жизнь – эксперимент. Мир, доступный ученым и космонавтам. Он не для нас, чтобы всерьез воспринимать его...

МИР ГЛУХОНЕМЫХ... Мир вечной трагедии. Уже сама мысль страшит: как можно жить и не слышать голоса любимой женщины, крика родившегося ребенка? Не наслаждаться живыми звуками природы, наконец, не предаться светлой грусти мелодии флейты одинокого пастуха...

МОГИЛЬНАЯ ТИШИНА... Этот мир абсолютного безмолвия пока далек от нас, живущих под этим ласковым небом. Но он ждет и, увы, дождется каждого из нас в свой урочный час...

Я умер однажды... Я чувствовал дыхание инферно – это мир безмолвия, безветрия и темноты. И был он на глубине трехсот метров – в шахте, когда я отстал от своих товарищей-шахтеров. Устал, решил отдохнуть. Догоню, думал я, а дорогу найду по течению ручья. Через минуту восстановилось дыхание после быстрой ходьбы и... я услышал тишину. Абсолютную! Обволакивающую, мертвую. Растаяли вдали голоса и звуки шагов уходящих друзей: камень растворил их в себе.

Триста метров грунта над головой надежно укрыли меня от всего живого. Не было слышно шума постоянно работающего где-то вентилятора, и воздух, застойно-горячий, облепил мое лицо. В это время погас фонарь, и крошечная тьма, усиленная мертвым безмолвием, цепко взяла меня в плен. Уже через мгновение я потерял ориентацию: если, следуя закону земного притяжения, ноги мои стояли на каменном полу, а над головой находился такой же мертво-каменный потолок, то направление, куда ушли мои друзья, я определить уже не мог. Я словно завис в этой черной безжизненной пустоте, я перестал быть, я умер...

И хорошо, что друзья вовремя вспомнили обо мне, о потерявшемся журналисте, и вернулись. Их громко звучащие в мертвой тишине голоса, огни аккумуляторных ламп и теплые руки вернули меня в мир живой. И я понял тогда: жизнь пришла ко мне с миром звуков! Так же одновременно жизнь и звуки уйдут от меня. Это случится, обязательно случится. И это будет страшно... Но пока мир звуков со мной – жизнь продолжается.

1996

СОБАЧИЙ УГОЛ*

Повесть

Для Степки белый свет зажегся в одну из редких мартовских оттепелей, когда Манька, его мать, низкорослая сука, помесь таксы и дворняги, разрешилась двумя щенками. Случилось это ранним утром в скрытом от людских глаз месте – под старым разбитым вагоном, с незапамятных времен стоящим около ветхой полуразрушенной кирпичной стены, – прозванном в народе Собачий Угол.

Даже людская память не сохранила для истории, когда и по чьему велению оказался здесь, на второй промплощадке Н-ского химзавода, весь проржавевший, еще довоенной модели вагон-теплушка. Не знали этого, конечно, ни Степка, ни его уже немолодая мать, да, пожалуй, никто из всей собачьей братвы, обжившей этот угол. Хотя у них, как и у людей, существовали свои легенды и сказки, которые передавались из рода в род, от одного собачьего поколения другому.

Одна из таких сказок гласила, что давным-давно, еще до большой войны, пришли на пустырь люди. Их было много, с лопатами, кирками, ломами, и принялись они копать большую яму. Потом им на подмогу пригнали какие-то большие, громко ревущие железные машины – и дело пошло быстрее. Прошло всего две зимы, а уже поднялся целый городок, который люди меж собой называли – химический завод. Корпуса его были высокие, красивые, отливали на солнце свежeweыложен-

* Печатается в сокращении.

ным красным кирпичом, а трубы – много труб! – едва не доставали небо. Они были интересны не только своей высотой, но и тем, что из каждой трубы поднимался столб дыма определенного цвета. Был здесь дым обычный – черно-белый, был изжелта-серый, но самым красивым считался дым белый с оранжевым оттенком, словно люди жгли в своих печах тот самый кирпич, из которого сложили высоченные корпуса.

А потом была война. Но дела на заводе по-прежнему шли хорошо: дым стоял коромыслом, день и ночь с его территории недовольно рычащие машины и коротенькие поезда вывозили мешки и ящики с разноцветными и дурнопахнущими порошками. Со временем машин и поездов стало больше, а вскоре появились сердитые дядьки с ружьями и злыми собаками – охрана называлась. Впрочем, злыми собаки были только для врагов и вредителей, а так – нормальные советские псы. Вот от них-то и пошли первые собачьи легенды...

После войны пришло мирное время и дядек с ружьями сменили люди, у которых коротенькие ружья висели в кожаных мешочках на поясе, и назывались они «наганами», но собаки остались прежние, хотя и они были уже не такие свирепые: то ли врагов стало меньше к тому времени, то ли просто измельчало собачье племя. Со временем сиявшие кирпичной краснотой корпуса покрылись сажей, как-то сникли, появились щербины и трещины в стенах. Трубы остались те же, но до облаков они уже явно не дотягивались, да и шлейфы дыма уже были не такие красочные. Видимо, оттого и машин стало меньше на территории, а поезда вообще стали редким явлением. Тогда-то и оказался на вечной стоянке в глухом углу второй промплощадки этот вагон. Видно, что-то недодумали люди в ту пору, потому как не только машин стало меньше на заводе, но и сторожей почти всех разогнали, а с ними и собак. Незвестно, что говорили при этом людям, но про собак сказали коротко: кормить нечем! И разбрелась песья гвардия на все четыре стороны. Кому повезло – того бывшие сторожа к себе домой увели; кто помоложе – пустились во все тяжкие: мир велик – не пропадем! Акобели и сучки более зрелого, как говорится, предпенсионного возраста и пенсионеры облюбовали себе место под этим заброшенным вагоном. Что называется, вышли в отставку, но объект не покинули. А и то,

удобно им тут: стена кирпичная шла полукругом, закрывая от ветров жилище с трех сторон, а сам вагон стал надежной крышей, спасавшей поселившуюся здесь живность от дождя и снега да нескромных людских глаз. Со временем вагон густо оброс бурьяном, а тут еще сами люди повадились все ненужное им: ящики, банки, прочие промышленные отходы – сваливать сюда, и отгородилось собачье поселение от мира, словно баррикадой, и с чьей-то легкой руки это место назвали «Собачий Угол»...

Место для собачьей команды оказалось удобным и безопасным, потому как теперь ни один человек не мог продаться сквозь дремучие заросли сорняков и груды мусора – только на четвереньках, по-собачьи, да и то за все время ни один не отважился. И потому его обитатели признали этот угол своей вотчиной. Удобным это место было еще и потому, что иногда люди, оставшиеся на постепенно замирающем заводе, вместе с мусором сюда выбрасывали остатки пищи, и это было хорошим подспорьем для их четвероногих и вечно голодных друзей. Поначалу собак здесь много водилось: в лучшие времена до двадцати голов доходило. Да где же они теперь, эти времена? Канули в Лету. А все же с десяток псов всегда имело здесь прописку. Дружили, дрались, плодились. Летом эта собачья орава жила весело и каждый был сам по себе. Труднее приходилось зимой, когда на землю опускались лютые сибирские морозы. Не всем удавалось пережить такое бедствие: первыми погибали молодые щенки да старые собаки, а остальные, забыв все обиды и свары, сбивались в одну кучу, независимо от породы, масти, роста и возраста. Хорошо еще, что люди, а может быть, и сами собаки еще в стародавние времена натаскали в свой закуток разное тряпье: куски брезента, пакли, брошенную робу. Все это слежалось за долгие годы, и получился своеобразный матрас – все не холодная земля.

Весной же, когда теплело, выбиралось на солнышко все песье племя, оглашая всю заводскую округу звонким разноголосым лаем.

– Ожил Собачий Угол! – улыбаясь, говорили заводчане. – Летом они не пропадут...

Примерно такой была легенда появления Собачьего Угла. Надо сказать, что каждое новое поколение добавляло в нее что-то свое – оно

и понятно: как же свое место не застолбить в истории? Но главные вехи бытия Собачьего Угла оставались незабываемыми. Впрочем, наш Степка был еще так мал, что еще не успел познакомиться с этой легендой. У него все это было впереди...

После нечаянной оттепели внезапно пришли заморозки, и для всего собачьего выводка наступили трудные времена. Солнце куда-то спряталось, и в Собачьем Углу стало мрачно и неуютно. Холодный ветер завывал разными свирепыми голосами, раз за разом забрасывая через сотни щелей колючую снежную крупу. Обитатели Угла приуныли: весна только поманила их теплом, и вдруг – мороз! Все прогулки откладывались, и если Степка с Дунькой лежали в сладкой полудреме под теплым материнским животом по причине своего малолетства, то остальные обитатели Угла были вынуждены терпеть мартовскую непогоду. Но как ни велико было их желание прятаться здесь, в собачьем общежитии, от промозглого ветра, а все же приходилось хотя бы раз в день отправляться на поиски пищи...

Манька тоже оставляла своих младенцев и убегала за добычей. Чуть подросшие Степка с Дунькой уже не скулили, а молча прижимались друг к другу: своим младым умишком они уже понимали, что только так можно хоть как-то согреться в ожидании матери.

В один из таких уходов матери к ним подошла незнакомая собака. Такая же низкорослая, как их мать, только вся лохматая, с хвостом в трубочку и противным голосом. Она, ничуть не смущаясь, обнюхала их с сестрой и принялась что-то искать вокруг, видимо съестное. Оказалось все зря: не было у Маньки никаких запасов, иначе зачем бы ей бегать по апрельскому рыхлому снегу. Щенки в испуге затихли, почуяв чужой запах, и даже глаза закрыли, но в это время прибежала мать и, грозно рявкнув, прогнала непрошеную гостью. Хоть звери и ютились под вагоном, а все же и у них считалось дурным тоном рыскать по чужим «квартирам» в отсутствие хозяев. Этого правила придерживались все жильцы Собачьего Угла, кроме этой самой противной Мушки. У нее было три щенка, которые были чуть старше Степки и Дуньки, и, видимо, безысходность толкала ее на такие беспардонные поступки.

Кроме них здесь также квартировали три лайки-пустолайки да старая благородная колли по кличке Энди. А сколько их ютилось здесь в прежние времена! Объяснений же тому, почему Собачий Угол стал малообитаем, было несколько. Во-первых, часть кобелей (именно их, потому как сучки, обремененные потомством, были тяжелы на подъем) накануне суровой зимы всегда находили где-то более теплое местечко, а, пережив зиму, возвращались на лето под вагон, в Собачий Угол. Но сейчас желанное тепло еще не наступило, и потому пока иммигранты здесь замечены не были. Во-вторых, суровая зима иногда вырывала из тесных собачьих рядов наиболее слабых и больных. И хотя в минувшую зиму никто от холода и голода не погиб, но ранее все же такие случаи были. И наконец, самой главной причиной поредения собачьей общины было то обстоятельство, что в конце зимы – начале весны, по последнему снегу, работники охраны завода регулярно отстреливали бродячих бездомных собак. И хотя у обитателей Собачьего Угла был свой дом, да, видно, он чем-то не устраивал стрелков, вот они и куражились над бедными, ослабевшими за зиму животными.

Этот год не стал исключением, и за две-три недели до появления на свет Степки и его сестры около Собачьего Угла на лошади, запряженной в сани, появились два мужика в пятнистых фуфайках с ружьями. Словно чуя предстоящую расправу над своими братьями, лошадь нехотя тянула свою ношу, норовя зацепить краем саней за какой-либо столб или торчащую из земли колдобину, лишь бы подальше отодвинуть минуту расправы и дать время несчастным животным спрятаться от своих палачей. Только-то две пули успели выпустить живодеры в Собачьем Углу, и обе их принял на себя престарелый пес Робин – помесь немецкой овчарки и лайки...

Когда-то он долгое время служил в охране завода, за что не раз поощрялся дополнительным пайком за добросовестную службу, но пришла пора, и он по старости попал под сокращение. Увел его какой-то безалаберный мужик к себе доживать собачий век. Да уж больно он был недисциплинированный: пил, сам ел нерегулярно, а про пса и на неделю мог забыть. Посмотрел на все это Робин, перегрыз толстенную веревку, на которую был привязан (даже на цепь у его горе-хозяина

не было денег), и сбежал назад, на ставший ему родным завод, в Собачий Угол. И не случайно, потому что его мать, матерая овчарка Эльза, тоже в свое время охраняла этот завод. Скорее всего, и она после ухода в отставку пришла бы сюда на жительство, если бы не погибла при задержании воров в одну из студеных январских ночей. Робин, тогда уже пес в цвете сил, тяжело пережил смерть матери. Но грустить особливо некогда – нужно было службу нести, и он нес, усвоив для себя все, что успела ему рассказать мать о нелегкой собачьей жизни и службе и о том, как появилась на территории завода своя, собачья республика. Впрочем, по молодости Робин свысока поглядывал на ее обитателей: худые, трусоватые, они вызывали в нем легкую собачью усмешку, но тем не менее он никогда не обижал их – мать ли была тому причиной со своими мудрыми наставлениями, а может быть, сам дошел своей молодой и светлой песьей головой... И уже много лет спустя, сам оказавшись в Собачьем Углу, он еще раз убедился в правоте своего отношения к отвергнутым сородичам. Видно, ни один пес на старости лет не застрахован от жизни собачьей!..

Самый сильный и опытный в собачьей стае, он был ее признанным лидером. Несколько лет он прожил здесь с обывателями Угла, теряя свой лоск и силу, дичая и привыкая к самостоятельной жизни – от помойки до охоты на крыс и голубей, а порой не брезгуя даже охотой на глупых куриц, живущих в частном секторе в полукилометре от завода. Это был закат его славной собачьей карьеры. Жизнь шла под уклон, и чем дальше, тем стремительнее было это падение. Понимал ли это Робин своей собачьей башкой, а если и так, то не мог же он сам на себя наложить лапы? Не мог, и потому приходилось терпеть и ждать случая, того единственного и последнего в собачьей жизни, который позволил бы ему достойно оставить этот свет... Впрочем, авторитет его среди братьев в Собачьем Углу был непререкаем, да и старые охранники, с кем он нес когда-то нелегкую службу при заводе, в память о его заслугах порой подкармливали Робина. Как-то его даже пытались вернуть в собачий строй (а это тебе и крыша над головой, и пропитание), да, видно, к тому времени он уже крепко проникся свободой и не захотел снова идти в услужение к людям. Он был еще силен, свободен и горд.

Не раз и не два отгонял он от своего жилища невесть откуда появлявшихся чужих псов и пьяниц одним только рыком. И в то последнее для себя февральское утро, когда бóльшая часть собачьего сообщества только-только проснулась в своих «квартирах», он первый услышал чужие голоса и смело выскочил навстречу с оскаленной пастью – и тут же был сражен наповал двумя пулями. Всего две-три минуты он дал своим друзьям на спасение: пока стреляли в него живодеры, перезаряжали ружья да разглядывали его, уже мертвого Робина, – а все ж хватило для того, чтобы вся собачья ватага дружно кинулась врассыпную, тем и спаслась. Труднее всего было Маньке и Мушке: беременные, на сносях, они едва поспевали за своими товарищами, и не будь на пути стрелков Робина – пасть бы им первыми от подлых пуль... Он дождался своего часа, этот Робин, и достойно ушел, заполнив своей смертью еще одну страницу, яркую и неповторимую, в летописи обитателей Собачьего Угла...

Стало теплее. Хотя солнце и не попадало под навес вагона, а все же тепло, разливавшееся теперь повсюду, грело и обнадеживало жильцов Угла. Снег уже давно стоял даже в самых запрятанных от солнца местах, и сквозь прошлогоднюю засохшую траву потянулись вверх буйные зеленые побеги. Уже окрепший и заметно подросший Степка, воспользовавшись отсутствием матери и не обращая внимания на скулеж сестры, резво выскочил из укрытия и побежал по тропинке, что шла вдоль железнодорожного полотна. Ошалевший от солнца и тепла, он бежал стремительно, не заглядывая далеко вперед, пока со всего разбега внезапно не уткнулся в чьи-то ноги, спрятанные за пятнисто-зеленые брюки. Степан Пушкарев, пожилой грузный мужчина, шел по тропинке и не успел увернуться от разыгравшегося щенка, а когда тот отлетел в сторону и стал испуганно оглядываться по сторонам, он присел и взял его на руки. Степка в страхе забился в крупных руках человека, но, поняв тщету усилий, затих. Крупное, красивое лицо мужчины с вислыми седыми усами расплылось в улыбке.

– Куда же ты торопишься, малек? Так и головешку можно сломать!

Щенок только молчал и жмурил глаза.

– Что, Степан, внука нашел? – засмеялись проходившие мимо слесаря.

Все знали, как трепетно относился к собакам Степан, и часто подтрунивали над ним по этому поводу.

– Дуралеи вы, хлопцы! Это не внук мой, а крестник... Степкой звать будем... Сколько же тебе времени-то, дружок?

Он осмотрел его со всех сторон, еще раз убедившись, что имеет дело с «мальчиком». То-то бы смеху было, если бы он «девку» назвал мужским именем. Потеря своим шишковатым носом о розовый носик крестника, чмокнул его в лобик.

– А ты никак Манькин будешь, такой же присадистый да гладкий... Эх, был бы ты покрупнее, взял бы тебя на службу... Ну да ладно, живи.

Он опустил его на землю, но щенок так сомлел на руках, что, даже почувствовав твердую землю под ногами, не пытался бежать. Между тем человек достал откуда-то из глубокого кармана завернутый в газету кусок черного хлеба с колбасой, видимо свой завтрак, и, развернув, положил перед носом щенка. Запах колбасы, дотоле неведомый Степке, настолько поразил его, что он онемел, уставившись на угощение своими темно-коричневыми, чуть враскосину глазами, а голова пошла кругом.

– Ну, Степан, что замер? Бери трофей и беги домой, угощай мать – привыкай быть кормильцем!

Большой человек, поняв потрясение своего нового друга, легонько погладил его по голове и пошел своей дорогой. Убедившись, что рядом никого нет, Степка неумело подхватил бутерброд и, переваливаясь с боку на бок, засеменил домой.

«Только бы не встретилась эта вредина Мушка», – думал он, останавливаясь на роздых. Но сегодня у него был счастливый день: он получил имя – это ли не важно?! И потом – он впервые в своей жизни принес честно заработанный кусок такой вкуснятины. У вагона радостным лаем его встретила мать...

А завод тем временем стал поправлять свои дела. Что уж там люди делали, ни Степка, ни его собратья по крови не знали, но по тому, как стали чаще снова по территории завода машины и поезда, как весе-

лее закучерявились разноцветные столбы дыма над заводскими трубами, можно было догадаться, что процесс пошел... Правда, обитатели Собачьего Угла о грядущих положительных переменах догадались не по трубам и машинам, а по тому, как стали активно обживать некоторые доселе пустовавшие будки для сторожевых собак и такие же будки, но побольше, для охранников. Что ни день, кто-нибудь там возился: стекольщики заменили побитые стекла, электрики наладили освещение на постах, и не только внутри домиков, но и снаружи, теперь это были большие и красивые лампы с таким непривычным для собачьего уха названием – «кобра». Ну, впрочем, что в нем необычного, думал Степка, «кобра» так «кобра». Другое удивило его: большие будки для охранников побелили, покрасили, а маленькие, для их брата, не стали красить, только крышу починили да толстый провод приладили – на том все работы и закончились. Такие необычные мысли роились в Степкиной голове, когда он наблюдал из высокой травы, как благоустроивается пост № 5, что находился ближе всего к приютившему их вагону. Нет, конечно, Степка грамоты не разумел, но цифру 5, крупно выведенную малярами на боковой стенке будки охранника, он хорошо запомнил и с другой цифрой не перепутал бы ни в жизнь.

«Интересно, кого же поселят в маленькую будку?» – думал Степка, выглядывая из травы. Разомлевший на солнцепеке, он не хотел бегать, шуметь – он просто отдыхал и наслаждался теплым летним днем. Это был тот короткий период в его жизни, когда он уже все или почти все понимал, но еще ни за что не отвечал: ни за добычу пищи, ни за безопасность кого-либо, как, впрочем, и за свою собственную. И сейчас, лежа в мягкой зеленой траве, жмурясь от яркого солнца, он с удовольствием вспоминал о своем завтраке – черном куске хлеба и грязно-белой курице, невесть откуда принесенной матерью. И хотя Степка сам себя считал уже довольно взрослым щенком – четвертый месяц ему пошел, – однако за вопросы пропитания до сих пор отвечала мать, а случай с бутербродом так и оставался пока единственным в его короткой собачьей жизни. Ну а если попадался ему на дороге сухарь или другая съедобная вещь, он ее съедал тут же: не тащить же всякую мелочь издалека домой, тут любая взрослая собака может отнять находку, а

главное, как удержаться от соблазна – нести в зубах вкуснятину и не съесть... Не было еще у Степки такой силы воли и ответственности: возраст не тот.

«И для кого же все-таки делают эту будку?» – хмурил в догадке невысокий щенячий лоб Степка. Единственный на сегодняшний день его знакомый и тезка Степан Пушкарев в эту будку не влезет – для него, наверное, домик белили, а в будку поселят кого-то помельче...

Разгадка наступила через день. Как всегда на восходе солнца, выскочил он из своего жилища и обомлел: около домика важно расхаживал его старый знакомый Степан Пушкарев, в пятнистой одежде и в такой же фуражке с большим козырьком, а место в будке занял здоровенный пес. Впрочем, самого пса Степка еще не видел, поскольку из конуры торчала только его морда с тупым носом, отвислыми ушами, маленькими, вставляя глазками. Причем один из них был полуприкрыт, и оттого Степке показалось, что этот пес хитро щурится, глядя на окружающий мир. Но, глядя на торчащую из будки голову, Степка сделал вывод, что этот пес большой, очень большой, и оттого сразу зауважал его. Будь повзрослее и поопытнее, он сразу бы догадался, что перед ним не какой-то беспородный пес, пусть и больших размеров, а самый настоящий благородный сенбернар. Но Степка был еще мал и юн...

А между тем пес, положив свою могучую, крутолобую голову на белые, словно в перчатках, лапы, равнодушно поглядывал по сторонам. Вскоре где-то рядом заурчала машина, откуда выскочил человек в такой же, как у Степана Пушкарева, пятнистой форме и с ведром в руке. Он молча что-то вывалил из него в корыто, стоявшее неподалеку от будки, и побежал назад к машине.

– Ну вот, Циклопчик, и первый завтрак на новом месте, откушай, пожалуйста!

Это обратился к огромной собаке Степан Пушкарев, и только тут Степка почуял чудесный аромат, донесенный ветром с поста. Непроизвольно он тихонько заскулил себе под нос, а правая лапка прошлась по мордашке, словно отряхивая наваждение: не сон ли это – в корыте ждет вкусная еда, Человек уговаривает собаку откусывать, а этот громада Циклоп еще что-то воображает и не торопится к ней...

«Эх, мне бы сейчас!...» Степка нервно подскочил и едва не рванул туда, где остывал завтрак одноглазого спесивого кобеля, но вовремя остановился: опасно! Еще неизвестно, от кого больше попадет – от человека или от своего же брата.

Полежав некоторое время, видимо выдерживая характер, Циклоп наконец поднялся и ленивой походкой подошел к корыту. И сколько в нем было того собачьего достоинства, что любой сразу бы догадался, что это сытая собака. Ну не может голодный пес выглядеть таким важным и спокойным. А еще Степка, увидев псину во весь рост, от испуга даже присел и попятился: нигде в округе не видел он такого великана.

«Вот бы подружиться с ним, – залетела в Степкину голову шальная мысль, – тогда бы никто меня обижать не стал. А может быть, если он, конечно, хороший и добрый пес, то иногда разрешал бы хоть чуть-чуть попробовать его угощения...»

Эти мечтания нарушил маневровый тепловоз, прогрохотавший по соседней ветке, и Степка, еще не привыкший к странностям цивилизации, опрометью кинулся домой, глотая голодную слюну.

...После гибели Дуньки Манька как-то охладела к своему сыну: то ли горе ее было так велико, что захлестнуло с головой, то ли в жизни ее появилась новая любовь, да только теперь ее Степка видел все реже и реже и делиться с ним своей добычей она совсем перестала. А перед Новым годом несколько дней она вовсе не появлялась в Собачьем Углу, а когда они встретились, то Степка был обескуражен ее отчужденностью. «Все, детство кончилось, – решил про себя Степка, – надеяться теперь надо только на себя...»

Впрочем, он давно уже считал себя взрослым кобельком. Постигнув несложную, но такую важную науку нахождения корма, он убегал без разрешения матери в самые отдаленные закоулки завода. Как бы то ни было, а под свист стылого ветра так хотелось порой ткнуться своим уже затвердевшим и почерневшим носом в теплое брюхо матери, прижаться к ней всем своим телом, небогато оделенным шерстью и плохо спасающим от все более крепчающих морозов. Не находил он встречной ласки, а потому оставался на своей лежанке, а когда заметил, как

стали у нее округляться бока и набухать соски, то окончательно понял, что потерял мать навсегда. Теперь все заботы ее были устремлены на будущих щенят, его родных братьев, которые должны были появиться, так же как и он, в мартовскую оттепель.

В эту зиму Степка заметно повзрослел и, отринутый родной матерью, стал жить самостоятельной жизнью молодого кобелька. Он уже не раз обежал всю территорию второй промплощадки, познакомился, правда издали, со всеми служебными собаками и охранниками на шести постах, но дружбы так ни с кем и не завел. Ни к чему вроде, пока пропитания хватало на помойках да около столовой. Впрочем, дружба не состоялась еще и по другой причине. Все эти псы-служаки не нравились и казались ему чересчур важными, гордыми – задаваки, одним словом.

«Подумаешь, разъелись на казенных харчах!» – неприязненно думал он, издали посматривая со стороны, как неторопливо поедали пищу Джек, Булька и Рэкс.

Среди обитателей Угла друзей он также не нашел: не было его ровни, все больше старики. Так и жил один. И подружку себе не завел, почитав, что еще не пришла его пора жениться...

И все же он чаще всего появлялся около поста № 5. Во-первых, это было совсем недалеко от его дома, во-вторых, там нес службу самый здоровый из виденных Степкой псов – Циклоп, а силу обиженный ростом и собачьей мускулатурой Степка уважал, и наконец, там периодически появлялся его старый добрый знакомый – даже больше, крестный – Степан Пушкарев.

В одну из таких его экскурсий на пост и заметил его старый усач: – Крестник! Куда же ты исчез? А ну, иди поближе...

Ни в жизнь ни к кому не подошел бы Степка на опасную близость, и внезапная смерть Дуньки только усилила его осторожность и недоверие к этим двуногим, но здесь была другая ситуация: это был не просто человек-охранник, это был Человек, который дал ему имя, свое имя – Степан, Степка! Однажды он уже держал его на своих руках и ничего не сделал дурного, даже наоборот – угостил такой вкусной колбасой! А добро Степка, как все нормальные собаки, помнил долго.

Была, наконец, еще одна серьезная причина безрассудной смелости Степки – изнуряющее чувство голода. Вот уже второй день он не мог найти ни малейшего пропитания, даже мерзлого сухаря. На главной помойке около столовой появилось в последнее время много незнакомых здоровых и злых собак, которые всех местных псов и близко не подпускали к ней. А тут еще недавно выпал обильный снег и похоронил последние надежды Степки и его сородичей найти хоть какую-то пищу.

– Ну, иди же смелее, дурачок! Мы же теперь вроде как родня с тобой.

Человек говорил добрым, приятным голосом, улыбался, а в его руках появился кусок душистого хлеба. Не имея сил остановиться, Степка медленно, опустив голову, шел к Человеку. Иногда, словно жеманясь, он поводил головой то влево, то вправо, а небольшой хвостик его предательски дрожал. Вот они сблизились, и перед самым носом Степки оказался тот самый большущий кусок ароматного черного хлеба. Человек, присев на корточки, с широкой улыбкой на усаемом лице, с интересом наблюдал за внутренней борьбой, которая происходила в душе у Степки. Очень осторожно он взял кусок из рук, потом выпустил его на мгновение, благодарно лизнул руку человека и тут же, подхватив подарок, рванул под вагон.

На другой день он снова пришел на пост, но напрасно он ждал добродушного усача Степана Пушкарева. Вместо него в большой будке сидел какой-то щуплый пожилой мужичок, и, завидев Степку, он только цыкнул на него – не зло, не страшно, а все равно неприятно... Из будки торчала лобастая голова Циклопа. Глаза его были полузакрыты, и было непонятно: спит ли он или просто задумался о своей собачьей жизни. Поскольку Степку он к себе не звал, он и не пошел к нему...

На следующий день картина повторилась, только теперь вместо пожилого мужичка в сторожке сидел молодой белобрысый парень. Воткнул в ухо какой-то провод, закрыл глаза и что-то бормочет себе под нос.

«Вот чудак! – подумал Степка, глядя на него через оттаявшее стекло. – Он, наверное, боится ухо потерять, вот и привязал его на вере-

вочку – чудные все же люди... Вот ему, Степке, ничего не надо привязывать, уши у него крепкие, а вот живот подвело – сейчас бы поесть немного...»

Из своей будки на него безучастно поглядывал Циклоп. В силу своего возраста и неопытности Степка не мог знать, что охранники на заводе работают по графику «сутки – трое», а потому, дважды не застав своего тезку и крестного на посту № 5, он пустился искать удачу на других постах. Но и там она не ночевала...

Февральские морозы всерьез осложнили жизнь обитателей Собачьего Угла. Теперь они, забыв былые ссоры и недоразумения, длинными зимними ночами сбивались в одну кучу, согревая друг друга теплом своих тел, а утром, едва забрезжит рассвет, разбегались в разные стороны в поисках корма. Именно он, желудок, пустой и требовательный, определял их распорядок жизни.

...Как ни боялся Степка, а все же решился однажды сделать набег на курятник жившего неподалеку железнодорожника. Охота не удалась. Сколько ни ходил он вокруг ограды, ни одной курицы не увидел, а когда попытался проникнуть в ограду и уже подsunул нос в подворотню, то увидел, как в щель между штакетин на него смотрит здоровенный серый кобель. Его пасть была открыта, язык вывалился набок, а глаза с интересом изучали каждое движение непрошеного гостя...

Как он домчался до дома, Степка не помнил, но его зубы еще долго нервно постукивали – у собак тоже, видать, бывают стрессы. Когда же он рассказал матери о своей неудачной охоте, она только высмеяла его: куры-то зимой, оказывается, в тепле сидят, а не гуляют по морозу. А в заключение обозвала балбесом. Это была школа его жизни...

И тогда снова он решил заглянуть на пятый пост. В этот раз удача ему улыбнулась. Степан Пушкарев, завидев крестника, весело позвал к себе. Уже без былого страха Степка направился к Человеку. Потрепав за ухо, Пушкарев позвал его в будку. Там было тепло, играла музыка и, казалось, изо всех углов неслись какие-то одуряюще вкусные запахи. Степка, пристроившись у стенки, положил мордашку на передние лапы и закрыл глаза. Ему хотелось спать в такой теплой конуре, но еще больше ему хотелось есть. Он с трудом заставил себя лежать с закры-

тыми глазами. Даже своим молодым умишком он понимал, что надоедливо выпрашивать хлеб нехорошо. Он видел, как это делала Мушка, и ему это очень не нравилось.

Пушкарев между тем, словно разгадав тайные желания маленького друга, стал угощать его хлебом и еще чем-то белым, вкусным, нарезанным тонкими ломтиками. Так у него состоялось знакомство с пищей богов и украинцев – с салом. После еды ему захотелось пить, и здесь Пушкарев оправдал его надежды: он плеснул из ведра воды в какую-то железную банку, на боковых стенках которой были нарисованы какие-то мелкие рыбешки. Отхлебывая воду, Степка своим молодым и чувствительным носом уловил новый для себя запах и понял, что совсем недавно здесь находилась какая-то еда, совсем не походившая на колбасу и сало. Но тут у него голова как-то сама собой потяжелела, и он незаметно для себя уснул, положив свой нос рядом с банкой...

– Эй, дружок, вставай, – сквозь дрему услышал он голос Большого Друга, – моя смена закончилась, да и тебе пора домой.

Степка не знал, что такое смена, но домой ему не хотелось: там было холодно, там у него не было Большого Друга.

«Эх, живут же люди!» – горестно думал Степка, пробираясь едва заметной тропкой под вагон...

И как ни силился он понять, как работает его друг Пушкарев, ничего не выходило. Тогда он решил проблему иначе: прибегал поутру к пятому посту, выясняя, кто же сидит в будке, а потом в течение дня еще пару раз заглядывал – и только тогда, убедившись, что в будке не его крестный, он убегал колесить по территории завода. Так проходил день, второй, третий, и тут он снова встречал Степана Пушкарева – и не было их радости предела! Так он научился находить своего друга.

Однажды тот после очередной беседы взял да и поставил Степку вместе с ногами в корыто, где по углам лежали большие и уже подмерзшие остатки Циклопова обеда.

– Вот, сынок, попробуй-ка казенные харчи. Не бойся, Циклопчик не будет сердиться, так же, Циклоп?

Пес в ответ что-то добродушно проворчал и, приподняв голову, с интересом осмотрел гостя. Он давно приметил этого молодого щенка:

не наглый, не пустолай, а главное, у него в друзьях сам Пушкарев! И он широко и добродушно зевнул, словно благословляя Степку на обед.

– Вот видишь, он согласен, – продолжал увещевать гостя охранник, – давай, налегай...

Еще не веря до конца в свою удачу, Степка принялся жадно есть уже покрытую тонким ледком пищу. Она обжигала его холодом, но Степка знал, что там, в животе, она у него все равно согреется и сделает его сытым и счастливым.

В следующий раз, когда он снова пришел на пост, никого из охранников видно не было. Циклоп, как всегда, дремал в конуре, высунув наружу только свой тупорылый нос. Трусливо оглядевшись по сторонам и не заметив ничего опасного, Степка вытянул шею и заглянул в корыто: на его краях и по углам он увидел примерзшие к стенкам куски моченого хлеба, вареной картошки, крупы. Конечно, это было не сало и не колбаса, но все же и не тот мешочек из-под мяса, что ему удалось полизать утром вместо завтрака. Внезапно осмелев, он шагнул в корыто и принялся за еду. Его трапеза уже подходила к концу, как он вдруг почувствовал чье-то тяжелое дыхание над головой: бедный пес так увлекся едой, что совсем забыл об опасности!

Это Циклоп неслышно покинул будку и подошел к корыту, чтобы поближе рассмотреть своего шустрого гостя, и горой завис над ним. Он видел, что песик в ужасе дернулся и из него брызнула струя. Но вместо того чтобы наказать нахала, он обнюхал его и лизнул голову. Щенок стоял, зажмурившись, и мелко дрожал. Когда процедура знакомства закончилась, хозяин еще раз лизнул гостя, и только тогда, еще смутно веря в свое спасение, Степка в ответ робко лизнул курносую морду сенбернара. Знакомство состоялось.

И жизнь Степки наладилась. Теперь он каждый день приходил к Циклопу к моменту привоза пищи, а если случалось, что он просыпал урочный час, то его новый заботливый друг оставлял своему дружку-засоне столько пищи, что он не мог ее доесть до конца дня. Молодой пес повеселел, поправился, а его короткая, плохо греющая шерстка, казалось, местами стала лосниться в лучах редкого и еще холодного мар-

товского солнца. Но особенно преобразились его уши: если раньше они безвольно болтались на макушке, то сейчас нередко можно было видеть, как они бугрились на его небольшой головке, и в особенности левое ухо, помеченное черным пятном. Задумается порой Степка о чем-то из своей собачьей жизни – мордашка серьезная, глаза черные и ухо торчком – чем не роденовский мыслитель? В такие минуты даже Циклоп его не беспокоил. Нечасто, правда, такое случалось со Степой, редко он был грустным и задумчивым – все больше бегал, игрался да весело и громко лаял.

Поймал его один раз Пушкарев, усадил рядом с собой на лавку около сторожки и давай с ним беседу проводить:

– Расти, дружок, расти... Оно, конечно, таким, как Циклоп, ты не вырастешь – замес у тебя не тот, не богатырский, ну да все же подрастешь, ума наберешься. Рост в жизни не главное... У вас как и у нас бывает: большой, да дурной, но маленький, да удаленький. То-то же... – Тут он бросил взгляд на Циклопа, что сидел около будки и прислушивался к словам хозяина, и, словно извиняясь, добавил: – Не сердись, Циклопчик, это я не о тебе. Ты у нас не в пример другим – и большой, и умный...

Но кончался день, и к вечеру погрустневший Степка отправлялся в свой Собачий Угол, где находил холод и равнодушие соседей, и что самое неприятное – своей матери. Зато почти каждую ночь ему снились Циклоп, Пушкарев и большое корыто, по самые края наполненное теплой вкусной кашей... Наутро он стремглав несся на пост.

Теперь его уже не смущало, что рядом не было крестного – другие охранники, зная, из уважения к Пушкареву, стали привечать молоденького кобелька, нет-нет да отпуская в его адрес шутки:

– Усыновил тебя, похоже, Степан – добрая душа, так что ты теперь прозываешься у нас Степан Степанычем.

Один только раз машинист тепловоза крикнул какую-то гадость Степану со своей верхотуры:

– Ты что же, Степан, «голубых» кобелей разводишь на посту?

Степка видел, как Пушкарев дернулся от этих слов и плюнул вслед тепловозу, но причин его расстройства так и не понял: и Циклоп, и он, Степка, оба черные, с белыми и рыжими подпалинами, ни голубого, ни

синего цвета у них не было нигде. «Глупые люди: говорят и не думают» – так рассудил Степка и принялся атаковать Циклопа, пытаясь со всего разбега хотя бы сдвинуть с места своего здорового дружка. Так в толчее, играх и беготне проходила Степкина юность.

...В середине марта внезапно завьюжило и так резко похолодало, что даже Циклоп в своей теплой шубе замерз и залез в будку. Степка, уже вовсю освоившийся на посту, в конуре еще не был и без приглашения хозяина не решался туда залезть. Он бегал по площадке вокруг стойки, пытаясь согреться, пока наконец Лешка, молодой охранник, что привязывал свое ухо к карману на веревочку, не вышел на улицу и не заругался на него:

– Ты что, в натуре, бегаешь да гавкаешь как дурачок – лучше бы лез к Циклопу в конуру и грелся. Вас таких мелких там с десяток спрятать можно...

Потом схватил стоявшего в нерешительности Степку за шиворот и засунул в будку. Степка с перепугу съежился и стал, казалось, меньше рукавицы, но даже и такой он не решался пошевелиться, чтобы хоть как-то не потревожить хозяина. Циклоп сам заметил некоторую скованность молодого товарища и в доказательство того, что он ничуть не сердится на его приход, чуть подвинулся, давая тому тоже удобно растянуться в будке. Вскоре он задремал, заслонив своим большим телом вход в конуру и тем самым не пропуская вовнутрь мороз.

Степка, услышав мирное посапывание друга, огляделся. Будка изнутри казалась еще больше, чем снаружи. До потолка ему, Степке, было не достать, даже если он встанет на задние лапы. На полу лежал толстый слой соломы, отчего телу было тепло и приятно. Много разных мыслей кружилось в Степкиной голове в эту первую счастливую и теплую ночь, и как-то незаметно для себя он уснул...

Проснулся он только утром, заслышав голос крестного. Циклопа в конуре не было, а через лаз заглядывал Пушкарев.

– Ну и молодец, Степка, что остался ночевать, давно бы так надо было сделать, да что-то я, старый пень, не сообразил сразу... А ты молодой, башковитый – быстро скумекал! И то верно, что тебе под вагоном отираться? Матушка твоя новое пополнение ждет, ей не до тебя.

Застигнутый врасплох, Степка пулей выскочил на улицу и виновато завил хвостиком, словно извиняясь за то, что проспал. Пушкарев, поняв политесы своего крестника, засмеялся в ответ и подтолкнул его к корыту: ешь, мол, иди.

После теплой и уютной ночи день для Степки начинался как нельзя лучше, и можно было бы назвать его самым счастливым днем в его короткой собачьей жизни, если бы не последующие события.

...К полудню непогода улеглась, заметно потеплело, набрякший влагой снег теперь уже не хрустел, а громко чавкал под ногами. Солнце, осторожно выглядывая из-за низко ползущих туч, посылало земле свои лучи – первые вестники грядущего тепла. Циклоп и Степка, отыскав за конурой пятачок вытаявшей и подсохшей земли, мирно дремали, растянувшись на нем, причем Степка так зарылся своей мордашкой в длинную рыжеватую шерсть друга, что наружу выглядывали только его длинные уши. В сторожке под слабый писк транзистора так же сладко дремал Степан Пушкарев. После обеда он любил поспать: короткие минуты отдыха давали ему хороший заряд бодрости на остаток дня – как-никак шестьдесят пять стукнуло Степану Егоровичу. Сорок лет назад, сразу после армии, пришел он на завод, где отбарабанил тридцать лет на вредном производстве, а по выходе на пенсию пошел в охрану: хоть так еще решил послужить родному заводу. Сутки дежурил – трое дома. Самая что ни на есть работа для пенсионера! Спокойная, без суеты. Вот и сейчас после обеда он урвал полчаса на роздых – дреманул-таки под легкую музыку!.. Но вот звякнул телефон: начальник караула приказал открыть ворота и выпустить состав. Сладко потянувшись, Степан неторопливо вышел на улицу, но, заметив приближающийся поезд, поспешил к воротам. Помахав машинисту рукой, он снова закрыл ворота на висячий замок и присел на скамейку у стены сторожки, прямо перед собачьей конурой.

Глянув в сторону нежившихся на солнце собак, он раскурил сигарету и заговорил:

– Вот так-то, пацаны: отдохнул – поработал, поработал – отдохнул. Нельзя много брать на пупок: надорваться можно.

Встревоженные голосом Человека, Циклоп и Степка скинули с себя дремоту и усталились на него, ожидая продолжения беседы. Заметив, что внимание со стороны его четвероногих друзей к нему заметно возросло, Пушкарев, сладко затянувшись дымом, продолжил свои рассуждения.

– Что я тут подумал, Степка. – И он пальцем ткнул в сторону своего крестника.

Тот, поняв, что речь идет о нем, вскочил на ноги и замахал хвостом.

– Вот-вот! – одобрительно крикнул охранник. – Сопляк ведь еще, а все понимает! Башковитый растешь, крестничек!

От этих слов Степка еще чаще замахал хвостиком и скромно потупил голову.

– Ох и артист!.. Ну так вот, Степан, кажется, мы с тобой не совсем правы. В гости пришел к Циклопику, переночевал – это хорошо, но домой-то надо было сбегать – мать предупредить, ведь волнуется, поди, а? Как думаешь? Ага... Так что, дружок, дуй сей же момент домой, а потом возвращайся, а мы тут с Циклопом тебя подождем. Сегодня суббота, я на этот пост на сутки заступил...

Неведомо, каким уж своим собачьим чувством распознал Степка смысла сказанного крестным, но тут же мелко затрусил к своему прежнему жилищу.

– Ай, какой башковитый кобелек растет! – умилялся Пушкарев, глядя вслед убегающему щенку.

Докурив сигарету, Степан поднялся, прошелся по площадке перед сторожкой и, взяв лопату, принялся не торопясь откидывать мокрый снег подальше от конуры. За работой он не услышал рокота подъехавшей машины и как хлопнули дверцы «уазика»... Выстрелы прозвучали так резко и неожиданно, что Степан даже выронил лопату. Около машины стояли двое мужчин и с четырех стволов палили в сторону собачьего прибежища. Один из стрелявших был заместитель начальника караула Петр Гайдак, второго мужика Степан не знал. Расстояние до вагона было не более двадцати метров, но в это время года, когда не было травы, жилище бездомных собак хорошо просматривалось. От

пуль спастись можно было, только плотно прижавшись к земле, но встревоженные и перепуганные выстрелами животные бросились врассыпную. Бежать им приходилось какое-то расстояние вдоль стены, и оттого они становились слишком заметной мишенью. С первого выстрела была убита Мушка. Степан видел, как неверной походкой затрусил вдоль ограды по направлению к котельной Чоп, но после третьего выстрела и он споткнулся на бегу... Сквозь заросли сухостоя, сохранившегося неподалеку от вагона, пыталась пробраться Манька. Если бы ей удалось добежать до перевернутой вагонетки, ее жизнь была бы в безопасности, но... Гайдак хладнокровно расстрелял беременную суку.

– Эй! Стой, мужики! – закричал Степан. – Вы что же это делаете?! Они же больные и беременные!

Его слова не произвели на стрелков никакого воздействия. И в это время из-под вагона выскочил Степка и стремглав бросился к посту. Он уже был недалеко от Пушкарева, когда услышал предсмертный визг матери. Резко остановившись, он закрутил головой, надеясь ее увидеть. Незнакомец выстрелил в Степку, но промахнулся... Выстрел словно подхлестнул Пушкарева.

– Степка! Степка! Сюда! Ко мне! – во всю силу легких закричал он.

Услышав эти призывы, Степка кинулся на зов, но в это время Гайдак разрядил оба ствола – пули взбили мокрый снег в полуметре от щенка.

– Стой, Петро! Не смей стрелять! Это мой пес, слышишь? Не смей! – Степан кричал громко, с подвывом, так что даже незнакомец опустил ружье.

– Да иди ты, старый хрен! – огрызнулся зло Гайдак, продолжая заряжать ружье. – Щас я твою падлу размажу по полянке!

– Это ты – зверь! Ты – падла! – задыхался от ярости Пушкарев.

Голос его заметно осип, лицо посерело, рукой он схватился за грудь. Воспользовавшись тем, что незнакомец отказался стрелять, а Гайдак перезаряжал свое ружье, Степка успел прошмыгнуть мимо Степана и с разбегу влетел в конуру Циклопа, а тот, словно почуяв, какая беда грозит его юному другу, также залез в конуру и полностью заслонил его своим могучим телом.

– Ты что раскипятился, дед? – с недоброй улыбкой подошел к Пушкиреву заместитель начальника караула. – Приказ такой был по заводу: уничтожить всякую ненужную тварь, а ты тут лезешь... Отойди-ка в сторонку.

– Это... ты тварь, а не собачки эти... Ты... зверь... Сколько душ погубил, поганец, мешали они тебе?!

– Ты у меня договоришься, Степан, я ведь не посмотрю, что ты старый да заслуженный, так ввалю!

– А ты попробуй! Вон прикладом двинь меня по башке, а там и Степку моего добьешь, ну?!

– Нет, Петро, разбирайся тут без меня, – сказал незнакомец, зачехляя ружье.

Обойдя машину, он пошел напрямик через полянку к воротам.

– Ты что, Иван? – недоуменно окликнул его Гайдак. – Ты же охотник, а сопли распустил.

– А я такой охотник, что ни разу беременных не убивал, ни зайчих, ни лосих... Да и со стариками я не привык так разговаривать. Ты уж как-нибудь сам здесь управляйся: тебе, похоже, все равно, кого убивать.

– Ну ладно, ты, чистоплюй! Деньги-то небось взял...

Не оборачиваясь, мужчина вытащил из кармана несколько десятирублевых купюр и подбросил вверх:

– Соберешь, вояка!

Похоже, такой поворот дела всерьез озадачил замначкара. Он посмотрел вслед уходящему товарищу, потом кинул взгляд на будку, где скрылся шустрый щенок, остановился на Пушкиреве:

– Отчебучил ты, дед, картинку! Огорчил ты меня.

– Ничего, Петро, твое огорчение не дороже жизни этого существа... – Степан дышал тяжело, губы его дрожали, холодная испарина выступила на его лице.

– Ладно, дед, с тобой я разберусь позже, – с явной угрозой в голосе проговорил Гайдак и полез в машину.

Неверной походкой Пушкирев подошел к сторожке, снял трубку телефона и, услышав голос начальника караула, с придыханием спросил:

– Леня, что же это творится? Этот... гад ползучий... твой зам... такую стрельбу здесь учинил! Он же все здесь кровью залил...

– погоди, Степан, – откликнулась трубка голосом начальника, – никто ничего не планировал. Я отошел здесь в кадры да бухгалтерию. Я же с завтрашнего дня в отпуске. Гайдак за меня остается...

– Что же, Леня, и приказ такой по заводу был? Почему же ты не сказал нам о нем?

– Приказ есть о моем отпуске, а об отстреле не было никаких команд! В прошлом – был приказ, а сейчас нет. Ты же помнишь, сколько собак бегало по территории завода в прошлом году – вот и приказали их отстрелять. А сейчас-то их почти нету...

– Не почти, а совсем нет! Всех положил этот гад! Значит, сам решил расправу чинить, без всяких приказов!.. – И Степан с силой кинул трубку на аппарат.

Немного посидев за столом, словно переживая заново все увиденное и услышанное, он сунул руку под бушлат, морщась, потер левую сторону груди, потом тяжело поднялся и вышел на улицу.

– Ну, пацаны, тухнули немного?

Пушкарёв засмеялся тяжело, хрипло и опустил на скамейку. Достав сигарету, он раскурил ее и стал наблюдать за собаками. Из-за спины Циклопа показалась Степкина мордашка.

– Ну, иди сюда. Жертва репрессий.

Когда Степка приблизился, Пушкарёв наклонился к нему, чтобы погладить, но, тихо ойкнув, завалился, едва не придавив щенка. Отпрыгнув в сторону, Степка испуганно смотрел на своего крестного, так неловко лежащего на мокром снегу. Циклоп, почуяв беду, вскочил на ноги и рванулся к охраннику, но толстая цепь откинула его назад. Вторая попытка закончилась также неудачно, и тогда он... залаял. Его лай был подобен грому! Впервые услышав голос друга, Степка немало испугался, но тут же подбежал к лежащему Пушкарёву и принялся лизать его лицо. Он почему-то был уверен, что тому понравятся эти ласки и он непременно откроет глаза, но... Человек оставался недвижим. И тогда, повинувшись невесть какому инстинкту, он рванул к находившейся неподалеку котельной.

Дверь ее была полуоткрыта, внутри надсадно гудели котлы, было душно. За столом сидели двое пожилых мужчин и курили. Завидев собаку, оба заулыбались.

– Смотри-ка, крестник пушкаревский к нам пожаловал...

Не дослушав кочегара, Степка разразился громким лаем, одновременно пятясь к двери.

– Чего это он расшумелся? – недоуменно спросил второй кочегар. – Тут от котлов башка гудит, так эта малявка еще брешет...

– Э, нет, погоди, Николай, что-то здесь не так.

Он поманил к себе Степку. Песик подскочил к мужчине, лизнул руку и снова бросился к двери.

– Смотри, зовет никак куда!

Кочегар поднялся и пошел за собакой.

– Да гони ты его к черту! – крикнул вслед тот, кого звали Николаем.

На улице гула котлов слышно не было, зато со стороны пятого поста неся низкий, чуть с хрипотцой, громоподобный лай Циклопа.

– Поди ж ты, Циклоп разговорился! – удивленно произнес кочегар, ища глазами Степку.

А тот уже мчался по тропинке, ведущей к сторожке. Не теряя больше времени, кочегар кинулся вслед за собакой...

– Вот и увезли вашего Степана – инфаркт! А это вам не хвост собачий... – так говорил пожилой худощавый охранник с вислыми, пшеничного цвета усами, сменивший на посту Пушкарева.

Он разминал в руке «Приму» и говорил, обращаясь к застывшим рядом с конурой собакам.

– Да ничего, мужики, можа, еще и обойдется все. Степан – человек еще не старый, могутный... Вам-то вот хорошо: у вас ни инфарктов не бывает, ни циррозу печени – все на нас, на людей, природа свешала. Но мы ничего, трещим, скрипим, но держимся... Меня вот вместо Степана к вам приставили, до утра... Да не переживайте шибко-то зазря, я думаю, что все еще обойдется...

Так Степкина жизнь, не успев наладиться, стала рушиться: в одночасье он потерял мать и крестного – своего главного друга и защитника. К вечеру на место кровавой расправы над жильцами Собачьего Угла приехала небольшая грузовая машина, и незнакомые мужики покидали в кузов уже остывшие тела Степкиных сородичей. На следующий день, с трудом унимая нервную дрожь, Степка пришел на свою прежнюю квартиру, под вагон. Опустел Собачий Угол. Промозглый ветер гулял по брошенным лежакам, запинаясь о старую, обглоданную до белизны кость и шевеля клочки разномастной шерсти, оставшейся там-сям от прежних ее жильцов. Особенно грустные мысли лезли в его собачью голову, когда он прилег на место, где спала мать, он сам и еще совсем недавно жалобно скулила по ночам его непутевая сестра Дунька. Каким же хорошим представилось Степке то недавнее время, когда они все втроем дружно отправлялись по территории завода в ознакомительные прогулки или рыскали в поисках пропитания! Даже те случаи, когда им приходилось ложиться спать натошак, сейчас ему казались такими дорогими и приятными. И напрасно он принимался к лежанке и земле вокруг, надеясь хоть краем носа ухватить аромат родного существа: холодный ветер со снегом успел выветрить за ночь все запахи и воспоминания. Так внезапно и жестоко закончилось Степкино детство.

«Пришла беда – отворяй ворота!» Знай Степка эту поговорку, наверняка оценил бы ее справедливость. Ушедший в отпуск начальник караула оставил за себя Петра Гайдака. Уже к следующему дежурству тот добился перевода своего шурина, рыжего Кузьмы, назад в свой караул и сразу отправил его на пятый пост.

...Как всегда после ранней побудки, Циклоп и Степка подошли к корыту, где уже дымилась свежая порция собачьего рациона, и не торопясь принялись есть. И вдруг на Степку обрушился сильный удар метлы. От неожиданности Степка по самые уши утонул в варе. Едва он поднялся на лапы, как последовал новый удар, сильнее прежнего. Степка дико взвыл от боли и бросился прочь от корыта. Кузьма, а это был именно он, наступил ногой на ветки метлы, сдернул ее с черен-

ка и наперевес с палкой бросился в погоню за визжащим щенком. И недобровать бы тому, если бы не Циклоп. Резким прыжком он сбил с ног распоясавшегося охранника, а когда тот поднялся на ноги и вновь попытался завладеть палкой, сомкнул свои мощные челюсти на его грязной руке. Громко охнув, Кузьма потерял сознание. Машинист подъехавшего к воротам тепловоза по рации связался с караульным помещением и сообщил о развернувшемся на посту побоище. Через полчаса скорая помощь увозила раненого в больницу. Появившийся на посту Гайдак долго стоял против Циклопа, словно решая какую-то трудную для себя задачу, а пес, чувствуя свою вину и угрозу, исходящую от неподвижно стоявшего человека, смущенно молчал, потупив лобастую голову.

– Ладно, дружок, ты меня еще узнаешь... – недобро проговорил Гайдак и укатил на машине.

Только тогда из конуры, трусливо озираясь, вылез Степка. Он видел всю эту сцену, но не решился показаться на глаза убийце своей матери.

Расплата наступила через три дня... Охая и вздыхая, Корнеич повел Циклопа на пост № 3, к Большим Складам.

– Ну как же так, хорошего молодого пса – да на склады?! Это ж чистой воды убийство! И пайку урезал... Эх, люди – сволочи! Ничего, Циклопчик, потерпи, скоро начкар из отпуска вернется, меньше месяца уже осталось – он тебя в обиду не даст!

Вслед за другом на опасный пост поплелся и Степка...

Друзья сразу поняли, что они потеряли на прежнем месте службы. Будка на третьем посту была небольшая, и вдвоем они там размещались с большим трудом – Циклопу приходилось быть крайне осторожным, чтобы ненароком не задавить своего сублильного друга. Потолок и стены конуры светились щелями, через которые в будку проникала и вода, и холодный ветер. Если Циклопа еще как-то спасала густая и длинная шерсть, то голобокому Степке приходилось туго от ночных мартовских заморозков.

Неприятность их поджидала и у корыта. Если раньше Циклопу выдавали полуторную норму средней собаки, то теперь его пайка ста-

ла соответствовать обычной норме. Справившись с пищей, Циклоп и Степка недоуменно осмотрели опустевшее корыто, затем вопросительно взглянули на охранника Пашу, у которого были вечно красные глаза и невыветриваемый в любую погоду винный перегар.

Прочитав их взгляд, Паша, куражась, произнес:

– А все, господа кобели, отошла вам лафа: теперь тебе, Циклоп, будут отпускать как всем, а ты, сопля зеленая (это уже относилось к Степке), здесь лучше не вертись, поскольку расчету на тебя нету... Избаловал вас Степан, а я расхлебывай! И ведь сам вот-вот сдохнет, а собачек жалеет, тьфу, прости меня господи! Я-то вас тут быстро научу жить!.. Что буркалы выставили?! Смотри, какие прынцы выискались! Ежлив я буду под мухой и вы так глядеть на меня будете – я вам гляделки-то повывдираю! У-у! – Он сделал пальцами козу и шагнул было к Циклопу, но, услышав его утробный рык, поспешил скрыться в сторожке.

Пищи друзьям не хватало. Поняв это и желая хоть как-то загасить сосущее чувство голода, Степка снова принялся бегать по территории завода, забегая и к столовой, и на помойку. Первое время он честно пытался обнаруженный корм нести на пост, чтобы разделить с другом, но у него не хватало силы воли, и он непременно съедал его на полдороге. Стоит ли строго судить Степку, ведь ему только-только исполнился один год...

Теперь с ними никто не вел душевных бесед, и они, казалось, перестали понимать человеческий язык, и вообще жизнь людей и собак больше уже не пересекалась, а шла как-то параллельно – без тепла, без взаимной заботы и какого бы то ни было внимания друг к другу. Темными апрельскими ночами друзья, когда им не спалось, грустно молчали или вспоминали счастливые мгновения из жизни прошлой, но чаще они мечтали о том времени, когда поправится Степан Пушкарев и вернется из отпуска «хороший начальник». А их все не было...

Зато появился рыжий Кузьма. По его неверной походке они поняли, что он пьян, а значит, опять будет куражиться, и потому поспешили спрятаться в конуру. Приехавший на пост Гайдак едва его добудился.

Отругав родственника самыми нехорошими словами, он, уже садясь в машину, оглянулся на притихших в конуре собак:

– Хрен знает, кто из вас лучше, кто хуже – человек или собака... Ох, и надоели вы мне все!

В следующую смену Кузьма опять прибыл на пост навеселе, а к обеду уже упал пьяный на диван и захрапел. Вся ответственность за охрану объекта полностью, и уже в который раз, легла на плечи друзей, Циклопа и Степки. Впрочем, особых беспокойств эта служба не доставляла. За все утро только две автомашины подъехали к навесу, откуда грузчики побросали в кузов мешки с белым порошком, и вновь на посту наступила тишина. Солнца не было, но ветер был теплым – чувствовалось дыхание весны. Правда, здесь, на третьем посту, ее дыхание было сильно испорчено ядовитыми миазмами. Наши друзья это уже почувствовали на своей собственной шкуре: глаза их слезились, шерсть стала ломкой и лезла при малейшем прикосновении. И если у Степки еще оставалась возможность убежать из этого ада, совсем ли, на время ли, чтобы подышать свежим воздухом, то Циклоп был намертво привязан к своей будке. Территория третьего поста стала для него зоной смерти, смерти медленной, но неумолимой, какой она была ранее для многих его собратьев.

После обеда на Большие Склады под погрузку встал «камаз»-длинномер. Двое грузчиков в респираторах, бросив доски к откинутому заднему борту, принялись закатывать по наклонной плоскости металлические бочки с жидким хлором. Рядом стояла кладовщица с бумагами.

Она нетерпеливо поглядывала на грузчиков:

– Ребятки, быстрее давайте... Здесь же с ума сойти можно от этого вонизма!

– А мы ничо, Сергеевна, – хохотнул один из них, приподняв респиратор.

– В таком-то наморднике – «ничего», а я-то тут совсем без всего.

– Это что же, голенькая, что ли? – подхватил второй грузчик, продолжая толкать бочку вверх. – А ну-ка, дай я взгляну на тебя, может быть, чего новенького увижу. – И он громко рассмеялся.

– А ну вас, дураки... – только и успела сказать кладовщица.

Продолжая хохотать, грузчик на мгновение остановился. Тяжелая бочка неловко скользнула из его рук, провернулась на месте и с высоты кузова упала на цементный пол площадки и покатилась. Удар оказался настолько сильным, что пробку просто выбило, и наружу вырвалась струя дымящейся жидкости, а в носы людей, застывших в оцепенении у машины, ударил резкий, обжигающий запах хлора.

Кладовщица тонко визгнула и бросилась в кабину с криком:

– Заводи, поехали!

Дремавший за рулем шофер в мгновение ока завел машину и рванул с места. Грузчик, уронивший бочку, сам рухнул наземь и покатился вслед за бочкой, и если бы не его товарищ, лежать бы ему в самом центре дымящейся хлорной лавы. Подхватившись, оба грузчика бросились догонять машину.

Площадка шла с небольшим уклоном в сторону забора, где прилепилась собачья конура, приютившая Циклопа и Степку. Все случившееся на погрузочной площадке, а главное, растекающаяся дымящаяся жидкость и невыносимый резкий запах хлора так напугали собак, что они заметались в панике на узком пятачке перед конурой. Степка рванул было вслед за грузчиками, но, отбежав на несколько метров, вернулся к другу. Свобода передвижения сенбернара была ограничена длиной цепи. Он уже не раз пытался скинуть с себя ошейник, но тот только туже сдавливал горло великана, а из пасти пса большими хлопьями наземь падала пена. Видя бессилие своего большого друга, Степка вцепился зубами в толстую цепь, но его молодые неокрепшие зубы крошились, ломались от соприкосновения с железом, а его злое рычание перемежалось с залившимся истерическим лаем. Пятясь от охватывающей его полукругом хлорной пелены, Циклоп лаял что есть мочи, и в его громовой лай невольно вклинивались обреченные нотки.

Разбуженный криками грузчиков и лаем собак, из сторожки выскочил рыжий Кузьма, но, увидев стелящийся хлорный туман, резво бросился за здание склада. Не прав, ох не прав был рыжий Кузьма: по инструкции он должен был принять меры к спасению охранной собаки,

отстегнуть ее, сообщить о ЧП в дежурную часть и лишь потом спастись самому. Он бы успел спасти Циклопа и сам избежал бы ядовитых газов, но природа взяла свое, и он опрометью бросился наутек. Степка, заметив убегающего Кузьму, со злобным лаем бросился ему вслед, а догнав, кинулся в ноги. Это был поступок отчаяния – так маленький пес пытался образумить обезумевшего от страха человека и привести его на помощь другу, но человек оказался не на высоте. Быстро поднявшись на ноги, он лягнул наседавшую собаку и кинулся прочь. Отчаявшись дожидаться помощи, маленький пес в исступлении хватил его за лодыжку своими изломанными в схватке с цепью зубами, и столько в этом укусе было силы и злобы, что человек истошно взревел от боли и, прихрамывая, скрылся за углом.

Степку трясло как в лихорадке. Для друга он был готов на любой опасный и отчаянный шаг, но времени оставалось слишком мало. Он бросил взгляд туда, где остался Циклоп: клубы ядовито-желтого тумана, словно живые, роились на площадке, все больше и больше скрывая его от Степки. Его могучий друг уже не рвался, не лаял – он сидел молча, понутив голову, язык его выпал изо рта, а голова слабо подергивалась. И вот он... рухнул. Последним усилием воли он вытянул передние лапы, опустил на них свою лобастую голову и замер. Увидев это, Степка бросил последний отчаянный взгляд по сторонам: подмоги ждать было неоткуда, в этом страшном месте, кроме него и его умирающего друга, не было никого – и тогда он коротко взвыл, задрав вверх мордашку, и бросился в туман.

...Люди пришли, когда их помощь уже никому не была нужна. Сбив ядовитый туман мощными струями воды и выждав, когда ветер развеет остатки смертоносных паров, они в глухих комбинезонах и противогазах пришли на место трагедии. Недалеко от будки, на расстоянии длины цепи, в одинаковой позе навечно застыли две собаки. Одна – могучая, крутолобая, с густой и длинной шерстью, другая – худая, по-юношески неокрепшая, с короткой шерсткой, с торчащим кверху левым ухом, помеченным черной меткой. Их носы были придвинуты друг к другу, головы покоились на передних лапах, и первое, что могло

прийти в голову при взгляде на них: наигравшиеся и уставшие собаки выбрали удобное место и на минутку прилегли, чтобы отдышаться, набраться сил и потом продолжить свои веселые игры. Но сил уже не было, они не дышали, они были мертвы...

– Смотри, Николай, собаки, а как смерть приняли!

– Да, здоровяк-то на цепи был, ему некуда деться, а этот щеняти мог бы убежать, свободный был, ан нет, вишь как решил свою судьбу. Сам пришел умереть с другом! Это же Циклоп со своим дружкой, слышал я про их дружбу...

– Вот тебе и собаки! Людей бы таких побольше!

– Да-а... Схоронить бы их надо по-человечески: они заслужили это...

– И как-то все это переживет Степан Пушкирев?..

2002

Виктор Арнаут

ЛИТЕРАТУРНАЯ НИВА СЕРГЕЯ ПАВЛОВА

Путь в литературу у каждого писателя свой: кто-то сразу, едва ли не с первых зарифмованных строк и прозаических опытов мнит себя поэтом иль прозаиком, а кто-то и не мечтал о писательской стезе. Однако склонность к гуманитарным дисциплинам еще со школьной скамьи уже подспудно предрасполагает к потенциальному сочинительству. Тем более если такая склонность проявляется и в выборе будущей профессии – по крайней мере, в качестве филолога или учителя русского языка и литературы.

Так было и с Сергеем Михайловичем Павловым, поступившим через год после окончания школы в 1970 году в Кемеровский государственный педагогический институт на филологический факультет. Знакомство с мировой литературой через обязательные учебные курсы и факультативы, несомненно, явилось побудительным мотивом: а не попробовать ли и себя в качестве сочинителя?

Пробовал, конечно, написать небольшие рассказы. Даже на спор, анонимно. И как будто даже что-то получалось... Однако только сочинительством и в лучшие советские времена обеспечить себя и семью было практически невозможно. Вот и пришлось работать: немного в школе учителем, а после армии – журналистом в шахтовой многотиражке. Спускался и в шахту, когда надо было отразить рекордные показатели. И не только сторонним наблюдателем. Писал репортажи, очерки, статьи, зарисовки. Его печатали.

Поворот судьбы – и он уже сменил штатский костюм на милицескую форму. И вновь учеба, уже заочно, в Свердловском юридическом институте. И опять – среди прочего – работа журналистом: в МВД и прокуратуре Кемеровской области. К полученным знаниям по крупицам добавлялся опыт. И вот тут еще один подарок судьбы – доступ к засекреченным документам. А в них факты и биографии тысяч искалеченных человеческих жизней и судеб. Личные дела репрессированных в 1920–1940-х годах не могли не оставить горестных следов на сердце у честного офицера и впечатлительного журналиста. И из протокольных фактов биографий начинают вырисовываться содержательные очерки. Пока для себя.

А чуть позднее эти очерки стали печататься в районных, городских и областных газетах Кузбасса, Московской и Пермской областей. В 1997 году Сергея Михайловича Павлова приняли в Союз журналистов России. И за рассказ «Жизненное поле Николая Рюмина» он становится победителем конкурса на лучшее произведение о деятельности органов предварительного следствия системы МВД РФ – в номинации «Художественная литература».

С распадом СССР и в условиях мутной водицы первого этапа капитализации страны стало модным писать истории всевозможных организаций и предприятий. Вот и попадает Сергей в соавторы по написанию многостраничной ведомственной книги «Прокуратура Кемеровской области», изданной в 2000 году. Работая над этим заказным изданием, он продолжает собирать материалы для очерков и рассказов о политических репрессиях.

И тут как из рога изобилия подряд печатаются книги очерков: «Боль, прошедшая сквозь годы» (2000), «Наказание длиною в жизнь» (2002), «И наступит день...» (2003). Кстати, последняя из названных книг была посвящена репрессиям против православной церкви и напечатана по благословию архиепископа Кемеровского и Новокузнецкого Софрония. Чем еще примечательны очерки о политических репрессиях, так это тем, что Сергей Павлов не ограничивался только архивными документами из следственных дел. Он пытался отыскать следы репрессированных – через очевидцев, родственников, знакомых... Можно только представить реакцию тех разысканных родственников, ведь прежде и упоминать-то о репрессированных было небезопасно. И – искренние благодарности в адрес автора! Между прочим, за очерки о репрессированных священнослужителях подполковник в отставке С. М. Павлов был удостоен ордена Русской православной церкви имени князя Даниила Московского III степени, который вручал ему сам патриарх Алексий Второй.

Тема политических репрессий во всем многообразии и многоплановости нашла свое отражение в солидном книжном издании под названием «Кузбасская Голгофа», вышедшем в 2008 году. Эта книга едва ли не мгновенно стала настоящим бестселлером, не только разошлась по городам и весям Кузбасса и Сибири, но и разлетелась далеко за пределы России и даже евразийского континента.

Очерк как литературный жанр более всего пригоден для лаконичной журналистской публицистики. Его специфика не позволяла развернуться во всю мощь художественно. А очень хотелось и настоящей художественной прозы. И она появляется. Сначала в небольших рассказах, носящих юмористическую окраску. Курьезы всегда и везде сопутствуют нам. А если умело рассказать о них, то может получиться веселый анекдот или нравоучительная юмореска. И вскоре таких рассказов накопилось на небольшую книжечку – из милицейских будней – под названием «Мафиёза», которая была издана в 2002 году и переиздана в 2005-м.

Рубеж тысячелетий для Сергея Павлова явился рубежным и в его писательской биографии. В это время он начинает работать над собой

уже как над полноценным прозаиком. И немало способствует тому регулярное посещение кемеровской литературной студии «Притомье», руководил которой Сергей Донбай. На занятиях-семинарах Павлов выносит на общее обсуждение свои рукописные рассказы и даже повести. А это – миниатюры: «Из жизни окурков», «О звуках», «Психологический расчет», «Письмо ученой соседке», «Сюжет в стиле ню», «Незванный обед»; рассказы-«былинки»: «Магия русского слова», «Женский вопрос», «А был ли мальчик?» и другие. Особую заинтересованность и споры среди собратьев-студийцев при обсуждении вызвали его повести «Комплекс подмастерья» и «Родео Лехи Жеребцова». А в «Комплексе подмастерья» – «Притча о праведном богомазе», которую автор даже переделывал несколько раз, с учетом замечаний и пожеланий.

С этого времени Сергея Павлова начинают активно печатать в «Огнях Кузбасса». Так, уже в первом номере (тогда еще альманаха) за 2000 год напечатали два замечательных рассказа – «Из жизни окурков» и «Землячка». Они были иносказательно злободневны. В следующем, 2001 году журнал опубликовал повесть «Муха, или Короткие встречи» и рассказ «Охранник Кузьмич». Не заставили долго дожидаться печати повести «Родео Лехи Жеребцова» (2003) и «Комплекс подмастерья» (2005). Через год в журнале вышла и психологическая пьеса «Последняя жертва», переделанная из одноименной повести. Эта пьеса была даже принята к постановке в Кемеровском драмтеатре, но по каким-то причинам не появилась на сцене.

Совокупность написанных и опубликованных очерков, рассказов и повестей не замедлила закономерно перерасти в качество. Сергея Павлова в 2003 году принимают в Союз писателей России.

Самой же душещипательной вещью Сергея Михайловича, на мой взгляд, явилась повесть «Собачий Угол». Очень близко по тематике примыкают к ней рассказы «Белыш» и «Охранник Кузьмич». И если философская повесть «Комплекс подмастерья» поднимает нравственные вопросы настоящего творчества и творцов, то «Собачий Угол» посвящен экологии человеческой души – через отношение к живот-

ным и к самим себе! Написанные автором в это время повести увидели свет и в общей книге «Комплекс подмастерья», отлично изданной в 2005 году Кузбассвуиздатом.

Мне думается, что Сергей Павлов более всего раскрылся как писатель-прозаик именно в жанре повести. И как знать, сколько бы еще интереснейших и злободневных повестей вышло из-под его пера...

Видимо, в каждом думающем человеке рано или поздно просыпается интерес к своей родословной – так безжалостно выхолащиваемой системой нашего советского строя, которая под гребенку и по-манкуртски стирала и нашу память. Слава богу, настало время вспомнить и о своих родовых корнях. Вот и прозаик Павлов созрел для такого решения и воплощения его художественно – в жанре романа. Его интересуют родовые корни – пусть и не «тридевятого» колена, но хотя бы с дедов и прадедов. И приводит его писательский интерес, как и поэта Михаила Небогатова, в деревни центрального горняцкого Кузбасса – Урское, Горскино, Подкопенную, Брюханово, в города Гурьевск, Салаир, Белово... Там он встречается с оставшимися в живых родственниками, слушает и записывает семейные истории, предания, уводящие в середину XIX века. Видно, не случайно и один из основателей кузбасской краеведческой литературы Виталий Рехлов писал свои повести «Горные рекруты» и «Серебряный рудник» о тех же местах.

Однако, как известно, на пути от замыслов до реализации и воплощения их в художественной форме происходят порой изрядные метаморфозы. Так случилось и у Сергея Павлова. История семьи Кузнецовых (прообразом которой явились родственники писателя) – это лишь канва, пунктир – для многотомного романа. Подобно французскому классику Эмилю Золя (цикл романов «Ругон-Маккары») или англичанину Джону Голсуорси («Сага о Форсайтах»), первоначальный замысел Павлов трансформирует в широкое эпическое повествование – под общим названием «Кузбасская сага». И над этим романом-сагой писатель работает практически все оставшееся время – более пятнадцати лет. Могу с уверенностью утверждать, что по масштабности «Кузбасская сага» Сергея Павлова является едва ли не уникальным произведением, какое не создал ни один сибирский русский писатель. Мало того что

хронологически она охватывает более ста лет (семидесятые годы XIX века – девяностые двадцатого), создана в основном на местном материале – так она вписывается и в контексты всех знаковых событий этого периода нашей России (СССР) да затрагивает еще и международные отношения: Русско-турецкая война 1877–1878 годов, Русско-японская война (1904–1905), Гражданская война и интервенция (1918–1920), Вторая мировая война (1939–1945). И вот этот-то глобально-событийный фон подан автором «Саги» с особой тщательностью и достоверностью. Порой только диву даешься: откуда автор выискал то или иное историческое описание? И ведь безоговорочно веришь ему.

В историко-событийный фон органично вплетаются судьбы отдельных персонажей романа. «На изломах Крестьянского тракта» – так обозначил автор первую книгу своей пенталогии. А тракт этот и впрямь пролегал по Кузбассу, оставляя в недалекой стороне вышеупомянутые деревушки. «Луна, словно царский империял, висела в ночном небе над маленьким сибирским селцом Урским, надежно спрятанном от большого мира в глухой сибирской тайге. Желтый ореол от тумана, образовавшийся от ночного светила, говорил о том, что на землю пришла пора крещенских морозов...» – такую зримую картину рисует автор в самом начале романа. И чуть далее: «Село Урское, насчитывавшее в девяностые годы XIX века около полусотни подворий, широко раскинуло свои строения на покато́м берегу Ура. Словно оттолкнувшись от темной и плотной стены черневой тайги, оно спускалось к неширокой, но многоводной реке своими просторными огородами. Строились местные крестьяне основательно, вольготно, благое дело что власти не скупились при нарезке наделов – лишь бы земля не пустовала...»

Возвращаются на свою малую родину с турецкой войны герои повествования – прародители династии Кузнецовых и их односельчане. Вокруг судеб «расейских переселенцев» Андрея и Полины Кузнецовых, их детей – братьев Михаила, Федора, Гордея и сестры Малашки начинают разворачиваться драматические события. Тут есть всё: и тяжкий сельский труд, и почти каторжная работа на соседних железоделательных и плавильных заводах, и традиционные русские праздни-

ные гульбища с застольями, любовь и измены, рождение детей нового поколения...

Ох как верна народная мудрость, что жизнь прожить – не поле перейти! Это если касается одной жизни и одного поколения. А тут их, в романе-саге, по меньшей мере пять, а то и шесть... И какие только перекрестки и изломы не преподносит судьба своим героям! И проходят персонажи романа Сергея Павлова через все рубежные этапы нашей истории. Чего только стоят революции и Гражданская война, разводящие даже кровных братьев по разные стороны баррикад! А насколько драматична судьба Алены, побывавшей изначально замужем за обоими братьями – Федором и Гордеем?! А ее мытарства в нарымской ссылке после раскулачивания и выселения с нажитых мест?!

Уроженец описываемых мест, профессор-историк М. Е. Сорокин в послесловии ко второй книге пишет: «Всего-то десять лет разделяют действия обеих книг, а как заметно меняется жизнь героев. Если в первой книге они враждуют и дерутся только из-за девчонок, то во второй книге все чаще в их отношения врываются классовые мотивы... Читаешь заключительные строки второй книги романа, а под сердцем холодеет: как сложится судьба полюбившихся нам героев в грядущие лихие годы?» И надо отдать должное автору, тревожно-интригующие ожидания и непредсказуемость событий держат читателя в постоянном напряжении.

«Трагедия семьи – трагедия народа» – так обозначила свое послесловие к третьей книге саги «Хроника окаянного времени» доктор исторических наук Л. И. Гвоздкова. «Времена, о которых идет речь в третьей книге С. Павлова, поистине окаянные: революция, Гражданская война, коллективизация с последующим массовым выселением лучшей части русского крестьянства в северные необжитые районы... жизнь одного из таких поселков для спецпереселенцев в печально знаменитом Нарымском крае... Читая роман, ловишь себя на мысли, что все происходящее в романе касается тебя лично, будто его герои – твои друзья или родственники, и потому ты так глубоко сопереживаешь им, сочувствуешь и негодуешь вместе с ними, когда они сталкиваются с несправедливостью, алчностью и жестокостью людей...»

Четвертую книгу «Кузбасской саги» автор назвал «Иудин хлеб». Увы, не всегда и далеко не все грешные люди земли выдерживают испытания, предпосланные судьбой. Кто-то в силу обстоятельств ломается. Так случилось и с Федькой Кузнецовым – сыном Алены, так случилось и с внуком Алены Егоркой. Доцент-филолог Кемеровского университета И. В. Ащеулова в послесловии к четвертой книге «Саги» отмечает: «Судьба Егора становится символическим сюжетом, олицетворяющим тридцатые годы. Сколько людей попали в лагерь по доносам, по недоказанным наветам, из-за неосторожно сказанного слова, взгляда, поступка... “Иудин хлеб” мучает героя, не может принести ему покоя, а самым страшным наказанием становятся собственная совесть, больная душа, от которых нельзя скрыться...»

Поистине титанический труд Сергея Павлова над романом-сагой не остался незамеченным многочисленными читателями. Было и закономерное вознаграждение. В 2013 году писатель С. М. Павлов получил вполне заслуженную литературную награду, став лауреатом областной премии им. А. Н. Волошина. По мере написания журнальные варианты фрагментов «Саги» регулярно появляются на страницах «Огней Кузбасса».

Увы, здоровье не позволило писателю поставить последнюю точку в «Кузбасской саге» – романе-пенталогии. И, даже будучи неизлечимо и тяжело больным, он продолжал, пока хватало сил, работать над последней книгой – пока еще не изданной и незавершенной – под рабочим названием «Шахтерскому роду нет перевода».

Мне и его друзьям доводилось неоднократно слушать читанные вслух автором рукописные фрагменты этой саги. И мы где-то подсказывали, где-то критиковали слабые, на наш взгляд, места и неточности. Сергей внимал нашим замечаниям и, если соглашался с ними, непременно вносил коррективы в тексты. Я и сейчас перечитываю эту сагу про себя... его голосом, вижу его жесты и мимику.

Припоминаю, как он делился со мною и своими друзьями замыслами последней книги «Саги», события в которой должны были касаться уже и последних лет власти Советов, и перестройки с горняцкими забастовками, и постсоветского времени. И на страницах романа

наравне с вымышленными героями должны были появиться вполне реальные люди, вплоть до лидеров шахтерского движения и первого губернатора Кемеровской области... А еще мы обсуждали с ним, что неплохо бы в финале романа вернуться к самому его началу, точнее – к тому замечательному образу, где «луна, словно царский империял, висела в ночном небе над маленьким сибирским сельцом Урским». Кроме того, здесь же появлялся и волк с рваным ухом... И вырисовывалась в этих символах финала романа-эпопеи уже наша современная Россия, со всех сторон окруженная, будто стайей злобно-голодных, хотя и потрепанных, но наглых волков, недругами.

Как знать, куда бы вывела писателя его творческая фантазия, как знать...

И еще. Писатель Сергей Михайлович Павлов, помимо своего основного труда «Кузбасская сага», параллельно работал над несколькими публицистическими книгами, посвященными людям и организациям, широко известным в Кузбассе. Это: книга «Суховский меридиан» – о совхозе «Суховский» и его директоре Г. П. Левине, «Директорский корпус Кузбасса» – о знаменитом шахтере-руководителе А. И. Шундулиди и «Тисуль – родная сторона» – о Тисульском районе и его людях.

Виктор Арнаутов, Лидия Павлова

БИОГРАФИЯ СЕРГЕЯ ПАВЛОВА

Сергей Михайлович Павлов родился 14 июня 1952 года в городе Белово в шахтерской семье. Его родители, отец Михаил Григорьевич и мама Ирина Иосифовна, работали на шахте. Их сын о шахтерском труде знал не понаслышке, сам бывал в шахте, был хорошо знаком со многими шахтерами с разных беловских шахт.

После окончания средней школы № 27 в Новом Городке (Белово) поступил в Кемеровский педагогический институт на филологический факультет, который окончил в 1974 году. Будучи еще студентом, женился на своей однокурснице Лидии Васильевне, которую часто шутиливо

называл Музой Васильевной. В филологической семье родились двое сыновей, Александр (1974 г. р.) и Алексей (1984 г. р.).

До призыва на действительную военную службу Павлов работал учителем русского языка и литературы в общеобразовательной школе. Отработал всего год, но выпускники-десятиклассники были влюблены в него и благодарили, что он «влюбил» их в литературу.

В 1974–1975 годах проходил службу в рядах Советской армии механиком военной авиации. Отслужив, вернулся в родной город Белово, устроившись на шахту «Чертинская» редактором шахтовой многотиражной газеты «Голос шахтера», где проработал с 1975 по 1979 год. Когда на шахте «Чертинская» ставила рекорд знаменитая бригада А. Орловского, Сергей Павлов спустился в шахту. Упавший кусок породы словно бритвой отрезал полкозырька его каски, но он остался в забое. Он был уверен, что не имеет права журналист писать о том, чему сам не был очевидцем.

С 1979 года и до выхода на пенсию по выслуге лет в 1996 году (в звании подполковника) служил на разных должностях в органах МВД и прокуратуры Кемеровской области. В 1982 году заочно окончил Новосибирский филиал Свердловского государственного юридического института.

Очень неравнодушный, сильный, смелый человек, он был настоящим милиционером – в любой ситуации не раздумывая бросался на помощь всем, кто в ней нуждался. Однажды в Белове, возвращаясь поздно вечером из командировки, он увидел, как трое дюжих пьяных парней приставали к женщине, уже хотели вытащить ее из автобуса. Она просила о помощи, но все боялись заступиться за нее. Хотя в угаре пьяной храбрости молодчики оказали сопротивление, Павлову удалось утихомирить их и заставить водителя автобуса отвезти в милицию. В Кемерове восемь лет назад ночью во дворе его дома убивали мужчину. Дубинка свистела так, что слышно было на весь квартал. Не вышел никто. И только Сергей Павлов, выскочив из подъезда, спас человека и вызвал милицию. У него не было чувства страха.

Имеющий два высших образования, филологическое и юридическое, Сергей Михайлович Павлов во всех сферах деятельности был та-

лантлив. Во время работы в транспортной милиции ему поручали самые сложные уголовные дела с выездами в длительные командировки, в том числе в нынешние страны СНГ. Когда произошло землетрясение в Армении, его, как одного из лучших следователей, включили в состав всесоюзной следственной группы для работы в г. Спитаке.

К 1990-м годам, когда начал писать, жизненных впечатлений у него было предостаточно (работа в школе, газете, милиции, прокуратуре). Сначала писал очерки о сотрудниках милиции и прокуратуры, затем – о людях, пострадавших от политических репрессий. Способствовал реабилитации репрессированных и восстановлению их честных имен.

В 1997 году за многочисленные публикации в газетах и журналах был принят в Союз журналистов России. В 2003 году Сергей Павлов стал членом Союза писателей России. В первой половине 2000-х годов издано семь книг повестей, рассказов и очерков, в числе которых «Мафиёза», «Собачий Угол», «Комплекс подмастерья». В 2008 году вышла книга «Кузбасская Голгофа», кемеровский писатель стал лауреатом журнала «Огни Кузбасса», членом правления Союза писателей Кузбасса. Дважды (2008, 2011) ему присуждали премию «Энергия творчества».

И все-таки писательский талант был дан ему свыше. Он вдруг стал просыпаться по ночам, говоря: «Тише. Строчки бегут перед глазами, нужно успеть записать их, а то забуду», уходил в зал писать, а рано утром будил жену, чтобы прочитать написанное. Он никогда не «вымучивал» произведения, а просто садился и писал, когда приходило вдохновение, когда в его голове вдруг появлялись картины, эпизоды. Уже тогда было понятно, что совмещать писательское творчество с профессиональной деятельностью – это адский труд, а печатать книги – огромная проблема. На слова супруги: «Не изматывай себя, если можешь не писать – не пиши» – он ответил: «Не могу не писать: в моей голове столько всего роится, что, если я не буду все это выплескивать из себя, меня разорвет».

В июле 2004 года с группой писателей Кузбасса побывал на литературном празднике, посвященном 75-летию со дня рождения

В. М. Шукшина. В Сростках познакомился с В. Г. Распутиным и многими писателями Сибири.

С 2005 года приступил к написанию эпического романа «Кузбасская сага», четыре тома которого изданы в Кемерове отдельными книгами (2008, 2011, 2014, 2018). В 2013 году за первые две книги «Кузбасской саги» стал лауреатом областной литературной премии им. А. Н. Волошина. Чтобы художественно и исторически достоверно отобразить события и жизнь людей в двадцатом веке в Кузбассе, писатель работал в архивах, библиотеках, встречался с историками, оставшимися в живых очевидцами, посещал места, где все происходило, много читал – в его кабинете громоздились горы книг. Это был титанический труд.

Очень хотел, как и любой писатель, увидеть все свои произведения напечатанными не только в Кемерове, поэтому много времени тратил, созваниваясь с разными издательствами. Издатели советовали С. М. Павлову писать детективы о милиции, но этот жанр его не привлекал. Все же небольшая часть книг «Кузбасской саги» была приобретена у автора российско-американской фирмой для библиотек Сената и Конгресса США, королевских библиотек Великобритании и Швеции, а также для университетов в Стэнфорде, Йеле, Аризоне.

До самых последних дней, будучи уже тяжелобольным, работал над завершающей пенталогией книгой с условным названием «Шахтерскому роду нет переводу». Прототипом одного из главных героев этой книги – Виктора Егоровича Кузнецова – частично является сам автор. В День Победы, 9 мая, родился самый младший в семье Кузнецовых в «Саге» – Виктор Кузнецов, и 9 мая 2020 года ушел из жизни автор книги – Сергей Михайлович Павлов. Вот такое совпадение...

С 2000 по 2020 год печатался в отечественных и зарубежных литературных журналах: «Огни Кузбасса», «Красная Горка» (Кемерово), «Жеглов и Шарапов», «Наш современник» (Москва), «Русский Собор» (Санкт-Петербург), «Южная звезда» (Ставрополь), «Литературный меридиан» (Арсеньев), «Пенаты» (Германия), «Новый Свет» (Канада).

9 мая 2020 года Сергей Павлов скончался после тяжелой продолжительной болезни. Похоронен на Центральном кладбище № 5 (квартал 1Д, ряд 3) города Кемерово. За литературные заслуги перед православной церковью награжден медалями «15 лет Кемеровской и Новокузнецкой епархии» (2008), «За служение церкви в Кузбассе» (2012), также награжден областной медалью «За веру и добро», ведомственными медалями (МВД и прокуратуры).

Планов, задумок у него было много (разработал проекты журналов «Вестник культуры Кузбасса», «Имя твое», вносил предложения об организации на телевидении передач о культуре). Остались неоконченными рукописи еще двух романов и статей.

Книги Сергея Михайловича Павлова:

Боль, прошедшая сквозь годы / В. В. Симученков, С. М. Павлов ; Кемеровская область. Прокуратура. – Кемерово : Кемеровский полиграфкомбинат, 2000. – 156 с.

Наказание длиною в жизнь : очерки о политических репрессиях. – Кемерово : Сибирский писатель, 2002. – 136 с.

Мафиёза : повесть, рассказы о милиции. – Кемерово : Сибирский писатель, 2002. – 100 с.

Собачий Угол : повесть и рассказы о животных. – Кемерово : Сибирский писатель, 2002. – 80 с.

И наступит день... : очерки о политических репрессиях против церкви. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2003. – 121 с.

Мафиёза : очерки, рассказы и повесть о милиции. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2005. – 143 с.

Комплекс подмастерья : повести и рассказы. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2005. – 317 с.

Суховский меридиан. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2007. – 127 с.

Кузбасская Голгофа : очерки о политических репрессиях. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2008. – 368 с. : ил., портр.

Кузбасская сага. На изломах Крестьянского тракта : роман : кн. 1. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2008. – 484 с.

Директорский корпус Кузбасса : А. И. Шундулиди : биографический очерк. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2008. – 200 с.

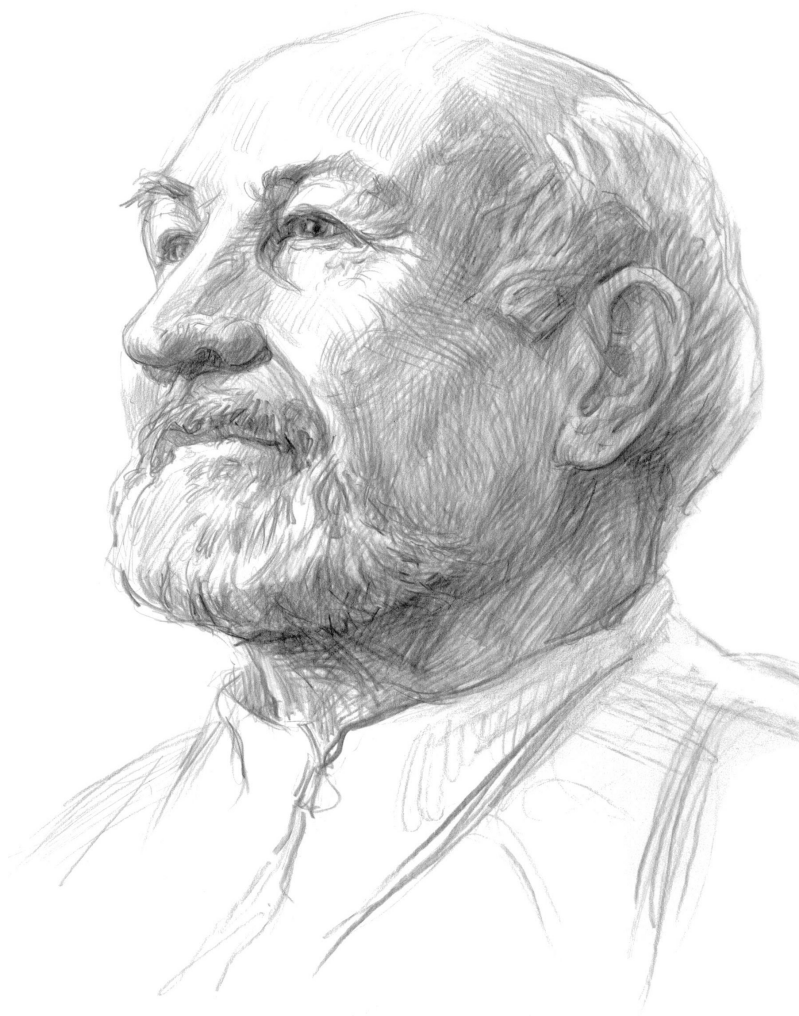
Кузбасская сага. Пленники Маньчжурии : роман : кн. 2. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2011. – 469 с.

Жизнеописания кузбасских святых : сборник / авт.-сост. В. Л. Лаврина, С. М. Павлов. – Кемерово : Медиа-Центр Глагол, 2013. – 254 с.

Кузбасская сага. Хроника окаянного времени : роман : кн. 3. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2014. – 478 с.

Тисуль – родная сторона / ред.-сост. С. М. Павлов, авт. проекта С. М. Тарасов. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2016. – 160 с.

Кузбасская сага. Иудин хлеб : роман : кн. 4. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2018. – 401 с.



Владимир Андреевич Переводчиков

31 июля 1935 г., с. Нижний Калгукан, Читинская обл. –

11 октября 2020 г., Кемерово.

Прозаик, поэт. Член Союза писателей России с 1995 года.

ЗЕЛЕННЫЕ КОШКИ

(отрывок из романа)

Книга вторая

Глава вторая

2

Шесть сынов и муж пали на войне у Серафимы Егоровны Быковой. До Победы дожил лишь младший. В конце мая мать получила письмо: «Скоро ворочусь домой, подыскивай себе невестку». Бабка заполошилась. У ее бравого сына Петюшки вроде дивно было сухарниц*, да все, на ее взгляд, пустоцветы. Есть две, о которых можно и подумать. Сонька Чагина – баская девка, круглолица, синеглаза, походка мягкая, небось, усладистая – Петюшке, боле никому не пара. Да была нужда с Извеком родниться...

Улька Сажина. И не самая красивая, да фигуристая, ростистая. Чем-то на Быльчиху в молодости пошибает. А как идет – ровно всех своим видом угощает, голову высоко держит. И домовита, и... палец в рот не клади – Улька, больше никто!

Принарядилась Быльчиха, в гости к Сажиным наладилась. Подходя к их дому, услышала девичий беспечный смех и мужской басовитый голос. Незнакомый парень – из-под кепки почти рыжие кудри – стоит, опершись задом на велосипед. Рядом Ульяна в цветастом платке, покачивает плотным телом, заливается над рассказными парня.

– А дома-то у меня «Харлей» – лучше мотоцикла не сыскать. Сядешь, выедешь за рудник и забурдучишь под девяносто километров, только кустики мелькают.

«Я тебе забурдучу – пятки засверкают», – решила бабка. Хвать из забора чашину и – ни слова ни полслова – бац кавалера по спине. Палка переломилась. Тот отскочил, велосипед упал.

* Сухарница – подружка. – Прим. ред.

– Ты что, взбесилась, кряхтунья?!

И получил по шее. На новый ее замах развернулся и прочь от «сумасшедшей»: «Погоди, найдем управу!» Вдогон ему полетел обломок чащины. Старушка стала приплясывать на колесе велосипеда.

Ополовинив спицы, она плюнула на хлам:

– Кто этот прохиндей?

– Родня председателя сельсовета, – давясь от смеха над улепетывающим верзилой, еле выговорила Ульяна.

– Ну и хрен с ём, что родня. Идем-ка, чего скажу... – тяжело дыша, позвала бабка.

Она усадила Ульяну за стол, подала стряпню, налила чаю. Потом, развязав чистенький платок, вынула письмо:

– Почитай-ка вслух.

Ульяна прочла. Бабка поставила перед ней шкатулку, что хранилась от постороннего глаза в сундуке, вынула яшмовую брошку, приколола девушке на кофточку. Достала красные бусы.

– Глянется манеечка?

– Ой какая!

– Мне тоже глянулася.

Былчиха тронула концы платка на подбородке. Этот жест – знак ее молодости – получился исподволь. Ульяна не знала, что когда-то на вечерках, где зеркала – редкость, девушки таким манером сообщали друг дружке: «У тебя все в порядке».

– Это все тебе. – Со вздохом облегчения бабка словно передала груз вековой бабьей доли.

– Да зачем, да за что? – только и повторяла Ульяна.

– Эвот тебе шелку маленько на кофту, давно лежит, – оставив без внимания Улькины слова, суетилась бабка. – Важный, теперь такого нету. Шерсти на юбку. Кусок молескину, но его можно на пояс. А эвот готово платье мое, тебе впору. Придет Петюшка – шток у меня!.. – Будущая свекровь погрозила пальцем.

Пораженная Ульяна отказывалась, но не так чтоб уж очень. Люб ей был Петро, Быльчихин младшой. И целовалась с ним, и в армию провожать пришла, хоть и последнее время в размовке были из-за

Соньки Чагиной, которую тот проводил после кино и просидел с ней до третьих петухов. Улька тот раз ездила в гости к тетке. А когда вернулась – молва огрела ее по сердцу. И прошла Ульяна гордо мимо Петра, не повернулась и на его привет и не дала ответа на вопрос. Петро тоже вскинул голову. На проводинах только единственным взглядом – другими не замеченные – застыли друг перед дружкой. Получила Уля и письмо от Петра, да не дала ответа, ибо не знала, что там написано: сожрала печь нераскрытый треугольник, и улетели слова Петра в трубу и навеки остались для Ульяны тайной.

– Ой, забыла! – Быльчиха махнула рукой. – Примерь сережки.

Она достала золотые серьги, легонько дотронулась ими до своей щеки, для чего-то лизнула их языком. И скрипнула сухая грудь о давнишнем, когда в лютый буран бежала она, раскаленная загородьем, хоронясь людей, туда, где ждал ее лихой казак – будущий отец ее семи сынов. И против воли приемных родителей повенчалась она с тем казак и прожила в Стрижах всю остальную жизнь. Ушел на тот свет казак, ушли в чужие края и канули там все сыны. В живых остался один – ее надежда и опора в старости. Пойдут внуки. От Ульяны Сажинной... от Ульяны Быковой и Петюшки. Петровичи пойдут.

– У меня, бабушка, и дырок в ушах нет.

– Чего проще... Я те мигом просадою. Давай.

– Нет, бабулька, после, – отстранилась Ульяна.

– Каво опосле? Теперь, – решительно настаивала бабка. – У меня мыльце эвот хорошее и шильце. А дырка да капля крови потом удвольственностью окупятся. Что за баба без дырки в ушах... – Проколов мочки ушей, бабка вдернула в них шелковые нитки: – Пофорси малехо в этих, а потом вденем настоящие. – Она снова лизнула серьги и завернула в кумачовую тряпичку. – Скажи-ка, Ульяна, с кем ты третьеводни колотила языком подле клуба, что-то я его сослепу не признала?

– С Пашкой Федотовым.

– Пашку бы признала. А не с избачом?

– Нет, с Гошкой. У клуба?.. С Котькой, кажется. Забыла.

– Но и ладно. Петюшка мой глянется?.. Молчишь. Глянется! – радостно погрозила пальцем старушка. Сморщив с горбинкой нос, растянув впалые губы в улыбку, приказала: – Жди. Славнее жениха нет.

Проводив Ульяну, старушка, взяв ременную плетку, пошла к Федотовым.

– Гурьевна, а где у те Павел-то?

– Где ж ему быть, на бригаде. А пошто он тебе?

– За делом. Приедет – пусть меня попроведает. Ладно, пойду Гошку Осокина повидать...

– Гоша, – ласково позвала Быльчиха, поздоровавшись с его матерью, – выдь на улку на момент, дело есть.

Гошка встал с колен: он чинил мышеловку, мать в это время штопала его рубаху. Хотел на голое тело накинуть тужурку.

– Не пузырись с визиткой-то, – остановила его Быльчиха, – этак-то еще лучше, делов-то, не успеешь моргнуть.

Гошка вслед за ней вышел на крыльцо:

– Ну че?

– Гоша, – старушка прикинулась лисонькой, – за чужими невестами грех ухаживать, Бог накажет. Вот тебе привет от него.

Она трижды потягом стегнула парня. Тот взревел. На крик выскочили мать и сестра Груша.

– Што стряслось?

– Плеткой я маленько попотчевала, – грозя улепетывающему в огород верзиле, сказала возмездница.

– Опять че-нить нагрезил? – горестно сморщилась Гошкина мать.

– Он знает... за что. Ну, заходи, кума, на чай.

Старушка настроилась к Котьке Шилобокову.

– Откуда эта ведьма узнала, что я учительскую дочку под мост заманил? – потирая саднящие бицепсы, недоумевал Гошка.

Назавтра к вечеру пришел к Быльчихе Пашка Федотов:

– Пошто звала, бабуленция?

– Присядь эвот на ящик к верстаку, поклуй льняных семечков.

Веревкой завязала калитку, сходила в сени. Руки за спиной.

– Пашенька, – начала вкрадливо, – ты парень умный, видный из себя, почти што мой Петюшка... Дай слово, бравенький, что больше за чужими краями ухлестывать не станешь.

– Ты что, за какими краями, бабка? – усмехался Павел.

– Ты слово дашь? – сощурила карие с синим налетом глаза. – Дай зарок, и с тебя взятки гладки. С другими я другим языком калякаю, долгим, жидким, а ты сообразительный. Ну, что зенки выпучил?

– Я тебя не пойму, Егоровна. Загадки не загадывай.

– Ыгы-ы-ы... Недогадливый стал. – Серафима вынула из-за спины плетку, стала постукивать ею по верстаку.

Павел настороженно встал, хотя и не верил, что Быльчиха пустит в ход «конскую скорость».

– Егоровна, хоть объясни, чего хочешь? – мирно попросил он.

– Последний раз спрашиваю, – не слушая, настаивала бабка, – конкретно: будешь ухлестывать за чужими невестами, жеребец?

– Я не ухлестываю, – повысил голос Павел.

– Нет?.. Эвот тебе аванец, получка за мной. – Старушка ожгнула Павла.

Тот, захохотав, отскочил в сторону.

– Вот дура, – вырвалось у него.

– Ах, дура?! Мало показалось?

Широко разбрасывая ноги, она погналась за Павлом. Тот рванул калитку – не тут-то было.

Он стал давать круги по ограде, как лошадь на аркане. Больше всего самолюбию Павлу было видеть, как со стороны глазают зеваки. Юмористы – они, еще когда он шел к Быльчихе, знали, за каким «расчетом»... Замычав, он шарахнулся на забор. Отчаянная старуха оттянула его штаны и на прощание добавила позорный шлепок.

– Заходи, Паша, трафится путь дак, поклевать семечков, но всем жеребчикам растолкуй: Ульяна Сажина ждет жениха!

...Обороняла она свою будущую невестку до той поры, пока в конце сентября не пришло извещение: «Пал смертью храбрых».

Ивану памятен день, и по сию пору в памяти стоит тот взгляд Быльчихи. Прежде чем появилась она из-за соседского дома, услышал:

– Петюшку моего убили, ироды! Петюшку убили. У-у-у. У-у-убили. Петюшку, кровинушку мою последнюю...

Ивану еще не доводилось видеть такого страшного взгляда. Сколько в нем было безысходности и ненависти ко всему. Старая мать шла

прямо, и казалось: танк, увидя этот взгляд, посторонился бы, не слушая водителя.

Вскинув кулаки и вперив глаза в бездонный купол, она взвыла и грозила:

– Где Ты, Бог? Потатчик извергам, не верю Тебе. Как я просила о моем заскребыше, о Петюшке моем! Ты не мог не услышать, если Ты есть. Восемь душ... Всех подчистую. А теперь и схоронить меня некому-у-у...

1992

Евгений Чириков

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ ПЕРЕВОДЧИКОВА

Понятие «магический реализм» достаточно широко, чтобы вместить в себя художественную прозу Владимира Переводчикова, по крайней мере как разновидность этого творческого метода. Разумеется, речь идет не об игре слов, а о самом настоящем соответствии латиноамериканским архетипам. И еще одно уточнение: если роман «Колдунья Азея» на самых законных основаниях вписывается в рамки литературной магии, то применительно к романам «Зеленые кошки» и «Кукушата», где почти нет элементов фантастики, опорой для вступительного утверждения станут как сверхнеобычные случайности, на которых строятся сюжетные линии, так и гротескность и, главное, характерная трактовка темы народа, о чем поясню ниже.

С юных лет и до конца жизни Переводчиков следовал своему кредо: удивлять. Способность удивляться он высоко ценил и в других людях. И естественно, что в прозе он искал то, чем можно удивить читателя. Колдуньи Трифела и ее ученица Азея много чего умеют – и лечить людей, и заглядывать в их души, предвидеть будущее. Но самое эффектное: они летают как птицы. Не так, как другие колдуны.

Переводчиков не первый, кто обратился к теме колдовства. Но он разработал ее с прямо-таки монографической обстоятельностью. Дей-

ствия Азеи описаны так подробно, словно принадлежат не вымыслу, а самой обыденной реальности. Здесь мало места, чтобы дать более или менее полный анализ ее образа, но можно отметить хотя бы такую особенность, как сочетание колдовства с христианством, что с точки зрения ортодоксальной веры, конечно, немыслимо. Но в народном понимании (или непонимании) этому не придается никакого значения.

В социально-философском отношении Переводчиков традиционно ориентируется на добро, но главная новизна его творчества заключается в трактовке народа. В данном аспекте можно усмотреть традиции сибирского романа и В. Шишкова с его усмешливостью, но, безусловно, главенствуют личные житейские впечатления самого Переводчикова, его огромный арсенал знания людей. Он показывает множество народных типажей. И едва ли не все они проходят через горнило Эроса (вспомнив Г. Маркеса, согласимся, что и у него, главного «магреалиста», никак без этого). Даже сама Азея, которой суждено хранить пожизненное целомудрие, не избежала конфронтации с любовью.

Роман «Зеленые кошки» построен на интриге настолько же пикантной, насколько и трагичной: контакт сорокалетней женщины с пятнадцатилетним подростком – рождение двойни – мать сходит с ума (галлюцинирует кошками). Начало романа и обстоятельства встречи юного Василия Карнаухова с Ганной Сероглазовой написаны с удивительным мастерством и деликатностью, исключающей пошлые акценты. В конечном счете писатель остался верен стандартным человеческим ценностям – семье и детям. Муж Ганны, Иван Сероглазов, уходит к любовнице, но безоговорочно возвращается в семью, как только видит осуждение со стороны детей.

«Зеленые кошки» объединяются с романом «Кукушата» в дилогию. Тот самый Карнаухов становится директором детского дома, а милиционер Чуманов, лишь намеченный в «Зеленых кошках», занимает теперь большое место как главный злодей. У него обильные связи как с замужними, так и с незамужними послевоенными женщинами, и цинизма ему не занимать. Но, пожалуй, противоборству с ним Карнаухова и его товарищей посвящено слишком много страниц, что превра-

щает психологический драматизм в авантюрное действие с длинным сюжетным крюком.

Вообще романы В. Переводчикова нельзя назвать чеканно-стройными по композиции, кое-где они перегружены побочными историями, что, конечно, утяжеляет читательское восприятие. Но язык этой сочной прозы красочен за счет приаргунского диалекта, без которого она, собственно, и не состоялась бы. Персонажи романов «возгудают песни», говорят: «Каво ты украл ли че ли?», упоминают о «сухарниках» и «сухарницах»... В «Азее» просто поразительны сцены дореволюционной сибирской деревни, словно подсмотренные автором лично, так натурально они передают и краски толпы, и речи, и внутренние побуждения людей. И подобных сцен немало.

Основной прием повествования Переводчикова – маленькие истории-новеллы, из которых сплетается общее действие, вырисовываются характеры персонажей. Действие «Азеи» построено полифонично (испытанный прием современной романистики), с углублениями в прошлые века и с пересечениями (контрапунктами) линий следователя Венцова и колдуньи. Эти контрапункты могли бы нести известную остроту, будь следователь зол. Но он вполне добропорядочен (а также зауряден), и его общение с необыкновенной старушкой проходит в мирных тонах. Так именно было задумано автором, а почему, теперь уже не у кого спросить...

Юность писателя прошла в сталинское время, а позже он много читал о Ежове и Берии. Действие «Зеленых кошек» и «Кукушат» падает на военные и первые послевоенные годы. Основные события «Колдуньи Азеи» приходятся на послесталинский период, когда следователи «подобрили». Возможно, это самое простое объяснение избрания в герои лиричного Венцова, влюбленного в актрису Софью.

Последний рассказ В. Переводчикова называется «Ушной таракан». В нем весь принцип его творчества как на ладони. И народная стихия, заставляющая улыбнуться бестолково-анархическим проявлениям, и приаргунская речь, и гротескность ситуаций, и элементы фантастики, и безысходность любовных тупиков. По этой линии один геолог покоряет сердце и тело хорошей женщины, а работающий муж пьет горькую,

страдает – и плюс к тому есть страдающие детки. Но развязка рассказа удивительна: муж взлетает в небо над построенным им домом и удаляется прочь в солнечной выси. Конечно, в наше сверхразвитое время трудно удивить читателя самым фактом полета. Однако суть удивления в другом – в психологическом развязывании безнадежно-пошлого конфликта. Есть ли в этом полете символ? Возможно, символ чудесного? Так или иначе, автор подводит читателя к эвристическому катарсису веры в чудесное, которое только одно и спасительно для всех нас.

Евгений Чириков

БИОГРАФИЯ ВЛАДИМИРА ПЕРЕВОДЧИКОВА

«Установочные данные» Владимира Андреевича Переводчикова можно свести к следующему. Родился 31 июля 1935 года в селе Нижний Калгукан Калганского района Читинской области. В 1961 году окончил Государственный заочный народный университет искусств при Центральном Доме народного творчества им. Н. К. Крупской в Москве, а в 1967 году – Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. В 1961-м начал выступать на эстраде с фокусами, конферансом и клоунадой. Работал в Читинской, Красноярской, Кемеровской филармониях. Выступал с большими концертными программами «Я работаю волшебником», «Гирлянда чудес», «Не может быть», «Утро веселых чудес». Заслуженный артист РСФСР (1985).

С 1960 года стал публиковаться в газетах. С 1986-го – член Союза журналистов СССР. Публиковался в журналах «Огни Кузбасса», «Сибирские огни», «День и ночь», «Енисей». Журналист, поэт, публицист, прозаик (автор романов «Зеленые кошки», «Колдунья Азая», «Кукушата»). С 1995 года – член Союза писателей России.

За этой справкой скрывается большая, страстная жизнь, насыщенная творчеством. В полтора года ребенок потерял отца, арестованного НКВД по доносу соседа. Мальчик висел на волоске от смерти в лихолетье голода военных и послевоенных лет. Учился в школе, рос вместе с деревенской пацанвой в уличных играх.

Приехавший в Нижний Калгукан фокусник Лев Уразов навсегда захватил воображение 12-летнего Володи. С концерта он шел под чарами нереальности, полной тайн и чудес. «Я посвятил свою жизнь поиску всего удивительного, избрал профессию фокусника», – написал В. Переводчиков в автобиографической книге «Не поле перейти». Еще одно событие, на этот раз трагическое, привело впечатлительного подростка в состояние длительного шока – когда повесилась родственница Лида, брошенная женихом.

С девяти лет в сенокосную страду Володя работал на колхозной лошади. После окончания школы-семилетки его отпустили из колхоза, и он перебрался в соседний поселок Кличка, где жил в семье старшей сестры и продолжал учиться. Ходил в драмкружок, в клубе читал стихи, играл в сценках, показывал освоенные фокусы. Работал на заправке машин горючим, возил хлеб и развозил по поселку дрова. Затем устроился рабочим на буровую вышку ГРП (геолого-разведочной партии).

Некоторое время Переводчиков был художественным руководителем клуба «Горняк» в Кличке. Получив профессиональное эстрадное образование, он стал одним из ведущих артистов Читинской филармонии. Из-за ущемления концертной деятельности со стороны администрации Владимир перевелся в Красноярскую филармонию. Там история повторилась на фоне возраставшей зависти к талантливому и энергичному маэстро-фокуснику (к тому же и чревовещателю, и гипнотизеру). Звонок из Кемерова разрешил ситуацию в пользу города, из которого Переводчиков больше никуда не захотел перебираться, несмотря на обретенную известность и предложения из Москвы и Ленинграда. Кемеровская филармония оказалась для него самым комфортным местом работы.

В иллюзионном искусстве В. Переводчиков добился выдающихся успехов. Он объездил более 70 стран мира. Переводчиков стал лауреатом ряда российских и международных конкурсов иллюзионистов. Вершина его достижений – триумфальная победа в конкурсе, имеющем статус мирового, который проходил в 1991 году в Балтиморе (США). Сын Переводчикова Владимир Владимирович, живущий

ныне в Москве, перенял от отца профессию фокусника-иллюзиониста и также известен значительными успехами.

Как литератор Переводчиков-старший прошел путь достаточно тернистый. С юных лет он чувствовал в себе склонность к художественному слову. Писал стихи, поначалу пустяковые, на уровне частушек. Постепенно, ближе к склону лет, вырос в серьезного поэта, ощущавшего болевые нюансы бытия.

Первую прозаическую книгу – повесть «Я работаю волшебником» – издал в Иркутске в 1978 году. Но по-настоящему его литературная жизнь развернулась в начале 1990-х, когда пала кастовая замкнутость советского литературного процесса и пробиваться с публикациями стало легче. Как-то он принес рукопись романа «Зеленые кошки» в Кемеровское отделение Союза писателей. Через месяц ему выдали две рецензии-«похоронки». Рецензентам не понравился приаргунский диалект, далекий от правильного литературного языка. Благодаря москвичке Людмиле Ким, принимавшей самое деятельное участие в судьбе писателя, роман начал гулять по столичным редакциям, но по-прежнему без успеха, пока совершенно случайно не попался на глаза известному кинорежиссеру Семену Арановичу, который увлеченно читался в строки рукописи... В итоге книга вышла в издательстве «Художественная литература» в 1993 году.

К сожалению, три рукописи романов сгорело при пожаре в кемеровской квартире писателя. Один из них, наверное самый главный роман Переводчикова, «Колдунья Азeya», впоследствии удалось восстановить. Он публиковался в журнале «Огни Кузбасса» и отдельной книгой (2011). Через год был издан роман «Кукушата», завершивший романный цикл со специфическим забайкальским народным колоритом. Последний рассказ В. Переводчикова «Ушной таракан», написанный в подобном же приаргунском ключе, появился на страницах «Огней Кузбасса» в 2017 году (№ 6).

Касаясь биографии Переводчикова, нельзя обойти вниманием и тот глубокий интерес, который он питал к экстрасенсорной проблематике, тем более что она наложила отпечаток и на его произведения (непосредственно в этом аспекте можно воспринимать «Колдунью

Азею»). В небольшой книжке «Дверь открывается в обе стороны (записки экстрасенса)», изданной в 1995 году, Переводчиков раскрывает свой личный экстрасенсорный опыт, размышляет о загадочных случаях окружающего мира. Любопытен его очерк о Вольфе Мессинге (Огни Кузбасса. 2013. № 1). С хладнокровием специалиста он совершенно развеивает тот туман таинственности, который с 1930-х годов окружал Мессинга усилиями авторов, любящих создавать легенды.

Мать писателя обладала всеми данными целительницы-знахарки и в своей деревне считалась даже «колдовкой». Сын унаследовал биополе матери и успешно лечил людей от серьезных заболеваний. В круг его общения входили Джуна, Аллан Чумак, ученица Ванги Людмила Ким... Надо сказать, что Владимир Андреевич, будучи сам звездной фигурой, хотя и скромным, искренним человеком, водил знакомства со множеством знаменитостей артистического мира. В их числе (список можно продолжать долго) Иосиф Кобзон, Евгений Леонов, Виталий и Юрий Соломины, Николай Караченцов, Анатолий Папанов, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Юрий Никулин... Владимир Переводчиков снимался в документальном кино и на телевидении: это цикл передач «Однажды осенью» (1984), телефильм «Школа волшебников» (1981), документальный фильм «Магия черная и белая» (1991) и др.

Умер 11 октября 2020 года. Похоронен в Кемерове.

Книги Владимира Андреевича Переводчикова:

Я работаю волшебником : автобиографическая повесть : для среднего и старшего школьного возраста. – Иркутск : Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1978. – 187 с. : ил.

Кудесия. Советы начинающему чародею. – Кемерово : Современная отечественная книга, 1993. – 32 с.

Несуразное : стихи. – Кемерово : Сибирский родник, 1993. – 87 с.

Зеленые кошки : роман. – Москва : Художественная литература, 1993. – 350 с.

Дверь открывается в обе стороны : записки экстрасенса. – Кемерово : Современная отечественная книга, 1995. – 205 с.

Взгляд из-под руки : стихи. – Кемерово : Сибирский писатель, 2001. – 183 с. : портр.

Представление у подножия Фудзиямы. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2003. – 223 с. : цв. ил.

Веретёшко : сказка. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2006. – 40 с. : цв. ил.

Пройти сквозь стену : записки бродячего фокусника. – Кемерово : Офсет, 2008. – 402 с. : ил.

Дверь открывается в обе стороны : рассказы. – 2-е изд., доп. – Кемерово : Офсет, 2008. – 204 с.

Азея : даурский роман / предисл. А. Коваленко. – Кемерово : Медицина и просвещение, 2011. – 348 с. : ил.

Кукушата : роман. – Кемерово : Азия-Принт, 2012. – 211 с.

Не поле перейти : эссе. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2018. – 355 с.



Виль Григорьевич Рудин

*25 мая 1925 г., Очаков – 3 июня 1997 г., Кемерово.
Прозаик, журналист. Член Союза писателей СССР
с 1982 года.*

ЗАЖМИ СЕРДЦЕ В КУЛАК!

(главы из повести)

Часть вторая

Глава первая

«...Ваши доводы, Юркин, учтет военный трибунал!»

Это были последние слова майора из контрразведки.

«...Учтет ваши доводы...»

А что учитывать, если для всех ты – изменник Родины. А трибунал завтра. Впереди лишь ночь.

Ночь...

Всхрапывает сосед на нарах в углу, совсем молоденький лейтенант. Его привезли сегодня в обед. Чистил пистолет и случайно ранил солдата из своего взвода. Мучается, хоть и молчит. Солдата жалеет, о себе не думает.

Где-то гроыхнули орудия. На слух – стодвадцатидвухмиллиметровки. Наши... Протарахтел штабной мотоцикл – по стене камеры скользнул свет фары.

Из темноты выплыло родное лицо Лайне. Белокурые волосы прихвачены черным простеньким гребнем. Какие они мягкие, волнистые... И вечная тревога в серых глазах – тревога и боль.

Лайне... А по-русски – волна.

Разве мог он подумать, что так сложится, что в огненном этом водовороте встретит ее, единственную и неповторимую?

Лайне он не сразу заметил – она появилась в школе в конце 1943 года, а он приехал в Таллин на два месяца раньше. Всегда в работе: мыла полы, стирала пыль, надраивала до солнечного сияния медные дверные ручки. Все молча, не поднимая головы, не отрывая глаз от пола. Когда спас ее из рук немецкого прихвостня, она, закрыв лицо руками, выбежала из конюшни. Тоже молча. Лишь в дверях обернулась – взгляд ее, горячий, благодарный, прожег до сердца. На другой день увидела в коридоре: «Данке, герр обер-лейтенант, данке фильмальс!» При встрече

улыбалась благодарно, потом и разговаривать стала. А однажды Юркин поймал себя на мысли, что ждет, с нетерпением ждет прихода этой курносой белокурой эстонки с серыми, всепонимающими глазами. А потом любовь захватила их...

Лайне, глядя в его глаза, часто говорила: «Ты не такой, как все! Ты добрый! Ты не уедешь к своим саксланэ*, когда война кончится? Правда не уедешь?» Нет, Лайне, я никогда не уеду, никогда...

«Трибунал учтет ваши доводы...» «Советские люди каждый день в боях головы кладут, а вы у немцев два года чем занимались?» Не поверят. Не поверят ни одному слову. Сидя в камере, ничего не докажешь.

Там, у немцев, он часто слышал и сам не менее часто повторял курсантам: «Перебросят за линию фронта – не вздумайте идти с повинной! В НКВД не верят никому. Вас расстреляют после первого же допроса, а семью сошлют в Сибирь!» Говорить иначе Юркин не мог: вокруг были сотни глаз. Но упрямо все два года пробивался к заветной цели – к своим. И вот оказался в подвале, за решеткой. А утром – трибунал.

А может, в его жизни произошла непоправимая ошибка? Может быть, нужно было просто самому вовремя оборвать ее? Тогда никто бы не считал его предателем, как сейчас. Он был бы один из тысяч, погибших достойно... Юркину представилась вся его короткая и полная превратностей жизнь.

...Весна сорокового года. Ожидание выпускных экзаменов в училище, предвкушение заветных черных петлиц с золотистой окантовкой и двумя рубиновыми лейтенантскими кубиками. На стене их спальни висел лист ватмана в виде шинельной, как ромб, петлицы, и взводный заводила, Колька Жук, каждое утро за полчаса до пробудки вставлял в окошечко новую цифру: «До экзаменов осталось 47... 38... 27... 10 дней».

Потом было все, что положено выпускнику, и Юркин получил сполна свою долю.

Был торжественный парад на училищном плацу – при развернутом знамени, под гулкую барабанную дробь, когда мощно и четко печата-

* Так эстонцы зовут немцев.

ются сотни ног в ровный асфальт, когда слитный строй – единое целое и горит душа от восторга.

Был великолепный бал, и духовой оркестр гремел медью, и беззаботно смеялись девушки из пединститута, а ребята были все какими-то необычными в новенькой комсоставской форме и в скрипучих портупелях...

Потом пришло назначение, и Юркина послали в недавно воссоединенную Прибалтику, в чистую, уютную, словно вымытую Либаву, и здесь он впервые испытал ошеломляющее чувство ответственности – не за себя, за других. За восемь душ и орудие.

Предвоенной армейской жизни на долю Юркина досталось всего десять месяцев. Потом грянула война.

До смертного часа не забыть тупое отчаяние ее первых дней, когда немец бил и с воздуха, и с земли, давил танками. Сыпал бомбами, а ты смотрел темными от ненависти глазами в знойное синее небо – где же вы, краснозвездные ястребки? Ведь был же под Либавой целый полк истребителей, да на озере базировалась гидроавиация, эскадрилья Балтфлота. Где же они?

В первый день, 22 июня, немцев остановили на реке Барте, километрах в пятнадцати от города. Потом отбросили прорвавшихся немцев от завода Тосмари. В тот день Юркин и трое уцелевших бойцов из его расчета стали пехотинцами: подбитое орудие пришлось бросить... А еще через день, 25 июня, он, тяжелораненый, попал в полевой госпиталь и так, с госпиталем, перевязанный и без документов, очутился в плену, и немцы, не зная, что он командир и комсомолец, его не расстреляли.

Потом был Тильзитский лагерь – люди там жили в земляных норах, потому что никаких строений в лагере не было. Тех, кто пережил осень сорок первого года, немцы развезли по другим лагерям, и Юркин очутился в Свиномюнде.

Поскольку Юркин знал с пятое на десятое по-немецки, он стал тышэльтесте – старшим по столу: делил хлеб на двенадцать человек, разливал баланду, потом его назначили штубендистом – старшим по полубараку. Это была трудная должность: между двумя огнями – нем-

цам не перечить да и своих под удар не ставить. Юркин выкручивался почти год. А мысль была одна: как вырваться? Правда, и здесь, в лагере, были люди, пытавшиеся наладить подпольное сопротивление. Юркин делал все, что от него требовалось: того подкормить, этому передать записку в соседний барак, а то и перепрятать листовку... Но деятельная душа Юркина жаждала иной борьбы – он хотел биться с оружием в руках и чтобы фашистам было тошно... А для этого надо было вырваться из лагеря. В побег Юркин не верил, считал это дело безнадежным. Во-первых, уж больно мастерски их немцы охраняли. Во-вторых, если даже и убежишь – как пройдешь через Германию, где тебя готов схватить каждый?

В начале 1943 года в лагерь приехал вербовщик из РОА – высокий белобрысый фельдфебель. В Красной армии он был порученцем у какого-то генерала, имел звание старшего лейтенанта. У немцев стал фельдфебелем. Вышагивая перед хмурым строем военнопленных, напористо призывал «дружно, как один, идти к генералу Власову, в Русскую освободительную армию, чтобы плечом к плечу с доблестными солдатами фюрера очистить нашу землю от язвы большевизма». Глядя на него, Юркин думал, что, наверно, еще совсем недавно этот сытый барбос вот так же вышагивал перед нашими бойцами и призывал их громить фашизм...

Подпольная группа решила: сорвать вербовку! Через своих людей по баракам пустили призыв: «В РОА не идем! Лучше умрем, чем изменим!»

Юркин завербовался.

Первый месяц он был ефрейтором, второй – обер-ефрейтором, затем стал унтер-офицером: учил солдат РОА обращению с трофейным бельгийским оружием, благо сам его освоил быстро. Думал, что вот обучат их часть, и кончится эта жизнь в тихой Лигнице, попадут они на фронт, и он со своим взводом уйдет ночью к нашим... А если подговорить и других? Чтобы уйти не взводом, а ротой. Или целым батальоном. Еще через месяц ему стало ясно, что это невозможно: немцы не разрешали власовцам формировать части крупнее роты, да и те рассредотачивали по немецким войскам. Власовцев на Восточный фронт не

посылаали, использовали в качестве карателей – против югославских, французских, польских партизан. И очень редко – против советских. Нет, немцы дураками не были.

Но Юркин и тогда не отказался от своего плана. Он неукоснительно выполнял все, что от него требовалось. Юркин добился своего: немцы его заметили и, кажется, поверили – направили его в разведшколу.

Все это он и выложил сегодня на допросе седоголовому майору из контрразведки. Все, как было. Все, о чем думал ночами на нарах вонючего барака. Все, к чему рвался в проклятой немецкой неволе.

Но майора это не тронуло. Ему нужны были не слова, а дела, факты. Слова Юркина хороши, а вот факты: был Юркин лейтенантом Красной армии – стал немецким лакеем; был комсомольцем – стал немецким шпионом. Это факты. И готовность совершить диверсию – это тоже факт. «Ваши слова, Юркин, учтет военный трибунал – пусть он все взвесит и выдаст вам полной мерой».

...Вдалеке по каменным ступеням подвала процокали подковки. Звякнула связка ключей, послышались голоса двоих. Остановились у камеры.

Юркин встал. «Это за мной. Но куда ночью? А может...»

Распахнулась дверь, и в камеру, согнувшись, скользнул офицер в полушубке, посветил карманным фонариком.

– Вы Юркин?

– Так точно, я.

– Собирайтесь, едем, быстро!

– Куда?

– Не разговаривать! Живее!

Юркин выхватил из-под нар мешок, вытянулся:

– Готов!

...Ошалевший после двухчасовой тряски в душном закрытом кузове, Юркин, едва ступив в кабинет, понял: вот где будет решаться его судьба.

За столом сидели двое: давешний седой майор из контрразведки и сухощавый полковник в пенсне.

Майор кивнул на стул в углу:

– Садитесь, Юркин!

Полковник встал, вышел из-за стола и подсел к Юркину.

– Показания читал. Значит, сам явился?

– Сам.

– Почему?

– Я пытался с вами связь наладить оттуда – не получилось. Пришлось идти самому.

– Что-то я не понимаю... О какой связи идет речь? Отвечайте конкретно.

– Немцы меня сюда кинули, а я к вам явился.

– Одного или с группой?

– С группой, меня и еще двоих: Самсонова и Косичкина.

– Где же они?

– Самсонов должен быть у вас, а Косичкин – не знаю. Мы еще в школе так с Самсоновым договорились. Если приземлимся вместе, явемся в контрразведку вместе. Если растеряемся, идем врозь.

– А Косичкин?

– Это гад. Служил в немецкой полиции в Крыму, до войны уголовником был. Этот сдаваться не будет. Он наших моряков в Севастополе расстреливал.

В разговор вмешался седоголовый майор:

– Значит, отмежеваться решил? Служил немцам верой и правдой, а теперь в чистенькие метишь?

Но Юркин, взглянув на майора, отвечать не стал, снова обернулся к полковнику:

– В нашей школе было двое стоящих людей. Думаю, они оба у вас побывали. Так я с ними договаривался. Только они должны ссылаться на Петра Михайлова. Так меня зовут в школе.

Полковник чуть приподнял брови:

– Так вы и есть Петр Михайлов? – Обернулся к майору: – Он вам говорил, что он – Петр Михайлов?

– Никак нет, Степан Савельевич, не сказал.

Полковник недовольно уставился в лицо Юркину:

– Что же, в кошки-мышки будем играть?

– Нет, не будем. Майор же все равно меня не знает. Для него что Юркин, что Михайлов – безразлично. Их дивизия прибыла в армию на пополнение месяц назад, как кончилось наступление под Ленинградом и Новгородом, а последний из моих людей был заброшен в ваш тыл в декабре. Двадцать первого декабря. Шел Дурасов... А вы, майор, не обижайтесь и не удивляйтесь: в абвере не только идиоты работают. Раз мы к вам агентуру забрасываем – должны знать, какие им документы готовить и какие у ваших командиров подписи.

Полковник резко оборвал:

– Ладно, ладно! Мы и сами это знаем! Все же я не уловил, почему вы ему не назвались Михайловым?

– Так ведь Михайлов – псевдоним. Майор же обязан мои показания проверить. Кто я, откуда родом. А что по Михайлову проверять – там одна фальшь... А два имени говорить побоялся: у хорошего человека двух имен не бывает...

– Что же, давайте очно знакомиться. Расскажите нам о себе, по порядку.

– Есть, товарищ... – спохватился, осекся. – Слушаюсь! Родился в 1918 году в Сибири, в Тисульском районе – в Кузбассе. Родители и сейчас там живут. Должно быть... В 1937 году по комсомольской путевке пошел в артучилище, окончил его в 1940 году и был направлен в 67-ю СД* 8-й армии, командовал орудием в Либаве. Летом 1941 года, во время боев за Либаву, был ранен, попал в плен. Находился в лагере в районе Тильзита, потом – Свинемюнде. Год я там пробыл, потом приехал вербовщик из РОА. Я поехал. Определили сначала в строевую часть, потом, в конце 1943 года, – в эту вот разведшколу. По совести, я туда сам напросился. Я так решил: в разведшколу если попаду да со своими свяжусь – буду полезен. Правда, переживал очень, а от них ни слуху ни духу. По-разному думал: может, вы им веры не дали, может, несчастье с ними какое. Вот и решил: сам пойду.

– Понятно. Кто такой Зольдер?

– Майор Иоганн Зольдер – начальник школы. Лет около сорока.

* СД – стрелковая дивизия.

Немец, но долгое время жил в Эстонии, еще до воссоединения с СССР. Был офицером эстонской армии и выдавал себя за эстонца.

– Кто делает липу?

– Есть специалист. Мы его зовем Доктором – ходит в белом халате. Ему года тридцать два – тридцать три. Из русских, но откуда – не знаю. Он с работниками школы не очень-то общается. Держит себя обособленно. Но документы делает классно. Кстати, мне Гумовски – это заместитель Зольдера – рассказывал, что Доктор прошлым летом ходил к вам в тыл, с каким заданием – не знаю. Имел якобы форму капитана-танкиста. И где-то в парке забыл свой планшет, а в планшете тысяч тридцать денег да много разных документов на несколько имен. Про планшет вспомнил буквально через минуту, тут же, в парке. Бросился к той скамейке, а навстречу милиционер с его планшетом! Доктор решил, что милиционер туда заглянул, стал от него убегать, а тот как закричит: «Эй, товарищ капитан, планшет возьмите!» И за Доктором! Догнал. Доктор уже решил: все, попался! А тот руку под козырек: «Возьмите, пожалуйста!» И отдал. Гумовски здорово смеялся...

– Ладно, ладно, мы тоже скоро посмеемся! Кому подчиняется ваша школа?

– Филиалу абвера «Ревель», по-немецки «Абвернебенштелле Ревал», сокращенно «АНСт Ревал».

– Кто руководит филиалом?

– Фрегат-капитан Александр Гизевиус.

– Ты его видел?

– Один только раз, и то мельком: он к майору Зольдеру под Новый год приезжал. Важный, роста невысокого, полный, седой. Гумовски говорил, что Гизевиус до войны был немецким военным атташе в Швеции и Финляндии. Знает шведский и финский. До этого года постоянно находился в Хельсинки, в Таллин навещался время от времени. Теперь совсем в Таллин перебрался. У него контора в районе Кадриорг, на улице Койдула, называется «Бюро Гизевиуса». Для видимости занимается вербовкой рабочей силы для немецких предприятий.

– Что это Гумовски так много рассказывает? У вас с ним что – дружба большая?

– Сам не знаю, в общем, доверяет, что ли. Своим считает: я же для него перебежчик. Но презрения ко мне, как к русскому, у него нет. Слушать его интересно. О Гитлере почти никогда не говорит, все только о Германии. Историю здорово знает – и Германии, и нашу русскую. О советской власти не знает почти ничего и все выпрашивает. И все к Германии примеряет. Сравнивает, что когда у нас было, и что в Германии, и как действовало наше правительство, и как германское. В общем, трудно мне с ним – так и гляди, проговоришься. И молчать нельзя, сами понимаете.

Полковник и седоголовый майор переглянулись. Юркин это заметил, но понять значения взглядов не мог.

Полковник обернулся к нему:

– Ну, понятно. На сегодня хватит, пожалуй. – Он глянул на часы, снял трубку, подождал, пока ответят, и вызвал какого-то Петухова.

Спустя минуту в комнату вошел капитан – тот, что привез Юркина.

Полковник – Петухову:

– Отведи к себе, пусть поспит. Накорми. Вызовем, когда будет нужно.

II

Полковник велел принести себе и майору по стакану чая, да покрепче: здорово разгоняет сон. Прихлебывая крутой кипяток, думал. Майор тоже молчал.

Отношения еще между ними не сложились: дивизия и вправду прибыла в армию всего месяц назад. В разведке же одной армейской субординации мало: помимо званий и должностей, здесь обязательно взаимное доверие – полнейшее доверие! – и взаимное уважение. А как уважать человека, если его почти не знаешь?

Майор – звали его Алгазин Иван Тимофеевич – показался полковнику человеком умным и выдержанным. Доклады об обстановке в дивизии и о противнике, при всем их немногословии, отличались широтой собранных сведений, глубиной анализа и четкостью изложения. Если майору было что-нибудь неясно, он говорил прямо, тень на плетень не наводил. Если был в чем-нибудь убежден, мнение свое отстаи-

вал. Ни сверху вниз, ни снизу вверх на людей не смотрел. Все это пришлось по душе полковнику: он любил самостоятельных работников. Но за месяц окончательного суждения еще не сложилось: он знал, что человек до конца раскрывается не сразу, нужны для этого обстоятельства чрезвычайные. На фронте их, правда, с лихвой – в засаду ли попал, приказ ли неверный отдал, а то и наоборот – побоялся отдать приказ... Но пока майору Алгазину такие обстоятельства не подвергались, и полковник не спешил с выводами...

Впрочем, не было окончательного суждения и у майора Алгазина о полковнике.

Указания полковника – на взгляд Алгазина, толковые и дальновидные – вместе с тем оставляли массу простора для его собственной инициативы, и это ему, безусловно, нравилось. За глаза работники штаба называли полковника хохлом: он и вправду был украинцем и фамилию носил украинскую, Ляшенко, но с двадцатых комсомольских годов попал на Урал, там и женился, там и обрусел.

Алгазину он понравился: в обращении прост, авторитетом не давил и с мнением других считался...

Но вот в отношении Юркина мнения у них разошлись. Майор Алгазин это почувствовал, но не мог взять в толк почему.

Дело же заключалось в том, что в ноябре прошлого, 1943 года в ОКР* 57-й дивизии, входившей в состав их ударной армии, действительно явился с повинной немецкий агент по фамилии Стрепетов и ссылался на преподавателя Таллинской разведшколы Петра Михайлова.

Начальник ОКР 57-й дивизии – человек молодой, только что выдвинутый на эту должность из полка, человек энергичный и решительный – тут же снесся с ОКР армии, выяснил, что нашего работника под таким псевдонимом в немецком тылу нет.

Вся эта история показалась ему немецкой провокацией, и он успел буквально в два дня оформить на явившегося уголовное дело, как на немецкого агента, и пропустить его через военный трибунал. И лишь потом прислал в ОКР армии подробное спецсообщение.

* ОКР – отдел контрразведки.

Трибунал рассмотрел дело, учли явку с повинной, и оказался Стрепетов в лагере. Хорошо, что хоть не расстреляли! Полковник, когда обо всем узнал, расвирипел, но не опротестовывать же приговор трибунала, да и оснований веских нет. На том дело и кончилось.

В декабре 1943 года, под самый Новый год, явился Дурасов, он тоже вышел в распоряжение 57-й дивизии. На этот раз полковнику донесли вовремя, Дурасова он допросил сам и понял, что такую возможность упускать нельзя. Видимо, там, в Таллинской разведшколе, был свой человек. Видно, попал к немцам случайно, а теперь мечется, ищет ходы-выходы... Во всяком случае, рискнуть стоило, и полковник решил пустить к таинственному Петру Михайлову того же Дурасова с поручением. Разработали план, подготовили легенду – ведь по возвращении к немцам Дурасов должен был отчитаться в выполнении задания – и отправили. Но при переходе линии фронта Дурасов попал под минометный обстрел и погиб вместе с одним из переводивших его солдат полковой разведки. Посылать же своего человека к Михайлову в Таллин полковник не решился: не зная ни его, ни обстановки в школе, ни подходов к ней, рисковать было бессмысленно. Полковник резонно решил, что если Михайлов сумел послать двух своих людей, то придет и третьего. Надо только подождать. Но вышло иначе: на этот раз Михайлов явился сам...

Полковник поставил на стол пустой стакан, глянул на майора Алгазина:

– Что, Иван Тимофеевич, как он тебе показался?

Майор пожал плечами:

– Немцы теперь тоже ученые... Такую легенду дадут...

– Значит, не веришь?

– Степан Савельевич, что значит – веришь, не веришь? Я только факты уважаю, они вещь, как говорится, упрямая.

– Ну, понятно. Против фактов кто же станет спорить? Тай дурень кашу зварить, як пшено та сало... А вот ты попробуй эти факты понять, истолковать, использовать... Могло быть именно так, как он рассказывает?

Майор Алгазин снова пожал плечами:

– Быть-то могло, но ведь с таким же успехом он мог рассказать, что бежал из плена и дрался в партизанском отряде какого-нибудь «Бати» или «Деда» и что попутно где-то что-то взорвал и кого-то пристрелил – хоть генерала, хоть самого гауляйтера. И еще черт знает что он мог сочинить! Ведь ничего не проверишь, и ему это прекрасно известно!

– Вот именно. А он дает только то, что его никак не красит: служил в РОА, готовил агентуру для заброски к нам. И никаких подвигов. А что сделал хорошего – то подтверждается на все сто.

Майор опешил:

– То есть как это – подтверждается?

– Да так: Стрепетов, агент его, к нам явился, ссылаясь на него. Это еще до тебя. И Дурасов тоже приходил, в декабре. А Самсонов, которого он поминает в показаниях, – полковник махнул рукой на стол, где лежал протокол допроса, – сейчас в 57-й дивизии сидит. Их всех немцы как раз в стык между вами и 57-й дивизией кинули. Я им тогда за Стрепетова такого духа дал – век помнить будут! Из-за них такой случай упустили!

– Сейчас-то где он, Стрепетов?

– Не знаю, судили его. Попробуй вытащи-ка его теперь из лагеря! Алгазин неопределенно хмыкнул, потом все же решился:

– Степан Савельевич, я понимаю, куда вы клоните, но промолчать – не в моем характере. Что думаю, то и скажу. Степан Савельевич, что меняет явка этих троих? Что она доказывает? Ведь все они пришли оттуда, от немцев. Все трое могут идти с одной легендой... В расчете, что мы клюнем хоть на одного...

– Поймай, поймай! Ты не обмолвился? Выходит, всех, кто к нам идет с повинной, – стрелять?

– Ну, зачем стрелять? И ко мне на Южном фронте люди с той стороны приходили... Мы им, как водится, полную проверочку, и которых подпольщики и партизаны удостоверяют – тем почет и уважение. А уж на нет, извините, и суда нет. Стрелять, конечно, всех подряд без достаточных оснований вовсе ни к чему. Пусть посидают, пока война. А потом разберемся, кто чем у немцев занимался.

– Ну, добре, понял я тебя. Вот, скажем, пришел к нам такой, как этот Юркин. Если мы его сейчас засунем обратно в школу да дадим ему за-

дание... Ведь он у самого Гизевиуса будет под боком! Или, может, действительно в лагерь? До конца войны?

– Степан Савельевич, как хотите (это прозвучало: я вам подчинен), но сам бы я на это не пошел. А если все это – фрицевская провокация? Подсунут они нам этого Юркина и будут через него играть с нами...

– Или мы через Юркина будем играть с ними! Ты видишь то, что лежит на поверхности: лейтенант РККА, комсомолец, служит немцам. И все. А что за всем этим стоит? Почему так случилось и хочет ли человек оправдаться? А главное, можем ли мы это его стремление использовать для нашего дела – над этим ты думаешь? Конечно, в Таллинской школе абвера подпольного партбюро нет, и партизанского штаба там не сыщешь. Проверить его не через кого. Но человек-то он все же наш, русский. Здесь его дом, здесь его родина. И родители, видимо, в Кузбассе живут: он же адрес дал. Да неужели же фашисты должны ему больше доверять, чем мы?

– Это, Степан Савельевич, из области эмоциональных порывов. А в разведке, сами знаете...

– Так ведь и мои эмоции не на пустом месте возникли... Между прочим, когда я в тридцать пятом пришел в НКВД, назначили меня замом к одному шибко серьезному начальнику. Так вот он говорил: «В Африке, чтобы поймать трех львов, делают так: ловят десять и семь выпускают. С гарантией. Со шпионами, чтобы не было промашки, делают так же: бери побольше, а уж если точно будешь знать, что кто-то из них не шпион, – того можно, пожалуй, и выпустить...» Сколько я с ним тогда спорил – и не так нежно, как ты сейчас со мной!.. Пока где следует не распознали, что у моего начальника душа гнилая, – я думал, он меня с потрохами съест! Так ты, часом, не ту же веру исповедуешь? Насчет львов?

– Нет, товарищ полковник. Я в органах, как и вы, по партийной путевке. А говорить то, что думаю, – считаю, обязан. Как коммунист.

– Ну, тут мне крыть нечем. Факт, обязан. Словом, давай так: я монопольным правом на истину не располагаю. Следовательно, могу и ошибиться. А чтобы тебе, Иван Тимофеевич, за мои ошибки не отвечать, будем считать, что Юркина я у тебя забрал. А дело ты завтра из

трибунала истребуй – так сказать, по вновь открывшимся обстоятельствам – и перешли мне. Договорились? Ну, а теперь давай потревожим нашего героя: он, поди, уже отдохнул...

III

Юркин и в самом деле успел за эти два часа и поужинать, и даже вздремнуть на сдвинутых стульях. Правда, теперь от прерванного сна голова была чугунной и время от времени Юркина чуть подташнивало, но у него уже возникло и больше не пропадало ощущение, что все идет как надо. Что хмурый майор над ним не властен, а полковник, видимо, ему верит и что на него не смотрят больше как на предателя – всего этого было вполне достаточно, чтобы Юркин успокоился и воспрянул духом.

Полковник вновь подсел к нему:

– Расскажи-ка ты нам толком, какое вам немцы дали задание, когда сюда выкидывали?

– По совести, я на эту операцию сам напросился... А задание такое: подорвать выходные и входные пути на станции Мхи.

– Да? Что-то я не читал этого в твоих показаниях...

Майор Алгазин заметил недовольно:

– Он, товарищ полковник, мне об этом не сказал!

Полковник – Юркину:

– Почему?

Юркин посмотрел на майора, потом на полковника, махнул рукой и решил:

– Так товарищ... – Переждал секунду, его не одернули, и он уже совсем уверенно заговорил: – Товарищ майор мне не верил. Скажи я ему про станцию, он бы обязательно устроил там засаду.

– И что?

– Ни к чему это, товарищ полковник. Только все дело испортил бы. У нас так условлено: до завтрашнего... теперь уж до сегодняшнего дня ждать друг друга. Если сегодня все трое не сойдемся, рвем пути поодиночке, кто уцелел. До ночи Косичкин будет ждать.

– Так ты что – не хочешь, чтобы майор вам помешал рвать пути?

Юркин встал:

– Товарищ полковник! Готов отвечать за все свои поступки перед вами, перед трибуналом, перед Родиной. Но делал это затем лишь, чтобы к своим выйти. И раз сейчас мне это удалось – я одного прошу: веры. У немцев я не на последнем счету. Тем легче будет мне выполнить ваши задания. А пока вы не решили, как поступить дальше, – что же засады устраивать? Мало ли какие у вас будут планы?

Полковник глянул на сумрачного Алгазина и, поймав его взгляд, чуть усмехнулся.

– Значит, я тебя так понял: Косичкина, как гада, нам изъять и ликвидировать, а тебя с Самсоновым пустить обратно в школу?

Юркин утвердительно кивнул:

– Только Косичкина нужно оставить. Он у немцев в почете. Пусть подтвердит, что взрыв был честь по чести.

Полковник улыбнулся:

– А не мало у тебя взрывчатки, чтобы честь по чести?

– Не мало.

– Мне докладывали, что у тебя в вещмешке взрывчатка под пшениный концентрат замаскирована. Это все, что ли?

– Нет, товарищ полковник, это только половина. Еще там в мешке ливерная колбаса – тоже взрывчатка. Ее нам в школу недавно прислали, до этого мы такой не пользовались. Я подумал, вам тут интересно будет...

– А как действует эта колбаса?

– Очень просто: отрежешь кусок, целлофан долой, прижмешь к рельсу в том месте, где проушина, размажешь чуток по рельсу – и все. Не надо ни шнура, ни детонатора. Поезд пойдет – удар, взрыв!

– Лихо! Мы у тебя немного такой взрывчатки возьмем, посмотрим, что к чему.

Полковник задумчиво прошелся по кабинету, остановился напротив майора.

– Как, согласимся, Иван Тимофеевич? – И, не дожидаясь ответа, подытожил: – будем считать, что согласились. Только вы и рвите, что-

бы честь по чести. У нас тут есть кое-какие соображения, мы этой станцией можем не пользоваться... некоторое время.

Полковник знал, что через месяц начнется подготовка к новому наступлению. За этот месяц надо было привести дорогу в идеальное, насколько позволяли фронтовые условия, состояние. Движение по дороге предстояло на какое-то время приостановить для ремонтных работ. Ну, а Юркину знать все это было вовсе не обязательно.

– Так что действуйте. А Самсонов к вам присоединится. Там, у станции. Теперь слушай внимательно: кинотеатр «Би-Ба-Бо» в Таллине знаешь? Вот-вот, на улице Виру. Бываешь там? Нужно бывать – есть у тебя такая легальная возможность? Подозрений это не вызовет? Вот и добре. Только чур – ходить туда будешь один... скажем, по четвергам. Раз в месяц. А четверги меняй. Запомнил? И запасайся двумя билетами, скажем, на тринадцатый ряд. Не боишься, что чертова дюжина? Ну и молодец. Вот так. Может, понадобится тебя разыскать, понял?

Глава вторая

III

Новая группа, как и предыдущая, оказалась разношерстной: были в ней и доведенные голодом до отчаяния и одури военнопленные, и бывшие полицей, и власовцы. Юркин, присматриваясь к ним, пока никого не выделял, да и не мог за прошедшие две недели определить, кто из них чего стоит.

Сегодня по плану он должен был показать на местности обращение со взрывными патронами. Вывел группу в парк и прихватил с собой помощником Самсонова. Группу рассредоточил по парку, дал каждому патрон, шнур и приказал крепить к корягам и готовить к взрыву (сами взрывы по программе шли через два занятия). Потом, сопровождаемый Самсоновым, пошел от одного курсанта к другому, проверяя, правильно ли они выполнили инструкцию.

Самсонов шел следом, шаг в шаг, иногда покашливая, но Юркин первым не заговаривал, ждал. Наконец дошли до левофлангового кур-

санта – бывшего моряка Петра Быкова. Быков, видно, раньше имел дело со взрывчаткой.

Бросив взгляд на патрон, на шнур, змейкой сбегавший с коряги на сырую от талого снега землю, Юркин похвалил:

– Толково сделано!

Быков отозвался:

– А вы, господин обер-лейтенант, хоть и немец, а здорово по-нашему выучились, на слух так даже не отличишь.

Юркин усмехнулся:

– Я такой же немец, как и ты!

У Быкова порозовели скулы, чуть дрогнули уголки губ:

– Выходит, из эмигрантов?

Перехватив откровенно презрительный взгляд Быкова, Юркин сорвался:

– Молчать! Обратно в лагерь захотел?

Быков вытянулся, вскинул руку к пилотке:

– Виноват, господин обер-лейтенант! Больше не повторится, господин обер-лейтенант!

Юркин зашагал прочь. Самсонов, тут же догнав его, шепнул:

– Петр Михайлович, может, не стоило так?

Не оборачиваясь, Юркин бросил:

– А ты подумай, стоило или нет?

Самсонов тут же вполголоса:

– Петр Михайлович, что я вам скажу...

– Ну?

– Мы как от наших вернулись, на другой день меня майор Зольдер вызывал... Про операцию спрашивал – как станцию подорвали, а я все так и сказал, как оно было... Только про то умолчал (он со значением нажал на «то»).

– Еще что спрашивал?

– Говорит, расскажи, как приземлился, как шел, куда заходил и был ли в магазинах. Я говорю – так, мол, и так, когда на станцию заявился, пить уж очень хотел, в буфет зашел, а он, Зольдер, спрашивает – чего, мол, там покупал? Я сразу смекнул, что к чему... Ничего, говорю, в том

буфете и не купишь, торговлю, мол, еще не наладили. Он тогда прямо в лоб – что же, мол, про «Казбек» не скажешь? А я – «Казбек», мол, не в буфете брал и не в магазине, а с рук. Старшина там, на вокзале, он, мол, из отпуска возвращался, так загнал мне две коробки за сотню. А то, говорю, когда по лесу шел, в речушку по пояс провалился – а я и правда провалился, под снегом вода была, у наших еле отогрелся – так, говорю, свой «Беломор» промочил. Он говорит – где, мол, этот «Казбек»? А я говорю – искурил, пока до взрыва с Косичкиным у линии лежал. Он говорит – а Михайлов видел твой «Казбек»? А я говорю – нет, он, мол, от нас отдельно сидел. Зольдер тогда и спроси – как, мол, ты без пунктов, ну без карточек, курево купил? А я говорю – так старшина же с меня сотнягу слупил! Какие уж тут пункты? С тем и отпустил, только вам не велел пересказывать...

– Добро, Самсонов, добро.

– А ведь хорошо, что вы тогда меня предупредили, когда Косичкина того... А то бы я запутаться мог. Нет, вы не думайте, я теперь немцев не боюсь... Сейчас не боюсь, мы их сильнее. Но попутать они меня могли, верно, могли.

– Добро, Самсонов. А с этим морячком ты как-нибудь потолкуй. Понял? Спроси, как в плен попал, почему к немцам пошел. Есть ли родные, где живут. Больше ни о чем. Для затравки можешь о себе рассказать... Только не запорись – говори то, что немцы знают.

– Ясно, Петр Михайлович.

– Так меня больше не зови. Услышит кто – обоим головы оторвут. Командуй перерыв, пусть эта сволота патроны снимет...

Глава пятая

I

Юркина вызвали к капитану Гумовски уже под вечер, после занятий. Ничего не объясняя, Гумовски – он был в форменном блестящем реглане и в фуражке с высокой тульей – оторвался от какой-то бумажки и коротко бросил:

– Оденьтесь. Едем в город!

Верный своей привычке ничему не удивляться и ни о чем не спрашивать, Юркин кинулся к себе и через минуту вернулся:

– Готов!

У Гизевиуса их ждали.

Оказалось, что еще вчера вечером какой-то эстонец, бывший морской офицер, а ныне работник филиала «Ревал», опознал на улице в районе порта девушку: она служила в сороковом году здесь, в Таллине, в штабе Балтийского флота. Офицер даже помнил, что ее звали Валентиной.

Девушку схватили.

Сотрудница филиала, которая ее обыскивала, обнаружила несколько кварцевых пластинок. Разумеется, этого было вполне достаточно, чтобы девчонку расстрелять. И если бы она попала в СД, там именно так бы и поступили. Но Гизевиусу этого было мало: где кварц, там и передатчик. Радист же обслуживает кого-то, кто собирает сведения. Вывод: искать!

С ней пытались говорить по-русски, по-эстонски, по-немецки, но она молчала. Уговаривали ее сначала по-хорошему, а потом позвали Густава (Юркин его никогда не видел, рассказывали, что это весьма приятной внешности садист). Густав изощрялся над девчонкой, пока она не потеряла сознание.

Тогда-то и вспомнили о Юркине – сам Гизевиус вспомнил.

Если девчонка так упорствует, видя вокруг себя только одних врагов, то, может быть, к соотечественнику она будет благосклоннее?

Юркина оставили одного: Гизевиус и Гумовски перешли в соседнюю комнату, где стоял репродуктор. Напоследок Гизевиус оглянулся:

– Вам ясно, чего хотим мы, господин Михайлов?

– Вполне, господин фрегат-капитан!

– С богом!

II

Чего же здесь неясного? Все ясно! Только вот как унять сердце? Микрофон вмонтирован здесь, в столе, а оно грохочет и грохочет, на

весь дом слышно. Уймись, сердце, уймись. Юркин должен быть спокойным: где-то рядом ходит опасность. Кто она, эта девушка? Кем была в штабе? Как очутилась в Таллине? Не успела уйти с флотом и три года скрывалась? Или заброшена с заданием? Чем ей помочь – если это вообще возможно? Имеет ли он такое право? Решай, Юркин, уйми свое сердце и решай, только сразу: сейчас откроется дверь и ее введут. О чем говорить с ней? Как говорить? Никогда еще Юркин не чувствовал себя таким беспомощным. А за стеной сидят те, двое. И тоже ждут. Но когда послышались шаги по коридору, Юркина вдруг осенило: провокация! Проверить решили! Подсунуть свою и послушать, что он будет говорить, как будет действовать!

И вот ее вводят.

Юркин кивает конвоиру – мол, все в порядке, иди, не нужен. Потом, глядя на черные спутанные волосы девушки, на ее тщедушную фигурку, явственно проступивший синяк на шее, говорит веско и с достоинством:

– Я русский. Я офицер РОА. Вы можете мне не отвечать, но я и так знаю, что вы моя соотечественница. И вообще – я знаю о вас больше, чем вы полагаете. Позвольте же сказать вам, сказать прямо, что вам не на что надеяться, если вы не пойдете по пути разума. Я же со своей стороны обещаю... я мог бы попытаться облегчить вашу участь. Желаете вы этого?

Девушка, сгорбившись, безучастно сидит на стуле. Слова Юркина не производят на нее никакого впечатления.

– Ведь вам, наверное, не больше двадцати лет? Неужели смрадное дыхание смерти – мучительной смерти в петле – не остановит вас? Не заставит в последний миг отшатнуться от пропасти? Я знаю, вам сейчас нелегко. Я знаю, в ваших глазах я лишь жалкий предатель, изменник. Но подумайте: я тоже был в таком положении, как и вы сейчас. Это было давно – три года назад. И вот я живу...

Девушка, видимо, и вопросов не слышит – голова ее по-прежнему опущена, черные пряди разметались, спутались. А Юркину кажется, что провокатор должен быть не таким! Провокатор. А кто знает, какие трюки выделывает настоящий провокатор? Юркин этого не знает! И он говорит, говорит, лихорадочно контролируя слова:

– Поймите, мне просто вас жаль! Я не хотел бы, чтобы вы... Ах, да неужели вам еще не понятно? Сегодняшний день вам показал, что у германского командования найдется немало средств выбить из вас все, что требуется, и даже чуть больше. Неужели вы этого хотите? Я не сторонник эксцессов, я не хотел бы...

Девушка медленно поднимает голову, и Юркин наконец видит ее измученное лицо – опухшие веки, запекшиеся губы, бесстрастные, ничего не выражающие глаза. Вдруг в них вспыхивает огонь, лицо озаряется улыбкой. Еще через миг лицо девушки по-прежнему бесстрастно, только глаза смотрят в упор – требовательно, властно. Юркин понял: девушка его знает. По инерции он все еще продолжает говорить, но в голове бьется мысль: «Узнала? И не крикнула, не кинулась? Провокатор бы не так! А как? Те двое сидят за стеной. Они слышат здесь каждое слово, каждый вздох... Что я говорю... Спокойно! Спокойно».

– Я даю вам добрый совет, не пренебрегайте им! Давайте начнем с вашего имени. Как вас зовут?

И тут она разлепляет губы и медленно произносит:

– Степанида... Савельева.

Теперь Юркину не хватает воздуха. Он вдруг ощущает, как по спине, между лопатками, быстро скатывается капелька пота. Да, конечно. Степан Савельевич Ляшенко. Таких совпадений не бывает. Ее прислал полковник Ляшенко. Она его узнала...

Неотрывно они смотрят в глаза друг другу, и он понимает немой вопрос: «Что делать? Я тебя не выдам, но что делать?» А там, за стеной, сидят двое... Но теперь Юркин вдруг успокаивается, и мысли – ясные, трезвые – приходят в голову.

– Ну и отлично, Степанида Савельева! Отлично, моя умница! Только ты не Степанида, а Валентина, и не надо меня обманывать...

Девушку колотит нервная дрожь.

Она смотрит – какие у нее глаза! Она силится понять.

«Милая, хорошая, пойми: я должен тебя назвать! Ну пойми, иначе конец обоим».

Наконец она говорит медленно, ощупью, словно взвешивая каждое слово:

– Если вы знаете, что я Валентина, то вы и остальное обо мне знаете?

Юркин прижимает палец к губам и чуть качает головой: не торопись, не спеши. А вслух:

– Мы всё знаем, так что нет смысла нас обманывать. Ведь вы бывали в доме на Тоомпеа, не так ли?

Кажется, она поняла.

– Да, еще до войны... Я была официанткой в столовой...

А глаза спрашивают: «Я правильно поняла? Я так сказала?» Юркин улыбается уголками губ, опускает и снова поднимает веки.

– И вы эвакуировались со штабом?

А глаза ведут свой разговор: «Я должна это сказать?» – «Да, да, должна!»

– Да, я эвакуировалась...

– Как вы вновь попали в Таллин?

Глаза девушки вздрагивают: «Этого я не могу говорить!» – «Скажи, так надо!» – «Нельзя!» – «Надо, надо!»

– Вас забросили, Валентина, мы же отлично это знаем. Ваш арест не случаен, запыраться бесполезно...

Она не понимает, не может понять. Ну, смотри, смотри мне в глаза, смотри, смотри! Если не забросили, значит, скрывалась тут – где, у кого? Немцы так не оставят, будут выматывать признание... Ну, пойми!

– Катером или самолетом? Да говорите, говорите.

– Катером...

– К кому? Вы знаете явку? Куда вас выбросили – прямо в город или в другом месте?

И он, неотрывно глядя в расширенные ужасом глаза, прижимает палец к губам и отрицательно качает головой.

– Что вы молчите? Знаете явку? – И снова качает головой.

Поняла.

– Нет, не знаю. Меня высадили с катера ночью, у какого-то поселка, я не могла ничего рассмотреть, и какой-то человек в немецкой форме, он нас ждал, довез меня на мотоцикле до города. На заставе его еще спросили, кого он везет. Он сказал, что любовницу... Нас пропустили. А явку в городе я не знаю, только улицу...

– Просто улицу? Или перекресток? А время? А приметы?

И глаза в упор: «Пойми, не оступись! Пойми, думай!»

– Ладно, чего уж там... Я и это скажу. Угол улицы Мюнди, у выхода на площадь ратуши. Вторая и третья пятницы, четыре часа дня. У него будет светлая шляпа. Это все.

И глаза у нее снова блестят: «Я так поняла? Я правильно сказала?» Юркин чуть улыбается: «Правильно, все правильно».

– Благодарю вас, я вами доволен. Вы проявили благоразумие. Вы убедитесь, что немецкое командование может быть великодушным. Вы радистка?

– Да. Рация была выгружена и спрятана в месте моей высадки. В город ее должен был привезти тот человек, который вез меня на мотоцикле. Но я попытаюсь объяснить, как ее найти... Только бы я вспомнила, что это за поселок!

– Еще раз хвалю! Надеюсь, мы и впредь найдем с вами общий язык. А теперь – спать, спать! Вы очень устали, и немудрено: день был бурным. Впрочем, вы сами виноваты: вели бы себя с самого начала умницей, и ничего бы не было...

Юркин вызывает конвоира и приказывает:

– Устройте фройляйн поудобнее, завтра у нее трудный день. Пусть как следует отдохнет. Отныне она находится под покровительством немецкого командования, и потому проявите к ней всю корректность, на которую вы способны. Идите!

Когда входят Гизевиус и Гумовски, Юркин как раз успевает засунуть в карман совершенно мокрый носовой платок.

Гизевиус впервые смотрит на Юркина, пытаясь по-настоящему понять, на что еще способен он, этот русский. Наконец фрегат-капитан позволяет себе улыбнуться:

– Вы неплохо провели допрос, господин Михайлов. Видимо, вам пора поручать более серьезные задания. А пока что займитесь поимкой обладателя светлой шляпы на углу улицы Мюнди. Искать мотоциклиста мы будем сами, а этот будет на вашей совести.

Глава шестая

II

За эти месяцы материала у Юркина накопилось столько, что хватило бы на целый том. Но для донесений он выбирал лишь самое важное, самое нужное. Сообщения готовил по ночам, при свете карманного фонарика, укрывшись с головой одеялом, задыхаясь и изнемогая от духоты. Готовые донесения вклеивал в пестрые коробки с сигаретами «Мемфис» и носил в кармане, потому что заранее нельзя было знать, когда Зольдер или Гумовски пошлют в город. Но, попав в Таллин, не упускал случая навеститься к тайнику, устроенному в запретной зоне, в Кадриорге, метрах в пятистах от резиденции гебитскомиссара Литцманна.

Не следует думать, что было создано некое специально оборудованное, скрытое от посторонних глаз убежище, куда имели доступ только посвященные. Такое сооружение вряд ли просуществовало бы больше недели. Когда готовят тайник, то думают прежде всего о том, что он должен быть легко доступен и не должен вызвать никаких подозрений.

В данном случае тайником служила обычная урна для мусора.

Проходя парком, Юркин бросал специально припасенные пустые папиросные коробки сегодня в одну урну, завтра – в другую. На случай, если кто вздумает следить. Те коробки, в которые ночью вклеил очередное донесение – одну-две исписанные мелким почерком странички, – опускал только в третью урну от домика Петра I. И обязательно рисовал на коробке опознавательный знак – детские каракули: то пароход под густым дымом, то птичку, то еще что. Кто брал коробки из урны, он не знал, но полагал, кто-то из трех мусорщиков, подметающих аккуратные аллеи. Все трое были одинаково хмуры и неразговорчивы. Юркин, разумеется, с ними никогда не заговаривал и в их присутствии заветные коробки в нужный тайник не бросал: рисковать было вовсе ни к чему.

Юркин понимал, что после разгрома немцев в Белоруссии наши должны нанести следующий удар, и вовсе не исключено, что этот удар будет на эстонском направлении. Понятно, что каждое его донесение,

каждая строчка могут оказаться тем именно камешком, который перетянет чашу весов в ту или иную сторону при рассмотрении этого вопроса командованием. Вот почему Юркин торопился сообщить главное из того, что узнавал. Он с уважением и благодарностью думал о тех неизвестных ему товарищах, которые забирали из тайника его донесения и проносили их через фронт. Временами он жалел, что никогда их не узнает. Никогда они не встретятся и не поднимут бокала за Победу, если даже доживут до нее.

Глава одиннадцатая

I

Моторы захлебывались, надсадно звенели в ушах.

Света в кабине не было, но Юркин чувствовал, что Гумовски – его недавно произвели в майоры – не спит. Нет, он не боялся: он был не из трусов. Но что-то с ним случилось в последние дни, как началось общее русское наступление. Несколько раз ловил на себе Юркин внимательный взгляд майора – такой же, как тогда, при награждении у Гизевиуса... И не знал Юркин – откуда же было знать? – что такой самоуверенный, такой спокойный Гумовски потерял душу.

Да, он еще подчинялся приказам – не вдруг уходит из человека привитое десятилетиями. Но былого рвення не стало. И доведись сейчас до допроса Быкова – пожалуй, уклонился бы: нельзя без уверенности в своей правоте смотреть в глаза умирающего, но не сломленного врага! Недавние сомнения теперь окрепли в убежденность, что вся эта война была ошибкой, что прав был Бисмарк, а не фюрер: с русскими надо ладить! Иной раз Гумовски мысленно прикидывал, как будет выглядеть русская оккупация Германии – он знал, что теперь это неизбежно, – и новыми глазами смотрел на Юркина: дай-то бог, чтобы хоть половина его соплеменников обладала таким же великодушием и благородством! А Юркину было худо.

После расстрела Быкова он возненавидел Гумовски, хотя понимал, что в его положении ненависть к одному человеку – если даже он

фашист – непозволительная роскошь и тяжелая обуза. Прежний дружеский тон в ежевечерних беседах с Гумовски теперь давался ему ценой неимоверных усилий: приходилось как никогда держать себя в узде, чтобы не сорваться. И долго еще после ухода господина майора что-то в душе Юркина дрожало и вибрировало... Но Гумовски ничего не замечал: именно в этот последний месяц он почему-то привязался к Юркину.

Снова кашлянул Гумовски, и Юркин спросил:

– Господин майор, как вы считаете, нас встретят?

Гумовски ответил не сразу – видимо, полон был своими думами.

– Да, я передал в штаб 16-й армии требование на грузовик и взвод солдат.

Самолет шел над Рижским заливом, еще час полета, и – Курляндия, древняя Курземе, страна куров...

Многострадальная земля, которую псы-рыцари в XIII веке досыта напоили кровью местных жителей; обильная земля, которую пять веков поливали своим потом рабы остзейских баронов; злосчастная земля, которой доведется стать местом последнего сражения в пределах советских рубежей: здесь еще после капитуляции Берлина будут добывать остатки злобно огрызавшейся 16-й немецкой армии.

Но сейчас ни Гумовски, ни Юркин не знали, что Курляндский мешок будет держаться еще без малого год, и потому думали, что школу могут передислоцировать куда-нибудь в другое место – в Польшу или Германию.

Юркин же думал, что вот и вторая операция прошла успешно: принесенные им документы (штабные карты и пояснительные записки) изучал сам Гизевиус и остался весьма доволен. Юркин знал, что никаких дат на карте не было. Но в одном из принесенных им приказов было сказано: подготовку закончить к 1 сентября. И немцы сделали вывод, что это и есть дата русского наступления. Направление удара тоже было ясно: из района южнее Чудского озера на северо-запад, на Выру и Тарту. Оставалось лишь неизвестным, общее ли это наступление или частное. Во всяком случае, немецкое командование заторопилось: надо было до начала русского наступления принять хоть какие-то меры.

Немцы срочно сняли из-под Нарвы и направили в Южную Эстонию две свои дивизии – 122-ю и 221-ю. Но обе они даже не успели занять позиции: наши войска, взломав 10 августа немецкую оборону, стремительно двинулись на Выру. В этом и был весь секрет: немцев дезориентировали – наступление началось на целых двадцать дней раньше. Но и к Юркину нельзя было придраться, ведь ясно, что разгром штаба одного из своих батальонов русские не заметить не могли. (Кстати, разгром был самый натуральный: с пальбой, со взрывами; спектакль был дан силами комендантского взвода штаба дивизии и чекистов отдела подполковника Свиридова.) Юркин, запихав в ранец документы, один ушел через фронт: на этот раз появление с Самсоновым было бы слишком большим риском. Опять оба они возвращаются, живые и невредимые, а остальных нет... Ну, а после такого события, как разгром штаба, русские, понятно, должны были изменить дату своего наступления. С этим Гизевиус тоже считался. Только он не думал, что изменение во времени будет таким большим. Ведь полмесяца при подготовке крупной войсковой операции – огромный срок! В общем, Юркин остался вне подозрения и был причислен чуть ли не к героям – Гизевиус сказал, что если бы можно было награждать русских рыцарским крестом, то он ходатайствовал бы о представлении Юркина к такой награде.

Зато уж и радист – хоть ростом был невелик и телом тщедушен – оказался крепким орешком. Бились с ним двое суток, да так ничего и не добились. Даже не открылся, кто он, откуда. На допросе молчал, чуть прикрыв глаза толстыми веками с рыжими короткими ресницами... Так что Юркин по возвращении сказал немцам, что рацию перед операцией спрятал, и даже указал по карте, где именно, чтобы могли проверить, а радист-де погиб при нападении на штаб. И вместе с ним будто бы погибли еще двое – Губин и Шорохов. (Они действительно погибли, пытаясь оказать сопротивление, их трупы закопали неподалеку от землянок разгромленного штаба. На всякий случай – если немцам захочется проверить.)

И вроде бы все шло хорошо, удачно. И вроде бы не о чем тужить... А на душе у Юркина так уж скверно – хуже и быть не может.

Гумовски, как встретил его за линией фронта, сразу повез в Бюро Гизевиуса. Там пробыли безотлучно двое суток – пока Юркин писал

рапорт, пока фрегат-капитан изучал материалы. Потом их с Гумовски отпустили – и это было уже ночью. В школу приехали часа в два. Юркин, раздеваясь, думал: вот проснется, а утром придет Лайне – уборка начиналась в семь.

Проснулся он часов в пять. И все, больше глаз не сомкнул.

Услыхав за дверью грохот ведра, удивился: Лайне все делала тихо, неслышно. Постучали в дверь, и тут же в комнату бочком протиснулась незнакомая пожилая женщина, нерешительно спросила по-немецки, коверкая фразу:

– Я убирать можно?

Юркин ответил поспешно, стремясь скрыть растерянность:

– Да-да, пожалуйста...

На языке так и вертелся вопрос: где Лайне? Что случилось? Но он сдержался. Нет-нет, спрашивать ни о чем нельзя. Кто знает, чем вызвана эта замена? О его отношениях с Лайне никто в школе не подозревал, и исчезновение девушки не должно было его волновать. Лайне или вот эта эстонка – ему безразлично...

Но Юркина ожидал еще один удар.

Утром, до начала занятий, он подошел к Гумовски, спросил:

– Господин майор, как там наша радистка?

Гумовски, став сразу серьезным, отрезал:

– Господин Михайлов, о ней забудьте. И вообще – не рекомендую заводить... как это по-русски? – заводить шашни с сотрудницами. Фройляйн Валя передана в другую службу – там ей найдут хорошее применение.

– Но ее поселили в квартиру, как мы намечали?

– Да, я сам все устроил, я же обещал. Адреса ее я вам не дам, вы можете надеться на глупостей. И запомните золотое правило разведчика: никогда не надо интересоваться тем, что вас не касается.

Юркину оставалось одно – в знак покорности щелкнуть каблуками, и он щелкнул истово, как выучился у немцев, напружинивая ноги и потому чуть подпрыгнув на носках, и даже сказал по-немецки: «Яволь, герр майор!» На большее Юркина не хватило – ни на улыбку, ни на выражающий согласие взгляд. Наоборот, Юркин прикрыл глаза: боялся,

что Гумовски увидит в них то, что ему показывать было никак нельзя...

Через неделю Юркин попал в город: послал с поручением Гумовски. Когда ехал, был уверен: обязательно выкроит время, зайдет к школьной подруге Лайне. Узнает о ней. И когда подвернулась такая возможность – в Бюро Гизевиуса управился быстро, в запасе оставалось чуть больше часа – понял, что никуда не пойдет. Кто знает, с чем связано исчезновение Лайне? Что, если там засада? Рисковать собой он не имел права. Не своей жизнью, нет – он не имел права рисковать своим положением разведчика. Если он провалится, другого человека в эту школу наши еще не скоро забросят...

Для работников школы он оставался все таким же – спокойным, уравновешенным. Только ночью он становился самим собой – какими же тяжелыми были эти часы! Сообщение о Вале Энно, что ее перевели в другую службу, он в тайник положил. Но в какую именно, так и осталось невыясненным. Может, в отделение «Марине» – военно-морского флота, а может – «Люфт», авиационное. Но туда Юркин доступа не имел. И ведь ничего, ничего нельзя было поделать – как тогда, при расстреле Быкова! Нельзя было искать Энно, нельзя было искать Лайне... Последние две недели Юркин перестал ездить в город – боялся за себя. Боялся, что не выдержит и, махнув на все рукой, бросится разыскивать свою Лайне...

Весь август и начало сентября в Южной Эстонии шли тяжелые бои – немцы даже пытались контратаковать. Но вот 14 сентября всколыхнулся советский фронт в Латвии, а 17-го вздрогнула от могучих артиллерийских залпов вся линия немецкой обороны в Южной Эстонии, по берегу Суур-Эмайги: перешла в новое наступление ударная армия. В ее составе теперь действовал переброшенный сюда из-под Нарвы 8-й Эстонский корпус, и кто мог удерживать бойцов, которые шли освобождать родную, истерзанную, три года не виденную землю? В этот же день загрохотали пушки по-за Нарвой, понеслись со свистом реактивные снаряды: здесь тоже началось наше наступление. Восемнадцатого по всем дорогам Эстонии – с юга, с востока – хлынули колонны русских танков и мотопехоты. Организованное сопротивление немцев было сломлено, лишь кое-где они пытались удерживать пози-

ции группами в 50–100 человек, но после первых же ударов оставляли свои рубежи и катились дальше.

В этот день, восемнадцатого, школу залихорадило: поднялась суматоха, все носились из дома в дом и по этажам, готовя к отправке в Курляндию архивы и текущие документы. В этой сумятице Юркин легко мог скрыться, чтобы дождаться своих. Такой вариант у них с полковником Ляшенко тоже был предусмотрен. Но Юркин рассудил иначе: война еще не кончена, неизвестно, сколько она еще продлится, неизвестно, что станет со школой, возможно, что Курляндия лишь трамплин, что оттуда школу перебросят в Германию... Бросать работу на полпути было нельзя. И теперь Юркин неся рядом с майором Гумовски в темном самолете над гладью Рижского залива и с тоской думал, что жизнь с ним все же обошлась чудовищно несправедливо, что он вынужден бежать тайком со своей земли, словно он и впрямь предатель какой-то, что ему так и не удалось выяснить, куда делась Валя Энно и что с ней стало, что вместо того, чтобы разыскать Лайне, которой, быть может, сейчас больше всего нужна именно его помощь, он должен помогать фашистам в переброске архивов и сохранять эти архивы, причем сидящий рядом с ним немец уверен – совершенно уверен! – в полной преданности Юркина.

– ...Господин Михайлов! – окликнул Юркина Гумовски.

– Да, слушаю, – тут же отозвался Юркин.

– Я хотел спросить... Что вы сейчас думаете? Нет, что вы чувствуете? Ведь вы русский...

– Господин майор, назад пути мне нет. Меня повесят, как только установят мою личность. Даже следствие вести не станут. Мне не о чем думать!

– Господин Михайлов... Я не знаю, что нас ждет... И я должен сказать, что виноват перед вами...

Юркин понял, что у Гумовски наступил тот момент душевной размяченности, который может застигнуть каждого, – только вот время и место не очень подходящие... А впрочем, видимо, именно сейчас майора одолели мрачные предчувствия и он хочет – ему просто необходимо – излить душу. Словом, что ни делается – все к лучшему...

– Передо мной? Вы, господин майор?

– Да, да. Я ведь понял, что вы влюбились в ту радистку. Не отрицайте, не надо, теперь это все равно. Но вы же сильный человек, и вы должны все знать... Я решил это пресечь, для вас могли быть неприятности. И я передал радистку в отряд диверсантов... Их готовил реферат* «Марине». Месяц назад, во время очередных учений, трое диверсантов взбунтовались, захватили катер и ушли в море... На том катере была и фройляйн Валя...

Юркин, не смея поверить в такое чудо, возбужденно спросил:

– И они прорвались к русским?

Гумовски дружески положил ему руку на плечо:

– Нет, не прорвались. Их разбомбили в десяти милях восточнее Таллина. Как обошлись с Энно взбунтовавшиеся матросы, мы не знаем, но это уже всё позади: все они умерли. И ваша фройляйн Валя тоже...

Юркин мог плакать открыто: немец приписал бы его слезы любовным переживаниям и был бы доволен своей проницательностью. Но слез у Юркина не было. И задушить этого немца Юркин не мог, ведь пока шла война, он выполнял свое задание, а Гумовски был частью этого задания. Нет-нет, его надо было не душить, а охранять, изо всех сил охранять.

...Слева в окошках самолета посветлело: занимался новый день. Третий день русского наступления в Эстонии.

Теперь тяжелая машина шла над самой землей. Юркин почувствовал, как они скользнули на левое крыло: летчик закладывал вираж перед посадкой. Вот подпрыгнули на посадочной полосе, покатались. Что случилось потом, Юркин не понял: удар огромной силы бросил его вперед, притиснул правым боком к переборке. Он очнулся, когда в круглых иллюминаторах запыхало пламя вспыхнувших моторов. Машина лежала на брюхе, упершись в землю правым крылом.

Преодолевая боль в плече, Юркин открыл дверь в переборке, заглянул к летчикам – в фонаре было все искромсано, и из перекореженного, сплющенного железа торчала чья-то рука и запрокинутая голова, по мертвому лицу мелькали огненные блики. Юркин кинулся обратно,

* Отделение (нем.).

к бортовой двери, с трудом ее открыл – сразу стало светло. Оглянулся – на полу самолета лежал без сознания Гумовски. Юркин подsunул под него левую руку, подтянул к двери, высунулся – немцы толпились поодаль: к горевшей машине подойти никто, видимо, не решался.

Юркин крикнул:

– Сюда, помогите!

Двое двинулись, но очень медленно, и Юркин крикнул громче:

– Эй, кто из вас самый храбрый?

Те двое пошли скорее; Юркин перекинул им на руки Гумовски, нырнул в самолет и схватил первый попавшийся ящик – хорошо, что их так и делали, на одного человека. В секунду он выкинул ящик из машины, затем второй, третий – больше ему стараться не дали: те двое – они оказались потом солдатами из аэродромной команды – влезли в машину и выкинули его самого. Едва они отбежали метров десять, как рванули бензобаки. Юркин повалился на землю, запоздало закрывая голову левой рукой: правая не действовала, болела нестерпимо.

После второго взрыва он встал, вытащил парабеллум и заковылял к обоим пылающим самолетам, крича:

– Не приближаться! Где охрана? Не приближаться! Где охрана?

Наконец донесся рев сирены: шла машина с охраной. Принимать документы разведшколы. Те ящики, которые не сгорели.

II

Великая Отечественная война окончилась, как известно, 9 мая 1945 года. По крайней мере, любой школьник назовет вам именно этот день. Потому что в этот день капитулировала гитлеровская армия – на земле, в воздухе и на море. Акт капитуляции подписали в ночь с 8 на 9 мая представители всех трех родов войск – сухопутных, военно-морских и военно-воздушных.

Но была еще одна война – война разведок. А представитель РСХА – Главного управления имперской безопасности, куда входил абвер и гестапо, акт о капитуляции не подписывал. И войну эти службы продолжали.

По всей Прибалтике бродили в глухих болотистых лесах банды националистов – латышских айзсаргов, эстонских кайцелитов и бойцов омакайтсе. В годы войны вожди буржуазных националистов прочно связали себя с оккупантами, и немцы, отступая из Прибалтики, оставили в тылу советских войск огромные склады с оружием, руководителей и организаторов банд, инструкции и средства связи. Борьба с этими бандами была жестокой и длилась еще не один год после Победы. Летом 1945 года она только начиналась.

Были в то время у чекистов и другие задачи: надо было выявить среди многих тысяч военнопленных бывших работников немецкой разведки, карателей, изменников; расследовать немецкие злодеяния, найти виновных, предать их суду...

Нет, с Днем Победы боевая страда для чекистов не кончилась. Не кончилась она и для полковника Ляшенко.

В эти первые послевоенные месяцы полковник никаких изменений в нагрузке и не ощутил. Все так же носился он на своей машине и днем и ночью, не зная покоя сам и не давая дремать другим. И, бывая в лагерях немецких военнопленных, без устали разыскивал людей из Таллинской разведшколы. Дело в том, что после второй заброски Юркина в немецкий тыл следы его потерялись. Правда, полковнику удалось установить, что Юркин и Гумовски за два-три дня до освобождения Таллина улетели на самолете в Курляндию, увезли документы школы. За ними следом ушел второй самолет – там будто бы были майор Зольдер и еще кто-то из преподавателей. Но куда исчез Юркин после этого, осталось неизвестным. Ляшенко через наше командование выяснил, что в те дни над Рижским заливом было сбито несколько немецких транспортных самолетов, люди погибли. Но был ли среди этих погибших Юркин – этого полковник Ляшенко не знал.

Пока держался Курляндский мешок, Ляшенко в глубине души надеялся, что Юркин там, в немецком тылу. Но вот бои кончились, немцы капитулировали и здесь, в Курляндии.

Юркин не объявлялся.

И тогда полковник Ляшенко, переждав для верности еще месяц, решил подготовить письмо родителям Юркина – горькие строки, каких немало получали люди в те годы...

С черновиком письма в папке он и выехал в тот день в один из лагерей военнопленных. Лагерь был транзитный, через него просеивали немецких офицеров, отбирая из общей массы бывших гестаповцев, эсэсовцев и работников абвера. Ляшенко знал из показаний уже выявленных гестаповцев, что в этом лагере должен скрываться Николай Кукс – бывший начальник политической полиции, входившей в состав таллинской зондеркоманды – той самой карательной команды, которая вела борьбу против советских партизан и подпольщиков. Но дело в том, что Кукс предусмотрительно запасася документами на имя какого-то армейского офицера, так что найти его в массе военнопленных было совсем не просто.

Просматривая в штабе лагеря списки военнопленных, полковник Ляшенко наткнулся на знакомую фамилию – Петер Иордан. Обер-лейтенант. Служба обеспечения тыла. Но ведь такой псевдоним был и у Юркина! Неужели это он? Да, но последних немцев брали в плен два месяца назад. И этот Иордан, выходит, уже два месяца в лагере. Почему же Юркин, если это он, не дал о себе знать?

Ляшенко, на что уж был выдержанным человеком, разволновался: снял пенсне, достал из кармана носовой платок, машинально протирая стекла, спросил работника фильтрационного отдела:

– Это что за человек? Да вот этот, Иордан? Вы с ним беседовали?

Подполковник пересмотрел дважды записи, потом покачал головой:

– Никак нет, товарищ полковник, еще не успел. Их ведь здесь сколько тысяч – где же мне управиться сразу со всеми?

– А он сам к вам не просился?

– Никак нет, товарищ полковник.

– Да, интересно... Неужели это он? Словом, надо сделать вот что: пусть построят весь барак, в котором он живет. Если это тот, о ком я думаю, то у него, видимо, веские основания вести себя таким образом. Давайте, стройте барак – на аппельплац* выводить не надо, стройте прямо у барака. А я к ним выйду с вашим переводчиком.

* Так в немецких лагерях называлась площадка для проверок и построений. В нашем плену немцы-военнопленные также пользовались этим словом. От них его восприняли наши работники.

Еще через полчаса обитатели барака были выстроены. Подходя к шеренге, полковник Ляшенко еще издали увидел знакомую фигуру Юркина в заношенном немецком мундире – это был он, как говорится, собственной персоной. Только сильно исхудавший.

Подойдя вплотную к строю, Ляшенко увидел, как побелело лицо Юркина, как заходили желваки на скулах.

Ляшенко прошелся перед строем взад-вперед, задал через переводчика несколько общих вопросов, потом спросил: у кого какие претензии? Откликнулось несколько человек, и полковник сказал, что те, у кого есть претензии, могут побеседовать с ним один на один в порядке очереди.

Еще через час очередь дошла и до обер-лейтенанта Петера Иордана.

Когда он вошел, в комнате были полковник Ляшенко, переводчик и офицер из фильтрационного отдела.

Переводчик велел Иордану садиться, подполковник из фильтрационного отдела приготовился записывать претензии, а Ляшенко вышел из-за стола, подошел к поднявшемуся ему навстречу немцу, обнял его и на глазах у ошеломленных офицеров поцеловал – крепко, в самые губы. Потом, не выпуская «немца» из объятий, оглянулся:

– Что смотрите? Думаете, рехнулся полковник? Да я же его год как похоронил! – Снова обернулся к «немцу»: – А ты живой! Петр Михайлович, ведь живой, а? Ай, молодец! – Он наконец выпустил Юркина из объятий. – Садись, садись! Когда ты сюда попал?

Юркин, блестя влажными глазами, немного помолчал, потом усмехнулся:

– Да как Курляндский мешок разгрохали. Я с последними сдался.

– А раньше не мог выйти?

– Никак не мог, Степан Савельевич.

– Что это у тебя с рукой? Горел, что ли?

– Было дело: самолет при посадке врезался.

– Это когда вы из Таллина с Гумовски летели?

– Да, тогда.

– Ну и где они все – Гумовски, Зольдер, Доктор?

– Гумовски в Германию успели отправить, он раненый был, я его из самолета вытащил. Только вот не знаю, прорвался ли их транспорт

через море. Зольдер в последний момент перед вылетом из Таллина из самолета вылез, его Гизевиус с собой забрал, это я от Гумовски узнал. Они, минуя Курляндию, сразу ушли морем в Германию. Доктор и другие преподаватели прилетели вслед за нами. Перед капитуляцией Доктор застрелился, остальные рассеялись кто куда. А Валя Энно погибла...

– Как это случилось? Откуда знаешь?

– Гумовски в самолете сказал... Я после рапорт напишу – там вообще разобраться надо, у немцев вроде наши моряки восстали, из них немцы диверсантов готовили, а они восстали. И Валентина с ними...

– Ладно, пиши, проверять будем. А девушку-то жалко... Да, ты еще не знаешь, ведь майор Алгазин тоже погиб, еще весной: ехал на машине и на банду напоролся... Да, брат, всех жалко – столько хороших людей эта война взяла... Ну, ладно. И почему ты, Петр Михайлович, ему вот не открылся? – Полковник кивнул на офицера фильтрационного отдела.

– Обстановка не позволяла. Тут, в лагере, есть кое-какая сволота с липой. Если б я открылся, как бы я их выявил? Здесь, Степан Савельевич, даже сидит бывший начальник политической полиции таллинской зондеркоманды Николай Кукс!

– Это я, брат, и сам знаю. А вот под каким именем он скрывается, тебе известно?

– Конечно, не зря же я два месяца немцем был!

– Все тогда – кончай маскарад! Больше ты к фрицам не вернешься. Достаточно ты перенес – есть для тебя и другая работа: поставлю на фильтрацию. – И офицеру, не сводившему глаз с Юркина: – А вам бы уж хватит удивляться! Скажите спасибо вот капитану, что он вам матерого душегуба нашел, да бегите скорее за людьми – Кукса немедленно изолировать и завтра же отправить конвоем в Таллин! Будем фашиста судить! А ты, Петр Михайлович, сбрасывай с себя это рванье – я сейчас прикажу тебя побанить, да свою форму выдадим – хватит в чужих погонах ходить! Свои надевай.

Глава двенадцатая

I

Ясным июньским утром 1946 года Юркин вышел из только что прибывшего поезда на таллинский перрон, сияя новенькими золотыми майорскими погонами: перед самым отпуском пришел приказ о присвоении. Да и отпуск-то свалился как снег на голову: то спорил, доказывал, выпрашивал, а то нá тебе, вызвал генерал Ляшенко, сказал, что поступило разрешение предоставлять отпуска, тут же документы в руки – на, езжай на целый месяц, гуляй не хочу!

И вот он – Таллин!

От одной мысли, что ему, быть может, посчастливится найти Лайне, у Юркина перехватило дыхание.

Через час он разыскал адресное бюро, и пожилая нервная женщина через крохотное оконце в толстенной стене выдала ему листок, на котором по-эстонски был написан адрес Лайне Вильбастэ. Что же, эту улицу в районе порта Юркин знал. И он пошел через город пешком.

Все в центре было ему знакомо, все осталось таким же, каким было два-три года назад. После разрушенных немецких и польских городов это казалось чудом. Впрочем, чуда здесь не было: в сорок первом наши вели бои с немцами лишь по внешнему обводу города, оборону держали без малого месяц, а потом морем ушли в Ленинград. Наше же наступление было столь стремительным, что немцы не успели дать бой в городе и поспешно бежали.

...Домик, где жила Лайне, Юркин нашел довольно быстро – маленькое серое двухэтажное здание с деревянной лестницей в темном портале. Юркин поставил на землю чемоданчик, сел на него, закурил... А может, не стоит подыматься вверх? Что же с того, что он приехал? Лайне не обязана его ждать. Даже наверняка не стала ждать... Что за глупость он ей тогда спорол, у парапета Вышгорода! Ну как это – жди немца! После Победы... Конечно, надо было ей открыться... Доложить Ляшенко и открыться. Она бы... Но зайти все-таки надо. Чтобы все стало на свои места. Чтобы потом не казнить всю жизнь.

Он решительно поднялся, подхватил чемоданчик и зашагал вверх по скрипучей лестнице.

В комнате, куда он вошел, никого не было. Потом из другой двери выглянула седая старушка и что-то сказала по-эстонски.

Юркин поставил чемоданчик на пол, снял фуражку, чуть поклонился:

– Здравствуйте! Где Лайне?

Старушка, с удивлением глядя на него, что-то переспросила, но он уловил имя Лайне и радостно закивал, заулыбался:

– Да, да, Лайне, Лайне!

Старушка опять что-то сказала и придвинула стул.

Юркин сел – видимо, надо было ждать.

Старушка села за стол напротив и стала его разглядывать – в глазах так и сквозило то любопытство, то недоумение. Она еще раз попыталась заговорить, но Юркин по-эстонски не понимал.

Наконец на лестнице послышались чьи-то шаги, дверь распахнулась, и на пороге появилась Лайне – ничуть не изменившаяся. Юркин встал ей навстречу – кровь отхлынула от щек девушки, глаза наполнились ужасом. Ведь для нее Юркин продолжал оставаться немцем. И она давно смирилась с мыслью, что никогда больше не увидит Пеэтера. Он умер – по крайней мере, для нее.

Лайне прижалась к стене, шепча:

– Ты? Ты?

Юркин, ничего не понимая, спросил по-немецки:

– Что с тобой? Чего ты испугалась?

– Но ведь кругом русские! Тебя схватят! Где ты достал эту форму? – Она провела пальцем по портупее.

– Это моя форма.

– О, моя бедная голова! Она ничего не понимает...

Что-то сказала старушка. Лайне ей резко ответила, потом подвела Юркина к дивану, села рядом.

– О Пеэтер, это верно твоя форма?

– Ну, конечно, моя.

– А ты не скрываешься?

– Нет, не скрываюсь.

– Но ты же саксланэ?

– Нет.

– Ты русский?

– Да.

– А что ты делал у фашистов?

Глядя в бесконечно дорогое лицо, в полные слез глаза, Юркин вспомнил ее слова, сказанные тогда, в Вышгороде.

– Подумай!

– О Пеэтер! Я сейчас не могу думать! Я ничего не понимаю!

Опять заговорила старушка, и Юркин не выдержал:

– Лайне, что она говорит?

– Она хочет знать, кто ты. А я ей сказала, что ты и есть мой муж, что я считала тебя убитым, а ты вернулся, а она не верит...

– Да откуда она знает про мужа?

– О иссанд юмаль!* Ты же еще ничего не знаешь!

Лайне стремительно вскочила, выбежала на лестницу и тут же вернулась, неся на руках светловолосую девочку.

– Вот, Пеэтер, это наша Марет. Ей уже год и два месяца.

Чувствуя, что его захлестывает волна нестерпимого счастья, Юркин осторожно взял девочку, поцеловал в лобик под синим бантом – девочка что-то залепетала, со смехом потянулась к блестящим золотым погонам.

– Вот беда, Лайне, как же я буду говорить со своей дочкой? Я по-эстонски ни слова, вы с ней русского не знаете.

Старушка подошла к ошалевшему от счастья Юркину, потянула за рукав и что-то сказала – зло и решительно.

Лайне перевела:

– Она спрашивает, твоя ли это дочь?

– Ну, конечно, моя.

– Погоди, Пеэтер. Она говорит: позапрошлый год здесь не было русских и ты не можешь быть отцом девочки. Ты чужой, говорит мать, а эта девочка от саксланэ. Она говорит, чтобы ты отпустил ребенка, сел вон туда и ждал отца. Сейчас придет мой отец, пусть он решает...

* Боже мой! (эст.)

Старик пришел через час – суровый, чуть медлительный рабочий порта. Не обращая внимания на Юркина, ушел в кухню и там долго плескался. Потом вошел в комнату уже переодетым, подсел к столу, положив на белую, аккуратно подштопанную скатерть тонкие, но крепкие руки. Посмотрел на жену, на Лайне: ее так и тянуло к Юркину, но она все-таки умела держать себя в руках!

Наконец старик спросил по-русски:

– Кто вы, как вас зовут?

Юркин улыбнулся:

– Я русский офицер, зовут Юркин Петр Михайлович. Служу в Советской армии, имею звание майора. Может, показать документы?

– Не надо. Мы сейчас пойдем в комендатуру. Если ты отец Марет, значит, ты и есть тот саксланэ, с которым путалась...

Этого Юркин не мог вынести!

– Да, я тот самый! Но я русский! Я выполнял секретное задание, понимаете? Меня послали к немцам, понимаете? Специально послали!

– Не кричи, майор.

– Не могу не кричать! Всю войну я держал сердце в кулаке – больше не хочу. Лайне – моя жена, Марет – моя дочь и хватит с меня допросов! Там, в чемоданчике, лежат две бутылки – давайте лучше выпьем за всех нас, за мою семью! А вы, отец, вы же говорите по-русски. Почему же вы Лайне не выучили?

– Я думал, она со своим немцем убежит, а немецкий она знает лучше меня.

– Ну, кончим, отец. Научимся: я – эстонскому, они – русскому. Лайне, дай, пожалуйста, чемоданчик! – И, ставя на стол две светлые бутылки, вдруг спросил: – А может, все же сходим в комендатуру? Для верности?

Старик усмехнулся:

– Сегодня не надо.

*Новокузнецк – Таллин
1965–1968*

ШУТНИК

Рассказ

Сиверцев молчит.

Он молчит уже целый час – с момента, как его привели ко мне на допрос. И, честно говоря, я не могу понять, что творится в его душе, что прячется за этими неправдоподобно, совсем по-детски синими глазами.

У Сиверцева огромная кудлатая голова и широченные плечи. Я тоже не маленький, но встретиться с ним один на один в темном переулке не хотел бы... Брови Сиверцева иногда сходятся к переносью, потом нервно взлетают вверх, и снова на лице равнодушие. Почему он избрал такую тактику? Нет, не понимаю.

Дело же для меня совершенно ясное: был пьян и вчера на глазах у всей Чувашки перевернул на Мрассу лодку с людьми. Запираться нет никакого смысла: слишком много очевидцев. Этого он не может не понимать. Я листаю их показания – вот они, на столе. Целая кипа. Так что деваться Сиверцеву некуда. И весь мой разговор с ним – нудная, пустая формальность. Надо уточнить детали. Как будто они воскресят погибших. Сиверцев был пьян – не протрезвел, даже когда его самого выудили из воды. Так вот, надо выяснить, где он напился и когда – до того, как брал пассажиров, или после? Видите ли, это нужно для суда.

Вздыхаю и снова принимаюсь за опостылевший допрос:

– Послушайте, Сиверцев!

Он переводит на меня глаза и молча ждет.

– Где вы взяли пассажиров? В Мысках?

Молчание.

– Вы меня слышите?

Молчание.

...Все, кому надо вверх по Мрассу, собираются в Мысках у моста. Так уж издавна повелось. Мост построили в пятьдесят четвертом, когда на восток вели автодорогу. А раньше здесь был паром. Так оно и осталось: хочешь плыть в Тоз, или Мзасс, или в Камешок – иди к мосту. Там к отлогому галечному берегу подлетают лихачи-шорцы на своих

длинных узких лодках, на каких их предки промышляли рыбу и сто, и двести лет назад. Только теперь на корме лодок бензиновый мотор. Бывает, что и леспромхозовские катера людей берут. Да и лесорубы моторами обзавелись: река-то – единственный путь. Все тут гоняют, а лишний рубль почему бы не перехватить?

Ожидающих было трое. Технорук Тозинского участка Базылев – высокий, худой, левая рука на перевязи. Ехал он из больницы и все переживал, что до дому засветло не доберется.

Тут же на двух узлах сидела молодая женщина с пятилетней девочкой на руках, видно, приезжая: и горы вокруг, и зеленая вода с плывущими по ней бревнами были ей в диковинку.

Поодаль, у валуна, курил бухгалтер с Камешковского участка Сатушев, шорец лет сорока. Он был спокоен, потому что Камешок – это на полпути до Тоза, и плыть ему всего-то два часа, и уж кто-кто, а он дома будет...

Снизу, от лесобиржи, подошла леспромхозовская лодка и острым длинным носом уперлась в гальку берега.

Базылев поднялся и обратился к женщине:

– Садите ребенка. Я хоть и однорукий, но с вашим багажом управляюсь.

– Вот спасибо-то!

Базылев не ожидал, что ее тюк окажется столь тяжелым, – повернул к женщине покрасневшее от натуги лицо:

– Ишь, спасибо! Этим не отделаешься! – Бросив тюк в нос лодки, метнулся за вторым, а уложив его, скомандовал: – Давай, Сатушев, пересаживайся к корме! И вы туда же, а я лодку столкну.

Но как ни упирался Базылев, лодка крепко сидела в гальках.

Базылев с досадой спросил моториста, огромного парня с кудлатой головой:

– Багор-то у тебя есть?

– Ну, есть, а что?

– Так помоги, что ли? Видишь, мне не под силу.

– Эх ты, длинный – что с тебя проку? Садись, я сам!

Но тут с моста по откосу сбежал парень в солдатской выгоревшей гимнастерке без погон:

– Эй вы, солдата прихватите!

Базылев и солдат навалились, и лодка, поскрежетав днищем по галькам, пошла. Шагая в лодку, солдат чуть замешкался, зачерпнул воду за голенища сапог.

Моторист дернул шнур раз, другой, третий – лодку медленно сносило к лесобирже, а мотор все молчал. Но вот он судорожно чихнул, окутался сизым дымком и затарахтел...

Вода стремительно несется под вздернутый нос лодки и белой всклокоченной пеной отлетает от кормы к медленно уплывающим берегам. На реке всегда так: если смотреть на воду, так лодка – летит, прямо как самолет. А посмотришь на берега – она вроде и на месте.

Солдат откинулся на тюк, прищурившись, смотрит в небо: там ястреб. Вдруг он резко бросается в пике, и тут же с реки с гомоном и плеском срывается утиная стая. Ястреб взмывает вверх и снова начинает делать круг за кругом.

– Странное все же название у вашего города – Мыски...

Женщина, прижав к груди осоловевшую от жары девочку, осторожно вытягивает занемевшие ноги.

– Отчего так назвали?

Базылев – он сидит спиной по ходу, лицом к женщине – откликается:

– Мыски – холмы, значит. Тут в округе места ровного не сыщешь. Здесь прежде шорский улус стоял, Тетенза, а рядом деревушка русская Бородино. Теперь местные остряки шутят: у нас, мол, Мыски как Москва, только горы наши повыше да Бородино поближе.

Женщина чуть слышно смеется.

– А вы, видать, нездешние? – поворачивается к женщине солдат.

– Нет, из Костромы. Фельдшер я, вот в Тоз с дочкой едем.

– А в тюках-то что? – Базылев машет здоровой рукой за спину.

– Да книги – их только и взяла, остальным, думаю, там обзаведусь.

– Обзаведетесь, конечно, – соглашается Базылев.

Солдат смотрит на славное лицо с чуть курносым носом и как-то чересчур уж безразлично осведомляется:

– Что же одна в такой путь подалась?

Женщина вздыхает:

– Так уж получилось...

– Без мужа, значит? – уточняет солдат.

– Значит, без мужа...

И тут что-то резко бьет лодку по днищу. Накренившись, она черпает воду бортом и тут же выравнивается.

Базылев, инстинктивно вцепившийся здоровой рукой в борт, обрушивается на моториста:

– Ты что, дубина гороховая, не видишь, куда лодку ведешь? Утопить нас хочешь, что ли?

Моторист лениво огрызается:

– Да не бухти ты! Подумаешь, бревно примяли, лодка новенькая, ей эти бревна что семечки.

– А ну, дыхни! Да ты никак пьян?

– Ну, чего там – пьян! По жидкому плыть да жидкого внутрь не принять – такого закона нет.

– Вот паршивец! Все-таки я тебе завтра дам закон!

– Ты?

– Я!

Молчавший всю дорогу Сатушев неприязненно замечает:

– Ты, Сиверцев, не шибко задирайся, а то и вправду в приказ попадешь.

– Да плевал я на ваши бумажные приказы, понял?!

– Пьешь ты шибко, чужих девок больно любишь, силы у тебя много, а голова пустая. Зачем такой зряшный человек живет?

– Ну, это тебя не касается. Твою бабу же я вроде еще не любил.

Шорец с презрением сплюнул за борт:

– Совсем пустой человек. Ты лучше кончай болтать, чаль лодку к берегу, вон в Камешке мой дом виднеется.

...Взяв с Сатушева рубль, моторист минуту-другую молча смотрел, как шорец по мелкой воде бредет к берегу. Потом повернулся к Базылеву:

– Ну что, сойдете, что ли? А то ведь я пьяный, утоплю ненароком.

Базылев молчал. Солдат и женщина ожидающе смотрели на него. До Тоза еще километров пятнадцать. Можно, конечно, и пешком, по берегу. Ну да зачем маяться да и девчущку мучить? Обойдется, поди.

Базылев решился:

– Ладно, заводи мотор, поплыли. Только поосторожней смотри!

Моторист снова закуражился:

– Нет уж, постой. Ты вот законом грозился. А мне сто грамм хлопнуть что кобелю муху схарчить.

Он рванул из кармана куртки бутылку, зубами выдернул пробку и плеснул в рот мутноватую жидкость.

Базылева взорвало от такой великой наглости, он вскочил и здоровой рукой вышиб бутылку. Кудлатый моторист было оторопел, потом мотнул головой, медленно поднялся, исподлобья глядя на Базылева. Солдат понял, что дело может кончиться плохо.

Он выскочил из лодки и, разбрызгивая воду, бросился к мотористу:

– Ну чего ты завелся? Человек тебе дело говорит, а ты в бутылку!

Кудлатый осоловело осел на корме и, глядя на солдата снизу вверх голубыми глазами, опять забубнил:

– А какое он имеет право? Подумаешь, шишка на ровном месте! Да я ему...

Солдат положил на плечи кудлатого тяжелые руки и сказал вполголоса:

– Не лезь, набью при женщине морду, я самбист, понимаешь? Потом каяться будешь.

Ничего этого я пока не знаю. Это станет известно потом, в конце допроса. А сейчас Сиверцев все еще молчит. И лицо у него по-прежнему совершенно безразличное. И вдруг меня осеняет: не хочет ли он прикинуться таким дурачком? Как же я сразу не догадался? Конечно, симулирует психическое расстройство. В жизни это иногда бывает: человек от нервного потрясения лишается рассудка. Я смотрю на могучие плечи Сиверцева, на белые пряди, нависшие над бронзовым лбом: то ли прошлогодний загар не сошел, то ли уже новый пристал? А может, это и не загар, а просто кожа такая смуглая, оттого что вечно на воде да на воздухе. Мысли же бегут дальше: если психическое расстройство, направляю его на экспертизу, а если он и вправду болен – дело прекращать и в суд, и по суду – на принудительное лечение... А

что ему лечение? Разве это наказание?.. Я снова и снова всматриваюсь в безразличное лицо Сиверцева. Взгляд его устремлен куда-то мимо меня. Да нет, не похож он на больного. И молчит зря. Впрочем, теперь я тоже молчу. Мне давно надоела эта бессмысленная карусель: я понимаю, что сегодня от Сиверцева ничего не добьюсь. Так тоже случается: то ли из-за неумения следователя, то ли из-за упрямства допрашиваемого, но бывает...

Ну ладно, сделаем паузу. Напишем-ка пока письмо матери солдата: надо сообщить ей о трагедии. Эта тяжелая обязанность тоже на мне, а Сиверцев пусть пока посидит, подумает.

Я достал из ящика стола документы погибших, разложил на столе. Все отсырело, кроме анодированного портсигара да паспорта женщины: он был завернут в целлофан и перетянут ниткой. Достал часы на сыром ремешке, приложил к уху и услышал мелодичное постукивание. Живет железка, а человека нет... И вспомнилась мне Германия и ясный июньский день сорок пятого года, услышал стук лопат: под Берлином выкапывали тогда из могилы у немецкой деревушки Дебеиц трупы четырех наших танкистов, чтобы перезахоронить их на общее кладбище в Панкове. Танкисты эти нарвались на засаду фаустпатронщиков в один из последних дней войны, второго мая. И когда переносили очередной жиденький дощатый гроб, когда ставили его в грузовик, из щели гроба вдруг посыпались чистенькие, красные тридцатирублевки: танкистам перед Первым мая давали зарплату. И так меня это тогда поразило: пролежали бумажки полтора месяца в земле, а все как новенькие. Старшина неторопливо подобрал их и пачечкой сунул обратно в гроб...

Так ведь то была война!

А здесь? Здесь за что люди погибли?

Негодяй он, этот кудлатый, сволочь и негодяй! И хватит с ним возиться – пора кончать допрос! Я поднял глаза на Сиверцева: он подался вперед и в упор смотрел на стол – на часы, на портсигар...

Лодка, высоко задрав нос с большими буквами «ЛПХ» и цифрой «17», мчалась вверх по реке, к Тозу.

Пассажиры молчали: какие уж тут разговоры, коли на моторе пьяный! Держался, правда, моторист как ни в чем не бывало, и глаза смотрели обычно, и лицо покраснело в меру. Но солдат остался рядом с кудлатым. Известно же: пьяному море по колено, а лужа по уши! Кто знает, что ему в голову взбредет? Так хоть чтобы рядом с ним быть – может, мотор перехватить, если что...

Девочка уже выспалась и теперь, сидя подле матери, то и дело опускала ручки в воду и звонко смеялась, когда радужные струйки окатывали ей локоть, а то и плечо.

Солнце ушло вправо, к западу, и только изредка било длинными косыми лучами сквозь мохнатые пихты на верхушках отступивших от реки гор. Весь правый берег за Мзасской скалой был огромной, местами заболоченной поймой. Скалы теперь перешагнули через реку и громоздились слева – здесь было глубоко даже летом, когда полая вода уходит и когда Мрассу в иных местах переходят вброд. Скалы здесь отвесно уходили под воду метров на двадцать.

Женщина, запрокинув голову, заворуженно смотрела вверх, на сосны, неизвестно как взобравшиеся на уступы скал, на серевший в раселинах снег. Вот уж такого она не видела: в мае – и снег!..

Скалы разом оборвались, отступили от реки, ушли влево; Мрассу разлилась в этом месте широченным полукилометровым плесом, затопила курьи и курьюшки. Базылев – он полулежал на носу, хоть и не смотрел вперед – вдруг весь напрягся: отражатели! Чтобы лес при сплаве не оседал в курьях, слева и справа от берегов наискосок, к середине реки, здесь ставили отражатели, а по-местному – плашкотники: длинные, метров на двести – триста каждая, бревенчатые плети. И если этот пьяный на моторе... Базылев тут же отогнал эту мысль, настолько она была несурзадной.

Вот и первый отражатель – лодка прошла метрах в тридцати от конца. Вдоль него бежали веселой гурьбой бревна. Отражатель поднимается над водой сантиметров на десять, но под водой – Базылев это знал – уходит на толщину двух бревен, и если лодка ненароком налетит...

– Так что вы хотите сказать, Сиверцев?

И тут он, оторвав взгляд от моего стола, откликнулся:

– Эх, да разве ж вы поверите? Я ведь не этого хотел, не этого! Если бы я знал! – И он безнадежно махнул лапищей.

– Так чего вы хотели?

Сиверцев, видимо, проглотил застрявший в горле комок – кадык у него дрогнул – и заговорил торопливо, помогая себе руками, словно боялся, что не успеет договорить:

– Попугать я хотел – того, однорукого! Чтобы не задибался! Думал, трякну лодку, он с лица побелеет, а я засмеюсь и потом, мол, донимать стану. Где встречу, так и попомню, как он от толчка с лица сменился, а еще меня, мол, взгреть собирался!

Я даже растерялся – настолько это дико звучало.

– И ради этого – все?

– А что? Зачем же он меня при бабе позорил?

– Послушайте, Сиверцев, ведь вы женаты?

– Женат. И дочка тоже есть.

– Вот-вот. А была бы в лодке ваша дочка – тоже бы так пошутили?

Оглянувшись, Базылев увидел набежавшие на косогор дома деревушки Чувашки, до Тоза оставалось совсем немного. Моторист все так же молча заложил вираж: берега стали описывать круг. И вдруг удар, треск, чей-то вскрик – и все оказались в воде. Просто сидели на скамейках, под ногами было дно лодки, и вдруг его не стало.

Солдат вынырнул сразу, оглянувшись – его уже отнесло от отражателя, на который налетела лодка. Рядом плыла белая панамка девочки, и он нырнул туда под панамку, где в зеленоватой мути белело платице. Рывок, еще рывок, подхватил ребенка и вынырнул – отражатель был теперь уже метрах в ста.

С берега наперерез ему шла лодка, на носу которой стоял с шестом шорец.

– Эй, эй, давай сюда-а! – летело над головой солдата.

Чувствуя, что ноги сводит судорогой – майская вода была нетерпимо ледяной, – солдат с девочкой начал грести в сторону лодки. Метрах

в тридцати впереди размашистыми саженками плыл кудлатый моторист. Лодка шла к нему, и лишь когда моторист влез в нее, повернула к полузахлебывающемуся солдату: он держался из последних сил.

– Да ты, парень, с ребенком? – удивился шорец. – Чего молчал?

Девочку подхватили, и тут острая боль пронзила поясницу солдата. Он погрузился в воду, прошел под другим отражателем, вынырнул еще раз, опять ушел под воду и поплыл, широко раскинув руки и уже не видя, что немного в стороне несет захлебывающегося Базылева и вцепившуюся мертвой хваткой в его шею женщину...

Я дописал протокол, но Сиверцев его читать не стал:

– Не могу – верите? – не могу. Как девчонку-то откачали, она как закричит: «Мамынька! Мамынька!» До сих пор этот крик слышу.

Я пододвинул к нему протокол:

– Подписывать-то надо, Сиверцев!

– Да я вам что хотите подпишу, только бы крика этого не слышать.

– Эх, сказал бы я вам, Сиверцев, кто вы есть, да жаль, должность не позволяет!

Он криво усмехнулся:

– То ли я сам не знаю? Давайте, где подписывать?

1968

Вадим Рудин, Екатерина Тюшина

СЛЕДОВАТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ ВИЛЬ РУДИН

Вилю Григорьевичу Рудину не пришлось воевать на фронтах Великой Отечественной войны. И тем не менее его относят к писателям-фронтовикам. Сын кадрового офицера, погибшего в марте 1942 года на Калининском фронте, хорошо говорил по-немецки и в 1944 году был направлен в Московскую спецшколу. Непосредственно с войной ему довелось соприкоснуться в июне 1945 года, когда по окончании спецшколы он прибыл в Берлин и был включен в состав оперативной

группы в г. Бабельсберге по обеспечению безопасности Потсдамской конференции; и в дальнейшем в течение семи лет службы в Восточной Германии Виль Рудин принимал участие в расследовании преступлений, совершенных нацистами, предателями, переметнувшимися на сторону фашистов, диверсантами, агентами вражеских разведок.

С 1952 года жизнь Вилия Рудина была связана с Кузбассом. Работая следователем в органах КГБ и УВД в Новокузнецке и Кемерове, он начал писать повести и рассказы. Его первый рассказ «В дороге» опубликовала в 1954 году областная газета «Кузбасс», а в 1960 году рассказ «Половодье» напечатал журнал «Огни Кузбасса». Рассказ «Взгляд в сердце» вышел в 1956 году в журнале «Смена», впоследствии переведен Шунилем Боттачаржи на бенгальский язык и опубликован в журнале «Нирикха» № 4 за 1957 год (г. Калькутта, Индия).

Так, параллельно с профессиональной деятельностью, начался новый этап в жизни В. Г. Рудина – литературный. В своей рекомендации в 1975 году поэт Михаил Небогатов написал: «...Виль Рудин пришел к читателям со своей темой, со своим словом о жизни и людях...» И действительно, знакомясь с произведениями Рудина, невольно обращаешь внимание на глубокое знание материала, на достоверность описываемых событий, что, наряду с живым словом, придает повествованию особую убедительность. Герои его повестей – это люди, которые действуют, как правило, в острых обстоятельствах, испытывающих человека на излом.

С 1953 года Виль Рудин начал работу над повестью «День “Икс”». В повести рассказывается о трагических событиях в ГДР 17 июня 1953 года, когда экономические выступления рабочих в Восточном Берлине переросли в политическую забастовку против правительства ГДР. В 1959 году повесть была напечатана в газете «Комсомолец Кузбасса» и журнале «Сибирские огни». В 1961 году в Кемеровском книжном издательстве повесть вышла отдельной книгой. Кандидат филологических наук Анатолий Микешин отметил, что автор социально-политической повести «не лишен литературного дарования», «обладает умением создавать острый, динамичный сюжет и держать развертывание действия в постоянном напряжении», «повесть привлекает сво-

ей архитектурной слаженностью. В ней почти нет композиционной рыхлости – качество, не столь часто встречаемое у начинающих писателей», «запас жизненных впечатлений» позволил автору создать «правдивую картину жизни ГДР» (Огни Кузбасса. 1960. № 13).

В 1966 году молодой прозаик был участником Зонального семинара молодых писателей Западной Сибири и Урала, который проходил в Кемерове с 29 мая по 6 июня.

В 1960-х годах Рудин работал и над другими произведениями. Повести писались по живой памяти, по впечатлениям от увиденного и услышанного. При работе он использовал материалы, хранившиеся в архивах: рапорты и донесения, справки о том, кто и где работал, протоколы допросов бывших курсантов разведшколы абвера. В центре его произведений – бойцы «незримого фронта»: чекисты, разведчики, работники правоохранительных органов. Свои знания немецкого языка Рудин использовал при переводе «Песни о нибелунгах» по прозаическому пересказу Г. А. Штолля и отрывка из романа Вилли Бределя «От Эбро до Волги». Переводы «Песни о нибелунгах» вошли в повесть Рудина «Зажми сердце в кулак!», над которой писатель работал в 1965–1968 годах. «Песнь о нибелунгах» с упоением декламирует один из героев повести – нацист капитан Гумовски как доказательство силы духа германской нации.

В повести «Зажми сердце в кулак!» с большой достоверностью рассказывается о скрытой работе советских военных разведчиков в Прибалтике во время Великой Отечественной войны. Главный герой повести – сибирский парень Петр Юркин. В Таллинской разведшколе у немцев он господин Михайлов, обер-лейтенант Петер Иордан. После войны Петр Михайлович, герой-разведчик и майор запаса, работает директором сельской школы. Ради правдивости изображаемых событий Рудин посетил Таллинскую разведшколу абвера. Побывал в баронском имении, где располагалась разведшкола, походил по узким улочкам Вышгорода, съездил на полуостров Вимси. Посмотрел, какие там были здания, где курсанты учились рвать взрывные патроны. Узнал, как строился быт в школе, какие сложились взаимоотношения между курсантами – русскими изменниками и немецкой службой,

какую форму носили курсанты, какие заведения посещали в Таллине немцы и какая была обстановка в городе в 1942–1944 годах. Встречался Рудин с очень разными людьми, в том числе и с теми, кто носил в войну вражескую форму.

В 1970 году Виль Рудин вновь побывал в ГДР, увидел Берлин, Потсдам и Дрезден, поездил по автострадам, побродил по дворикам Вартбурга, по бесчисленным аллеям парка Сан-Суси; встретился с людьми, пережившими войну, заглянул в глаза тех немцев, для которых русские стали друзьями. Благодаря увиденному Рудин написал путевые очерки и сделал на телевидении серию передач о ГДР. Очерк В. Г. Рудина «Снова на немецкой земле» был опубликован в журнале «Огни Кузбасса» (1971, № 4).

Часть материала, наряду с накопленным за годы службы и архивными документами, легла в основу очередной повести – «Пять допросов перед отпуском», изданной Кемеровским книжным издательством в 1974 году. Книга посвящена событиям в восточной зоне оккупации Германии, возникновению Германской Демократической Республики. На этом фоне дается история любви советского майора Хлынова и немецкой певицы Карин Дитмар. В повести убедительно показана общественная атмосфера Германии тех лет, настроения рядовых немцев, подлинный гуманизм советских воинов-освободителей. Хлынов, став объектом провокации вражеской разведки, с честью выдерживает трудные испытания.

В период с 1976 по 1988 год Вилем Рудиным создана трилогия: «Тропа над пропастью» (1980), «Между вчера и завтра» (1984), «Преодоление» (1988) – о событиях, происходивших в Горном Алтае в период коллективизации и в Западной Белоруссии после ее воссоединения с СССР и во время Великой Отечественной войны. Все три повести объединены главным героем – Семеном Васильевичем Гуриным. В первой повести он райуполномоченный ОГПУ, становление которого как чекиста и как личности проходит в борьбе с кулацким политическим бандитизмом в Горном Алтае. Вторая повесть продолжает рассказ о С. В. Гурине, на плечи которого в 1939–1940 годах легла борьба с антисоветскими происками на территории Западной Бело-

руссии. В центре повествования третьей повести – коммунист Гурин, заместитель начальника управления НКГБ по Белостокской области накануне нападения на СССР фашистской Германии и в первые дни войны. Созданию трилогии предшествовала большая исследовательская работа в архивах Горно-Алтайска, Новосибирска, Минска, Гродно. Автор много раз бывал в местах описываемых событий, встречался с десятками людей. Правдивое, честное изображение трагических событий, яркие судьбы героев вызвали интерес читателей; за первые две книги трилогии в 1986-м ему присуждена литературная премия КГБ СССР и Союза писателей СССР.

Тема Гражданской войны нашла отражение и в созданной в 1990–1995 годах на основе архивных разысканий многоплановой исторической трилогии «Три года дьявольщины» о событиях 1919–1921 годов на Северном Урале и в Западной Сибири. Первая книга «Земной круг» издана в 1996 году издательством «Ковчезек», а вторая («Волею небес») и третья («Судьбы людские») подготовлены после смерти писателя по рукописям и вышли в свет в 2004 и 2012 годах. Первая книга романа рассказывает о любви бывшего колчаковского штабс-капитана Николеньки Силина и юной послушницы Неонилы, пытавшихся найти тихое, спокойное место в дьявольской круговерти тех лет. Во второй книге продолжено повествование о суровых и трагических годах: ее главный герой тоже бывший колчаковский штабс-капитан Ливанов Алексей Лукич, друг и однокашник Николеньки Силина, волею судьбы принявший командование ротой Красной армии. В книге третьей непростые судьбы Алексея Лукича Ливанова и Николая Петровича Силина получают дальнейшее развитие.

В 2018 году издательство «Престиж Бук» (Москва) в серии «Ретро библиотека приключений и научной фантастики» выпустило двухтомник произведений В. Г. Рудина, в который вошла и указанная трилогия. В аннотации к первому тому составители написали: «Как военный следователь он располагал огромными знаниями по военной и криминальной истории России, что в сочетании с неординарным художественным дарованием делает его роман “Три года дьявольщины” одним из драгоценных полотен, где поистине с толстовским масшта-

бом разворачиваются события Гражданской войны 1919–1921 годов. Рудину удалось преодолеть каноны, по которым автору полагалось почувствовать лишь одной сражающейся стороне, его герои – красные и белые – неизменно остаются живыми русскими людьми».

Кузбасский классик Владимир Мазаев отметил, что «роман “Три года дьявольщины” стал... лучшей работой писателя, именно в нем документальность крепко сливается с остросюжетностью и добротной художественностью».

Значительное место в творчестве Виля Григорьевича Рудина занимает Великая Отечественная война. По материалам Центрального архива Министерства обороны СССР им написаны и вышли в свет в издательстве «Притомское» три документальные повести о наших земляках, героях той войны.

Первая повесть «Солдат божьей милостью» (1991) о необычайной судьбе кузнецанина Николая Григорьевича Ушакова, который, командуя артиллерийской бригадой, в сражении на Курской дуге потерял правую руку. Однако, верный долгу советского офицера, вернулся в строй, вступил в командование гвардейской минометной бригадой, воевал в Белоруссии и Польше, форсировал Вислу и Одер, штурмовал Рейхстаг, стал Героем Советского Союза и генералом.

Столь же славный и трудный путь прошел и его старший брат – Ушаков Евгений Григорьевич, гвардии генерал-майор, о котором рассказано в повести «Судьба солдата», вошедшей в сборник «Судьбы солдатские» (1993). В аннотации составитель сборника С. С. Плетнев пишет: «...В. Рудин сумел проследить и показать, как от боя к бою раскрывается его герой, растет его мастерство военачальника, как восходит он по ступенькам: начальник штаба полка, командир полка, командир гвардейского полка, командир дивизии...»

Третья повесть «Испытание боем», по мнению составителей, займет особое место среди тех пяти книг о войне, которые создал Виль Рудин. В повести ярко, профессионально рассказывается о том, как «В. И. Полосухин, тридцативосьмилетний полковник, постигавший военное искусство в кратком промежутке между войнами Гражданской и Великой Отечественной, наделенный от природы бесспорным даром круп-

ного военачальника, словно бы всю жизнь, все 20 лет военной службы готовился к тем пяти мгновеньям, тем пяти дням в октябре 1941 года, когда он и его 32-я дивизия держали позиции на Бородинском поле... Конечно, в гигантской битве за Москву явлен был высочайший героизм сотен тысяч советских воинов, и 32-я дивизия Полосухина всего лишь одна из многих уральских, сибирских, дальневосточных дивизий. Но на Бородинском поле, поле русской славы, досталось стоять именно ей – дивизии Полосухина. И стойкость ее на Шевардинском редуте, на Багратионовых флешах, у Семеновского оврага забыта быть не может. Никогда... Писательское сердце не хочет допустить, чтобы “овладел нами грех беспамятства”. Можем добавить: без памяти о подвигах старших поколений народ теряет себя. Допустить это мы не вправе».

В последние годы жизни В. Г. Рудиным подготовлена к изданию книга «Полк майора Иванова» о 486-м Кузбасском Бранденбургском артполке, прошедшем в дни Великой Отечественной войны с боями от Наро-Фоминска до Берлина. К сожалению, в полном объеме книга в свет не вышла, а отрывки из нее были опубликованы в газете «Кузнецкий край» (№ 52 от 15 мая 1997 года, № 130 от 10 ноября 2001 года).

В личном фонде В. Г. Рудина есть материалы о Ф. Э. Дзержинском: киноповесть «Маршал “хлебного корпуса”», а также киносценарий по этой повести. По ней планировалось снять фильм, но не случилось.

Несмотря на загруженность, Виль Рудин продолжал писать рассказы и выступил одним из инициаторов создания и редактором трех сборников о буднях кузбасской милиции: «Милицейская служба такая», «Каждый день – подвиг», «Долгая ночь», в которых пробовали свои писательские силы его сослуживцы.

Материалы из следственной практики Рудина вошли в рассказы «Горотделовская чертовщина» (первоначальное название – «Дела энкавэдэшные»), «Жестокий век», «Из воспоминаний начальника НКВД», «Память горькая, память светлая», «Пахучая трава – серая чума» («Травка»), «Дела давно минувших дней» («Ефимок с при знаком»), «Простое дело», «Неожиданная встреча», «Не зарубцевалось» и др.

На кузбасской земле происходят события в остропсихологическом рассказе «Шутник». Добраться из Мысков до нужного поселка

в Горной Шории непросто. Многие вынуждены добираться на попутной лодке по бурной горной реке Мрассу. Трагически закончилась поездка героев рассказа, оказавшихся в лодке, которой управлял пьяный ухарь-моторист. Три человека стали жертвами его бездумного поступка, когда он хотел лишь немного напугать одного из пассажиров, пошутить над ним.

Много времени Виль Рудин уделял журналистике. В 1981 году вступил в Союз журналистов СССР. Его перу принадлежат очерки, опубликованные не только в различных изданиях Кузбасса и Сибири, но и в московском журнале «Смена», в московском географическом календаре-ежегоднике «Земля и люди» (1970).

Тема репрессий представлена в очерках «Два года “ежовых рукавиц”» (первоначальное название – «Из былого»), «Репрессии среди членов Кемеровской партийной организации», «Слово правды», в рассказе «Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы» и др.

В соавторстве с историком-краеведом И. Скворцовым был написан сказ об истории образования Кузнецкого края «Кузнецкий острог». А с журналистом Ф. Ягуновым – пьеса «Красная Горка» (другое название – «Кемеровское дело»). Статьи В. Г. Рудина «Дело “Боевого штаба объединенных сил”», «Дело детей», «Дело Н. Г. Халецкого», «Дело “Сибирского правотроцкистского центра”», «Дело Шорской националистической организации» и другие включены в «Историческую энциклопедию Кузбасса».

Как журналист Виль Рудин сотрудничал не только с печатными изданиями. В личном фонде Рудина сохранились машинописные тексты к циклам телепередач «Города и страны», «Слово правды», «Память», «Кузбасс литературный», «Связь времен», «Прикосновение к добру», «Вечный огонь интернационализма», тексты телепередач о Германской Демократической Республике и развитии туризма.

Являясь членом Союза писателей СССР с 1982 года, Виль Рудин вел активную писательскую и общественную работу. Был участником всесоюзных совещаний по научно-фантастической, приключенческой и детективной литературе в 1976 и 1979 годах, принимал участие в работе VII съезда писателей РСФСР, который проходил в Москве в де-

кабре 1990 года. Несколько лет Виль Рудин представлял Кемеровскую писательскую организацию в Консультативном совете политических партий и общественных организаций, отстаивал позиции гражданского мира и согласия.

Военный следователь, сотрудник госбезопасности и органов внутренних дел, Виль Григорьевич Рудин работал над своими вещами долго, погружаясь полностью в тему, изучая материалы, стараясь узнать как можно больше. Дорабатывал и переделывал произведения по нескольку раз, тщательно работая над каждой строчкой, каждым словом. Книги Рудина нашли своего читателя и продолжают жить и после смерти автора. Он мог бы сделать еще немало, буквально до последних дней упорно работал над воплощением творческих замыслов.

В 2005 году Владимир Мазаев написал: «В жизни Виль Григорьевич был непоколебимым оптимистом. Помню, он любил цитировать крылатое выражение: “Лучше зажечь одну-единственную свечу, чем проклинать темноту”. И сам следовал этому правилу всю жизнь. Свидетельство тому, что писатель Виль Рудин зажег свою свечу и она горит, – это его замечательные книги, которые он оставил нам с вами».

Справедливость этого высказывания наглядно подтверждается переизданием книг Вилия Рудина, пользующихся неизменным спросом у читателей.

Вадим Рудин

БИОГРАФИЯ ВИЛЯ РУДИНА

Виль Григорьевич Рудин родился 25 мая 1925 года в городе Очакове (Одесская область, Украинская ССР). Его отец, Григорий Борисович Рудин (1900–1942), был командиром войск пограничной охраны ОГПУ; семья постоянно кочевала по пограничным заставам западной и юго-западной границы СССР. Мама Вилия Григорьевича, Анна Семеновна Рудина (в девичестве Верховская), родилась в 1900 году, а умерла в 1953-м.

В 1929 году, после окончания Высшей пограничной школы ОГПУ, Григорий Борисович был направлен для прохождения службы в г. Во-

лочиск, на советско-польскую границу. Там в январе 1930 года в семье Рудиных родилась дочь Лена. В следующем году семья переехала на постоянное жительство в Москву, куда Григорий Борисович был переведен на службу в ЦШ НКВД. В 1933-м родился еще один сын – Леонид.

Все годы взросления Виль жил в среде военных, постоянно слышал разговоры о предстоящей войне, бывал вместе с отцом в военных лагерях и для себя жизни вне военной службы не представлял. В 1932 году он пошел в подготовительный класс 231-й школы и в 1940 году, окончив семилетку, поступил в 3-ю специальную артиллерийскую школу. Григорий Рудин в это время являлся слушателем Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. В августе 1941 года в связи с начавшейся Великой Отечественной войной Григорий Борисович, не окончив академии, получил назначение на должность начальника штаба 380-й стрелковой дивизии, формирувавшейся в г. Славгороде Алтайского края. В ноябре 1941-го отбыл с дивизией на Калининский фронт, а 4 марта 1942 года при авиационном налете Григорий Рудин был смертельно ранен осколком авиабомбы.

Виль Григорьевич в это время находился в г. Прокопьевске, куда в октябре 1941-го была эвакуирована специальная артиллерийская школа. После окончания в 1943 году артиллерийской школы Виль Григорьевич был призван Прокопьевским горвоенкоматом в Красную армию и направлен для продолжения обучения в 3-е Ленинградское артиллерийское училище, базировавшееся в Костроме. В феврале 1944 года, желая пойти по стопам отца, Виль Рудин подает рапорт на имя народного комиссара государственной безопасности с просьбой перевести его на работу в органы НКГБ. Он становится курсантом Высшей школы НКГБ СССР, которую окончил в июне 1945 года по специальности «оперативный переводчик немецкого языка». По окончании школы был направлен в Германию, где с июня по октябрь 1945-го проходил службу в составе оперативной группы НКВД в Бабельсберге по обеспечению безопасности Потсдамской конференции, а затем по июль 1952 года – в аппарате уполномоченного НКВД СССР (МГБ СССР) в Германии, сначала в качестве переводчика немецкого языка, а затем следователя и старшего следователя.

В 1951 году, узнав, что его мама серьезно больна онкологическим заболеванием, Виль Григорьевич подал рапорт на имя уполномоченного МГБ СССР в Германии с просьбой перевести его на службу на территории Советского Союза, и в 1952 году он был откомандирован в распоряжение УМГБ Московской области. Но поработать там ему не довелось. Как указано в автобиографии В. Г. Рудина, «ввиду реорганизации и сокращения штатов, УМГБ МО не могло использовать меня на соответствующей работе, и в связи с этим я по распоряжению Управления кадров МГБ СССР был направлен в УМГБ Кемеровской области».

С этого времени жизнь Виля Григорьевича Рудина неразрывно связана с Кузбассом. До февраля 1959 года он служил в должности старшего следователя в УМГБ (УКГБ) по Кемеровской области. В марте 1959-го перевелся на должность старшего следователя оперативного отдела Управления Южкузбасслага МВД в Сталинск (ныне Новокузнецк), а в июле 1969 года был назначен начальником учебного пункта УВД Кемеровского облисполкома. В 1973 году стараниями Виля Григорьевича учебный пункт был преобразован в Межобластную школу подготовки младшего и среднего начальствующего состава, начальником которой он прослужил до сентября 1976 года, когда в звании подполковника милиции вышел в отставку по состоянию здоровья.

За годы службы награжден двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За победу над Германией», «800 лет Москвы», «30 лет Советской армии и Флота», «40 лет Вооруженных сил СССР», «За безупречную службу» II степени, «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет советской милиции», «50 лет Вооруженных сил СССР», «100 лет со дня рождения В. И. Ленина». В 1978 году В. Г. Рудину вручена медаль «Ветеран труда», а в 1995 году медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Виль Григорьевич Рудин стал отцом троих детей. Дочь от первого брака с Галиной Васильевной Адовой, Софья (1949 г. р.), проживает в настоящее время в Москве. В браке с Розой Петровной Рудиной (1935 г. р., в девичестве Козлова) в 1955 году родился сын Игорь, а в 1957 году – сын Вадим. Вдова и оба сына живут в Кемерове.

С первых лет в Кузбассе Виль Рудин начал заниматься литературной деятельностью. Еще в 1952 году он был избран членом редколлегии газеты «Дзержинец» УМГБ КО и сам начинает писать рассказы.

С целью повышения своих знаний Рудин поступил на заочное отделение Новокузнецкого педагогического института, успешно окончив его в 1962 году.

В эти же годы опубликованы рассказы «Простое дело» и «Шутник» в сборнике «Встречный бой: рассказы о работниках милиции» (1968), а также очерки «Из россыпей колыванских...» (1967), «О денге копейной (о происхождении монеты на Руси)» (1968), «Как на Руси делали деньги» (1970) в сборнике «Земля и люди», очерки «Снова на немецкой земле» (1971), «Память горькая, память светлая» (1985).

В период с 1976 по 1988 год написана трилогия: «Тропа над пропастью», «Между вчера и завтра», «Преодоление» – о событиях в Горном Алтае во время коллективизации и в Западной Белоруссии после ее воссоединения с СССР и в войну. За первые две книги трилогии автору присуждена литературная премия КГБ СССР и Союза писателей СССР.

Наряду с этим им отредактированы и составлены еще два сборника рассказов о милиции: «Каждый день – подвиг» (1985) и «Долгая ночь: рассказы о милиции Кузбасса» (1988). В журнале «Огни Кузбасса» в 1986 году опубликована киноповесть «Маршал “хлебного корпуса”».

С 1976 по 1980 год Виль Рудин работал внештатным корреспондентом областной газеты «Кузбасс». Печатался под псевдонимами В. Димов и В. Григорьев. В 1981 году вступил в Союз журналистов, а в 1982 году его приняли в члены Союза писателей СССР. В 1985 году В. Г. Рудину присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

В 1990-х годах издана первая книга исторического романа «Три года дьявольщины» о событиях 1919–1921 годов на Урале и в Западной Сибири и подготовлены рукописи второй и третьей книг.

Кроме того, по материалам ЦАМО РФ изданы документальные повести о кузнечанах, героях Великой Отечественной войны: «Солдат

божьей милостью», о непростой судьбе Николая Григорьевича Ушакова, генерал-майора артиллерии, Героя Советского Союза; «Судьба солдата», о жизни гвардии генерал-майора Евгения Григорьевича Ушакова; «Испытание боем», о полковнике Викторе Ивановиче Полосухине, командире 32-й стрелковой дивизии, оборонявшей осенью 1941 года подступы к Москве на Бородинском поле.

В эти же годы В. Рудин систематически выступал в различных изданиях Кузбасса и Сибири как публицист; его перу принадлежат очерки, созданные на основе материалов архивов КГБ. В частности, в 1990 году в журнале «Сибирские огни» № 6 опубликован очерк «Слово правды» о фальсификации в 1937 году работниками Сталинского ГО НКВД уголовного дела на Н. Г. Халецкого, главного электрика Кузнецкого металлургического комбината, и группу инженерно-технических работников. Этот очерк перепечатывался другими изданиями Кемерово и Новокузнецка. Увидели свет очерки «Сопrotивление произволу» (альманах «Разыскание», 1992, № 2), «Два года “ежовых рукавиц”», «Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы», цикл «Дела энкавэдэшные» и др.

В последние годы жизни подготовлена к изданию книга «Полк майора Иванова» о 486-м Кузбасском Бранденбургском арtpолке, прошедшем в дни войны от Наро-Фоминска до Берлина.

Очень тесно сотрудничал Виль Григорьевич с Кемеровским телевидением. За цикл телепередач «Вечный огонь интернационализма» в 1981 году Рудин становится лауреатом премии им. В. Мартемьянова.

Являясь активным членом Всесоюзного общества «Знание», В. Г. Рудин выступал с лекциями о международном положении во всех городах и районах области. В университете марксизма-ленинизма преподавал «Основы ораторского искусства». В более узких аудиториях читал специально подготовленные лекции: «Борьба с десантами и диверсионно-разведывательными формированиями противника», «Основание и порядок применения оружия работниками органов внутренних дел» и др. Награжден знаком «За активную работу» правления Всесоюзного общества «Знание».

Виль Рудин был человеком неординарным: отличный шахматист, заядлый нумизмат и филателист, участник художественной самодея-

тельности, солист хора, волейболист, знаток и любитель старинной русской народной спортивной игры городки... Творческая энергия кемеровского писателя и журналиста проявляла себя и в многообразных увлечениях. В 1990-х годах работал директором издательства «Ковчежек».

В течение ряда лет Рудин представлял Кемеровскую писательскую организацию в Консультативном совете политических партий и общественных организаций, отстаивал позиции гражданского мира и согласия.

В 1996 году В. Г. Рудин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени – за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

Виль Григорьевич Рудин ушел из жизни 3 июня 1997 года. Похоронен в Кемерове на Центральном кладбище (слева от домика смотрителя). На могиле установлен памятник из серого гранита с рельефным изображением портрета писателя на фоне титульных страниц его книг. Над созданием памятника работал кемеровский скульптор Алексей Хмелевской. Им же изготовлена мемориальная доска, открытая 30 октября 1998 года на доме № 2 по улице Красной, где жил писатель.

В Государственном архиве Кемеровской области создан фонд В. Г. Рудина (Р-1240), в который вошли материалы его книг, рукописи, фотодокументы, письма. Документальные материалы были переданы на хранение в ГАКО лично Рудиным в 1995 году и в дальнейшем пополнены его вдовой Розой Петровной Рудиной.

Книги Вилия Григорьевича Рудина:

День «Икс» : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1961. – 265 с.

Зажми сердце в кулак! : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1969. – 166 с.

Пять допросов перед отпуском : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1974. – 208 с.

Тропа над пропастью : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1980. – 255 с.

Между вчера и завтра : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1984. – 284 с.

Преодоление : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1988. – 382 с.

Солдат божьей милостью. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1991. – 204 с.

Испытание боем : документальная повесть о Викторе Ивановиче Полосухине. – Кемерово : Притомское, 1995. – 247 с.

Три года дьявольщины : роман. Кн. 1. Земной круг. – Кемерово : Ковчежек, 1996. – 319 с.

Три года дьявольщины : роман. Кн. 2. Волею небес. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2004. – 323 с. : портр., ил.

Три года дьявольщины : роман. Кн. 1. Земной круг. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2012. – 310 с. : ил.

Три года дьявольщины : роман. Кн. 3. Судьбы людские. – Кемерово : Кузбассвуиздат, 2012. – 245 с. : ил.

Тропа над пропастью. Между вчера и завтра : повести. Произведения в 2 т. Т. 1. – Москва : Орион, 2016. – 600 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики).

Преодоление : повесть. Произведения в 2 т. Т. 2. – Москва : Орион, 2016. – 492 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики).

Три года дьявольщины. Произведения в 2 т. Т. 1. Три года дьявольщины. Кн. 1, 2. – Москва : Престиж Бук, 2018. – 576 с. – (Ретро библиотека приключений и научной фантастики).

День «Икс». Произведения в 2 т. Т. 2. Три года дьявольщины. Кн. 3 ; День «Икс» ; Зажми сердце в кулак! – Москва : Престиж Бук, 2018. – 528 с. – (Ретро библиотека приключений и научной фантастики).



Любовь Трофимовна Скорик

*14 июня 1938 г., Днепропетровск – 11 ноября 2012 г., Кемерово.
Прозаик, журналист. Член Союза писателей СССР
с 1988 года.*

ПАРНИШОНКА

Шалаевка – деревенька малая. Летом, чтоб дождями не смыло, огородами в землю вырастет. Зимой, боясь в сугробах утонуть, толстыми дымами за низкие прочные облака цепляется.

Основательно, нешумно и неспешно живут шалаевцы. От шума да быстрины уберегла их сама судьба, проложив дороги минуя Шалаевку. Да и куда бы дорогам тем идти через нее? Притулилась она у самой тайги нескончаемой. А с безлесной стороны обложили Шалаевку болота. И не за тридевять земель город, а доберешься до него не вдруг. Только несусветная нужда заставляет шалаевцев проделать этот путь. Да и городские здесь редкие гости. Жизнь в Шалаевке до времени текла размеренно и ровно, как тихая и покладистая речка Инюшка.

Впрочем, началось все как раз с Инюшки. Видать, долго, скрытно готовила она свое черное дело. А потом единым махом, с алчностью, до того за ней не примечаемой, отхватила кусок берега с трактором, там стоящим, и молодым трактористом Андрюшкой Сафоновым. Пока на крик перепуганных ребятишек прибежали мужики, пока землю откидывали, задохся Андрюшка. Насовсем задохся.

Нечасто приходится шалаевцам молодых в землю укладывать. Крепкие да дюжие, они почитай все доживают до той поры, когда, приготовившись в последнюю дорогу, спокойно ждут своей минуты. Смерть Андрея больно стегнула всех. Сама Сафониха враз из справной еще бабы обратилась в трухлявую старуху, задубелую лицом и нутром. Она никак не могла заплакать – слезы искипали, не дойдя до глаз, и все встряхивала головой, словно хотела скинуть неудобно повязанный платок.

Парни, Андреевы приятели, на все смотрели с недоумением, по молодости не умея понять смерть и не веря в нее до конца. Следом за бабами тоненько и надрывно голосили девчонки. С кем-то из них, видать, Андрюха уже целовался.

Удивила же всех Нюрка – соседка Сафоновых. Не девка еще – девчонка. На гуляньях пока в стороне стоит: не приспела пора с парнями хороводиться. Однако по всему было видно, что со временем вызреет

из нее девка – погибель не одному из них. И ничего-то между ними не примечалось, да и быть не могло. Андрей – парень видный, девки за ним гужевались и этого длинноногого воробья до него не допустили бы. Да и он при выборе таком в ее сторону и не глядел.

И вдруг из Нюрки низринулось такое огромное и такое неподдельное горе, что все опешили. Никого не стесняясь да и, пожалуй, никого перед собой не видя, растрепанная, зареванная до синевы, она царапала себя и по-бабьи выла. Пытались было унимать ее или хотя бы увести с глаз людских. Однако она зверенышем кидалась на подходивших. Чтобы соблюсти хоть видимость приличия, бабы стали громко говорить, что, мол, у девчонки память всколыхнулась, вспомнила-де она, как ровно год назад хоронила мать. Все ухватились за эту подсказку, хотя было ясно, что дело вовсе не в том.

После похорон Нюрка несколько дней не выходила из дому, так что стали засылать к ней подружек узнать, все ли ладно там. Но она никого не выпускала. А через неделю вышла на люди, совсем взрослая, в черном материнском платке, по-вдовьи повязанном до бровей, да так уж и не сняла его. С отчаянной решимостью принялась обихаживать занедужившую совсем Сафонику, ревниво оберегая ее от всякого, кто совался в помощники. Каждый день ходила на Андрееву могилу и подолгу плакала там. Когда Сафониха поднялась, они пошли туда вдвоем. И там наконец-то у осиротевшей матери скопившиеся тяжелые слезы нашли выход, и оттого на душе чуток полегчало.

Теперь Сафонику и Нюрка не расставались. Притулились друг к дружке и согревали одна другую. Нюрка мало-помалу совсем переселилась в Сафоникину избенку. Сафонику уже не работала, но каждый день, в любую погоду, тащилась на поля, чтобы принести Нюрке обед. А та сердилась и всякий раз выговаривала старой. Но даже эти бранливые минуты, проведенные вместе, давали им обоим отраду.

Со временем, однако, горе обносило, как старое привычное платье, и не врезалось в душу при малейшем воспоминании. Время все упорнее прорисовывало на Нюркином лице красоту. Из-под черного платка в никуда глядели ее глаза, способные удивительным образом менять свой цвет. В глубине их сумеречно мерцали зрачки, словно запер-

тые изнутри непроницаемыми ставнями. Брови – густые, по-татарски широкие, жирно прочерчены как по линейке, без малейшего изгиба. Румянец, сдерживаемый плотной смуглотой щек, в поисках выхода бросался в губы, которые оттого всегда жарко полыхали.

Года через два стало очевидно, что с Нюркой в красоте вряд ли кто сможет потягаться. Она, слабо сопротивляясь, давала увести себя на деревенские гулянки, танцевала там, бывало, и пела со всеми. Однако стоило какому парню повести на нее наступление, она так ощетинивалась, окатывала таким кипятком, что второй штурм спешно отменялся. А для менее понятливых имелись у нее ногти, поострей, пожалуй, кошачьих. Не один уж из шалаевских парней ходил меченный ими. Сафониha было пыталась вести разговоры, что негоже противиться природе женской, но всякий раз тема эта так бесила Нюрку, что старая скоро отступилась...

Время шло, и один за другим переженились Нюркины обожатели. Дольше всех ходил за ней тенью Колька Вепринцев. Но вот и он обесилел от бесплодной борьбы и без боя сдался в плен к тихой белокурой Клавде Никишиной. Пожалуй, в тот день Нюрка и перестала быть невестой. Ровня ее вся переженилась. Мужиков свободных нет. А разжениваться в Шалаевке не принято. Строгие тут нравы, очень строгие. Да и то сказать: все здесь и всё на виду, каждый тебе с какого-нибудь боку родня. Солидно, степенно живут шалаевцы, себя не роняют и за другими глядят в оба.

На их памяти всего две истории, которые принято называть семейными. Одна уж за давностью выцвела, затуманилась. Рассказывают, будто жена местного учителя красавица Люба сбежала то ли с бродячим циркачом, то ли с заезжим цыганом. Только помнят об этом уж немногие, рассказывают всяк по-своему, и верится в это не очень-то.

А вот вторая история еще свежа в памяти шалаевцев, ей всего лет пятнадцать. Лучший в деревне плотник Устин – человек вроде серьезный и обстоятельный – увел от своего соседа Петра Касьянова его жену Марию. Никто из всей деревни, ни один человек, включая родню Марии и Устина, не простил им тогда этого тяжкого греха. Не простил и не принял. И они ушли из Шалаевки...

Сафонику и Нюрку теперь редко видели порознь, и не верилось, что когда-то они были чужими друг другу. И вдруг Нюрка уехала. Собралась в один день и уехала. Сафониha вроде не сразу поверила в это. А как поняла, что случилось, стал из нее потихоньку дух выходить, словно воздух из продырявленного мяча. Ровно год продюжила, видно, еще надеясь, что вернется Нюрка. А потом собралась помирать. Всерьез собралась. Успокоилась, все живое уже проходило мимо нее, и если она еще дышала, то лишь потому, что хотела проститься с Нюрой, о чем той и написала.

Сафониha знала наперед, что она приедет. И та приехала.

Моросливым октябрьским вечером к дому Сафониhi подкатил замызганный грузовичок, и из кабины осторожно выбралась Нюрка, прижимая к груди завернутого в одеяло ребенка. «С городским подарочком, значит, пожаловала!» – подивились враз прилипшие к окошкам бабы. Не заметили они, что в руках своих несла Нюрка настоящую бомбу для такого, казалось, прочного шалаевского покоя. «Бомба» взорвалась на другой же день, когда фельдшерница Нина Ивановна сообщила, что у Нюрки сын семи месяцев от роду. Не надо бабам знать высшей математики, чтобы точно высчитать, что никакой не городской он вовсе, а тутошний, что ни на есть шалаевский.

Вот тебе и тихоня! Ах ты... Прикидывалась-то, прикидывалась недотрогой, а сама!.. И захолонули тогда от догадок сердца многих шалаевских баб. И стало ясно: пока не получают они ответа на жгущий душу вопрос, не бывать им в покое и радости.

Больше всех оснований для подозрений было у Клавди Вепринцевой. Ее Колька и не старался даже скрыть своих страданий по Нюрке. Но когда обычно тихая Клавдя, будто взбеленившись, потребовала от него признания в грехе, он недоуменно глянул на жену:

– Да ежели б меня Нюрка до себя допустила, неужто бы с тобой жил?

И было в его голосе столько нечаянно вырвавшейся досады, что она поверила: нет, не жил бы. Значит, не он. Однако легче от этого не стало. И мир, царящий в доме, единым махом был порушен.

...Иван Татарников еще не вернулся с поля, и Дуська извелась,

ожидая его. Уж он-то не отвертится, выложит правду! У нее имелось для этого верное средство. Стоило ему чуть голос против нее возвысить или слово не то сказать, как Дуська выскакивала на крыльцо, голая: «Ой, мама, мамочка, спаси!» Тогда из второй половины дома, опираясь на клюку, выходила Иванова мать – крошечная, скрюченная старушонка, усохшая, словно мумия Бабы Яги. Она деловито подходила к Ивану, не слушая оправданий, командовала: «Наклонись-ко, сынок!» – и начинала охаживать его вдоль спины. И хотя сил у матери вовсе уж не было, клюка – толстая, суковатая – делала свое дело. Иван – детина огромный, плечистый – стоял покорно, стараясь обратить все в шутку. Однако после даже в самый жар на покосе не снимал рубаху, пряча синяки от глаз людских... В тот вечер материнская клюка работала в несколько приемов, пока не выпала из обессилевших рук. Но признания от Ивана так и не выбила.

...Сашок Белый у своей Настены и вовсе был на подозрении. Как раз в ту пору, по подсчетам Настены, возил ее муженек вместе с Нюрой сено из неудобниц к основным стогам. Солнышко, птички, травка... И ведь ни раньше ни позже лихо это приключилось. Почти пять лет они живут, а дите все никак не получалось у них. И вот сейчас, когда затяжелела она, когда долгожданная радость в дом постучалась, судьба подножку ставит.

Сашок, чуть припоздав, по обыкновению не вошел, а вломился в дом, чем-то в сениях прогремев, что-то опрокинув, и, распахнув руки, пошел на Настену, готовясь сграбастать. Однако, еще не дотронувшись до жены, отпрянул, услыша дикие, нелепые слова:

– Не тронь меня! Не смей! Убери ручища свои поганные! Иди к своей... Не держу. Знай – изничтожу дите в себе. Не пущу по миру сироту!

Он на мгновение окаменел и онемел. В себя пришел не сразу.

– Настя! Настена! Что ты? Что случилось? Плохо тебе?

И тут из нее хлынули слезы. Она плакала взахлеб, не сдерживаясь. И когда он из ее причитаний наконец понял, в чем дело, то взбеленился и ринулся к двери:

– Я убью эту змею подколенную!

Но это только добавило жару.

– Ага, убьешь! А ребенка мне, что ли, принесешь?

– Господи, да при чем здесь ребенок? Ей-богу, не мой он! Не касался ее. Не видишь, что ли, ни на кого, кроме тебя, и глядеть не хочу!

– Сейчас-то, может, и не хочешь. А тогда – вспомни: я страдала, по бабкам да врачам моталась, а ты только на нее глазища свои пялил!

Сашок на это возразить не мог. В свое время, действительно, здорово приворожила его Нюрка.

...Катя Солдатова ждала своего Петра уже одетая, с собранным чемоданом. Она молча, пронзительно и долго смотрела на него, потом одела своих близнят и, подхватив чемодан, направилась из дому. Он знал, как жена умеет молчать. Ничто на свете не могло бы сейчас заставить ее вымолвить хоть слово. Так и раньше бывало, но тогда он обычно знал, в чем виноват. А сейчас грехов за собой не чуял. И потому решительно загородил ей путь и потребовал объяснений. Однако, встретившись с ней взглядом, увидел не злобу или гнев, а одну только боль и невольно отступил. И Катя с детьми, пройдя мимо, направилась к дому своей матери.

...Поздно вечером у избы Сафонихи, не сговариваясь, собрались пострадавшие мужики. Они были настроены воинственно. Когда Нюрка вышла на крыльцо в своем неизменном черном платке, из-под которого глядели совсем не Нюркины – счастливые глаза, враз пропала их смелость. Она ждала, а они молчали, каждый надеясь на другого.

Наконец заговорил Колька:

– Нюр, бабы нас загрызли. Все одно житья не дадут, пока не дознаются. Ты бы того... сказала бы им...

– Чего сказать-то?

– Ну, ты же сама знаешь.

Но она невинно тарасилась на них. И тогда Сашок, вспомнив страшную угрозу Настены, зло выкрикнул:

– Хватит придуряться! А ну говори, с кем дите нагуляла!

Нюрка прищурилась и хохотнула:

– А не помню уж. Может, с тобой.

– Со мной?! – Сашок даже задохнулся. – Со мной? Да ты что, спятила? Когда?

– А когда ты ночью вот сюда прибежал. На коленях стоял да в лесок все тянул.

– Да это же когда – это пять лет назад было!

– Не помню уж. А может, прошлым летом, когда сено-то возили. Забыл, поди?

– Вот дура сказанная! Чего на себя-то напраслину наговариваешь?!

– А может, в другой раз, когда...

– Да замолчи ты!

Взбешенный Сашок повернул прочь. А Нюрка, похохатывая, кричала ему вслед:

– А ты Настену присылай. Я постараюсь все вспомнить!

Мужики не узнавали Нюрку. Смелая стала, бесшабашная. Вроде защиту за спиной чувствует. Но откуда? Не от Сафонихи же, которая вон из окна зыркает и готова всякую минуту налететь на Нюркиного обидчика. Сказав Нюрке по паре слов, заготовленных еще дома, мужики разошлись ни с чем.

И остался с того дня дом Сафонихи словно очерченный заклятым кругом. Никто через тот круг не переступал. Все ждали, что уедет теперь Нюрка и старуху с собой увезет. Только они остались. Видно, крепко держала их здесь Андреева могила, на которую они по-прежнему ходили каждый день. Теперь уже втроем.

Зима двойными рамами да высокими сугробами приглушила, припрятала страсти, неожиданно вскипевшие в некоторых шалаевских домах. Приглушила, но не уничтожила. И по весне вместе с талой водой выплеснулись они наружу. По первому теплу выклюнулся на волю из дома Сафонихи и сам возмутитель такого, казалось, прочного шалаевского покоя. Был он кругл, неправдоподобно мал и удивительно бегуч. Словно магнитом его притягивало к каждому человеку. Завидев кого-нибудь, он катил наперерез, путался в ногах и доверчиво тянул свои ручонки. И оттого стали обходить дом Сафонихи еще дальше.

Но, видать, мальчонка без людей совсем не мог. И скоро приспособился он шастать по домам. Сафониха, хоть с приездом Нюрки и раздумала помирять, все же сильно сдала и за ним не попевала. Он же, как капля ртути, бултыхался ежеминутно, не умея сохранять состо-

яние покоя, и невозможно было угадать, куда его качнет через секунду. Выбрав момент, когда бабка отвлекалась по своим делам, он вроде бы не спеша, но поразительно проворно косолапил к облюбованной им избе. Войдя и одарив всех улыбкой, деловито проходил в передний угол, садился за стол и ждал угощения.

Когда он впервые пожаловал в дом Татарниковых, Дуська вроде даже обрадовалась:

– Ах ты господи, гость-то какой к нам! Проходи, сделай милость, не стесняйся, по-родственному, – нарочито громко захопотала она вокруг нежданного гостя. – Чего сидишь-то? – прикрикнула на Ивана. – Не видишь разве: сынок пожаловал!

– Евдокия! – Иван даже подпрыгнул на стуле. – Прекрати! Мы же, кажется, договорились.

– А чего это ты кричишь на меня? Сейчас маму позову.

Угроза подействовала безотказно. Иван сидел молча и когда Дуська выставляла перед непрошеным гостем миску пирогов, и когда потчевала его, и когда провожала, приглашая обязательно приходить к ним еще, по-родственному.

Выйдя от Татарниковых, мальчонка направился было домой, прижимая к себе пару капустных пирогов, но не смог пройти мимо распахнутой калитки в дом Вепринцевых. Взойдя на невысокое крылечко, не задерживаясь, прошагал через кухню и остановился в горнице, где семейство собралось у воскресного обеденного стола. Секунду подумав, решительно направился к столу, радостно сунул оба пирога в колени опешившего хозяина и взобрался на табуретку рядом, которая временно пустовала, пока хозяйка вышла за чем-то на кухню.

– Подкорми, подкорми своего папашу, а то отощал бедный! – Клавдя стояла на пороге с тарелкой клубники в руках, и щеки ее были цвета ягоды.

Колька же, напротив, позеленел:

– О господи! Когда это кончится!

Он протянул руку к этому маленькому, принесшему в семью разлад человечку, чтобы выбросить его из-за стола, из своего дома, из своей жизни. Но рядом в один кошачий прыжок оказалась Клавдя:

– Не смей трогать! Ребенок не виноват.

Она пристально вглядывалась в крошечное круглое личико, в широкую редкозубую улыбку, стараясь и страшась найти сходство с мужем. Заметив жадный детский взгляд, поставила на стол ягоду, которую все еще держала в руках. Грязная ручонка блаженно погрузилась в дразнящую алую сладость. И замерла, потому что с улицы донесся голос Сафонихи. Потеряв мальчонку, старуха, не смея заходить в дома и громко кричать, обычно обходила деревню и тихо звала: «Федюшка!» Он, заслышав ее голос, сразу забыл про ягоду, виновато улыбнулся всем, будто извиняясь, и покорно поковылял на бабкин призыв.

Его имя было вторым Нюркиным грехом перед шалаевцами. Вот уже лет тридцать, с тех пор как в кладбищенской заброшенной церквушке поселился неизвестно откуда взявшийся дурачок Федя, никто в деревне не называл так новорожденных. То ли чтобы именем не выдать тайны, то ли просто назло всем, назвала Нюрка своего сына Федором. Только ни у кого в деревне не поворачивался язык окликнуть так мальчонку. Вот и закрепилось за ним и не имя даже, а так, вроде клички – Парнишонка. Так и звали его все – не поймешь сразу: то ли пренебрежительно, то ли ласково.

А Парнишонку, чем он старше становился, тем сильнее тянуло к людям. По-хозяйски приходил в любую избу, одаривал всех улыбкой, с радостью отдавал все, что было у него в руках, и сам как должное принимал всякие подношения. Но, вынеся подарок из одного дома, тут же вручал его кому-нибудь в соседнем. Ни сама Нюрка, ни вездесущая и, казалось, всесильная Сафониха не могли удержать его дома.

В тех домах, где не было мужика на подозрении, Парнишонку встречали с радостью. Не обходил он избы стариков, к которым редко уж кто заходил, и был у них желанным гостем. Но и там, куда внес он смуту, его, казалось, ждали с нетерпением. Бабы не могли и дня прожить, чтобы не дотронуться до незаживающей своей сердечной раны. Разбередив ее, покричав и поплавав, они вроде чуток успокаивались. Мужики мало-помалу научились в ответ молчать. Ежедневный обход Парнишонкой шалаевских домов стал обязательным. И если он почему-то задерживался, все начинали волноваться: не случилось ли с ним чего?

Всех поражала Нюрка своим непробиваемым спокойствием. Ее вроде мало волновало, что оказались они с Сафонихой в полной изоляции. Даже, напротив, по всему было видно, что счастлива она как никогда. С новой силой вспыхнула ее красота, незатухающим огнем полыхали бесовские глаза. Как ни в чем не бывало ходила со всеми на работу, будто не слыша, что говорят ей и как называют ее бабы.

Все вздохнули с облегчением, когда Нюрку назначили воспитательницей в детсад. Вообще-то как такового детсада в Шалаевке не было. Просто председатель попросил ее на время сенокоса да уборочной открыть свою пустующую избу и присмотреть там за ребятишками, пока бабы на полях. Нюрка, как обычно в работе, упрямить себя не заставляла. Вдвоем с Сафонихой навели в запустелом доме чистоту и блеск. Вдвоем же стали кухарить и ухаживать за детишками. Неожиданно это новшество развязало руки многим бабам. Они знали: Нюрка к детям заботлива и ласкова. Да и на глазах теперь целыми днями не маячила, не раздражала. Так что назначением этим были довольны все.

...В тот день, как обычно, после обеда Нюрка отправилась с ребятишками на прогулку. Попервоначально она пыталась было ввести на городской манер послеобеденный тихий час. Однако деревенские дети, не привыкшие к подобному воспитательному вздору, спать днем не желали. Да и устроить их всех в Нюркином хоть и большом доме было делом нелегким. Пришлось от идеи городской отказаться. Зато Нюрка ввела обязательные послеобеденные прогулки. Неходячих и нетвердо стоящих на ногах оставляла под присмотром Сафонихи, а остальных вела за деревню. Для детей это было лучшее время дня, да и самой ей эти походы нравились.

Миновав последний колодец и взойдя на пригорок, с которого Шалаевка и ее окрестности как на ладони, Нюрка поняла, что на этот раз оплошала: сегодня косят здесь, на ближних лугах. Лишний раз встречаться с работавшими ей вовсе не хотелось. Но и повернуть назад не позволял характер. Замешкавшись всего на минуту, она повела детей обычным путем. На покосе как раз заканчивался обед. Их скоро заметили, и бабы поспешили навстречу своим чадам, по которым за полдня успели заскучать.

Объятия и поцелуи были прерваны неожиданно. К деревне мчалась машина в окантовке черно-белых квадратов. Такси в здешних местах – вещь настолько диковинная, что все застыли, ожидая чего-нибудь необычайного. Знали: только что-то из ряда вон выходящее могло заставить хлипкую машинешку проделать путь от города до Шалаевки по этой ужасной дороге.

Такси остановилось с визгом. Видно, путь был намечен дальше, до самой деревни, а здесь затормозили неожиданно, вдруг. Из машины вышла молодая, городского вида женщина, и пошла она прямо к Нюрке. С каждым шагом незнакомки с Нюркиного лица волнами откатывала кровь, а из всего ее тела уходила жизнь. Такой вот, совсем неживой, была она в тот день, когда спустя неделю после похорон Андрея вышла из дому, впервые надев свой вдовий платок.

Приехавшая подошла совсем близко и тихо спросила:

– Вы меня помните?

Нюрка смотрела на нее невидящими глазами. На лице ее не отразилось даже признаков того, что она видит и слышит.

Приехавшая попыталась заглянуть в огромные недвижные Нюркины зрачки и еще раз, уже погромче, сказала:

– Вы помните меня? Мне надо поговорить с вами. Отойдем немного.

Казалось, слова ее отскакивали от Нюрки, не проникая внутрь. И тогда женщина заговорила быстро, несладко, запинаясь и заикаясь:

– Я знаю, нехорошо это, ведь я обещала вам. Но вы меня поймите. Нет другого выхода. Врачи сказали: не будет у меня больше детей. А мы с мужем... Нам необходим ребенок. Отдайте мне моего сына. Умоляю вас, отдайте! Я понимаю: вы кормили его, одевали, и вообще... Но мы отблагодарим, мы не забудем вас...

Деревянное Нюркино лицо не выражало абсолютно ничего. Она попыталась разжать на этом мертвом лице губы и не смогла. Продолжала стоять и не падала только потому, что тело ее тоже одеревенело и никакая сила не смогла бы сейчас заставить ее согнуть руку или ногу.

Остолбеневшие бабы мало-помалу начали приходить в себя. Перебивая друг друга, они подступили к приехавшей и потребовали у нее полного отчета. И та заговорила, словно обрадовавшись возможности

высказаться и явно пытаюсь найти у окружающих сочувствие и поддержку:

– На квартире мы с ней вместе жили. У меня тогда так все получилось... Я не замужем, училась еще. И ребенок мне ни к чему был. Разве знала, что так все получится? Молодая была, глупая... В больницу пришла, говорят – поздно уже. А Анна, – приехавшая показала взглядом на Нюрку, – Анна тогда все по детприемникам бегала, ребенка себе взять хотела. Она и предложила в роддом по ее паспорту идти. Вот и получилось, что родила-то я, а записали на нее. А после взяла она ребенка и уехала...

Оглушенные новостью, бабы немо слушали, разинув рты.

– Слушай, а может, ты все придумала? У тебя хоть свидетели-то есть? – наконец неуверенно спросил кто-то.

– Свидетели? – оживилась приехавшая – А как же! Да Евдокия Петровна – наша квартирная хозяйка. Она все как есть знает. Это она помогла мне Анну сейчас разыскать. Если понадобится, она и в суде свидетелем будет.

– Ах, в суде!

– Судиться будешь?

– Суд, значит...

Слово это будто разбудило ошарашенных баб, разлепило им рты.

– А у нас здесь свой суд. Сами с тебя спросим.

– Нагулялась, значит! Про дите вспомнила!

– Чтой-то долгонько раздумывала, а?

– Отблагодарите, говоришь? А чем, можно узнать? Может, ты годы эти ей вернешь? Или горести ее себе заберешь?

– Да сколько настрадалась она – тебе и не снилось.

– А тебе не с Нюркой – со всеми нами расплату держать придется.

– За каким ребенком-то явилась? Да не могла ты дите народить, потому как не баба. Одна видимость бабья, а нутро пустое, нет его вовсе.

– Спихватилась! Вспомнила! Ребенка захотела! А ты не у Нюрки – у нас всех попробуй его отними! Мы с ним теперь по гроб связаны.

– Да и не узнаешь его сроду, ребенка-то своего. Потому что сердца в тебе нет материнского. Ну, гляди: где он, где?!

Приехавшая вроде только сейчас заметила обступивших ее ребятшек и заметалась взглядом от одного к другому. Она прошла по кругу, пошла назад, шаря глазами по лицам. Остановилась возле Витьки Тарникова и нерешительно протянула к нему руки. Однако налетевшая вихрем Дуська тут же оттолкнула ее, схватила Витьку на руки и прижала к себе так, что тот заорал благим матом.

Его рев перекрыл Дуськин крик:

– Убери руки! Разинула рот на чужое дитя. Я те покажу!

Взгляд приехавшей остановился на Мишутке Солдатове. Но не успела она шагнуть к нему, как его заслонила собой Катя. И тогда приехавшая, уже не пытаясь угадать своего, стала хватать мальчишек подряд. И каждого вырывала у нее из рук мать. Когда очередь дошла до Парнишонки, к нему метнулась Настена, сграбастала его на руки, и он доверчиво обхватил ее шею.

– А, теперь этот понравился? Тебе все равно, кого хапать. А ты это видишь? – Настена сдернула с головы косынку, и на солнце сверкнула тонкая седая прядь. – Видишь? Это его след. А ты руки к нему протягиваешь?!

– А ну, мотай отсюда!

– И дорогу эту забудь навеки!

Бабы как по команде стали наступать на непрошеную гостью, и та, жалкая, растерянная, начала отступать к машине, еще пытаясь выкрикивать что-то насчет прав и законов.

...Когда за машиной растворилось облако пыли, Настена подошла к Нюрке и передала ей Парнишонку. Его прикосновение словно разбудило ту. Закаменевшие руки снова стали гибкими. Она обхватила ими маленькое горячее тельце. И слезы – щедрые, обильные – полились на белесую головенку. Были они не горькими, не тяжелыми, а светлыми, облегчающими. Так плачут дети после страшного сна, стараясь выплакать все воспоминания о кошмаре.

СЮРПРИЗ

– Пе-ла-ге-я!

Голос пробился к ней из немыслимой запредельной дали и был таким родным, что она немедленно рванулась встречь ему. И – проснулась. Ну чего, спрашивается, кинулась, как скаженная?! Надо бы тихонько, осторожно, а теперь все – спугнула сон. Кто-то свой позвал – очень близкий и несказанно далекий. Голос тот звучит в ней, и на его зов радостно толкается в груди сердце. И радость – молодая, знобкая, давно уж забытая – все не отпускает, греет, ласкает ее притомившуюся от долгой жизни душу.

«Да к детям же это, – догадалась она, – сегодня всех повидаю!» Сразу трепыхнулась немедленно вскочить, куда-то бежать, что-то делать. Но – сдержалась. Нельзя. Штора вон на окне серая, будто грязная. Значит, совсем еще рань. Вот как станет она розоветь, как цветы на ней проявятся, тогда можно. В доме строго оберегают утренний сон. Ночами все пишут да читают, а после готовы до полдня спать. Тут тебе ни ногой шоркнуть, ни воду из крана пустить. Но сегодня-то, поди, пораньше встанут.

Ей делалось странно от мысли, что увидит она нынче всех детей враз. Поодиночке-то они навещаются, а вот вместе собирались – она уж и не помнит когда. Неладно только, что из-за нее потревожились. Ведь у каждого семья да работа, легко ли выбраться? Будь ее воля – не трогала б их, все ждала бы, когда кто сам заглянет. Ждать-то она за свою жизнь научилась. Да и обижаться ей грех. Хорошие у нее дети, заботливые. Деньги шлют, подарки, в письмах приветом не обходят, о здоровье спрашивают. Не надо бы им лишний-то раз надоедать.

Вон, видать, Володю с работы не отпускают. Ведь как Георгий на него в телефон кричал:

– Никаких дел! Надо было раньше думать, не вчера узнал. Скажи своему начальству, что юбилей у матери. Не пропадут без тебя за три дня. Напомни им, что такое мать, если забыли.

Боязно ей стало, что сын из-за нее в ссору с начальством войдет, неприятности наживет. Попыталась сказать: ладно, мол, в другой раз

приедет – так Георгий и слушать не стал:

– Целый год согласовывали, уж сколько раз переносили. В конце концов, он не ребенок, должен был все предусмотреть.

И правда, с прошлого года стали дети про ее восьмидесятилетие разговоры вести, решили вместе отметить. И в каждом письме, в каждом разговоре телефонном всё спорили, время утрясали. Трудно ко всем-то враз приноровиться: у кого командировка, кто в отпуск уезжает, у кого дети экзамены сдают... И вот наконец сговорились. Сегодня собираются.

Вообще-то родилась она не летом вовсе, а зимой и день рождения у нее уже прошел. Но тогда дети собраться не смогли и никакого праздника не было. Просто зазвала ее в тот день к себе Анна Васильевна, соседка. Наливки они с ней выпили, посидели, поговорили, всплакнули вдвоем – и все. Так что это – не в счет. А здесь – все дети будут и гостей назвали. Уж без чужих-то можно б обойтись. Собрались бы только свои, родные – и ладно. А то развели канитель такую – просто жуть. Она холодела, когда привозили ящики с тонкими длинношеими бутылками, рыбин огромных, кур сетками. Страшно было подумать, что из-за нее весь этот переполох. Хотелось исчезнуть, сжаться, и она, кажется, за эти дни усохла еще больше.

Впрочем, желание стать меньше, незаметней преследует ее все эти годы, что живет здесь. Раньше, у себя в деревне, она и не замечала, что такая несуразная да неуклюжая. То выйдет и дверь захлопнет, а ключа не возьмет. То сдуру стол полированный мокрой тряпкой вытирать примется. То кран хорошо не закрутит, и вода капает ночь напролет, всем спать мешает. А то еще чище: чай сбежал, газ загасился, а она и не закрутила его. Чуть не загубила всех... Слава богу, сын и невестка такие терпеливые. Никогда не накричат, не обругают. Спокойно, тихо объяснят, почему так нельзя и как нужно. Да разве ж ей вдолбишь! Глядь – опять что-нибудь да не так сделала. Нет уж, коль родилась да всю жизнь в деревне прожила, к городской жизни не приучишься. Вот уж почитай семь лет здесь, а как была деревенская, так, видно, и умирать с тем.

Не зря так страшно было ей срываться с места насиженного. Раньше, как внуки пошли, сильно хотелось уехать к детям. Охота было

поняничиться, помочь малых растить. Не получилось. У Георгия тогда квартира была маленькая – две комнаты всего, к тому ж одна – на проход. Где уж там ей-то примоститься? Да и ни к чему было: Катя – жена его – три года не работала, дитем занималась. Средний сын – Петр – сильно звал. Двое у них с Людмилой, погодки. Трудно им было. В Средней Азии тогда жили: Петро завод там строил. Поехала к ним. Да ладно еще дом продать не успела и вещи свои не перевезла. За неделю так угорела там, что еле живу назад привезли. А после, как уехали они из пекла-то этого, уж и дети подросли, без няньки обходились. Ну, Мария, дочь-то, – та никогда не звала, сама все грозилась приехать. Николай у нее попивает – все бросить его собиралась. Да так и не собралась. И слава богу. Мужик он добрый, работающий. А что выпивает – так не он один. Младший – Володька – тот на краю света живет, к Северу своему прирос. И в семейной жизни оказался несуразным. Жениться не женился, но говорит, что где-то дочь растет. На все материнские вопросы да советы только твердит: «Сам я виноват, сам».

...Георгий тогда прикатил за ней в Шалаевку как снег на голову. Правда, до этого писал: мол, собирайся, к нам жить поедешь. Да она как-то всерьез не принимала писанину эту. А тут явился: поехали! Она так и обмерла. Давай отказываться: куда уж, поздно мне переезжать-то. Стал уговаривать: «Трудно ведь тебе. Четверых вырастила, а живешь одна». Трудно – это точно. Изба большая. Зимой печь истопи, да воды принеси, да прибери. А летом – огород. Конечно, могла бы и без него прожить. Да перед соседями неловко. Они сажают, а у нее что же, лебедой, что ли, зарастет?

– Трудно, сынок, это правда, но...

– Никаких но! Квартиру нам дали, мама, большую. Там и для тебя специально комнату выделили. Так что ехать тебе надо непременно, а то в обманщики меня запишут: взял, мол, комнату для матери, а теперь сам в ней живешь.

Не могла она сыну худо сделать и стала собираться. Велел Георгий ей все подчистую продать или раздать, чтобы вещи ее в один чемодан уместились.

– На новом месте все новое тебе заведем.

Сначала-то она согласилась. А потом, как начали все подряд из дому выносить, ну словно из сердца вырывали. Кое-что можно было вырвать только вместе с ним. В общем, целый контейнер загрузили Георгий с Гришкой Якушиным, который взял ее избу на лом.

А когда контейнер тот разгружали, Катя – жена Георгия – даже побледнела:

– Георгий, мы же, кажется, договаривались!

Пелагее было жаль Катю: вот как переживает. Но ведь и она столько дорогого оставила, от сердца оторвала! Из того, что сюда привезла, от нее уж нельзя оторвать ни малой малости.

Перво-наперво – гармонь. Вот она, на комодѣ стоит. Покойного Степана, мужа ее. Не то чтобы гармонист он был отменный, нет. И всего-то играл «Светит месяц» да «Подгорную». Но зато как играл! Она, гармонь эта, и решила судьбу Пелагеи. Люб ей был Степан. Да и он поглядывал на нее чаще, чем на других девок. А родители его прочили ему Стешку Казакову: и дом у нее пятистенный, и пара лошадей в хозяйстве, и овечек десяток. А с нее, с Пелагеи, ничего не возьмешь. Парень-то Степан был не из робких, но против воли родительской идти не помышлял.

Услышала Пелагея, что назавтра Степанова родня к Стешке сватов засылает. Захолонула вся. Но вида не подала. А ввечеру – на берегу гулянье. Долго танцевали. Петька Чубатый знатный был гармонист. А после Степан свою гармонь развернул. Как ударил «Подгорную» – всех в пляс вовлек. Но постепенно все реже становился круг. И вот осталось их только двое: она да Стешка. И такой у них начался спор безмолвный, такая борьба, другим неведомая, что ясно стало: судьба и жизнь их здесь решаются... Казалось, до скончания века будет с придыханием и отчаянными взвизгами петь гармонь, а какая-то неодолимая сила – бесконечно отрывать прирастающие к земле ноги. Она чувствовала, что сейчас вот не выдержит, упадет. Только бы не заплакать, не упустить с лица улыбку. Но сердце бесперечь дробно стучало в груди и заставляло ставшие свинцовыми ноги подчиняться его ритму. Не выдержала Стешка. Вдруг споткнулась, на мгновенье застыла в полной неподвижности – и шагнула за круг.

В тот вечер Степан на глазах у всех пошел провожать ее, Пелагею. А на другой день и вовсе перешел к ней. Его рассвирепевший отец пригрозил сыну, коль Стешку не возьмет, из дому выгнать. А тот сам ушел. Свадьба была небогатой и нешумной. В тесной избе ее родителей им места не нашлось, и поселились молодые в новой баньке недостроенной. Он только гармонь с собой принес. Ее богатства заключал в себе большой сундук, окованный узкими жестяными полосками. Сундук этот и стал их первой общей кроватью. Он-то как раз больше всего напугал Катю, когда выгружали вещи свекрови.

Гармонь одряхлаела больше, чем сама Пелагея. И вот ведь удивительное дело: когда таскал ее Степан по гулянкам, рвал меха и терзал кнопки – хоть бы что. А как не стало хозяина, как осталась она без дела, как покрыла ее Пелагея кружевной накидкой, которую и снимает-то только, чтобы пыль сдуть, так все – стариться стала. Пожухли черные лаковые бока. Словно глаза неживые, угасли потускневшие перламутровые пуговицы. Потрескалась кожа в мехах. Будто ребра выперли наружу длинные узкие планки. Молчит гармонь. Для других молчит. А Пелагея слышит порой ее тихий жалобный голос.

Над гармонью на гвоздике – сумка полевая. Тоже Степина. А в ней – две открытки его да похоронка. У других баб хоть связки писем остались. Иной раз почитать бы втихомолку, слова его вспомнить, будто голос услышать. А что ей в тех двух открытках, с дороги присланных? И слов-то – здравствования да поклоны. Пока всех по именам перечислил – уж половину бумаги исписал. Ни письмеца ей Степа с фронта не прислал: в первом бою загинул.

У окошка прялка стоит. Может, и ни к чему было в город ее везти, но вот, как хотите, не могла Пелагея оставить ее. Хотела Стешке подарить – подружились они после с ней, – да не смогла. Ведь если бы не прялочка эта, кто знает, были бы сейчас живы и она, и ее дети? Ни за что не прокормила бы она в войну четверых-то, нет, ни за что. В самое голодное время приноровилась Пелагея по ночам шерсть прясть да носки вязать. А по воскресеньям к поезду с ними выходила. Взамен приносила домой в корзине то сахару черный затасканный кусок, то мыла, а то и хлебца немного. Считала она прялку эту кормилицей, спа-

сительницей своей. В темный угол совестились поставить. А теперь что же, как сыты стали, взять и выбросить? Рука не подымется, душа не позволит.

Она и тут от нечего делать решила как-то шерсти напрядь да носков всем навязать. И ведь ничего – заработала прялочка, будто молодая, смазать только пришлось. Целый день просидела Пелагея, вращая ногой колесо. А вечером соседка снизу пришла и пожаловалась, что муж ее из-за грохота сверху целый день работать не мог. Очень тогда Гоша с Катей перед соседями извинялись.

После Катя с улыбочкой так сказала:

– Вот уж не думала, что в моем доме трикотажная фабрика откроется!

С того дня без дела прялка стоит, отдыхает. Пусть, она уж свое давно отработала. Только любит Пелагея смотреть на нее. А другой раз и слово какое ей скажет. Для нее эта нехитрая машина ровно живая. И родная тоже. Вся Пелагеина жизнь у нее на виду прошла. Ведь еще в сызмальстве вытянула Пелагеюшка на этой прялочке свою первую в жизни нить.

Над кроватью – ковер. Тоже вещь памятная. Это их первая покупка со Степаном. Вскорости после свадьбы приехали они в город на базар. И как увидела Пелагея ковер этот, так и обмерла от восторга. Озеро, как зеркало, блестит. Цветы да деревья в нем отражаются. На берегу – дворец сказочный. А в самой середке озера – два лебедя. Который поменьше, видать лебедушка, другу своему голову на крылья сложенные опустил. А тот замер, не шелохнется, чтоб ее не потревожить, значит. Глядела Пелагея на картину эту и глаз отвести не могла. Собирались-то они тогда купить совсем не то, а воротились домой с ковром. Как повесили его над кроватью (Степушка сам ее из досок смастерил), так и заулыбалась их банька. Пелагее казалось, что деревья те ночью тихонько шумят, а цветы сладко дурманят. Очень гордилась она ковром. И потом, в новой своей избе, кровать поставила напротив окна, чтобы красоту эту с улицы видеть было.

Много лет ковер украшал дом. Однако постепенно от старости озеро словно тиной серой поросло, деревья пожухли и цветы увяли.

Только лебеди вроде не замечали ничего и были счастливы. Потом уж, после войны, заезжий маляр, что красил шкафы да кровати, обновил его своими красками. И снова засверкало озеро и распустились цветы. Только не чужла уж Пелагея их аромата, не слышала шелеста листьев. И лебеди стали какие-то грустные, словно друг с дружкой прощаются.

Комод, что в приданое ей достался, две расшатанные табуретки, еще Степой сколоченные, кровать с высокими узорчатыми спинками – вот и все ее богатства. Ей-то дороже их нет, а вот детям, видать, не совсем по нраву.

Сколько уж раз Гоша говорил ей:

– Ты пойми, мама, у нас люди бывают. Ко мне студенты приходят, аспиранты. Увидят рухлядь эту у матери моей, что обо мне-то подумают?

...Чего это она сегодня, словно проверяльщик какой, в памяти все перетряхивает? Должно, голос, что звал ее так ласково, душу всколыхнул. К тому же звал именем-то старым, настоящим, от которого она и отвыкла вовсе. Когда в первое ее утро здесь в дверь комнаты постучали и Катя спросила: «К вам можно, Полина Михайловна?» – она не сразу даже поняла, что это к ней. Хотела поправить, мол, не Полина она, а Пелагея, но сробела. А после так и пристало к ней имя новое. Видно, старое не к месту здесь пришлось. Но она не обижается. С именами у них вообще ничего не понять. Гошу зовут по-казенному: Георгий. Уж и она сама следом за всеми так звать его стала. А Катю да Валерию и вообще кличут так, как она сроду и не слыхивала: Кэт да Валери. Ну да бог с ними. У них, у молодых, много чего непонятного. К примеру, чтобы в одной семье друг к дружке стучаться – это и вовсе смех. У себя в деревне они и к соседям-то не стучались. Ну, из сеней крикнешь: «Хозяева дома?» – и все. А тут – жена к мужу в кабинет стучит, отец у дочери разрешения войти спрашивает. Чудно, ей-богу.

...Спать долго Пелагея никогда не умела, а к старости-то вовсе научилась. Вот и сегодня уж сколько бы дел переделала, да ведь нельзя: не дай бог дверь скрипнет или тапочка шоркнет – переполоху на весь дом будет. Да и делать-то, честно говоря, ей нечего. Готовить еду и прибирать приходит к ним Шура из соседнего подъезда, много лет уж помогает им. Хорошая женщина, работающая. И все же не свой, не родной человек, не

от сердца работает – за деньги. Неужто она, мать, хуже бы управилась на кухне-то? Ведь еле выпросила себе разрешение хоть завтрак готовить. Уж такие оладышки да пирожки стряпала! Ели за милую душу. Это не то что ихний бульон с сухариками. Так нет, опять не угодила.

– Вы, Полина Михайловна, раскормить нас решили. Нельзя нам много печеного. А перед вкуснотой этой просто не устоять.

Потолстеть Катя боится. А посмотреть на нее – в чем только душа держится. И Гоше покоя не дает: заставляет гири тяжеленные поднимать, жир сгонять. А Валерия – та, бедная, все через скакалку скачет да круг железный крутит. Тоже худобу нагоняет. А будь бы она чуток попухлей да порумяней, девка была бы – загляденье.

Ну вот, вроде рассвело. Цветы на шторах покраснели. Теперь и вставать можно. А сегодня не грех бы и всем пораньше подняться, скоро гостей встречать.

...Первыми пожаловали Мария с Николаем. Его-то из-за выпивок не очень жалуют в их семье. Видно, Георгий с Катей не сильно хотели, чтобы и сегодня приезжал. А он – пожалте, тут как тут. Маруся всю жизнь на него ругается, а сама-то, видать, любит его, без него не ходит, не ездит никуда.

Только завтракать сели – подкатали на такси Петр с Людмилой. Уставшие, сонные. Вчера полдня да ноченьку всю в порту просидели: самолеты что-то не летали. Ждали только Владимира.

Ну, наконец-то! Звонок длинный-длинный, трезвонит без передышку. Это уж точно он, Володька шальной. Вечно так.

Сграбастал Пелагею, закружил, зарычал своим вечно простуженным голосом:

– Глядь, мать, что привез тебе с моего Севера!

К нему метнулась Мария:

– Владимир, мы же договаривались...

– Отстань, сестренка, это – сверх программы. – И он вытряхнул под ноги Пелагее что-то белое, пушистое.

Она как глянула, так и похолодела: шкура медвежья! Медведище лапы раскинул, морду оскалил. Все кинулись к нему, принялись ахать да охать, а она подальше отступила: что-то робость взяла.

После обеда Георгий хитро так поглядел на мать:

– Да, мама, Анна Васильевна тебя звала, сходи-ка к ней.

– Сюрприз, мать, готовим тебе, – не выдержал Николай.

Но все на него зашикали, и он поперхнулся.

С Анной Васильевной они подружились крепко, хотя и удивительно, почему им интересно друг с другом. Пелагея-то, считай, вовсе неграмотная, а Аннушка всю жизнь учительницей была. И сейчас всё книги читает. А вот, поди ж ты, подружились. Про жизнь они как-то очень одинаково соображают. Начнут говорить и остановиться не могут.

Здесь, в этой тесной Аннушкиной комнатке, выговаривалась Пелагея, отводила душу. Дома-то не очень поговоришь: то нет никого, то занимаются все, то гости пришли. Здесь же Пелагея позволяла себе некоторые капризы. То вдруг ей редьки с квасом захочется, то черемши, которую тут колбой зовут. Дома-то нельзя: пахнуть будет. Здесь же пировали они нынче зимой в ее день рождения. Загодя настойку поставили. Сладкая вышла да вкусная настоечка. По рюмке выпили, а по второй уж не осилили.

Очень хотелось Пелагее Анну Васильевну на праздник свой сегодня пригласить – угостить, детей показать. Но помнила она, как несколько вечеров кряду Гоша с Катей гостей на бумажку записывали, спорили даже, кого вычеркивали потом, кого, наоборот, вписывали. Многих наметили пригласить. Из Гошиного института, из Катиной школы, общих знакомых. В списках этих Анна Васильевна не значилась, а попросить об этом Пелагея не решилась. И сейчас было ей неловко, что вот не зовет она подругу к себе в гости. Аннушка выспрашивала у нее подробно про детей – кто приехал да как выглядит, радовалась, что никто не запоздал, что все живы-здоровы.

– Ах как славно, как хорошо у вас будет сегодня! – говорила ей Анна Васильевна, да так радостно, словно это у нее праздник затевался.

Пелагея не вынесла да чуть было самоволью подругу на праздник к себе не зазвала, но та опередила:

– Очень мне хотелось, Полина Михайловна, зайти к вам вечером, поздравить. Да вот ребята, ученики мои, давно уж сговорили меня в театр. Зайдут скоро, неудобно отказываться. Вы уж, голубушка, не сердитесь. А подарок мой скромный, от всего сердца, примите, пожалуйста.

И развернула фартук, расшитый весь, красоты редкостной.

А тут и Валерия прибежала за ней:

– Ну, бабуля, пойдём. Готов сюрприз.

Как только в прихожую зашли, неладно стало как-то на душе у нее, вроде почуяла что нехорошее. А они все загадочно улыбаются, в ее комнату ведут. Как распахнули перед нею двери, как глянула она, так и покачнулась. Упала бы бесприменно, да как-то не поверилось ей до конца – вроде сон или наваждение какое. Ничего: ни сундука ее, ни комода старого, ни кровати, ни даже штор цветастых – не было. В ее комнате поселились чужие вещи: шкаф колченогий, блескучий, стол зеркальный, диван пузатый. На окнах повисла прозрачная, как марля, кисея.

– Вот, мама, это тебе от нас всех.

– Хватит в старье жить, у тебя все же дети есть.

– Поживи хоть на старости лет удобно и красиво.

– Это тебе наш сюрприз, мать!

Пелагея попросила Бога, чтобы дал ей сил не закричать, не завывать в голос, и Он услышал ее. Она стояла у входа недвижно и немо, с помертвевшим лицом и нутром. Дети же, полагая, что онемела она от восторга, не стали ждать от нее благодарствий, велели быстрее одеваться к столу и сами пошли собираться.

Потом, за столом уже, Пелагея все никак не могла до конца понять: она это тут сидит или кто другой. И вообще – вправду все это или только пригрезилось. Усадили ее в передний угол, под самую люстру, зажженную в ее честь на все свечи. Яркий свет слепил, все смотрели на нее, и от такого всеобщего внимания было ей непривычно и неуютно. Хотелось спрятаться, отвести от себя взгляды, уменьшиться, стать не приметной.

Когда открыли шампанское, налили в бокалы, первым на правах старшего встал Георгий. Он говорил, как всегда, умно, красиво, чуточку мудро:

– Друзья мои! Много в языке человеческом прекрасных слов. Но во все времена не было, нет и не будет более прекрасного и святого слова, чем «мать». От матери в мире жизнь, добро, тепло и красота. Наша мама – простая деревенская женщина. Но если в нас, ее детях,

есть что-то хорошее – это все от нее: от ее трудолюбия, сердечности и великодушия. За восемьдесят лет жизни много выпало ей горя и невзгод. Давайте же выпьем за нее и пожелаем, чтобы прожила она еще столько же, но чтобы годы эти приносили ей только радость и счастье!

Все встали, потянулись к ней с бокалами, потом выпили и ее заставили выпить. Второй тост сказал Петр. Тоже хорошо сказал:

– Пытают меня другой раз ребятишки, как это я на работе простой, строительной столько наград умудрил. Говорю, мол, от жадности это. От жадности к работе. А она во мне – от матери. Она сама без дела сидеть не умела и нас сызмальства к труду приучила. Так что спасибо тебе, мама, за ту науку!

Ну, Володька – тот как всегда:

– Чего там речи разводить? Не на собрании. А мать у нас – что надо, мировая у нас мать!

Мария тоже встала, что-то сказать хотела. Да слезы прежде слов пришли. Постояла она с бокалом в руке, похлюпала да и села ни с чем. В другой-то раз Пелагея здесь же встречь ей заплакала бы. А тут не было слез, ровно в песок ушли. А может, замерзли они? Стылая сделалась у нее душа, будто вынули из нее самую серединку, а пустота в том месте болела и веяла морозом.

Чего это она? Вот же оно, счастье долгожданное: дети, все дети ее, здоровые и радостные, сидят рядышком с ней. Сколько мечталось о таком, сколько виделось по ночам! А вот не поспешает к ней радость в сердце, не осветляет ее изнутри, не греет.

Она дождалась, когда разговор с нее переместился на Гошину диссертацию, и потихоньку вышла. Прошла на кухню, где что-то накладывала в блюдо Валерия.

– А куда это попрятали-то все? – спросила она у внучки робко, с какой-то еще надеждой.

– Чего попрятали? – не поняла Валерия.

– Дак вещи-то мои, говорю, куда это попрятали?

– Никуда их не прятали. Дали полтину шоферу, который мебель привозил, он и увез все.

– Куда?

– А я почему знаю! На свалку, наверное. Да ты что, жалеешь, что ли? – глянула в лицо ей внучка. – Господи, нашла о чем страдать! Да весь тот хлам гроша ломаного не стоит.

Ступая тяжелыми, негнушимися ногами, Пелагея прошла к себе в комнату. Света зажигать не стала: было достаточно того, что шел из коридора через стеклянное окошечко над дверью. Попробовала посидеть в кресле. Но скоро почувствовала, что оно засасывает ее, как болото, в котором она тонула в детстве. Не раздеваясь, прилегла на диван. Но ее сухонькое, легонькое тело не могло продавить его круглого пуза, и она скатилась к стене. Лежать в щели было неудобно, и Пелагея встала. Взяла из нового шкафа свое пальто (его не выбросили), кинула на пол и легла. Прямо перед ее лицом оказалась оскаленная медвежья морда. Пришлось снова встать, свернуть шкуру и затолкать под стол.

Она лежала на полу и думала. Все-таки хорошие у нее дети. Вон работу, дом бросили, к ней приехали. Праздник ей устроили. Нет, были бы плохие, разве бы... Да чего это она ровно уговаривает себя: хорошие, хорошие! Без всяких уговоров хорошие у нее дети, и все! И не по злобе, а по неразумению молодому больно ей сделали.

На свалку... Ей представилась огромная гора разных чужих вещей. А на самой верхушке она узнала свои. Комод на кровати стоит. Поверх комода – сундук, ковром покрыт. А уж совсем поверху – Степанова гармонь. Ах ты господи, что ж это они не укрыли-то ее? А ежели дождик пойдет – размокнет же она! Знать бы, где свалка эта самая, пойти бы ей, хоть в сундук гармонь-то спрятать!..

Глаза привыкли к темноте, все ясно различали, и Пелагея еще раз огляделась. Вокруг нее были новые, необжитые, незнакомые ей вещи. Она смотрела на них и остро чувствовала, что в этой красивой и такой теперь чужой комнате есть что-то лишнее, совсем ненужное здесь. Да ведь... Ну конечно же, это лишнее – она сама. И вдруг совершенно отчетливо вспомнила, чей это голос звал ее нынче ночью. Да это же Степан! И так покойно сразу стало, легко. Ушло, отхлынуло от сердца все тревожное, суетное. И она закрыла глаза.

Кто-то заглянул в комнату, хотел войти. Но еще кто-то сказал:

– Устала она. Не мешай, пусть спит.

Благодарность за это разрешение переполнила всю ее до последней клеточки. И она, боясь, что ей могут помешать, зашепила на ласковый зов своего Степана.

1979

КАБЫ НА ЦВЕТЫ ДА НЕ МОРОЗЫ

Война только еще поворотила к неблизкому своему закату, когда вернулся с фронта Степан. Не сам вернулся. Привез его провожатый из госпиталя и сдал под расписку Степановой жене Тимофевне. Не изувечен Степан, посмотреть на него – целехонек, даже шрама на теле ни одного. А не человек. На ногах стоит нетвердо. Руки в постоянном суетливом движении, словно беспрестанно трясет он невидимое сито. Язык у Степана мертвый – ни слова вымолвить не может. Да еще припадки. Вдруг прихватит его ни с того ни с сего и начнет корежить да ломать, головой о землю бить. Так, что двое мужиков не удержат. А не случись никого рядом – побивается весь в кровушку.

Жена встретила Степана как и положено – порадовалась, что вернулся, поплакала на мужнино увечье. Больше, конечно, порадовалась: как-никак живой. Кончилось, значит, ее сиротство с детьми. А пришлось ей одной с малыми больно уж тяжело. Осталась она в войну с двумя: четыре годочка и два. Да на сносях еще. Третья – Муська – родилась, когда Степан уж на фронте был. Четыре рта в доме, и все есть просят. А рук рабочих – одна пара, да и те не вдруг в дело приспособишь. Оставить детишек не на кого, а с мелкотой этой куда сунешься? Ладно еще была Тимофевна рукодельница. Подрядилась она в лесоконтору vareжки лесорубам вязать. За работу платили гроши. Зато выдавали рабочую карточку. Правда, норму задавали – не приведи бог какую. Но руки у Тимофевны проворные, спицами ровно играет, прямо не уследить, как стрекочет. Целыми днями над вязанием этим горбатится да и ночь частенько прихватывает. Но она радешенька: все при доме, при детях.

Сильно хорошо жили Степан с Тимофевной до войны. Он был парень видный, гармонист да певун. К тому же головастый, грамотный,

служил бухгалтером. Девки за ним хороводом гужевались, а он ее вот выбрал. В благодарность она ему за пять лет троих и родила. А ведь ей бы впору еще в куклы играть. Девчонка совсем – только что из школы. Степан сам ее на свадьбе впервой Тимофевной-то назвал. Смехом, шутя. А оно, имя это, прицепилось к ней, прилипло напрочь, и стали все звать ее только так. Вначале вроде тоже в шутку, а после привыкли. А уж в войну-то старушечье это имя совсем оказалось ей впору. И всегда-то худенькая, она вовсе высохла. Над вечным своим вязанием согнулась, ссутулилась. Глаза поиспортила, очки на нос напялила. Чтoб волосы в глаза не лезли, работать не мешали, платочком всегда до самых бровей повязана. Совсем в старушку обратилась. Кто она есть? Не Устя же, в самом деле. А Тимофевна – вроде так и надо.

Радовалась Тимофевна возвращению Степана, надеялась, что теперь ей хоть капельку полегчает. Да зря надеялась. Еще одна обуза ей на голову свалилась. Ни к чему-то оказался Степан не пригодный. Поначалу он везде лез – все старался жене подсобить. Но зачерпнет на реке воды, подцепит ведра на коромысло, шагнет пару раз и завалится. Лежит, встать сам не может. Пока подбегут к нему – уж вся вода на него вылилась, грязь с дороги на одежку поналипла. Стирай, Тимофевна! Помой возьмется вынести – обязательно посереде избы разольет. Опять ей лишняя работа. Таз с кипящим бельишком на себя опрокинул – так и вовсе две недели в постели валялся, а она за ним – как за малым дитем. Помог, называется!

Начала в Тимофевне злость вскипать. Пока Степана не было, все дюжила, его ждала, надеждой жила. А как поняла, что все ее надежды в прах – так и сломилась душа. Добро из нее ровно в песок ушло, одна злость осталась. А уж как Нинка народилась – совсем подменили бабу. Просто видеть Степана не может, вся дрожит от злости – ни ему, ни себе этого неожиданного дитя простить не может. А он, как на грех, везде мельтешит, все с помощью своей суется. А какая от него помощь? Даже зыбку качать не может. Чего доброго, прихватит падучая – изувечит ребенка.

А тут еще уволили Тимофевну из лесоконторы. Ее и так последнее время там из жалости только держали: варежек-то она намного вперед

наплела. А теперь что же не уволить: муж вернулся, опять же ребенок родился.

И стала Тимофевна Степана бить. Да не так чтобы просто походя долбануть или кинуть чем. Нет, по-настоящему стала бить, жестоко. Сил-то у нее в руках мало, так она норовила что потяжелее схватить: то скалку, то валеk, то кочергу. Била, пока не уставала. В кровь избивала.

– Ах ты, шайтан немой! Ах ты, молчун проклятый! Навязался на мою головушку! Да что же не убило-то тебя насовсем?! Отплакала бы свое – да и все. А теперь вот... У-у-у, немтырь окаянный! Убью, чтобы на глазах не маячил!

Соседи пытались было заступаться за Степана. Но Тимофевна в такие минуты просто зверела, могла запросто зашибить и заступника. Обессилев, она оставляла Степана, долго потом плакала, но вроде становилось ей после этого чуток полегче. Потом несколько дней ходила тихая, смурная, все копила в себе злость. Когда же та наполнилась через край, Тимофевна опять отводила душу на увечном своем муженьке.

Степан побои ее терпел безропотно, не делал ни малейшей попытки не только защититься, но и убежать. Вроде даже нарочно подставлялся жене под горячую руку. После шел на близкую речку, смывал кровь, подсушивал на солнышке раны. И улыбался всем виновато, словно извиняясь. Соседи жалели Степана и на чем свет стоит костерили Тимофевну.

– Совсем взбесилась баба! Ведь забивает же мужика, прямо вусмерть забивает.

– Написать бы на нее бумагу да и сдать куда следует. Сколько же это можно терпеть?

– Сдать-то не хитрость, а ребятишки? Их-то куда деть?

– Да вот то-то и оно. Только что ребятишки. А так-то можно бы...

– И ведь, скажи на милость, зверь, а не баба. Бьет-то смертным боем. Того и гляди пришибет насовсем.

– Господи, а кого там бить-то? И так еле на ногах стоит, видать, и сам скоро скovyрнется.

– Не, она не даст ему своей смертью помереть, ускорит это дело.

– Сволочная, прости господи, баба! А притворялась-то, притворя-

лась – вспомнить тошно. Ведь как, бывалоча, перед ним прыгала, как устилалась! Уж и детная была, а, будто девка, всюду хвостом за ним моталась. Куда его ни позовут поиграть – она уж обязательно там...

При разговорах этих Степана обычно во внимание не принимали. Все как-то забывалось, что он не глухой. А он, как услышит про Тимофевну слово худое, скорее уходил – не терпел, когда ее ругали. Мало-помалу остался Степан без своего угла. Старался Тимофевне пореже на глаза попадаться, не сердить. С утра до ноченьки все у ворот на лавке торчал. Только ночевать домой и ходил. Но она другой раз и ночью не стерпит, начнет на него кричать. Сама вся поизведется, детишек поразбудит, перепугает. Перестал Степан и на ночь домой приходить, у крыльца под навесом спать приспособился. Прямо у двери свернется калачиком и спит. Как дворняжка. Да утром пораньше спешил встать, чтоб Тимофевна, выходя, ненароком об него бы, не дай бог, не споткнулась. Он уж и белье, и одежонку свою ей стирать не отдавал. Заскоруз весь, запаршивел, оброс. Страшный стал – только детишек им пугать. Сидит целыми днями на лавке у ворот или на берегу у речки и все виновато улыбается.

Карточки свои и пенсию отдавал Степан Тимофевне, себе копеечки не оставлял. Сам же кормился подаянием. То есть просить-то он никогда не просил, но и, коль давали, не отказывался. Стали их дворничие стороной обходить – оставляли скудную свою поживу Степану. А какая там пожива? Соседи все сплошь детные. Половина из них – эвакуированные, с тех и вовсе взять нечего. А которые и местные – ненамного богаче. И все же старались они хоть чуток подкормить Степана. В избу-то уж не звали: больно он грязен. А на улицу какую-то малость выносили.

В какой день и не однажды покормят. А случалось, несколько дней кряду не поест Степан: то забудут про него, то совсем дать нечего. А он – ничего. Только глаза провалятся сильнее да мутными станут. И ведь огороды рядом. Хоть бы раз польстился, огурчик чужой взял. Наверное, не подал бы больше никто – так и помер бы с голоду на лавке. Пытались его хоть в какое-нибудь дело приспособить. Да ничего подходящего не придумали. Куда ни кинь – нельзя его пускать. То котлы,

то станки, то еще какая опасность. Ни топора ему, ни пилы, ни даже молотка нельзя доверить. Так и остался Степан не у дел.

А Тимофевна хоть и лишилась своей работы, однако спиц из рук не выпустила. Начала шали вязать. Купит на базаре шерсти, растеребит, нарядит и вяжет. Приспособилась: зыбку с Нинкой ногой за веревочку дергает, а сама спицами так и стрекочет. Вязала она знатно. Вязальщица такая на всю округу была одна. Другие-то бабы, которые и умели вязать, за войну это дело забросили: не до этого. А которые и не выпустили спиц из рук – с Тимофевной в мастерстве потягаться не могли. И потому покупатели у нее были. Она быстро уразумела, что бабам требуется, как им угодить. Вязала шали толстые, теплые. Зато кайму к ним пускала ажурную, красивую, с зубчиками. И рисунок всякий раз свой, особенный, на другие непохожий.

Тимофевна с каждым платком расставалась трудно. Все наказывала покупательнице беречь его, учила, как правильно стирать, чтоб рисунок не потерялся. Сама она над каждой новой шалью прямо-таки священнодействовала. Тщательно, но очень бережно стирала, взбив сначала пышную мыльную пену, отжимала в чистое полотенце, долго осторожно растрясала, растягивала в разные стороны, готовила к главному. Потом опускалась на чистый, только что помытый пол и, ползая вокруг на коленях, часто кланяясь, будто молясь, прибивала шаль к половицам – гвоздиком в каждый зубчик. Встав, с разных сторон придирчиво оглядывала свое произведение, что-то еще подправляла, подтягивала и оставляла сохнуть на ночь. Утром снимала с гвоздей, у окна просматривала на свет, прощупывала, нет ли где узелка, проверяла, прижав к щеке, на мягкость, зачем-то дула на пушистые снежинки и цветы, тягостно вздыхала перед разлукой и шла с новой шалью на базар. Долго там никогда не сживала – хорошо покупали. Другой раз даже сама привередничала. Коль покажется ей, что баба грязнуля, так еще и не продаст ей.

Попробовала Тимофевна сменить свое вязание. Сплела шаль не всегдашнюю, обычную, а диковинную – тончайшую, что твоя паутинка, и красоты прямо-таки несказанной. Прозрачная, как морозный

узор на стекле, вся сплошь из снежинок и цветов сказочных, будто кружевная. Да еще и кисти привязала. Красота получилась дивная. Соседи от нее обомлели и велели скорее на базар нести да цену большую просить. Только никто там эту невидаль не купил. Подойдут, поахают, другой раз аж толпа соберется, похвалят мастерицу, повздыхают, с тем и отойдут. Тепла-то от такой шали никакого, одна только голимая красота. А до нее пока очередь не дошла: война ведь еще не закончилась, хотя конец ее уже был обозначен. Так и осталась та шаль у Тимофевны. А ей-то и вовсе – куда в ней? Свернула да положила в сундук.

...Пришла осень, и Степану стало совсем худо. Дожди да холода гнали его с улицы в дом. Стал он спать в сенях. И только когда сделалось совсем уж студено, потихоньку начал заходить в избу. Зайдет – и скорее на сундучок. Там у него рваное ватное одеяльце лежит. Ах как худо, что на улице спать нельзя! Опять Тимофевна сердится, снова бьет его, а после сама плачет.

Кое-как до середины зимы дожили. А в самые крещенские морозы Тимофевна захворала. Врачи сказали – сердце. Неделью лежала с мокрой тряпкой на груди, лекарства пила, соседкам, что помочь забежали, указания насчет детей давала. А потом сделалась совсем без сознания. Глаза открыты, а что там они видят – только ей одной ведомо. Веселая такая, улыбается. И все Степана зовет. Его одного. Никого из детишек даже разу не кликнула. А уж какими именами-то его называла – все теми, ранешними, довоенными.

– Степушка милый! Один ты на свете такой пригожий. Голубок мой сизокрылый. Радость моя ненаглядная. Один ты любый мне, один желанный...

А он рядом сидит, не отходит, на нее смотрит. Губами шевелит, ответить хочет, да не получается.

– Эх, Степушка, сыграй-ка мою любимую!

Он даже к лавке бросился, где гармонь стояла, да сразу и споткнулся: ее же Тимофевна еще в начале войны на муку променяла. Смотрит на Степана Тимофевна, ласковые слова ему шепчет, за руки его уцепилась. Так и померла. Еле потом отцепили ее пальцы от Степановых.

Завыл Степан по-звериному. Затопал ногами, заколотил себя в грудь кулачищами. Потом подхватился и побежал вон из избы. Кинулись было за ним, да не догнали. А ведь раздетый он, в одном пиджакишке – замерзнет, чего доброго.

Пришел Степан – полуживой, полузамерзший – только на другой день, когда Тимофевна лежала уже посередь горницы в гробу. Была она прибрана, одета. Сняли с нее всегдашний платок. Косу вокруг головы уложили. А волосища-то у нее оказались длиннющие да густющие, прямо что грива. Распрямилась, не горбатится больше над вязанием. Очков на носу нет. Вместе с ними и заботы все скинула, не хмурится, не злится. Морщины разгладились. Все так и ахнули: а Тимофевна-то, оказывается, красивая! И молодая ведь совсем. В паспорт глянули – и тридцати еще нет. Порылись соседки, поискали, во что обрядить, чем убрать напоследок Тимофевну, да и додумались. Покрыли ее шалью той диковинной, что сплела она недавно. И лежала теперь Тимофевна вся в белых кружевах. Будто невеста.

Соседи и хлопоты все на себя взяли, и детишек пока меж собой разобрали. Про себя-то они думали: «Как в жизни была вредна, так и под конец всем досадила. Ведь в самые лютые морозы померла. Это могилу-то в такую стужу рыть да закапывать!»

Думать-то думали, а вслух, как водится, худого про покойницу не говорили. Вспоминали, как тяжело ей было одной с детьми, как работала дни и ночи, вон и сердце непосильной ношей надорвала. Степан как зашел, как стал в угол, так и стоял, глядя на Тимофевну неотрывно и безучастно. А уж ввечеру, когда начало смеркаться, вдруг раскинул руки и пошел по избе, тесня людей к выходу. Гонит вон, значит. Попытались бабы урезонить его, да куда там – и не слушает. Ну, они в дверь: бог его знает, что у этого немтыря на уме. Может, и вовсе уж спятил. Потом всё подходили да в оконце заглядывали: не вспомнит ли он ей свои обиды, не устроит ли какое охальство?

А он стал у гроба на колени, положил голову Тимофевне на грудь, взял ее руки в свои и сначала тихонько, потом все сильнее и громче зашелся в плаче. Рыдания рождались где-то в самой его глубине и про-

рывались наружу трудно, корежа его и сотрясая. Глотка, отвыкшая от речи, порождала звуки страшные, дикие, звериные. Ведь скажи, сколько раз умывался Степан кровушкой – даже не пикнул, будто все слезы копил для этой вот ночи.

Соседи всё слушали да дивились. А под утро уж и вовсе он несусветное учинил – выть начал. Да не так, чтобы там чуть подскуливать – нет, по-настоящему, в полный голос. Да еще и как-то по-особенному:

– А-а-а у-у-у ы-ы о-о-о ы-ы-ы у-у...

– Да ведь это же он поет! – догадался кто-то.

– Точно! Которую Тимофевна вечно мурлыкала, когда вязала. Кабы на цве-е-еты да не моро-о-озы...

До утра проплакал, провыл над Тимофевной Степан. Потом вроде поуспокоился и не встревал в то, что делали в его избе соседи.

Бабы ругали его потихоньку:

– Вот же дурень набитый! Ведь вся шаль как есть мокрешенька. Не знает, что ли, немтырь: нельзя слезы в гроб-то ронять – на том свете вечно в мокроте быть.

Они даже попытались снять шаль и оставить дома. Но Степан упрямо вновь укрыл ею Тимофевну.

...Сразу после похорон определили детишек в детдом. И остался Степан в избе один.

Соседи потихоньку поговаривали:

– Ну наконец-то поживет мужик спокойно. А то уж она его навовсе затюкала.

А Степан жил как и прежде. Больше на улице обитался. Когда уж совсем застывал, шел домой. Спал там же, на сундучке. Только подающие теперь принимать отказывался. И соседи рассудили:

– Да и правильно! Однако, дома-то всегда сыщется, что поесть!

Порешили так и оставили его в покое. Только иногда, коль долго не показывался, заглядывали, проходя мимо, в оконце. А он, видать, все же спятил. Все недовязанную Тимофевной последнюю ее шаль из рук не выпускал. Вроде довязать пытался. Сядет у стола и спицами ковыряет, ковыряет.

И девяти ден отвести своей Тимофевне не подумал даже, нехристь! Бабы сами сбросились да и напекли блинов, помянули покойницу. И ему, бесстыжему, тоже парочку принесли. А на другой день поутру заглянул кто-то в Степаново оконце – спит он, сидит за столом и спит. Вечером глянули – опять спит, все там же и так же. Постучали, покричали – не шевельнулся. Зашли, а он уж холодный совсем. Перед ним блины на тарелке, и не притронулся. А врачи определили, что от голоду он помер. Оказывается, ни разочку даже не поел – с самой смерти Тимофевны.

На похоронах все удивлялись: и чего ему не пожилось? И изба у него, и пенсия, и наконец-то покой: никто не дергает, не тюкает. Жить бы и жить в свое удовольствие, а он вот... И еще дивились все: шаль-то Степан все же довязал. Хоть и шалью-то ее с трудом можно назвать. Скорее сеть для рыбалки, одни там петли-ячейки, никакой тебе в ней красоты. А все же какая-никакая шаль. Не зря, выходит, спицами ковырял немтырь настырный – добился своего, довел до конца работу своей Тимофевны.

(«Кабы на цветы да не морозы», 2008)

Ирина Фролова

ПОВЕЛИТЕЛЬ СЛОВ

...Я отдаю предпочтение «малому жанру» и пишу только рассказы. Именно рассказ кажется мне наиболее лаконичной и в то же время наиболее выразительной формой прозы. Самое важное, самое интересное для меня – это людские судьбы, человеческие характеры, их несоответствие внешне кажущейся простоте и даже как будто примитивности. Глубина этих характеров, их непохожесть, сила человеческих душ, чувств – вот что привлекает меня в первую очередь.

Из интервью Л. Скорик на радио, 1979 г.

Все самое главное Любовь Трофимовна сказала про себя сама. Многие авторы выбирают для себя подобный «малый жанр» и пишут рассказы или новеллы. Любовь Скорик использует широкий тематический спектр: она пишет о войне, деревне, детстве, любви, путешествиях, чуде, «братьях наших меньших», чистоте русского языка, космосе и о многом другом. Несколько разных тем порой сливаются воедино, переплетаются в рассказах, образуя сплав лаконизма, мудрости, духовности и душевности. В каждом из произведений своя интонация, «изюминка», особый творческий прием, композиционное своеобразие, глубина психологизма – то, что называют авторским почерком. И безупречное владение словом!

«Выросшая в нищете, свыкшаяся с убожеством, раньше я знала радости лишь от ощущения сытости, тепла, телесного комфорта. И вдруг открыла для себя настоящий восторг совсем иного порядка. Такие привычные обиходные слова, отобранные мною и расставленные в особом порядке, начинают иначе звучать, приобретают новый смысл, заставляют людей задуматься, улыбаться или плакать. И это делаю я! Я хоть пока еще не всемогущий, однако уже какой-никакой повелитель слов – самого ценного из всех существующих на свете богатств» («Былое покоренье Альма-матер»).

Характерной особенностью сравнительно небольших рассказов является предельная концентрация чувств, мыслей, неповторимая речевая характеристика персонажей, многозначительный финал. Одним из первых произведений, покоровших читателей, стал рассказ «Парнишонка». Описание глухой деревни Шалаевки, где происходят события, не раз потом будет встречаться в разных повествованиях («Анфисин патефон», «Подруги по несчастью», «На выгоне», «Последняя весна»). С трагедии начинается завязка рассказа: погиб молодой тракторист Андрей Сафонов. Удивила всех неизбывным горем соседская девчонка. После похорон Нюрка вышла в черном материнском платке, по-вдовьи повязанном до бровей, и уже не снимала его. Горе сблизило ее с матерью Андрея: они вместе ходили на его могилу, потом девочка переехала в избенку Сафоновых. Автор не жалеет художественно-вы-

разительных средств для яркой портретной характеристики юной героини.

Через два года уже всем было очевидно, что с ее красотой «никому нельзя потягаться». Но всех ухажеров она отваживала. Со временем Нюркины обожатели один за другим переженились. Тогда и перестала считаться она невестой. Так и жили вдвоем с Сафонихой, пока не собралась вдруг девушка в город. «Свекровь» всерьез собралась помирать и все ждала свою любимицу, чтобы проститься. Появление Нюрки с «городским подарочком» на руках взволновало женщин, а когда они узнали от медсестры, что ребенку семь месяцев от роду, наступил кульминационный момент: взорвалась «бомба». «Не надо бабам знать высшей математики, чтобы точно высчитать, что никакой не городской он вовсе, а тутошний, что ни на есть шалаевский». Уставшие от домашних скандалов «пострадавшие мужики», не сговариваясь, пришли к ее дому и призвали к ответу. В неизменном черном платке, но со счастливыми глазами, молодая мать каждому напомнила о его притязаниях, а на вопрос, «с кем дите нагуляла», так и не ответила.

Все ждали, что уедет их обидчица и старуху с собой заберет, только крепко держала Андреева могила, на которую они по-прежнему ходили каждый день. Сына молодая женщина назвала Федором, но в деревне стали звать его Парнишонка. Он оказался очень приветливым и общительным, и давно раздумавшая помирать Сафониха еле поспевала за проворным внуком.

«Ежедневный обход Парнишонкой шалаевских домов стал обязательным». Женщины и страдали от этого, и ждали, словно хотели лишний раз разбередить свои раны. Нюрка же поражала всех своим спокойствием: ходила вместе со всеми на работу, не реагируя на изоляцию. Развязка приближалась. Председатель попросил на время страды организовать детский сад в Нюркиной пустующей избе. «Новшество развязало руки бабам»: и ребятишки надежно присмотрены, и обидчица глаза не мозолит. Как-то по заведенному обычаю повела воспитательница старших детей на прогулку, но не учла, что сегодня косят на ближних лугах. Отступать было поздно, да и характер не позволял, к

тому же бабы их заметили и поспешили навстречу своим чадам, по которым уже успели соскучиться. Неожиданно поцелуи и объятия были прерваны появлением машины с шашечками; такси в деревне было такой редкостью, что все застыли в ожидании. Молодая городская женщина шла прямо к Нюрке. Остолбевшие бабы потребовали полного отчета у женщины, которая пыталась найти у них поддержку, и выяснили, что незнакомка жила вместе с их землячкой на квартире, была не замужем, училась и родила нежеланного ребенка. Теперь женщина узнала, что у нее больше не будет детей, и они с мужем хотят забрать сына, готовы отблагодарить за то, что его кормили-одевали.

Оглушенные новостью, бабы не могли поверить в такое, но женщина сказала, что квартирная хозяйка будет свидетелем в суде. И бабы устроили свой суд: всю свою боль выплеснули они, не понимая, как это можно – отдать собственного ребенка. «А ты не у Нюрки – у нас всех попробуй его отними! Мы с ним теперь по гроб связаны. Да и не узнаешь его сроду, ребенка-то своего. Потому что сердца в тебе нет материнского». Бабы начали наступать на непрошеную гостью, и та стала пятиться к машине, еще пытаясь выкрикивать что-то насчет прав и законов. Когда машина скрылась, Настена передала Парнишонку Нюрке. «Закаменевшие руки снова стали гибкими. Она обхватила ими маленькое горячее тельце. И слезы – щедрые, обильные – полились на белесую головенку. Были они не горькими, не тяжелыми, а светлыми, облегчающими».

Героиня рассказа «Сюрприз» просыпается от голоса, зовущего ее. Он «пробился к ней из немыслимой запредельной дали и был таким родным... Кто-то свой позвал – очень близкий и несказанно далекий». Так начинается повествование о Пелагее, об одном дне ее жизни, наполненном размышлениями, воспоминаниями, событиями. В рамках рассказа уместается ее долгая трудовая жизнь в деревне, переезд в город к сыну. С душевной болью рассталась с привычными вещами, но кое-что «можно было вырвать только с сердцем». Автор подробно описывает все реликвии пожилой женщины: гармонь покойного мужа Степана, его полевую сумку; ковер с лебедями, первую их покупку;

комод, что в приданое ей достался; две расшатанные табуретки, еще Степой сколоченные; кровать с высокими узорчатыми спинками. Некомфортно ей в городе: и вставать рано нельзя, чтобы не разбудить семью сына, и готовить нельзя, чтобы «не раскормить» домашних. В своей городской неуклюжести Пелагея (хотя по-городскому ее тут зовут Полиной Михайловной) винит только себя. «Хорошие у нее дети, заботливые». Вот и сегодня все дети приезжают, чтобы поздравить с 80-летием.

Юбилей, правда, давно уже прошел. Тогда зазвала ее к себе в гости соседка-учительница, они посидели, поговорили, выпили по рюмочке, всплакнули вдвоем. А теперь праздновать будут дети (целый год согласовывали удобную для них дату) и много «чужих» по списку. Много лет не видела она своих взрослых детей вместе. И вот к Георгию и Кате, у которых она живет, приехали дочь Мария с Николаем, прилетели сын Петр с Людмилой и запоздавший младший – Володька. После обеда дети отправили мать к соседке: в тесной Аннушкиной комнате Пелагея обычно отводила душу и выговаривалась.

Вскоре прибежала за ней внучка с сообщением, что сюрприз готов. «Как только в прихожую зашли, неладно стало как-то на душе у нее, вроде почуяла что нехорошее... В ее комнате поселились чужие вещи». Дети наперебой говорили о сюрпризе, убеждали ее, что нужно хоть на старости лет пожить «удобно и красиво». «Пелагея попросила Бога, чтобы дал ей сил не закричать, не завывать в голос, и Он услышал ее. Она стояла у входа недвижно и немо, с помертвелым лицом и нутром».

Потом началось торжественное застолье, и виновница его хотела стать неприметной, спрятаться от яркого света, взглядов, красивых и мудреных речей. Она дождалась, когда разговор переместился на другую тему, и потихоньку вышла. Теплилась в ней надежда, что, «попрятали» ее вещи, но внучка сказала, что шофер все увез на свалку. Новое кресло засасывало, как болото; на диване лежать было неудобно: сухонькое тело скатывалось в щель. Легла на пол, кинув старенькое пальто, но перед ее лицом оказалась оскаленная медвежья морда (младший сын привез шкуру с Севера).

«Она лежала на полу и думала. Все-таки хорошие у нее дети. И не по злобе, а по неразумению молодому больно ей сделали». Пелагея смотрела на новую необжитую обстановку и чувствовала, что в красивой и чужой теперь комнате «лишнее, совсем ненужное здесь... она сама. И вдруг совершенно отчетливо вспомнила, чей это голос звал ее нынче ночью. Да это же Степан! И она, боясь, что ей могут помешать, зашпешила на ласковый зов своего Степана». Утро началось с голоса, и в финале рассказа, вечером, героиня устремляется навстречу ему. Восприятию помогает кольцевая композиция: день закончился – круг замкнулся. В процессе чтения рассказа невольно возникает в памяти ассоциативный ряд с произведениями Валентина Распутина «Последний срок» и Зинаиды Чигарёвой «Платок для матери». Извечный вопрос «отцов и детей», нравственная глухота и слепота волновали не одно поколение писателей.

Тема войны для Любви Скорик болезненная («Впереди – вечность», «Кукла», «Брошка», «Шестьсот тринадцатый» и др.), ведь она и сама ребенком ощутила все тяготы войны, рано осталась сиротой: отец ее погиб в первом же бою. В рассказе «Кабы на цветы да не морозы» война «только поворотила к неблизкому своему закату», когда привезли с фронта мужа Тимофевны. Внешне Степан был «целехонек», «а не человек». Порадовалась жена, что он вернулся, плакала на «мужнино увечье», понадеялась, что легче теперь ей будет с детьми. Целыми днями горбатилась над вязанием да и ночи прихватывала Тимофевна – так Степан ее на свадьбе шутя назвал, хотя была она совсем девчонкой. А в годы войны это «старушечье имя оказалось ей впору». До войны очень хорошо жили супруги. А теперь вышло, что еще одна обуза свалилась на бедную женщину: ни к чему оказался Степан не пригодным, хоть и рвался жене «подсобить».

«Как поняла, что все ее надежды в прах – так и сломилась душа. Добро из нее ровно в песок ушло, одна злость осталась». Из конторы ее уволили: она варежек на много лет вперед наплела. А когда еще четвертый ребенок родился – «совсем подменили бабу». Стала она зло срывать на Степане, била его жестоко, немтырем окаянным называла.

Степан же и не делал попыток защититься и убежать. Потом стал жить на улице. Соседи подкармливали, а иногда он и по несколько дней ничего не ел.

А Тимофевна, хоть и лишилась работы, спиц из своих проворных рук не выпускала. Никто не мог сравниться с ней в мастерстве. Шали она вязала знатные и рисунки придумывала особенные. Автор колоритно описывает, как мастерица колдовала над каждым изделием и еще не всякой моднице продавала свой товар. Однажды сплела она шаль не теплую, как обычно, а «диговинную – тончайшую, красоты прямо-таки несказанной». Ахали все и вздыхали, но никто не купил: куда носить такую роскошь, война ведь еще не закончилась. В середине зимы заболела Тимофевна: сознание помутилось, все Степана звала. Какими только ласковыми словами не называла своего мужа, за руки его уцепилась – так и умерла.

Готовили соседки Тимофевну в последний путь и удивлялись: морщины разгладились, очков на носу нет, не горбатится, красивая и молодая («в паспорт глянули – и тридцати еще нет»). «Покрыли ее шалью той диговинной. И лежала теперь Тимофевна вся в белых кружевах». Степан вернулся только на второй день, встал у гроба на колени и зашелся в плаче. «Глотка, отвыкшая от речи, порождает звуки страшные, дикие... А под утро уж и вовсе он несусветное учинил – выть начал». Догадались люди, что инвалид... поет. Тимофевна вечно мурлыкала, когда вязала: «Кабы на цветы да не морозы...» После похорон он, как прежде, все больше на улице обитал. Недовязанную женой шаль из рук не выпускал, ковырял спицами. На девять дней бабы напекли блинов, помянули и ему парочку принесли. Через день нашли его мертвым. Перед ним блины на тарелке. Оказывается, он и не поел ни разу после смерти жены. На похоронах соседи удивлялись, что это ему не жилось: «И изба у него, и пенсия, и покой: никто не тюкает. И еще дивились все: шаль-то Степан все же довязал».

Пронзительная история... Краски войны неоднозначны: любовь – ненависть – жалость – преданность. Любовь Скорик нередко называла свои произведения строчками из песен: «Ты не стой у окон моих»,

«Чего-то жаль», «Эх, кабы на цветы да не морозы», а в народной песне далее следуют такие слова: «...и зимой бы цветы расцветали». Эх, кабы не война...

Меня всегда удивляло, как эмоциональная, порывистая, порой резкая и непримиримая в жизни Любовь Трофимовна была сдержана и деликатна в творчестве. Она не дает оценок поступкам своих героев, бережно, уважительно относится к их чувствам и предоставляет право сделать выводы читателю. Она сохраняет интригу, чтобы читатели, особенно юные, дошли до смысла своим умом, радуясь, что смогли «разгадать» беспристрастность автора. И гордая Нюрка, и доверчивая школьница Юля-Чижик из рассказа «Не стой у окон моих» скрывают свои тайны, бросая вызов окружающим. Случайная встреча на черноморском побережье Виталия с наивной, трогательной Юлей из Сибири, имя которой он даже не может вспомнить, заставляет его, насмешливого художника и ловеласа, задуматься, как жить дальше. Потрясенный найденной в сумочке «мелкокалиберной пигалицы» фотографией ребенка, похожего на него, он попытался в один ряд выстроить всю ее нехитрую жизнь и переосмыслить свою.

Главный герой – на распутье. Он то собирается «расплачиваться за свое легкомыслие», то полагает, что «сотни женщин растят детей одни»; то считает, что «ему только бы на след наткнуться», то – что «уже поздно». Финал открытый. Виталию предстоит сделать выбор. «...Море просыпалось. Оттуда изредка прорывались длинные трудные вздохи. Но зарождались они так глубоко, что пока еще были не в силах всколыхнуть безмятежную морскую гладь».

В цикле «Семейные истории» есть рассказ «Петух на балконе». Заболевшая пятилетняя внучка Ивана Никитича и Фаины Семеновны (детского врача с опытом работы в четверть века) утасала с каждым днем. Профессор, светило педиатрии, посоветовал ни в чем ребенку не отказывать и выполнять все капризы. Уезжая из деревни, Вика слезно просила родственников подарить ей петушка, но везти его в поезде из Поволжья в Сибирь было проблематично, и девочке пообещали, что петух потом прилетит на самолете. Ей накупили целую коллекцию

разнокалиберных петушков, пытались подсунуть щенка, но все было тщетно.

Иван Никитич ездил в зоопарк, в цирк, и только в совхозе удалось найти одного-единственного петуха и вымолить его для внучки. А дальше произошло чудо: как юная героиня А. Куприна обрадовалась слону, так и Вика с изумлением и восторгом смотрела на кукарекающее диво, разместившееся на балконе шестнадцатэтажки. Болезнь отступала неохотно, но вся жизнь теперь проходила «под знаком Петуха». Когда прилетели с другого конца света Викины родители, она была уже почти здорова.

И они, используя положенные выходные и прошлогодний отпуск, отправились вместе с ней на полгода к морю. Скоро ударили первые заморозки, на балконе петуху было холодно, и что делать с ним, пока не знали. Ивану Никитичу удалось из Москвы, где он был в командировке, слетать на юг проведать внучку. Долго и подробно рассказывал жене, как поправилась Вика, как порозовели ее щеки. Фаина Семеновна приготовила настоящее пиршество. Покой нарушили дети, пришедшие узнать, почему сегодня не пел петух. «Иван Никитич смотрел на натужную, будто чужую улыбку на лице жены, вспомнил вдруг вкус ароматного жирного жаркого, и ему стало тоскливо и пусто. Он лег на диван, отворотясь к стене. Там, на ковре, висел Викин рисунок, присланный им в последнем письме. Под рисунком кривыми разнокалиберными печатными буквами была сделана разъяснительная надпись: “ДЕДА, БАБА, ПЕТЯ”».

По-разному складывается жизнь двух сестер в произведении «Кого-то жаль...». Автор использует принцип сравнения приоритетов каждой из них. Старшая, Варя, после смерти матери и по ее наказу заботилась о четырехлетней больной малышке. Сорокалетний директор школы опекал их, из жалости позвал жить в просторный добротный дом. Чтобы не было пересудов (оба они школьные работники), он, вдовец, предложил формальное замужество. Ради спасения сестры Варя, не медля ни минуты, согласилась. Ни разу не пожалела Варвара за двадцать четыре года о своем скоропалительном браке. Младшая, Леля, го-

това расстаться с устоявшимся семейным бытом, идеальным супругом, любимой работой и отправиться в Магадан («с ее-то наследственным туберкулезом») вслед за человеком, который по всем параметрам уступает ее мужу Косте, да еще и «пока женат».

Она, полюбив впервые, преисполнена решимости выдержать все, лишь бы быть с ним рядом: «...даже если это только на сезон, но это будет мой. Только мой сезон». Варя не понимает сестру и думает о благородстве, доброте и щедрости своего мужа. Когда ей рассказывают, какой он был раньше, как пел, плясал, веселился, как ревновал первую жену, устраивал сцены, а потом на коленях умолял о прощении, она не может поверить. «А с балкона все тот же вкрадчиво обволакивающий тенорок: «Чего-то нет, кого-то жаль...» Кого из сестер жаль? Автор предоставляет читателям самим разобраться в этом вопросе.

Этот же вопрос остро стоит и в рассказе «Лидия». Лучшая подруга главной героини шестнадцать лет жила спокойно и размеренно в браке с братом Кати Виктором. Неустроенность, разлука на период учебы, болезнь Лиды не омрачали их жизнь. Когда Виктор погиб в автомобильной катастрофе, все очень переживали за Лидию, а она постаралась сохранить старые, заведенные мужем порядки. Через год в проектный институт приехал в командировку «типичный профессиональный сердцеед, пижон, болтун и нахал», который за месяц «успел повстречаться со всеми институтскими девицами». К удивлению Кати, подруга не отвергла его с отвращением, а приняла его ухаживания. Потом уехала, ни с кем не посоветовавшись и не попрощавшись. Два года прошли в тревоге за Лидию и в обиде на нее. И вот Катя, забыв про гордость, едет «спасать подругу». Ее поразило, как рассудительная Лида мечется в ожидании телефонного звонка от уехавшего в очередную командировку Дмитрия. Лида «обкромсала» волосы, стало ему только намекнуть, что у нее несовременная прическа. И даже к рождению ребенка готова, несмотря на то что ей нельзя рожать. «Теперь я все смогу, что он захочет».

Она пытается объяснить и себе, и Кате, что сорок лет почти проспала и только эти два года живет по-настоящему: «Очень нелегкая

эта жизнь... Самое страшное, когда я думаю, что могла бы всю жизнь проспаться». Теперь уже и Кате страшно: Лидия может говорить и думать только о своем Мите. «Пронзительная боль утраты: я потеряла Лидию. Кипящая обида за брата. Ненависть к не увиденному мною Д. Н. Беспокойство за судьбу бывшей подруги. И еще что-то. Я ощущаю, что еще одно чувство едким желчным комом встало в душе, теснит дыхание, давит сердце. Ну что там еще, что? Неужели зависть?!» Так что же важнее: разум или чувства?

Опытный психолог никогда не советует своему пациенту, как надо поступить, не дает рекомендаций, а только подводит человека к прозрению, подталкивает к обретению истины, и тот сам, порой выворачивая свою жизнь, делает выводы, принимает решения. Так и Любовь Трофимовна, создавая ситуации для героев, не оберегает их от проблем, а при помощи импульсов, толчков извне и изнутри помогает осознать, что для них важнее. Эту кропотливую душевную работу воспринимает и читатель для обогащения своего жизненного опыта и последующего раздумья, как бы поступил он в данной ситуации.

Лина из рассказа «И стоит только захотеть...», встретившись через десять лет на теплоходе с Андреем, потеряла голову от счастья и решила, что это судьба свела ее снова с любимым человеком. Для себя она уже определила, что поговорит с мужем, объяснит сыну, что «новый отец» будет любить его. Пригласившая их в гости попутчица Маша, счастливая невеста, передает подарок от возлюбленного своей дочери Анечке и убегает к нему на свидание. А Лина слышит горький плач. Девочка одной рукой пыталась смахнуть слезы, а другой судорожно выдергивала волосы из головы новенькой куклы. «И если бы не это жестокое занятие, она, должно быть, задохнулась бы от рыданий». Миг помогает Лине понять, в чем смысл ее жизни. Когда пришел Андрей с цветами в руках, она взяла их и машинально занесла в дом, а «через минуту вышла с чемоданом».

Импульс-озарение помогает герою рассказа «Пианино» понять спустя пятнадцать лет, как порадовать жену. Его Анюта с детства мечтала о пианино. «Мне хочется, чтобы в жизни каждого из нас случилось

чудо. Настоящее чудо. Однажды на всю жизнь, но уж непременно». Она и жила в ожидании чуда. На жизнь не жаловалась, делила с мужем его заботы с лесным хозяйством, растила детей. Чураков, покупая в городе очередную стопку книг, наткнулся на произведения писателя, гостившего у них на заимке пятнадцать лет назад, и, читая описания их счастливой молодой жизни, понял, что Анна стесняется теперешней себя, своей нереализованности. Нет у нее музыки, с которой «и в пустыне не одиноко». И пианино он ей так и не купил: то денег не было, то дочь несколько лет болела, то сезон охоты начинался. Когда вечером привезли заказанное пианино, он подошел к жене, заглянул в самую глубину ее глаз и трудно выдохнул: «Это тебе, Анюта. Играй. Ты прости меня, если сможешь». Вместо музыки из-под загрубевших пальцев со ссадинами и ранками родился плач, вобравший «всю безнадежность и горечь, которыми одарила ее жизнь». Он стоял рядом и твердил: «Вспомни! Попробуй еще! Не поздно...»

Надеются на чудо и пациенты больницы. Любовь Трофимовна сама немало времени провела в разных стационарах и, как никто другой, понимает страдания своих персонажей («Шли дожди», «Часы с кукушкой», «Любовный дух», «Умолкни, кукушка», «Береги себя, доченька», «Одна моя знакомая мышь»). По-разному ведут себя больные, но мужество, стойкость духа, бойцовский характер вызывают уважение. Особое ее сострадание к обреченным детям, знающим свой диагноз: семилетнему Ваське («Умолкни, кукушка») и его ровеснику Максиму («Одна моя знакомая мышь»). Этим ребятишкам ничем нельзя помочь, но взрослые (и это отнюдь не родственники) стараются хоть чем-то развлечь их, порадовать.

Тема взаимопомощи, милосердия раскрывается в произведениях «Долги наши», «Постоялец», «Ребята с Партизанской». С безграничной теплотой описывает автор жизнь «братьев наших меньших» (им посвящен целый сборник рассказов «Обидчивый некто»). Трогательно заботится автор и о белочке, и о соседских котах и собаках. Она пронесла через всю жизнь благодарность к животным («Спасибо той корове») и к людям. Школьные друзья, учителя, однокурсники, коллеги по телестудии – все оставили глубокий след в сердце писателя

(«Куда уходит детство», «Былое покоренье Альма-матер», «Вдоль по жизни с микрофоном»). «Я в один день завершила свою телекарьеру. Почему? Да именно потому, что “взахлеб”. С кровью вырывала себя отсюда. Во мне, сколько себя помню, всегда гнезился вирус сочинительства, грыз изнутри, требовал полной отдачи и души, и времени».

Грыз изнутри ее не только вирус сочинительства, но страстный протест против всякого рода «иностранищины». Борьба за чистоту русского языка продолжалась до последнего. Едко и хлестко высмеивала она стремление подражать Западу: «Ах, какая поэзия: “бегиситтер Арина Родионовна”! Или роман Достоевского “Тинейджер”»; критиковала заимствованные названия магазинов и кафе («По-каковски шпрехаем, пипл ру, или Сан-Ремо на Советском»). Любовь Трофимовна Скорик, подобно «неистовому Виссариону», горела желанием, чтобы русская речь была грамотной, полноценной, значимой и именно русской!

Работа на телевидении дала свои плоды: рассказы Любови Скорик кинематографичны по сути. Хочется надеяться, что по ним будут сняты фильмы и с экрана нас будут завораживать Нюрка, Юля-Чижик, Пелагея, ребята с Партизанской и другие полюбившиеся герои произведений Любови Скорик.

Екатерина Тюшина

БИОГРАФИЯ ЛЮБОВИ СКОРИК

Любовь Трофимовна Скорик родилась 14 июня 1938 года в городе Днепропетровске (Украина) в семье военных. Детство и школьные годы прошли в Минусинске Красноярского края. В 1961 году окончила филологический факультет Томского государственного университета. Работала корреспондентом Томского областного радио – вела детские передачи.

В 1966 году была принята в Союз журналистов СССР. С 1966 года работала радиожурналистом в городе Кемерово. В радиопередачах

она рассказывала о детском творчестве, спортивных мероприятиях, загородных лагерях, туристских клубах, театрах, студиях, смотрах, конкурсах, фестивалях школьной самодеятельности. Ее репортажи звучали не только по местному радио, но и по московскому, публиковались в детских газетных и журнальных изданиях, таких как «Пионерская правда», «Костер», «Пионер», «Вожатый».

Любовь Скорик была переведена на работу в Кемеровскую телестудию, тоже в детскую редакцию. На телевидении вела развлекательные, познавательные, учебные передачи. Приглашала в студию героев войны и труда, писателей, поэтов, артистов, спортсменов. В телеэфирах участвовали и сами дети.

Позднее вновь вернулась на радио, в редакцию художественного вещания. Освещала культурную жизнь Кузбасса: чем жили театры и дворцы культуры; что нового было у кузбасских писателей, поэтов, музыкантов, художников; подробно рассказывала о гастролях театров, певцов, музыкантов. Брала интервью у известных артистов, приезжающих на гастроли. Писала очерки о людях, которые жили на кузбасской земле. После цикла репортажей из 2-го кемеровского детдома несколько лет общалась с воспитанниками, возила их послание и поделки в подарок детям Хиросимы. Встречалась с космонавтом Алексеем Леоновым. Вместе с ним ездила по Кузбассу, побывала в его родном селе Листвянка, подружилась с сестрой космонавта Раисой Архиповой Леоновой. Гостила у их родственников в Калининграде, бывала в Звездном городке. Дружила с семьей Леоновых почти 40 лет.

С 1985 по 1988 год Любовь Скорик работала редактором Кемеровского книжного издательства, сама писала прозу. Ее первый рассказ «Парнишонка» был напечатан в 1978 году в журнале «Огни Кузбасса». Публиковалась в журналах «Москва», «День и ночь» (Красноярск), «Махаон» (Запорожье), «Огни Кузбасса», «Литературный Кузбасс», в «Литературной газете» и газете «Кузбасс», в сборниках «Мой дом – Земля» (1981), «И жизнь, и слезы, и любовь» (1999), хрестоматии «Писатели Кузбасса» (2007) и других изданиях.

В 1988 году Л. Т. Скорик была принята в Союз писателей СССР.

Автор книг прозы «Шли дожди» (1980), «Часы с кукушкой» (1985), «Ребята с Партизанской» (1987), «Обидчивый некто» (1992), «Кабы на цветы да не морозы» (2008). Посмертно в Абакане в 2013 году вышло второе издание книги «Ребята с Партизанской». Эта повесть была признана лучшей книгой для детей о войне и включена в обязательную программу в школах Кузбасса. События повести происходят в военные и послевоенные годы, на которые пришлось детство и отрочество автора. По художественным достоинствам повесть «Ребята с Партизанской» не уступает известной книге А. Гайдара «Тимур и его команда». При участии подруги со студенческих лет Тамары Никитичны Чурсиной в 2014 году была издана книга Любови Скорик «Звезды звенят», куда вошли ранее не публиковавшиеся рассказы, воспоминания, публицистические заметки.

В 2003 году под редакцией Л. Т. Скорик в Кемерове вышла книга «Шоринский национальный парк», которая была удостоена золотой медали на Всесибирской книжной ярмарке и представлена на международной выставке во Франкфурте в Германии.

Любовь Трофимовна Скорик много путешествовала. Из своих поездок во Вьетнам, Японию, Египет, Грецию, Францию, Бельгию и другие страны привозила очерки, в которых рассказывала о местных достопримечательностях.

Награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» (1998). В 2011 году получила областную литературную премию им. А. Н. Волошина. Любовь Трофимовна Скорик ушла из жизни 11 ноября 2012 года. Похоронена в Кемерове на Центральном кладбище № 4. На могиле установлен памятник из зеленого гранита в виде развернутой книги с портретом писателя.

Книги Любови Трофимовны Скорик:

Шли дожди : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1980. – 173 с.

Часы с кукушкой : рассказы. – Москва : Современник, 1985. – 220 с.

Ребята с Партизанской : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1987. – 320 с.

Обидчивый некто : ненаучные заметки бывшего горожанина. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1992. – 166 с.

Кабы на цветы да не морозы : рассказы. – Кемерово : СКИФ, 2008. – 445 с.

Ребята с Партизанской : повесть. – 2-е изд. – Абакан : Журналист, 2013. – 314 с.

Звезды звенят : сборник рассказов. – Кемерово : Ректаймс, 2014. – 507 с.



Зинаида Александровна Чигарёва

*15 октября 1928 г., Елец, Липецкая обл. – 27 марта 2007 г.,
Кемерово.*

Прозаик, драматург. Член Союза писателей СССР с 1966 года.

ПРАЗДНИК МАШИ КРАСИЛЬНИКОВОЙ

Схваченный легким морозцем, снежок похрустывал под Машинными валенками, точь-в-точь свежий огурец на зубах. День заметно прибывал, но по утрам держались еще голубоватые сумерки. В их неярком свечении снежный покров улиц был пронзительно чист и бел, как будто тут только что похозяйничал мастеровитый маляр со своей помощницей – кистью.

Настроение у Маши было под стать чистому звонкому утру. Сегодня у нее все сладилось на редкость удачно: и завтрак быстро сготовила, и бельишко сполоснула, и даже пол успела подтереть. Праздник – он ведь уже с утра праздник. А то, что сегодня обычный рабочий день, так это празднику никакая не помеха, потому как работу свою Маша любит.

Работает Маша неторопливо, но споро и со вкусом. Размах у нее по-мужски длинен, мазок ложится на стену широко и ровно. Так белить научил ее Степан. Немудрящие, конечно, секреты, а попробуй обойдись без них. Да еще чтобы на полу ни пятнышка.

Люська Звончихина заявится, зыркнет из-под насмоленной брови бесцветным глазом и уж не преминет высказаться:

– Дура ты, Машка! Все равно им опосля нас полы драить: одно слово – ремонт. А ты будто для маменьки родной расстарываешься, почем зря трудовую энергию расходуешь.

Маша только вздохнет и промолчит. А чего без толку слова тратить? С Люськой спорить – что в стенку горох. Та для себя всегда правая. Ну, а Машу тоже с ее правоты не свернуть. Скривится Люська и в сердцах дверью хлопнет. И как Маша голову ни ломает, не может взять в толк – что за удовольствие для рабочего человека оставлять после себя конюшню? Самому же противно. Да и людям в глаза стыдно глядеть.

А куда как приятно, когда унылые, серые от пыли стены под твоими руками вдруг засветятся, засияют кипенной белизной, что молодой снежок под солнышком! Глядишь – и душа не нарадуется. А хозяева, замотанные, сердитые (им ведь ремонт – сплошная морока, это тоже

понимать надо), удивляются, радуются: «Ну и мастерица! Такая молодая и такая сноровистая!»

Да в общем-то и не в похвале дело. Хозяева – они тоже разные бывают. Иной раз уж так все ладно сработаешь, а им хоть бы что, даже будто и не видят ничего – прямо мертвоглазые. А есть, и видят, так все одно – слова доброго не скажут. Будто ты не человек живой, а машина или – того хуже – служанка какая, к ним приписанная. Только Маша на таких не обижается. Не к лицу ей обижаться: человек она рабочий, государственный и цену себе знает. А те хоть и нос дерут перед нею, но единственно из-за своей некультурности. А попадают и такие – увидят, как хорошо да ладно все ею обихожено, губы сквасят – и за кошелек: неспроста, мол, такая-сякая, расстаралась, не иначе, за коммунальный ремонт мзду сорвать хочет. Маше это хуже пощечины.

Нет, лучше уж о таких не думать, а то работать расхочется. С плохим настроением какая работа? А тем паче сегодня. Никак нельзя ей сегодня иметь плохое настроение. Потому как праздник. День рождения. Двадцать семь лет стукнуло Маше Красильниковой, лучшему маляру жилищно-коммунального управления. И вы это, пожалуйста, имейте в виду.

– Марья! – встретил ее у дома бригадир Григорий Антонович, дядя Гриша. – Начинай седьмую на втором этаже. Как раз тебе на полную смену.

– Ладно! – отозвалась Маша.

«А ведь забыл... забыл, старый! – подумалось мимоходом. – А то бы непременно прибавил словечко: поздравляю, мол...»

Забрала Маша свое нехитрое снаряжение и поднялась на площадку второго этажа. Дверь ей открыла стриженная девчонка в черном спортивном костюме.

– Заходите! Заходите! – пригласила Машу и кинулась помогать ей.

Однако по неумелости едва не расплескала побелку.

В прихожей Маша рассмотрела свою неловкую помощницу. То была никакая не девчонка, а женщина, да еще и постарше ее, Маши. Лицо, правда, худенькое, девчоночье. И фигурка. А глаза старые, в морщинках, и седые нити в стриженных черных волосах.

– Нам сказали: ремонт, приготовьтесь. – Женщина почему-то нервничала, мяла пальцы и смотрела не на Машу, а куда-то в сторону. – А я, право, не знаю... Вы уж извините... Кое-что я попыталась прибрать.

Маша заглянула в комнату и не удержалась от вздоха. Так и есть! Все как стояло, так и стоит, даже с места не тронут. Громадный шкаф у стены, стол, заваленный журналами и газетами, диван, покрытый ковром. Перевела взгляд на хозяйку: да куда той такое свернуть, хилая гражданка. Ну что ж, Маша имеет полное право отказаться. Такой у них установлен порядок: жильцов заранее предупреждают, чтобы готовили фронт работ. Маляры сидят на сдельщине, и простоев у них быть не должно. За какие грехи им иметь простои и терпеть убытки? Да и государству урон по линии выполнения плана.

Летом, конечно, не то: летом людей выселяют, гуляй тогда на просторе – по всем стенам и потолкам – ни сучка тебе, ни задоринки...

– Газеты старые имеются? – спросила Маша.

– Да! Да-да! – Женщина вытащила кипу пожелтевших газет.

А Маша, уперев руки в бока, внимательно рассматривала массивный, темной полировки шкаф.

– Давайте-ка заходите с того краю, а я здесь возьмусь... Да на меня... на меня двигайте!

Шкаф не поддавался.

– Вы что, в нем камня, что ли, держите? – не удержалась Маша.

– Нет, не камни, – затрясла головой женщина. – Книги. Я их выну сейчас. Подождите немножко, пожалуйста! Я быстро...

Женщина распахнула дверцы. Маша свистнула: ого! Тут работенки до морковкина заговенья.

Хозяйка тревожно взглянула на нее:

– Ну пусть он стоит! Пусть! Вы уж без него как-нибудь... Пусть там останется небеленое.

Ишь чего не хватало! Оставлять за собой огрехи! Маша качнула головой.

– Ладно. Сдвинем пока диван... Стулья в другую комнату... Давайте газеты! – распорядилась Маша.

Женщина спешила выполнить ее распоряжения. Но у нее почему-то все валилось из рук, и Маша молча и терпеливо переделывала по-своему. А женщина смотрела на нее так потерянно и виновато, что ей стало не по себе: «Что я, пугало, что ли, какое? Чего она на меня так уставилась?»

Позвонили. Открыла Маша. Зашел Сашка Баранов.

С хозяйским видом вкатился прямо в комнату, оглядел критически:

– Ты что? Еще не начинала?

– Иди-ка сюда! – позвала его Маша. – Шкаф сдвинем.

Хозяйка тоже метнулась следом – помочь. Маша остановила ее жестом: стойте, мол, на месте и не мешайтесь под ногами.

Лицо Сашки побагровело от натуги.

– Ну и громила!.. – Он выругался вполголоса.

– Сдурел! – одернула его Маша. – Привяжи свой поганый язычище!

Шкаф заскрипел, застонал и словно бы нехотя отошел от стены, обнажив затянутую паутиной спину.

– Ой! – вдруг радостно вскрикнула женщина, выхватывая из-под шкафа какой-то журнал. – Я-то его искала-искала... Знаете, какая тут важная для меня статья... Прямо как без рук...

Женщина взглянула на Сашку, покраснела и замолкла: тому не до нее, не до ее радости из-за какого-то журнала. У того свои заботы.

– С тебя пол-литра, Марья. – Тон у Сашки развязный и в то же время просительный. – Я не шучу. За-ради дня рождения, а? Ссуди трешку...

Он всегда такой – всегда с похмелья и всегда сшибает. Чутье у него на этот счет поразительное. Кто и думать забыл, что у нее день рождения, а он вот помнит.

Деньги у Маши есть – пятерка, специально припасена – на торт и фруктовую воду. Надо побаловать ребятишек и Степана...

– Нету у меня таких денег, чтобы водкой тебя поить, – сухо ответила Маша, а сама непроизвольно тронула карман.

– Брехать ты, Марья, не умеешь, а потому лучше давай сразу. Ссориться тебе со мной нет никакой выгоды. Другой раз пуп надрывать не буду.

– Подождите! – всполошилась женщина. – Я... я дам!

– Да вы что? – грубовато одернула хозяйку Маша. – С какой это стати? Много их тут найдется, охотников. А ну давай-давай, отчаливай! – напирала она на ошарашенного парня.

– Но он же... Действительно, вот шкаф... – Женщина растерянно переводила глаза с одного на другого.

– Не ваше это дело! – рассердилась Маша. – Мне поручено – я и отвечаю.

– Ну, смотри... Теперь, без Степки, ты бы не очень... – Сашка тихо, сквозь зубы выругался.

– Закрой дверь с той стороны – дует! – с веселой злостью крикнула Маша. – Я тебе тоже могу ответить, по-нашенски, по-свойски... Топай! Топай! А вы чего стоите? –раздраженно крикнула она хозяйке. – Шкаф укрывать надо! Держите вот здесь... Закрепляйте за дверцу! Ну вот!

Сашка подождал, поглазел и, поняв, что его дело прогорело окончательно, сплунул себе под ноги и ушел.

Машу не очень-то расстроила Сашкина вылазка: не впервой ставить таких на место. Другое сейчас занимало ее мысли: вон сколько у людей книжек! Неужели это все можно прочесть? Когда только успевают? Значит, времени свободного много. Маша тоже любит читать. Чтобы книжка была про жизнь, про хороших людей, кому и посочувствовать не грех. И чтобы написано было просто и душевно. А только вот когда читать-то? Другое дело раньше, когда в девчонках... Э, нет! Жалобиться, обижаться на свою жизнь ей вовсе не пристало...

– Ну вот, шкафчик ваш весь как ребенок в пеленках, – весело сказала Маша и взялась за кисть.

Пришла пора настоящего дела. Макнув кончик кисти в ведро, незаметным ловким движением она стряхнула лишнее, и уже через всю стену легла влажная полоса. Ну, как говорится, благословясь!.. Стены белить – пара пустяков. Потолок потруднее. Но вовсе не потому, что сноровки не хватает, а единственно из-за Машиного малого роста. Ей бы еще вершочек набавить, тогда было бы куда сподручнее.

Потолок подсыхал – проступали островками снежно-белые пятна. Маша огляделась: все ладно, еще на раз – и квартира как игрушка.

Вверх-вниз, вверх-вниз – руки сами умные, сами все умеют, за ними следить не надобно. Можно подумать, поразмышлять. Маше есть о чем подумать. Сколько ей довелось людей повидать – уму непостижимо! Самых разных – и простых работяг, таких как она сама, и больших начальников. Все люди, все человеки... А каких только семейных дел не насмотрелась – в кино ходить не надо! Вот и здесь – тоже все не просто. Ой, не просто! Книжек много. Газеты... журналы... А игрушек ни одной. Конечно, перед ремонтом все мелочи люди убирают. И пацан может быть в садике круглосуточно. Но все ж таки хоть какой мало-мальский следок, да останется. Вон диван отодвигали, шкаф тот же – и ничего: ни мячика, ни куклы какой безногой, ни кубика заваливающего. Журнал со статьей нашелся, запонка мужская выкатилась. В коридоре тапочки мужские, стоптанные... Муж, значит, имеется. А вот детишек нету. Теперь понятно, с того она и живет одними книжками. Что ей еще остается делать?

Женщины не видать, не слышать – затаилась где-то, чтобы не мешаться. «Деликатная, – подумала о ней Маша. – Но, видать, несчастная. Может, и не от возраста седина – от горя. Без детишек разве не горе? Да, у каждого своя печаль, свое горевание!»

Зашуршала бумага, которой они прикрыли на всякий случай пол. Подошла хозяйка.

– Послушайте, уже третий час. А вы без отдыха. У меня суп есть. Идемте пообедаем.

– Спасибо, не надо! – мягко, чтобы и хозяйку не обидеть, и собственного достоинства не уронить, отказалась Маша. – У меня с собой тормозок.

– Ну хотя бы чаю... Я только что вскипятила... – А в глазах прямо мольба: уж так ей хочется быть чем-то полезной Маше.

– Разве что чаю... – согласилась Маша.

На кухонном столе дышал паром блестящий никелированный чайник. Рядом в прозрачной вазочке печенье. Две черные с позолотой чашечки стоят, такие маленькие, что похожи на игрушечные. Маша оглядела стол и попросила тарелку. Хозяйка бросилась к ящику, куда, видно, по случаю ремонта была уложена посуда, и вытащила тонкую, почти прозрачную тарелку с золотым ободком.

Маша развернула свой пакет и выложила на тарелку пирожки:

– Угощайтесь! Еще тепленькие. Утром пекла. С картошкой...

Женщина взяла румяный пышный пирожок, осторожно надкусила и удивленно вскинула брови:

– Вкусно!

– Ешьте... ешьте еще!

– А вы себе чаю наливаете, печенье берите. Не стесняйтесь.

– Спасибо! – степенно поблагодарила Маша, бережно опуская на стол похожую на диковинный золотисто-черный цветок чашку.

«До чего красивые, – думала она. – А прочности никакой. На них и глядеть-то боязно, не то что в руки взять. Мне такие совсем ни к чему. Живо расколотят мои архаровцы».

– Саксонский фарфор, – сказала женщина, заметив, что Маша заинтересовалась чашкой. – Подарок отца к свадьбе. Было шесть, осталось только две. Муж у меня... не очень осторожный...

Обе помолчали, словно не находя предмета для разговора. Потом женщина спросила:

– Сколько вам лет?

– Двадцать шесть, – машинально ответила Маша и тут же спохватилась: – Ой, да что я! Двадцать семь... Как раз сегодня.

– Вот как? У вас сегодня день рождения? – почему-то взволновалась женщина. – Надо же!

– День рождения, – суховато подтвердила Маша. – Спасибо вам за чай! Приятно горяченького...

– У вас праздник, а вы тут нашу грязь...

– Работа есть работа, – пожала плечами Маша, направляясь в комнату.

Женщина шла за нею.

– Молодец вы! – сказала она, оглядев стены. – Давно работаете?

– Давно, – коротко ответила Маша, размешивая раствор. – Десятый год.

Времени у Маши в обрез, некогда разговоры разговаривать. На второй раз белить, правда, легче. Но освободиться надо бы пораньше.

А женщина не уходила. Прислонилась к косяку и следит за Машиной кистью. Интересно ей, значит. А раз интересно, пускай смотрит. Небось не сглазит.

– Вы замужем? – спросила женщина.

– Угу! – ответила Маша.

– И дети есть?

– Трое!

Ах как это нехорошо у нее сказалось! С какой-то даже гордостью. Не надо бы так. Маша украдкой оглянулась. Женщина стоит в дверях. Лицо спокойное и равнодушное. Даже слишком спокойное и равнодушное.

Вот ведь как оно получается: ни в чем не виноват ты перед человеком, а все равно неприятно. Чтобы скрыть неловкость, Маша энергичнее заработала кистью. И тут же обругала себя. Может, и нет ничего такого, и она напридумывала всякого да еще переживает. Может, им так больше нравится – без детей. Есть же такие люди. Только Маше это непонятно. Даже мысль об этом ей кажется дикой. Как это не хотеть детей? Да как можно без Ирки-забияки? Без Славика? Вот уж и вправду Славик... славный! Ирку заставить что-нибудь сделать, хоть тот же пол подтереть, – все из-под палки. А Славик услышит, и вот он – тут как тут, тряпку тащит:

– Мам, я сам...

Сам! А этот «сам» чуть выше ведерка.

И Надюшка... Меньшенькая ее... Незабудочка голубоглазая. Сидит себе в уголке, тряпочки перебирает, бормочет что-то про себя, бормотушка... Да что там говорить! Нет ей никакой жизни без ребятишек! И без Степана... без Степы... В горле запершило. Она поскорее закашлялась, чтобы хозяйка ничего не заметила. Та все стоит у косяка, думает о чем-то своем. И лицо у нее теперь совсем не равнодушное – тихое, усталое, запечаленное такое лицо. Маше опять стало ее жалко – по-бабьи, по-сестрински.

– Работаете где? – спросила Маша, сама нарушая свое правило не болтать во время работы.

– Да, работаю, – поспешила отозваться женщина. – Преподаю в институте. Библиографию. Наука такая – о книгах.

– О книгах? Чудно! Какая может быть про них наука? Книжка – она для того и есть, чтобы ее читали...

– Вот именно! – горячо подхватила женщина. – Именно, чтобы читали. Вы это очень правильно сказали. Для этого как раз и нужна моя наука. Чтобы найти нужную книгу, надо знать целый комплекс... – Глаза у женщины заблестели, порозовели щеки, она как-то враз помолодела.

Маша слушала ее уважительно, кивая головой... Ей и вправду было интересно. И даже капельку завидно. Вот ведь сколько всего существует на свете, о чем она, Маша, понятия не имеет. И опять же сразу одернула себя: нельзя быть такой жадной. Всего нехватишь. И вообще, в жизни каждому свое место.

Скользит кисть по стене вверх-вниз, вправо-влево. Маша уже и рук не чувствует – так намахалась за день. А руки, что ж, они привычные, они знают делают свое дело...

– Спасибо вам, – тихо сказала женщина и легонько дотронулась до стены, будто погладила. – Золотые у вас руки. А мы вот не можем. Сами для себя ничего сделать не можем. Ждем, пока кто-то придет и наведет порядок. Стыдно это. Нехорошо... Сейчас надо все уметь делать. Правда, время... Ох, время! Трагедия нашего поколения – недостаток времени. И все мы куда-то спешим... спешим. И никак успеть не можем. Как будто на поезд торопимся и опаздываем. Вот так и не заметишь, как жизнь пройдет... И окажется тогда, что мы ничего толком не умели, не могли.

– Всего уметь нельзя, – строго сказала Маша. – Вот у вас книги... А у меня это... – Она придирчиво оглядела комнату.

Холодоватый голубой свет исходил от потолка, и потому он казался прозрачным и необыкновенно высоким. Тронутые легким колером, нежно золотились стены. Свежо и остро пахло известкой.

Своей работой Маша осталась довольна. Можно было бы уйти со спокойной совестью. Тем более что ее рабочий день кончился почти час назад. Но Маша не могла уйти.

Затоптанные газеты на полу, сдвинутая со своих мест и потому кажущаяся неуклюжей и лишней мебель – все это так не вязалось с пронзительной чистотой стен и потолка.

– Скоро он придет?

– Кто? – удивилась женщина.

– Ваш муж. Ведь тут вам одной...

– Придет? – Женщина невесело усмехнулась. – Нет его здесь. В Томске он... в аспирантуре...

Ну что ж ты стала, Машенька? Ведь у тебя день рождения – спешила бы, летела как на крыльях. Нет! Вот ведь какой человек непутящий! Все у нее не как у людей.

– В чем вы полы-то моете? Тащите сюда. Тряпку давайте. Сами за окна беритесь. Двое рук все-таки не одни...

– Да вы что? – Женщина прижала к груди руки. – Зачем?

– А то! – рассердилась Маша. – Опять мы с вами время попусту тратим.

...А когда наконец все кругом преобразилось, стрелка часов уже приближалась к семи. Почти двенадцать часов – ничего себе рабочий денек! Вот тебе и праздничек!

– Маша! – Вид у женщины такой торжественный, словно она собралась говорить речь. – Маша... – Тут губы ее дрогнули, и она заговорила просительно. – Вы только не подумайте чего. Это не взятка и не плата какая... Я просто – от души. У вас день рождения – возьмите в подарок от меня...

Это были духи. Очень дорогие, в бархатной синей коробке. Маша даже испугалась.

– Нет! Нет! – затрясла она головой.

Но женщина проявила особое упорство, и Маша сдалась.

– Куда мне такие... нарядные уж очень! У меня и платьев таких нет, чтобы к этим духам... И руки такие...

– Вы очень красивая, Маша, – сказала женщина. – Поверьте, они удивительно пойдут вам – к вашим глазам, волосам...

– А вы-то как же сами?

– Я? – засмеялась женщина, но как-то невесело. – Мне все это уже ни к чему...

– Спасибо! – Маша помолчала. – Всего вам хорошего. Вы не очень-то расстраивайтесь. Все наладится.

– Наладится... Наладится, – закивала головой женщина, а потом вдруг обняла и поцеловала Машу в щеку. – Будьте счастливы.

– Да где же вы запропастились? – Нянечка вывела закутанную Надюшку. – Совсем заждалась девчонка: «Где мама? Где мама?»

– Да вот она, мама! Вот она! – Маша подхватила на руки дочку. – Теперь бегом за Славиком... Потом купим торт... Вот такой толстый тортище!..

– Наконец-то! Наконец-то! – запрыгала вокруг матери Иринка.

Большие голубые банты взлетали над ее головенкой, как огромные бабочки.

Степан лежал на своей постели, торжественный, в белой рубашке. Его обострившееся бледное лицо было гладко выбрито. Маша пригляделась и укориженно покачала головой: ну так и есть – порезался, вон на щеке царапина... и на подбородке.

– Не дождался!

– Ну что ты! Как можно! У тебя же день рождения... Вот мы тут вдвоем с моей хозяйшкой, – кивнул он на Иринку. – Дочь-то у нас совсем невеста – восьмой год! Погляди, какую она картошку зажарила под моим руководством... Ну, колхозники, давайте поздравлять маму!

– Поздравляем! Поздравляем! – закричали Иринка и Славик.

– Подождите! – остановила их Маша. – Праздник так праздник! Давай всё на стол, Иринка. А я мигом переоденусь.

Переоделась Маша быстро, как будто в девчонках, когда после работы торопилась на свидание к нему, к Степану. Надела красные боножки, платье свое любимое, в белую с синим мелкую клеточку, с большим белым воротником, – и открыла духи. Сердце вдруг сладко захолонуло – весна! Вот так пахнет весной, когда распускается черемуха...

– Что это у тебя, Маша?

– А-а! Это мне сегодня подарили... – Замолкла и вдруг неожиданно для самой себя соврала: – Ребята из бригады...

– Да ну? – удивился Степан. – Неужели помнят?

– А то как же! – Маша гордо вскинула голову. – Помнят. Помнят своего бригадира, Степа. И все те порядки, что при нем были. И все у нас так, как при тебе, Степа... И так же дни рождения отмечаем...

– Мама! – Славик тянет ее за подол, а сам пальцем показывает на стенку над комодом.

– Батюшки мои! Красота какая! – всплеснула руками Маша.

На нее со стены в упор смотрит женщина. Да какая там женщина – девчонка совсем еще молоденькая. Испуганная – слезы в глазах. И голенький малыш на руках. Не русская девчонка и старинная. А вот будто бы знакомая... Вспомнила Маша – в журнале видела, в «Работнице». Так вот для чего Степан просил ее принести стекло двадцать четыре на восемнадцать. Ишь ты, приладил как – настоящая картина! И белой бумажкой по самому краешку обклеил...

– На тебя маленько смахивает, – засмутился Степан. – Особо как ты Славика нянчила.

– Это мы с папой, – подскочила Иринка. – Я бумажку резала и клеить помогала.

– Ой спасибо! – обняла Маша Иринку.

Сверху напрыгнул Славик, и Надюшка на руки тянется.

– Ну какие же вы у меня все хорошие-расхорошие!

Степан смотрел на жену и детей и старался изо всех сил, чтобы привычная боль не стерла с его лица счастливую улыбку.

Ночью Маша внезапно проснулась. Степан дышал тяжело, со всхлипом.

– Степушка! Милый! Что с тобой?

– Третий год... Третий год лежнем лежу... Твоей обузой... И никакой надежды... Никакой! Уж лучше бы тогда разом... вместе с мотоциклом – и насмерть...

Говорил Степан с трудом, будто каждое слово было тяжелым камнем и он громоздил эти камни один на другой.

– Господи! – сказала Маша устало. – Опять ты за свое... Такой бестолковый человек... Никак не вдолбишь тебе, прямо хуже маленького!

В комнате стояла ночная тишина. Посапывал носом Славик. Девчонки дышали легко, неслышно. Осторожно постукивал будильник.

– Когда же... Когда же наконец я развяжу тебе руки?

– Ох, Степа! – Маша наклонилась и прижалась лицом к груди мужа. – Ты только одно знай: живи... живи и живи! И больше мне ничего не нужно!

1974

ПЛАТОК ДЛЯ МАТЕРИ

Они сидели молча друг против друга. Мужчина упорно смотрел в пол перед собой. Женщина не сводила покрасневших глаз с залепленного снегом окна, сквозь которое с трудом пробивался скупой свет мартовского утра.

Вчера они похоронили мать.

Эта комнатка в старом доме и вещи в ней – кровать под пикейным покрывалом, горбатый комод, потускневшее зеркало, этажерка, стол, три венских стула – принадлежали матери. Принадлежали. Теперь и комнатка, и вещи – ничьи.

Мужчина поднялся, подошел к комоду. Повертел в руках фарфоровую собачонку с отбитой лапой. Взглянул на будильник. Неподвижные стрелки показывали половину шестого. Половина шестого – так было и вчера, когда выносили тело, и позавчера, когда оно лежало на этом столе. Все половина шестого.

В последний раз часы заводила мать. Сама, своею рукою. Возможно, незадолго до смерти. Ее не было в живых, а часы шли. Потом стали и они. Кончился завод.

Мать умерла от кровоизлияния в мозг. О такой смерти говорят – скоропостижная. Скоропостижная? Да полно, так ли это?

Мужчина помнит себя мальчишкой, когда в обиход их семьи впервые вошло слово «гипертония». Произнес его пожилой врач, снимая резиновый жгут с руки матери. Помнится, он просил их поменьше шуметь, быть внимательными к ней, не волновать.

Не волновать – легко сказать!

Всего два года прошло, как кончилась война, и год, как умер отец: открылась рана, спасти его не удалось. Мать работала письмоносицей. С утра до ночи таскала на себе тяжелую сумку по разбитым и кривым улочкам слободы, стучала в заложенные ставнями окна, отбивалась от собак. Домой возвращалась поздно, измученная, и сразу же хваталась за домашние дела. И не раз, проснувшись среди ночи, он видел в свете керосиновой лампы ее голову, склоненную над шитьем...

Мужчина взял будильник. Скрипнул ключ завода. Будильник деловито затикал – бросился догонять ушедшее время.

Женщина отвернулась от окна и посмотрела на брата. Их взгляды встретились, и он сказал, лишь бы что-то сказать:

– Ты изменилась, Люба.

– Постарела?

Мужчина неопределенно пожал плечами. Помолчали. Слабая улыбка тронула губы женщины.

– Узнаешь? – Она кивнула на комод.

– Угу...

– Глянь, там сбоку человек... Нацарапан гвоздем. Царапал ты, а попало мне – старшая...

Мужчина приподнял угол вязаной салфетки, человечка не было: выкрошилась фанера.

– Ты когда улетаешь? – Он бережно расправил ветхое кружево салфетки.

– Сегодня.

– Может, заедешь к нам?

– Нет, что ты! У меня же билет... И потом – пересадка в Москве. Такая морока...

– Далеко же ты забралась.

– Что поделаешь – так вышло.

Он спросил ее о здоровье мужа и дочери. Она ответила и в свою очередь спросила его о семье и работе. И он ответил. Так они говорили некоторое время, почти не слушая друг друга и тут же забывая, о чем шла речь. Скомкав этот необязательный разговор, опять надолго ушли в себя.

Косыми мазками лепился на оконное стекло мокрый снег. Весело тарахтел оживший будильник. Мужчина сосредоточенно мерил шагами комнату. От окна к двери, от двери к окну: пять шагов туда, пять – обратно. Женщина, пригорюнившись, все так же сидела возле стола.

– Ты-то... ты! – жалобно заговорила она. – Ведь совсем близко! Курск – вот он, одни сутки пути... Не то что Красноярск. Я даже в отпуск не могла вырваться...

Мужчина промолчал и продолжал ходить, стараясь не скрипнуть половицей. Женщина всхлипнула и полезла в сумочку за платком.

– Я денег дал... той, что хлопотала, – сказал он первое, что пришло на ум. – Как ее?... Вера Игнатьевна?

– Зачем? – Женщина отложила сумочку. – С какой стати?

– Пусть девять дней справят. И сорок... Помянут, как это водится у них, у старух...

– Я тебя не понимаю. Ведь мама... мама... не была верующей. Религия для нее...

– Ну и что? – Мужчина почувствовал, что раздражается. – При чем тут религия? Дал – и все.

Он остановился возле комода. В зеркале смутно, как сквозь кисею, проглянуло немолодое хмурое лицо. Мужчина машинально провел рукой по стеклу, взглянул на пальцы. Чистые. И вообще кругом порядок и чистота почти стерильная. Так любила мать. И соседки, точно выполняя ее наказ, все вымыли, перетерли. А зачем? Кому это теперь нужно? Они с сестрой могут пробыть здесь до вечера. И даже остаться на ночь. Но рано или поздно они уйдут. И тогда явятся чужие люди.

Чужие люди!.. Вот оно, то самое, что занозой засело в сердце, что удерживает их в этой маленькой комнатухе.

Нельзя же уйти, бросить все так, как есть, как было при ней. Надо что-то делать. Но оба, понимая неотвратимость этих действий, все же

медлят, не решаются разрушить порядок, который свято соблюдался многие годы. Каждая вещь, каждая мелочь знала свое место, прижилась к нему. Она была под рукой у хозяйки, чувствовала себя необходимой. Теперь хозяйки нет. Люди это знают, поняли. А вот вещи, ее вещи, не хотят понять, не умеют. Они все еще продолжают жить так же, как жили при ней. Они как будто ждут...

И мужчина решился:

– Ну так как же, Люба?

– Подожди... Бога ради... Я... – И женщина опять заплакала.

Он подумал, что все эти дни сестра слишком много и легко плачет. Похоже, что слезы стали для нее своеобразной защитой и она прячется за ними и от беды, и от решительного шага. Ну что ж, ее дело. И он, помедлив, выдвинул верхний ящик комода.

Катушки, пуговицы, какие-то пряжки, булавки, кусочки кружева, моток цветной тесьмы – обычные мелочи, без которых не обходится ни одна женщина. Клубок бежевой шерсти и на спицах начатое вязание. Носовые платки, перчатки, белый шарфик. В полиэтиленовом пакете два беретика. Один серый, шерстяной. Второй белый, вязанный из крученых ниток. Мужчина брал в руки то одну, то другую вещь и, не придумав, что делать со всем этим, клал на прежнее место.

В другом ящике лежало постельное белье. Едва тронув его, мужчина уловил знакомый и забытый запах. Чабрец. Чобор, как называла его мать. Она любила класть в белье эту невидную пахучую травку. Сладко спалось, бывало, особенно после купанья, в прохладных простынях, хранящих запахи летнего отцветающего луга.

Женщина тоненько всхлипнула.

– Люба, ну право... Возьми себя в руки...

Ему было странно так говорить с сестрой. Странно и потому, что отвык, и потому, что никогда прежде, как он помнит себя, ему не приходилось говорить с нею в таком тоне. Он рос младшим в семье, а Любка всегда представляла сильную сторону. Командовала она не только им, но и матерью. Пыталась, по крайней мере. Теперь же, когда после

стольких лет разлуки их свело вместе общее горе, она как-то сразу поступилась своим старшинством.

– Я ничего... Я сейчас... – Женщина высморкалась, свернула платок, щелкнул замок сумочки. – Скажи, а что ты там ищешь? Уж не думаешь ли ты найти какие-нибудь ценности?

– Вот именно – думаю! – Не желая того, он ответил слишком резко и более мягким тоном пояснил: – У каждого человека есть свои ценности, Люба. То, что для него дорого. И у матери наверняка. Фотокарточки, письма, еще что, почему я знаю?.. Одним словом, то, что не предназначено для посторонних глаз.

Ценности! Скажет тоже – в нем шевельнулось раздражение против сестры. И он, кажется, слишком резко дернул на себя нижний ящик.

– Бог мой! Коля! Нельзя ли потише? – Лицо женщины страдальчески сморщилось.

Но мужчина не слышал ее. Ночная сорочка в розовый горошек, батистовая блузка, клетчатый халатик из ситца – все дешевенькое, далеко не новое, однако чистоты идеальной и тщательно отглаженное, предстало перед ним в такой трогательной обнаженности и незащитности, что у него больно сдавило сердце.

Нет, это свыше всяких сил! Все равно что снова хоронить. Он поднял ящик, поставил на место и вытащил из кармана сигареты.

– Я выйду в коридор покурю...

– Кури здесь, – поспешила ответить женщина. – И мне дай сигарету.

Вон что! Она, оказывается, курит. Мужчина молча протянул женщине пачку. Она вытянула сигарету, долго разминала ее в пальцах, а, закурив, затянулась всего раз или два и сразу же загасила.

– Ладно. – Встала,правила платье. – Так что я должна делать?

– Разберись в комоде, что к чему. Там ведь все женское. А я посмотрю на этажерке.

Книг у матери было немного, все старые, он помнил их с детства; сейчас, перелистывая, встречал на полях следы своей бывшей деятельности: какие-то каракули, домики с кривыми трубами, самолеты, падающие в густых клубах фиолетово-чернильного дыма. Наверное, ему крепко влетало за его художества, но этого он не помнит. А вот то чув-

ство острого наслаждения, которое он испытывал, выводя на шелковистой бумаге свои загогулины, со всей живостью пробудилось в памяти.

Сытинское издание Пушкина, «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого, сочинения Надсона...

Мужчина наугад раскрыл томик Пушкина.

«И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать...»

Вот и она так же... Ведь сколько раз и сын, и дочь звали ее к себе. Приедет, поживет с неделку – и опять сюда, в свою одинокую комнатушку, в свой «милый предел».

Среди книг ему попались две со штампом городской библиотеки: «Моряк в седле» Стоуна из серии «Жизнь замечательных людей» и «Дело, которому ты служишь» Юрия Германа. В романе Германа на двести сорок седьмой странице лежала полоска бумаги. Не дочитала. Не успела. Обе книги он положил на стол: надо попросить соседку сдать их в библиотеку.

Под книгами на полке оказалось несколько пластинок: старинные русские романсы, «Времена года» Чайковского, «Болеро» Равеля. Бумажные пакеты пожелтели, но сами диски совершенно новые, неигранные, как будто только что из магазина.

Мужчина обвел глазами комнату и не увидел ни радиолы, ни хотя бы плохонького проигрывателя. Неигранные? Да потому и неигранные, что не на чем было играть. Зачем же она тогда покупала их, берегла?

– У тебя, кажется, Лариса учится в музыкальной? Возьми вот для нее в память о бабушке...

– Что там? – Женщина, перебивавшая белье, на минуту оторвалась от своего дела.

Мужчина протянул ей пластинки. Она не глядя положила их на край стола.

– Пойду отдам это соседке. – Женщина взяла стопу белья и пошла к двери.

– Не надо, Люба.

– Почему? Они люди небогатые, пригодится.

– Напрасно, обидишь...

– Ну вот еще!

Вернулась, и с бельем.

– Никого нет дома.

«Ну и слава богу!» – с облегчением подумал мужчина.

Каждый опять погрузился в свое занятие.

– И что это за жизнь? – заговорила вдруг женщина. – Живет человек, к чему-то стремится, чего-то ждет... А потом что? Ничего. Пустота. И мать... Все, чего она достигла, – закуток с надписью: «Выдача корреспонденции до востребования». Неужели она не могла ничего больше? Скажи, разве для этого родится на свет человек?

«Разве для этого родится на свет человек?» А для чего он родится? Кто это знает?

Мужчина молчал, ему нечего было ответить сестре. Все эти дни его самого не оставляла мысль о том, что жизнь матери оказалась скудной и малозначимой. И эта мысль, обостряя боль утраты, делала ее почти непереносимой.

– Коля. – Женщина тяжело, с зевотой вздохнула. – Сердце что-то давит. Пожалуйста, принеси воды. Я выпью валерьянки.

– Иду. А тебе... Может, ты пока приляжешь?

– Нет-нет! Что ты! – Женщина непроизвольно отшатнулась от тщательно заправленной материнской кровати. – Я здесь посижу. – И она опять заняла свое место у стола.

Кухня в доме была общей для всего этажа, на четыре квартиры. Мужчина боялся встретить соседей, не хотел расспросов, соболезнований. Но на кухне, к счастью, никого не оказалось. Он налил из крана воды и вернулся в комнату.

– Скоро конец. Крепись, Люба. Осталось немного.

Мужчина опустился на корточки и открыл дверцу тумбочки. Женщина склонилась над его плечом. Первое, что бросилось им в глаза, был старый ученический ранец...

Большая стрелка на будильнике уже подобралась к цифре двенадцать. Снегопад прекратился. Ветер разогнал хмарь, и солнце с весенней щедростью окрасило комнату в золотистые тона, придавая ей неуместно праздничный вид.

Мужчина и женщина сидели у стола. Перед ними грудой лежали старые бумаги, письма, фотокарточки.

Женщина протянула брату поблекший от времени снимок:

– Всю жизнь мне от тебя доставалось!..

Со старой базарной «пятиминутки» на него испуганно глянула девчонка с челкой до бровей. Она едва удерживала на коленях вырывающегося пацана лет четырех.

Девушка с валиком волос надо лбом, в жакете с приподнятыми прямыми плечами – такой Любка уезжала учиться в институт.

Темноглазый парень в вельветовой куртке на молнии – это он сам перед армией.

Внуки... Его сыновья-близнецы на коленях у молодой улыбающейся Антонины. Любина Лариса – в белом фартучке с букетом георгинов на пороге школы.

Еще один снимок – синеvато-коричневый кусочек картона, внизу палитра с кистью и золотое тиснение: «Художественная фотография М. И. Румянцева». На снимке двое – мужчина и женщина: пышноvолосая красавица в высоких ботинках, обтягивающих почти до колен стройные ноги, и лихой молодец с гусарскими усами, в косоворотке, подvязанной крученvм поясом. Мать и отец.

Долго всматривался мужчина в их незнакомые молодые лица, в напряженно замершие тела. Мать, видимо, хотела поднять руку, чтобы поправить выпавшую из прически прядь, рука дрогнула и замерла чуть на отлете, схваченная объективом, отец подался вперед и непроизвольно сжал пальцы. Неподвижность застывшего мгновенья. Единный миг, вырванный из бесконечного потока времени.

Мужчина прикрыл глаза, на мгновение почувствовав легкое головокружение, как человек, заглянувший в бездонную пропасть. Кто ты такой, человек? Что ты есть на земле? Малая букашка-однодневка перед бесстрастным ликом вечности...

– Господи, Коля...

В руках женщины дрожит листок с полуистершимися карандашными строчками. Фронтное письмо отца.

– Пишет: целый день шли, месили грязь, устали, к вечеру выдали им сухой паек, они завернули в какой-то домишко передохнуть, выпить чаю. А тут, как назло, воздушная тревога. Хозяйка испугалась, вскинулась бежать в подвал... – Женщина засмеялась сквозь слезы. – Слушай, что он пишет: «А наш комвзвода говорит: “Под землю мы всегда успеем, давайте сначала чайку попьем, а то вдруг в сахар бомба угодит... Обидно будет”». Вот какой он был, отец. Любил, чтобы весело. Тогда его, кажется, и ранило. – Женщина помолчала. – Коля, я возьму это письмо, а ты те, другие, там он много про тебя пишет. А?

– Возьми, конечно.

– А вот эти куда? – Она пододвинула к нему пачку конвертов.

Он узнал на них свой почерк, почерк жены. Антонина писала свежее, чаще, чем родной сын. Она видела в этом свой долг и честно его выполняла. Были письма из Красноярска, от Любы. Детский почерк – Лариса... Мужчина брал конверт за конвертом и разрывал их, не читая. Зачем? Они все как капли воды похожи одно на другое: «Здравствуй, мама! Мы все живы, здоровы. Ребята учатся. Мы работаем. Совсем заматерились, почти нет свободного времени. Береги себя. Пиши...» Дежурные, малозначащие слова.

Мужчина смахнул в газету обрывки писем и отнес в мусорное ведро на кухню.

– Чудачка все-таки была мама. – Женщина листает толстую, в темном картонном переплете книгу. – Скажи на милость, зачем ей учебник хирургии?

Это был действительно учебник хирургии, очень старый учебник, отпечатанный на рыхлой шершавой бумаге. Внизу на титульном листе значился год издания – 1933. Явно учебником пользовались: в первой главе отчеркнуты абзацы, кружком обведены параграфы.

– Где это было?

– Вот. – Женщина показала старую пожелтевшую газету.

– А больше там нет ничего?

– Тетрадка какая-то...

Мужчина узнал угловатый молодой почерк, время его почти не изменило. Тетрадь едва начата: описание клетки, ее строения, рисунок от руки – неправильный овал, стрелочки-указатели: оболочка, ядро, протоплазма...

Женщина забрала тетрадь, полистала.

– Все ясно, – изрекла она наконец.

– Что ясно? – спросил мужчина.

– Мать начинала учиться. Не на врача, конечно, на фельдшера. Но и это по тем временам... А тут родился ты. Посмотри, книга тридцать третьего года, ты же родился в тридцать четвертом. Так ведь?

– Так. Ну и что? – насторожился мужчина.

– Как что? Ты родился, и она была вынуждена бросить учебу. Разве не понятно?

– Тебе всегда все понятно, – обиделся мужчина. – Пусть я родился. Пусть так. Но была жива бабушка... А ты сама лучше вспомни... – Он уже начал горячиться. – Мать не раз говорила: в четыре года ты сильно болела и она долго лежала с тобой в больнице.

– Ну почему я? – возмутилась женщина. – Я была уже большая, а ты только что родился.

И она стала приводить несокрушимые доводы в свою защиту. И мужчина лихорадочно выискивал в памяти случайно оброненное кем-то слово, случаи и события далекого детства, показывающие, что рос он спокойным, покладистым ребенком и никогда не требовал к себе особого внимания. А вот она, Любка...

– Ах, так! Значит, я... Выходит, я одна во всем виновата? Я детства не видела – с тобой нянчилась, а ты... ты... – И она разрыдалась.

Он наливал на кухне воду в стакан и думал со стыдом, какая, в сущности, нелепость – их спор. Разве теперь может иметь хоть какое-нибудь значение, из-за кого сорок лет назад оставила мать свою учебу?

И женщина, отпив глоток воды, подняла на брата заплаканные глаза:

– О чем мы спорим? Ведь мы были детьми, и мы ни в чем не виноваты. Ведь правда же, мы не виноваты, что так все вышло?

Женщина ждала, что брат поддержит ее.

И он сказал: «Да, конечно, не виноваты», – потому что это были самые простые и легкие слова, а он смертельно устал, измучен, ему не хочется ни о чем думать, тем более вступать в споры, и жаждет он только одного – поскорее уехать домой, уйти с головой в повседневную рабочую суету и забыться.

Ну вот, кажется, все. Нет, еще малиновая папка и какая-то коробочка... Мужчина раскрыл папку. Традиционный поздравительный адрес «в день шестидесятилетия...», грамота горисполкома «За безупречный многолетний труд» и открытка, красивая открытка с букетом чайных роз.

– Смотри, Николай! Золото!

Будто маленькое солнце вспыхнуло на ладони у женщины. Да, золото – в этом не могло быть ни малейшего сомнения.

– Откуда у нее такое? – говорила изумленно женщина. – Новешенькие. Вот паспорт: «Чайка», 96 рублей. Ну, что ты на это скажешь?

– Что ж тут удивительного? Обычный подарок уходящим на пенсию. Всем им дарят часы...

– Но какие? Это же золото!

Мужчина пожал плечами: ну что ж, золото так золото. Перед его глазами стояли строки, выведенные на открытке старательным почерком: «Дорогая Татьяна Ивановна! Мы не можем себе представить, что Вас больше не будет с нами, нашей строгой и доброй “мамы”. Мы... – строки плыли в глазах, буквы то исчезали, то вырастали, наливаясь пронзительной чернотой, – мы любим Вас и будем всегда хранить...»

– Николай! Да ты слышишь меня?

– Что ты хочешь, Люба?

– Ты говорил: «Ларисе на память...» – Женщина была возбуждена, торопилась высказаться, словно боялась, что ее лишат этой возможности. – Ну зачем ей пластинки? У нас же все это есть – и радиола, и магнитофон... Хочешь, возьми себе. А вот это – вот была бы настоящая память о бабушке. Это девочке, можно сказать, на всю жизнь... Она... мама... так любила Ларису... – Женщина судорожно вздохнула.

«Сейчас опять заплачет», – подумал мужчина.

– Ну что ты на меня смотришь? Ну, пожалуйста, забирай сам. Только зачем тебе женские часики? У тебя же парни...

Мужчина усмехнулся:

– Не надо волноваться, Люба. Бери, конечно.

– Но ты...

– Бери, бери, чего там!

«...Мы не можем себе представить, что Вас больше не будет с нами...»

Да, больше не будет. Никогда не будет.

– Что такое? – Женщина резко повернулась к двери.

Мужчина оглянулся.

Перед ними стояли двое – парень и девчонка. Парень в небесно-голубой курточке, тугих джинсах и лохматой шапке. Девчонка, маленькая, невидная, в рыжем платочке. Она смущенно мялась на пороге, стягивая на животе кургузое пальтишко.

– Это шестая? Мы не ошиблись? – спросил парень.

– Да, это шестая квартира, – холодно отозвалась женщина. – А что вам тут нужно?

– А то! – срывающимся голосом выкрикнула девчонка. – Это наша квартира. Вот ордер!

– Ордер? Уже ордер? Нет, ты подумай! Возмутительно...

– Подожди, Люба. Проходите, ребята, – пригласил мужчина непрошенных гостей. – Садитесь.

Парень взял стул, поставил его посередине комнаты и уселся. Девчонка притулилась за его спиной.

– Ваша так ваша. Кто же спорит?

– Ага! Значит, вы переезжаете? – Девчонка сразу успокоилась, поняв, что люди, с которыми они столкнулись неожиданно-негаданно, не претендуют на чужую жилплощадь.

– А нельзя ли побыстрее, папаша? – Молодой человек уже освоился в сложившейся ситуации. – Жить нам негде, а ей вот уже скоро... Так что, сами понимаете...

– Ничего не понимаю, – надменно подняла брови женщина.

– С переездом, говорю, не тяните. И ремонтник, разумеется... Косметический... А чему вы удивились? Не знаете, что ли? Положено прежним хозяевам...

– Нет прежних хозяев, парень. Была хозяйка – вчера схоронили, – сказал мужчина.

Молодожены растерянно переглянулись.

– Простите нас... Что мы так... что мы испугались... – Девчонка совсем смешалась и покраснела.

Парень встал, осторожно отставил стул.

– Черт знает! Что они там, в ЖЭКе, с ума, что ли, посходили?... Трудно было предупредить... Освободилась, говорят, а почему освободилась, как?..

– Ладно, ребята, – сказал мужчина. – Ничего. Бывает.

– А вы... вы ей кто? – робко подала голос девчонка.

– Дети, – сказал мужчина и сам удивился: так странно прозвучало это слово сейчас – применительно к ним, взрослым, стареющим людям.

– Да-а... – протянул парень. – Дела-а...

– Пойдем, – тронула его за рукав девчонка. – Не до нас.

– Подождите... – Мужчине почему-то вдруг захотелось удержать их, о чем-то еще спросить, решить какой-то важный вопрос. – Так вы о чем говорили? О ремонте?

– Да какой тут ремонт! – махнул рукой парень. – Сами все сделаем.

– Послушайте, – вынырнул из-за его плеча рыжий платочек. – А что вы собираетесь делать со всем этим?

Молодец девчонка! Умница! Сама догадалась.

– Не знаем, – признался мужчина.

– Может, это вам не нужно?

– Ты что, Надежда? Не смей унижаться...

– Какое же тут унижение? – Девчонка с достоинством выступила вперед. – Ведь правда? Если вам это не нужно – мы заплатим... Вы не думайте. Ну, немного, конечно... Он вот, – она повела глазами на мужа, – хороший мастер, и мы вполне можем купить гарнитур. Со временем, конечно. А вот пока бы, на первое время...

– Да что мы, крохоборы какие?

– Нет, это просто невозможно! – Женщина по-наполеоновски сложила руки на груди и отвернулась к окну.

– Люба, – подошел к ней мужчина. – Зачем ты так? Ребята хорошие, и если им действительно...

– Делай, что хочешь, что найдешь нужным.

Он усмехнулся про себя: «Что найдешь нужным». А что бы она сама могла предложить?

– Мы уходим. – Парень взялся за ручку двери. – Вы уж тут как хотите... Только ключи оставьте соседям. Хорошо?

– Хорошо, – кивнул мужчина.

Молодожены ушли. Женщина все так же стояла у окна. Непонятно, за что она на него сердится? Неужели он должен был взять деньги у этой малышки в рыжем дешевеньком платочке и школьном пальтишке? Нет, все правильно.

И мама... Она бы, пожалуй, не обиделась: вещи никогда не имели большой цены в ее глазах. А теперь... Теперь ей ничего не нужно.

Мужчина оглядел комнату. Все в ней вдруг неуловимо изменилось, все отдалилось за какую-то непереступаемую грань, предстало чужим, безразличным. Вещи будто потеряли душу, умерли...

– Пойдем отсюда, Люба.

– Пойдем. Подай мне вон ту коробку, она, кажется, пустая. Сложу в нее мамины бумаги.

Мужчина взял с кровати картонную коробку из-под туфель:

– Здесь что-то есть.

– Да? – Женщина скинула крышку.

В коробке лежали платки. Обыкновенные женские платки. Было их много – наверное, не меньше десятка. Целая коллекция самых разнообразных платков: шелковых, капроновых, кашемировых, и одно-тонных, и цветных. Правда, расцветки все больше неброские, мягких тонов: золотисто-бежевые, коричневые с розовым, голубовато-серые. Оно и понятно, для старухи ведь предназначалось.

– Что же это такое? – Женщина растерянно опустила руки и с испугом посмотрела на мужчину.

Платки, освобожденные из своей тюрьмы, нахально заполнили весь стол, превратив его в некое подобие магазинного прилавка. И

даже запахло, как в магазине, химическим красителем, новой необношенной тканью.

– Ведь я же... я от чистого сердца. – В голосе женщины злыми льдинками звенят слезы. – Что же это она? Так ни разу и не надеть... Вот этот... Смотри, Николай, какой красавец! Я все магазины обегала – старалась к дню рождения. А этот вот... Хотя я не помню что-то, не узнаю...

Она и не могла узнать. Зато мужчина узнал его сразу, этот большой серебристо-голубой платок из легкого крепдешина. А вот какому событию посвящался его подарок матери, так и не мог вспомнить.

Он стоял подавленный, оглушенный. Да, он ждал. Он предчувствовал. Это должно было случиться. Учебник хирургии, неигранные пластинки (боже мой, как любила мать старинные песни и романсы!), прощальная открытка сослуживцев... Нет, все это еще не самое страшное... Вот, наконец, платки... Платки, платочки!

Он не слышит, как рядом изливает свои обиды сестра, – он вспоминает, вспоминает...

– Почему она так делала, Николай? Куда, спрашивается, она их берегла? Зачем?.. Зачем она их берегла?

Вспомнил!

– Берегла? Берегла, говоришь? Черта с два! Нет, не берегла она их, эти наши с тобой «щедрые» дары. А просто складывала сюда за ненадобностью. Не нужны они ей были. Не нужны, поняла?

– Как не нужны? Не понимаю.

Ах, она не понимает! Не понимает!

Мужчина рывком открыл верхний ящик комода. Вот он, полиэтиленовый мешочек.

– На, смотри! Смотри! – И он бросил на стол, в наглое многоцветье шелков, выдавший виды серый беретик. – И вот еще – смотри! – Рядом лег белый, чуть пожелтевший под летним солнцем. – Смотри, смотри, сестрица! Вспоминай! Вспоминай хоть теперь. Она же никогда не носила платков. Никогда! Даже зимой... в самую лютую стужу... Помнишь серую солдатскую ушанку? Помнишь?

– Чего ты кричишь? Чего ты бесишься? Можно подумать, что я одна... А ты-то, ты сам?

– И я... – Мужчина тяжело опустился на кровать. – И я даже больше, чем ты...

Слово «виноват» не шло с его языка. Огромное, неподъемное, как ледниковый валун, оно прижало, придавило его, и не было сил сбросить с себя эту страшную ношу.

– За что ей на нас обижаться?.. Я же никогда ни единым словом... – Голос сестры с трудом доходил до его сознания. – И разве мы могли все знать, все предвидеть? С нами жить она не захотела... Я ей не раз писала... И почти в каждом письме... в каждом письме: мама, что тебе нужно, напиши – я всегда помогу, денег вышлю... А она – хоть бы когда заикнулась... Что за гордость непонятная перед родными детьми? Сама же Ларисе то шапочку свяжет, то варежки. Не надо, пишу, не утруждай себя... Но разве ей что-нибудь докажешь? Это, я скажу тебе, просто упрямство. Да и насчет платков тоже. Было время, платки носили только в деревнях и старые старухи. А теперь даже молодежь носит, не стесняется. А уж в ее-то возрасте...

– Помолчи, Люба. Ты лучше... помолчи.

– Я не права? Да? Я не права?.. Ну ладно – мы ее не понимали. Но ведь это жизнь: родители и дети... У нас разные взгляды.

Мужчина промолчал: его сил хватило на это. Он понял, что сестра пытается оправдать себя, что она не хочет делить с ним горькую чашу вины, она лихорадочно ищет и непременно найдет способ усыпить свою совесть, и бесполезно ей доказывать сейчас ту простую истину, что всякие ссылки на сложности жизни не более как трусливая уловка, как попытка уйти от ответственности.

– Что ты молчишь? Николай... Ну скажи... что мы должны делать?

Что делать?.. А ничего. Поздно теперь что-либо делать. Поздно!

– И эти платки... – Женщина опустила руку в цветной шуршащий ворох. – Куда их теперь?

– Куда хочешь! – Мужчина жестко усмехнулся. – Хочешь – забей... Или оставь здесь, этой девчонке... Выбрось, сожги... или хоть развесь по улице, как флаги...

– А ты жестокий, Николай, – обреченно проговорила женщина. – Жестокий... Но так мне и надо. Так мне и надо.

Она прижалась лбом к дверному косяку и затихла. А он с неожиданной жалостью смотрел на ее сгорбившуюся спину, обтянутую модным дорогим кримпленом.

Вечером, проводив сестру в аэропорт, мужчина вернулся в гостиницу. Его поезд уходил через два с половиной часа. Надо было уложить то небольшое, что он взял из материнских вещей: письма отца, несколько фотокарточек, папку с грамотой и открыткой, томик Пушкина, пластинки, да в последний момент он прихватил фарфоровую собачонку.

Мужчина достал из шкафа портфель и вытряхнул на постель его содержимое: пижаму, бритвенный прибор, мыльницу, полотенце и рубашку. Вслед за всем этим выпал маленький сверток. Бумага развернулась. Из нее змеей скользнул упругий шелк, и на кровати распластался большой зеленый квадрат...

Платок! Еще один платок для матери...

Было это... Когда это было? Неужели всего три дня назад? Да, три дня. Начинался последний месяц первого квартала. Дни летели со скоростью лайнера – то совещание, то комиссия из главка, то вызов в обком. Как на грех, слегла Антонина. Он опомнился третьего марта. Надо поздравить мать с женским праздником. Времени в обрез: не успеешь сегодня – завтра будет поздно. В конце рабочего дня директор собрал у себя начальников смен и цехов. После накачки, затянувшейся на полтора часа, он бросился со всех ног в ближайший универмаг. Пока метался по отделам, не зная, на чем остановить свой выбор, время пошло к закрытию.

Молоденькая продавщица стояла перед ним, всем своим видом демонстрируя ангельское долготерпение. Только ее розовые коготки нервно постукивали по прилавку.

– Что-нибудь... пожалуйста! Для пожилой женщины...

Продавщица наклонилась, покопалась под прилавком и небрежно раскинула перед ним платок. Этот самый. Зеленый.

Дома его ждала телеграмма.

Ирина Ащеулова

СЛЕД ДОБРА В ПРОЗЕ ЧИГАРЁВОЙ

Думаю, не ошибусь, если скажу, что главной проблематикой прозы З. А. Чигарёвой является семья. Это центральное понятие в ценностно-смысловом поле художественного мира писателя. Семья недавно созданная, молодая, семья со стажем, семья счастливая и не очень, взаимоотношения «отцов и детей», братьев и сестер, жен и мужей. Все мы помним хрестоматийную фразу классика: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». У Чигарёвой и счастье, и несчастье индивидуальны, у каждого свое.

Читая Чигарёву, ловишь себя на мысли, что эмансипация современной женщины не просто мешает выстроить семейные отношения, но она во многом разрушает исконно складывающиеся, традиционно-патриархальные отношения в семье. От этого страдают не только семьи, женщины, мужчины, дети – от этого страдает общество, в котором при деформации семьи деформируются ценности, нравственно-моральные критерии. Именно о важнейших семейных и социальных противоречиях писала Чигарёва в 1970–1980-х годах.

Казалось бы, замечательный рассказ «Праздник Маши Красильниковой» не отвечает обозначенной тенденции, простейшая сюжетная ситуация (праздничное настроение по поводу собственного дня рождения в рабочий день) не раскрывает глубины социальных противоречий, но это только на первый взгляд. Рассказ позволяет «вычитывать» различные жизненные стратегии, типы поведения, отношение к семье как важнейшей ценности. Маша Красильникова в этом смысле очень счастливая женщина и счастливый человек. Это категория «человека на своем месте». Героиня – квалифицированный маляр, не формально, а творчески относящаяся к своей работе, что называется, мастер. Поэтому у нее есть собственные профессиональные приемы, профессиональная честь и совесть, не позволяющие халтурить, хитрить, брать «чаевые». «Пришла пора настоящего дела. Макнув

кончик кисти в ведро, незаметным ловким движением она стряхнула лишнее, и уже через всю стену легла влажная полоса. Ну, как говорится, благословясь!...»

Субъектом высказывания в рассказе становится только Маша, ее точка зрения центральная, ее глазами читатель видит и ее дело, и ее умение (после побелки квартира становится «игрушкой»), нам раскрывается и ее отношение к таким пустым людям, как Сашка, и взгляд на хозяйку квартиры. Именно по отношению к этой маленькой и хуленькой женщине судьба Маши выглядит гораздо счастливее. В Машиней жизни есть своя доля горя и несчастья: муж Степан разбился на мотоцикле и лежит парализованный. На Маше семья, дом, трое детей, муж-калека. Но в ее жизни, в ее поведении нет ощущения безысходности, потерянности, отчаяния. Муж жив – хорошо, судьба спасла от смерти, дети здоровы – замечательно, сегодня праздник – настроение прекрасное и работаете легче. Скорее, с точки зрения Маши, пожалуй нужно хозяйку квартиры. С внешней стороны, вроде бы интеллигентная семья, дом полон книг, дорогой фамильной посуды, люди живут духовными запросами. Хозяйка преподает в институте, увлечена своей работой. Маша отмечает, как заблестели ее глаза, порозовели щеки, «она как-то враз помолодела», когда заговорила о работе. Но проблема в том и состоит, что, кроме работы, в жизни этого человека ничего нет. Маша замечает мужские тапочки, закатившуюся запонку, но не видит интереса женщины к воображаемому мужу, не видит теплоты, нет ни одного следа присутствия ребенка в этой жизни. Женщина равнодушна ко всему, кроме темы работы, библиографии как науки.

Что можно предположить? Была ли любовь, тепло, понимание? Почему в настоящем нет интереса к близкому человеку? Почему нет детей, скрепляющих семью? Все это останется за рамками текста, вне Машиного видения, сознания. Но ощущение холода, равнодушия, «запечатанной печали» в душе хозяйки квартиры Маша хорошо чувствует. Перед нами печальная женская судьба, удел которой лишь работа. Видимо, поэтому женщина и сама говорит о собственной неприкаянности, невозможности что-либо сделать и в буквальном смысле

(«золотые руки» Маши противоположны «безрукости» хозяйки), и в метафорическом – безвозвратно, драматично уходит время жизни и поправить уже ничего нельзя: «Трагедия нашего поколения – недостаток времени. И все мы куда-то спешим... спешим. И никак успеть не можем. Как будто на поезд торопимся и опаздываем. Вот так и не заметишь, как жизнь пройдет... И окажется тогда, что мы ничего толком не умели, не могли». В этом метафорическом контексте Машино время оказывается более счастливым и удачным. Она все успевает, все умеет: работать, ухаживать за детьми и мужем, содержать семью. Этот 27-й день рождения становится праздником состоявшейся судьбы, состоявшегося счастья. Именно так социальная тематика раскрывает проблему универсальную – понимание человеком счастья, обретение его.

Другой рассказ подборки «Платок для матери» не менее прост и сложен. Перед читателем ситуация печальная – похороны матери. Два взрослых человека, сын и дочь, возвращаются с похорон матери в ее небольшую комнату в коммунальной квартире. Они давно уже не живут с ней, у них свои семьи, работа и жизнь в далеких городах, поэтому, сидя в комнате матери среди ее вещей, они не знают, что с ними делать, что оставить на память, а что выбросить. Они потеряны, растеряны, далеки друг от друга. Ситуация обычна и тривиальна. Спасением для них становится появление молодой семьи, молоденькой девочки и паренька, с ордером на комнату. Теперь можно оставить всю мебель им, быстро собраться в дорогу, попрощаться и уехать.

Собственно, вот и весь рассказ, если бы не деталь, обозначенная в названии, – платок для матери. Главным героем рассказа становится именно деталь, говорящая и символичная. Дети, перебирая мамнины вещи, находят коробку, в которой аккуратно лежат платки всех расцветок и фасонов, все их подарки, которые они дарили на праздники много лет. «В коробке лежали платки. Обыкновенные женские платки. Было их много – наверное, не меньше десятка. Целая коллекция самых разнообразных платков: шелковых, капроновых, кашемировых, и однотонных, и цветных. Правда, расцветки все больше неброские, мягких тонов: золотисто-бежевые, коричневые с розовым, голубова-

то-серые. <...> Платки, освобожденные из своей тюрьмы, нахально заполнили весь стол, превратив его в некое подобие магазинного прилавка. И даже запахло, как в магазине, химическим красителем, новой необношенной тканью». Дети пытаются обидеться, дети не понимают бережливости матери, не хотят чувствовать и сознавать вины. Но все гораздо проще и потому страшнее, печальнее: дети забыли, а может, никогда не помнили, что мама не носила платков. Носила береты, шапочки, шапку-ушанку, но не платок. У нее был собственный стиль, собственный вкус, своя жизнь и взгляды, тот мир, который дети не знали, не хотели узнать и помнить.

Каждый платок – это фальшь заботы о матери, вина, незнание, непонимание. Это особенно остро чувствует сын Николай и не хочет признавать дочь Люба. Платки становятся флагами, знаменами сыновней и дочерней слепоты, забывчивости, рождающейся в суете повседневной жизни. Эти знаки внимания покупались на бегу, в спешке, равнодушно и бездумно, просто для того, чтобы «не с пустыми руками» приехать к самому дорогому человеку. Пронзительный рассказ о вечной вине детей перед родителями, вине часто бессознательной, но от этого не менее очевидной. Дети практически всегда не успевают разглядеть, понять родителей, успевая только на похороны, когда поправить уже ничего нельзя. Символом опоздания становится еще один платок, купленный в спешке на 8 Марта, но уже ненужный, лишний. «Продавщица наклонилась, покопалась под прилавком и небрежно раскинула перед ним платок. Этот самый. Зеленый». Так точная детализация работает на открытие экзистенциальной проблематики рассказа.

Подборка произведений Чигарёвой в данном сборнике включает лишь два рассказа. Хотелось бы немного расширить контекст и напомнить любителям кузбасской прозы о замечательных повестях писателя «След добра» и «Не спугни птицу».

Повесть «След добра» написана на достаточно жестком документальном материале. Корреспондент областной газеты Полина Викторовна Ямщикова в качестве дополнительной общественной нагрузки

становится наблюдателем в детской комнате милиции и знакомится с детской преступностью в разных ее проявлениях. Ужесточают повесть подлинные протоколы совершенных детьми преступлений. Мучительные раздумья Полины над судьбой таких детей, многоуровневый анализ общественных явлений, глубочайший внутренний самоанализ становятся психологическим подтекстом повести.

Повествование ведется с точки зрения самой Полины, перед читателем личностный взгляд на себя, свою работу, на жизнь в целом, взгляд глубоко порядочного, интеллектуального, но бесконечно одинокого человека. Внутренний монолог и анализ позволяют читателю следить не только за внешнесобытийной канвой, но и участвовать в анализировании современной семьи. На сюжетном уровне центральными оказываются четыре истории о детях: во-первых, судьба Жени и Алочки Сыромятниковых, сбежавших от матери-пьяницы; во-вторых, уголовная история шестнадцатилетнего Юрия Касаткина, садистски избившего девятилетнего мальчишку; в-третьих, биография подростка Бориса Петровского; в-четвертых, история Вадима Морозова, ограбившего киоск. Важную роль играет Полина Ямщикова в судьбе детей Сыромятниковых и Бориса Петровского: собственно, основное сюжетное пространство повести связано с ее действиями по спасению Сыромятниковых от пьяных побоев матери и «воспитанию» Бориса. Собственным примером показывает Полина Борису, что взрослые не враги, что можно и нужно найти точки соприкосновения, точки диалога. Поэтому Борис, первоначально угрюмый, замкнутый и циничный, раскрывается совсем с другой стороны в разговорах с Полиной и оказывается мальчиком думающим, равнодушным, стремящимся понять и оценить жизнь. Борис – это большая педагогическая победа Полины, имеющей диплом учителя, но не нашедшей себя в школе. Именно борьба с Борисом и за Бориса, борьба за Женю и Алочку заставляют Полину полностью пересмотреть свою жизнь, найти в себе силы понять свое место в жизни, свое призвание и наконец обрести так долго ожидаемую любовь.

В размышлениях Полины очевидно проявляется авторская точка зрения на состояние современной семьи и ощущения женщины. С одной стороны, эмансипация в XX веке связана с огромными нагрузками на женщину: она должна быть хорошей матерью, хорошей женой, успешным и умелым работником и активным общественно-социальным деятелем. Но, с другой стороны, эта нагрузка оказывается не по силам женщине, и она вынуждена вертеться в этом замкнутом круге, забывая о нежности, жалости и любви к самым близким людям. Поэтому жалобы Полининых приятельниц на детей, мужей, начальников, на жизнь имеют под собой основания. Но выявляется и иной аспект: современная женщина тоже подчиняется ритму сегодняшней жизни, становится часто ленивой, равнодушной, забывает о сущности женской натуры. Об этом размышляет одна из героинь повести: «То-то нам теперь каждое движение в тягость, дети в наказание, обычное дело каторгой кажется. Заелись, обленились, вот что я вам скажу». Равнодушие и лень, которые со временем превращаются в жестокосердие, ненависть, садизм, становятся карой современного человека, современной семьи, поэтому «след добра» – это поступки неравнодушных людей, старающихся не забывать о самом главном – о любви и внимании к детям, к окружающим. В повести это сама Полина, директор школы Нина Семеновна, директор детского приемника Святослав Андреевич, милиционер Карпова, учительница Оксана Дмитриевна.

Таким же человеком является и героиня повести «Не спугни птицу» Женька Большакова. Вспомним, что материалы повести «След добра» автобиографичны. Зинаида Александровна много лет была внештатным сотрудником инспекции по делам несовершеннолетних, видела и малолетних преступников, и брошенных детей пьющих матерей. Но из собственного опыта она вынесла только одну истину: «...я буду писать о тех, кто смыслом своей жизни сделал заботу о таких вот несчастных детях, кто своей добротой, нежностью исправляет то зло, что причинили детям их родители» (из статьи «Труд моей души» в книге «Не спугни птицу»).

Прошло достаточно много времени с 1980-х годов, мы уже тридцать лет живем в другой стране, в цифровом, многообразном мире. Но так ли далеки мы от проблем, что описывала Зинаида Чигарёва? «След добра» остается главной ценностью, главной целью современной жизни. Поэтому проза Чигарёвой жива и актуальна.

Екатерина Тюшина, Елена Чигарёва

БИОГРАФИЯ ЗИНАИДЫ ЧИГАРЁВОЙ

Зинаида Александровна Чигарёва (в девичестве Радина) родилась 15 октября 1928 года в городе Ельце Липецкой области в семье мастера-кожевника Александра Михайловича Радина. Ее мама – Мария Ивановна – происходила из рода елецких купцов Ростовцевых. Большое влияние на формирование личности и литературных вкусов Зинаиды оказала воспитывавшая ее сестра матери Елена Ивановна Ростовцева, женщина высокоэрудированная, любившая и хорошо знавшая русскую литературу, встречавшаяся с Львом Николаевичем Толстым.

В 1947 году Зинаида с золотой медалью окончила елецкую школу № 1. Поступила на филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института, который в 1952 году окончила с красным дипломом. По распределению была направлена на работу учителем русского языка и литературы в школу города Прокопьевска Кемеровской области. В 1953-м перешла на работу сотрудником газеты «Шахтерская правда». В редакции газеты заведовала отделом культуры и быта, писала по вопросам культуры, театра, руководила литературным объединением. В 1961 году переехала в Кемерово, где до 1967-го работала редактором на студии телевидения. С 1968 по 1980 год была главным редактором Кемеровского книжного издательства.

Еще в студенчестве начала писать пьесы. Работая журналистом в Прокопьевске, продолжила писать пьесы о людях города и шахтерских судьбах. Ее пьеса «Шахтерская поэма» вначале была поставлена в Прокопьевском драматическом театре, затем прошла на театральных

сценах Донбасса и Дальнего Востока. С нее начал свою работу в новом здании и Кемеровский драматический театр. Пьеса «Пока не придет разводящий» была экранизирована Центральным телевидением и показана зрителям.

В 1966 году Зинаида Александровна Чигарёва была принята в Союз писателей СССР, прежде всего за драматургические произведения, хотя ее рассказы появлялись в печати с начала 1960-х годов. Первая прозаическая книга «Что в имени тебе моем?» вышла в Кемеровском книжном издательстве в 1969 году. В следующем году вышел сборник рассказов «Золотые холмы детства».

Юным читателям, в том числе и своим детям, дочери Елене и сыну Ивану, Зинаида Чигарёва старалась подарить чудо сказки, ведь сказка, как она утверждала, живет рядом с нами и каждый может свободно оказаться в ней, как это случилось и с героями ее книги «Осторожно, сказка!». Повести Чигарёвой, написанные для детей, воспитывают у юного читателя чувство ответственности за свое поведение, за каждый поступок и сказанное слово.

Работая на телевидении, З. А. Чигарёва вела передачу «Простые истины» – о нравственных ценностях и человеческих судьбах. Передача нашла отклик в сердцах зрителей. Редакция литературно-драматических программ и лично Зинаида Чигарёва получали множество писем. Некоторые из историй, рассказанные в этих письмах, дали толчок для написания нескольких произведений писательницы. Так, например, появилась повесть «Не спугни птицу».

Особое место в творчестве Зинаиды Александровны занимает повесть «След добра». Письма зрителей и читателей заставили ее задуматься над тем, как живет детям в неблагополучных семьях. Чтобы лучше познакомиться с проблемой и по возможности помогать этим детям, она стала внештатным сотрудником инспекции по делам несовершеннолетних. Работа в инспекции и знакомство с чудесными людьми, которые отдавали все силы, чтобы помочь детям, легли в основу повести. Судьбу каждого из персонажей писательница пропускала через свое сердце.

Через многие рассказы Зинаиды Чигарёвой проходит тема семьи. Поднимая проблемы семьи, она старалась донести до читателей главное: любить близких надо «сейчас», пока они живы, пока нуждаются в сердечности и тепле наших слов и дел, пока можно проявить свои чувства, чтобы не стало слишком поздно. Все произведения Чигарёвой пронизаны любовью и добротой. Эти чувства были присущи и самой Зинаиде Александровне. С открытым сердцем она шла к своим читателям, была частым гостем в школах, клубах и библиотеках, где проходили ее творческие встречи.

Автор книг «Что в имени тебе моем?» (1969), «Золотые холмы детства» (1970), «Осторожно, сказка!» (1973), «Свет мой ясный» (1978), «След добра» (1983), «Требуются непослушные дети» (1986), «Не спугни птицу» (1987), «Горький привкус осени» (1989), а также пьес «Шахтерская поэма», «Аллея славы», «Пока не придет разводящий», «Днем звезд не видно». Публиковалась в журналах «Современная драматургия», «Огни Кузбасса». Произведения З. А. Чигарёвой переведены на венгерский язык.

Заслуженный работник культуры РСФСР (1984). Награждена медалью «За доблестный труд» (1970), знаком «Отличник печати» (1978), отмечена многочисленными областными наградами.

Зинаида Александровна Чигарёва ушла из жизни 27 марта 2007 года. Похоронена на Центральном кладбище № 1 города Кемерово. В Государственном архиве Кузбасса создан личный фонд З. А. Чигарёвой.

Книги Зинаиды Александровны Чигарёвой:

«Что в имени тебе моем?» : рассказ. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1969. – 27 с.

Золотые холмы детства : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1970. – 145 с.

Осторожно, сказка! : сказочная повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1973. – 95 с.

Свет мой ясный : рассказы, повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1978. – 187 с.

След добра : повести, рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1983. – 303 с.

Требуются непослушные дети : сказка. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1986. – 56 с.

Не спугни птицу : повести. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1987. – 265 с.

Горький привкус осени : повесть, рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1989. – 189 с.



Виктор Александрович Чугунов

*30 июня 1937 г., Барнаул – 26 декабря 1973 г., Междуреченск.
Прозаик. Член Союза писателей СССР с 1969 года.*

ПОЛМЕТРА ДО КАТАСТРОФЫ

Я протянул ему руку:

– Владимир.

А он ответил:

– Лебедев.

Жестко, будто знакомился со мной не механик участка, а Бонапарт.

Лозовский, шеф, указал на меня:

– Техник... Работать у нас будет...

Мы стояли на конвейерном штреке. Далеко впереди маячили огоньки работающих монтажников.

– Имей в виду, Евгений Михайлович, – напомнил Лозовский, – надо сегодня закончить оборудование штрека... Как хочешь, а...

Я уверен, что Лебедев не однажды слышал подобное предупреждение. Он резко вскинул голову и ответил жестко:

– Знаю.

Ему можно было дать лет двадцать пять.

– Молодец, парень! – сказал Лозовский, когда мы отошли. – Огонь!

Мне вспомнился техникум. Борька Сазонов – улыбочка. Он отратил рыжую бороду, купил желтый свитер, форсил – мать моя родная! Или Славка Роджерс – гигант, морской волк. А Фазалов? Это же ум! Библиотека!

А Юнка? Красивая, как Венера! Если бы ее направили на Международный фестиваль молодежи и студентов, она бы привезла корону самой красивой девушки мира.

– Возьмешь меня замуж? – шутила Юнка в тот вечер, когда я решился на передовую – в Сибирь.

– Охотно, – согласился я.

– Не говори так сразу, это плохо...

– Почему плохо?

– Когда сразу говорят, не берут...

Мы целовались. Она обтерла спиной побеленную стену тихого подъезда и ушла домой разлохмаченная, красная, с набухшими усталыми губами.

Юнка, Юнка, девочка из сказки...

А здесь только тайга и небо. Баня, сегодня мужская, завтра женская. Единственно порядочное место – речка. Ляжешь на горячую гальку, смотришь в небо и вспоминаешь Юнку...

Я лежал на гальке и наблюдал, как детвора прыгала в воду с метровой вышки. Недалеко торчала другая – метра на четыре. Но там обмелело и прыгать никто не решался, боясь сломать себе шею.

Вдруг я заметил: на большую вышку полез человек. И я тотчас узнал его. Лебедев! Он же свернет голову!

Лебедев не торопясь поднялся, сделал два ровных шага по затрепетавшей площадке. Тело его вытянулось и полетело в воду...

В первый же день моей самостоятельной работы он подошел ко мне и неожиданно тепло сказал:

– Думаю, скандалить не будем... Чтобы электромеханическое хозяйство было в порядке.

Я еще не забыл его высокомерного «Лебедев» и напомнил, что, как это ни странно, в двадцатом веке, встречаясь, принято здороваться. Он согласился.

– И потом: ты институт окончил? – спросил я.

– Техникум.

– Значит, мы учились по одной программе?

– Вполне возможно...

– Поэтому кое-какие свои обязанности я смогу выполнить без твоего указания.

– Мне нравятся люди с характером, – признался Лебедев.

В тот же день на комбайне не стало энергии. Дементьев, толсторожий парень, двусмысленно улыбаясь и облизывая губы, пригласил меня к аппарату:

– Пожалуйста, товарищ начальник...

Я бы ликвидировал аварию... Сам! Своими руками. Неспешно. Поразмыслив. Но на меня смотрело тридцать чужих глаз, нетерпеливых, любопытных, насмешливых, хмурых, злых, желающих от меня одного: чтобы я бессильно развел руками, поднялся и отошел от этого хитро-

сплетенного аппарата, и они бы подняли меня на смех. Все они точно повторяли Лебедева. Я это видел, чувствовал, волновался и не мог вспомнить электрическую схему фидера.

Прибежал Лебедев. Он только наклонился над аппаратом – и все было готово. Я даже не уловил, к чему он притронулся. Я стоял растерянный. А Лебедев выпрямился и посмотрел на меня так, будто назвал сопляком.

...Ночью мне снилось: мы встретились с Лебедевым на ринге. Юнка сидела в первых рядах и кричала мне в уши: «Давай его, Володя, давай...» Я разделался с ним, как хотел.

А в жизни было иначе. Всего не припомнишь, много было. Где-то упустил, где-то не смог, где-то не хотел. Потом несколько раз засыпал на сменах: снова занявшись спортом, выматывался на тренировках. И бригада заголосила:

– Нам такого руководителя не надо...

После наряда меня задержал Лебедев:

– Слушай, Володя, я сегодняшний эксцесс не беру во внимание. Но на тебя ежедневно жалуются. Может, помочь?

Взгляд его был добрым и мягким, казалось, он пытался меня расшевелить, вызвать на откровенность. Но, по-моему, это только казалось. Я ухмыльнулся и ушел.

А через полмесяца рыжий Дементьев попытался надо мной подшутить. Я затащил его в нишу и, ни слова не говоря, заехал по физиономии. Он взмахнул руками и упал.

Наклонившись над ним, медленно, чтобы он дольше помнил, прошептал:

– В следующий раз тебя будут выносить на носилках, а сегодня ты еще встанешь.

А на другое утро Лебедев, упрямо наморщив лоб, с подчеркнутым удовлетворением прочитал:

– Партийная организация выражает недоверие Сергееву как руководителю...

Бригада безоговорочно одобрила, а я сидел, сжавши челюсти, и смотрел в пол.

В тот же вечер я с ним встретился.

– Ну что, Евгений Михайлович? Когда на работу выходить?

– Оттягивать не стоит, Володя, лучше завтра... Такелажником.

Я стоял перед ним и наслаждался.

– Завтра, говоришь?

Он, удивленный, отступил от меня. Какое же это чудесное мгновение, когда до человека доходит, что его будут бить. Глаза его вдруг перестали быть круглыми, губа вздернулась, и весь он нахохлился.

– Когда идешь на такое дело, не надо пить, – услышал я его уверенный голос.

– Это мне не помешает, – заверил я.

– Это мне помешает.

Он резко отпрыгнул в сторону. Мне показалось, что это попытка бегства. «Подлый ты трус!» – закричал я и метнулся за ним. Если бы я его ударил, он бы очнулся только на другой день. Кажется, до его рожи оставалось несколько сантиметров, но он ловко перехватил мою руку, я взвился над ним и повис...

Когда я пришел в себя, Лебедева не было. В глаза мне смотрели насмешливые холодные звезды. Они без конца мигали, точно далеко вверх их тушил ветер. Я лежал на спине и долго не мог понять, что же такое произошло и почему мне больно пошевелиться.

...Кончилось лето, прошла осень.

Я, мечтавший украсить Сибирь, – такелажник четвертого разряда. Лупоглазый Лебедев – мой начальник. Я шесть часов без усталости творю: мне положено перетаскивать с места на место все тяжелое.

Хорошо, что радовала письмами Юнка.

С каждой строчки рвалось – скучает, помнит наши вечера, когда мы оставались вдвоем, намекает на ухаживание симпатичных ребят. Потом о музыке. Ее слушал профессор Стрельников. Она исполняла свои вариации. Стрельников хвалил и советовал заняться музыкой основательно.

В тот вечер мы с мальчишками сидели в бараке-ресторане и веселились. Колька Воронцов, мой сосед по комнате, уговаривал меня не

пить. «В тебе умрет боксер», – шепелявил он. «Это неважно, что во мне умрет боксер, – пьяно возражал я. – Я же человек».

Я едва добрался до общежития и потом стоял под яркой лампочкой в коридоре и читал Юнкину телеграмму. Милая Юнка все бросила и бежит ко мне. Это чудесно, Юнка! Я соскучился по тебе. Здесь нет ни одного порядочного человека. Здесь одни Лебедевы, одни Лозовские, высокомерные и однобокие.

Я свалился на холодный щелястый пол и не помню, как меня положили на кровать.

...Юнка приехала в купейном вагоне. Вышла с двумя чемоданами, бросила их на землю и повисла у меня на шее.

Вечером мы гуляли по городу. Казалось, ко мне снова вернулся мир, в котором я когда-то жил, который нравился мне и который делал меня счастливым. Юнка рассказывала о себе, и я слушал ее, а когда никого на улице не было, ловил ее и целовал в губы.

– Насовсем?

Она останавливалась у домов, приваливалась к стене и смотрела так, что у меня перехватывало дыхание.

– Где жить будете? – спросил Лозовский. – Как хочешь, а квартир пока нет.

Я, такелажник четвертого разряда, техник по образованию, стоял перед ним, тоже техником, и не мог понять, что его приподнимало надо мной.

– Ерунда, Александр Степанович, – подошел к столу Лебедев. – Поздравляю, Володя. – Он повернулся ко мне и протянул руку. – Можешь ко мне...

Он был при галстукe, в белой рубашке и умело отглаженных брюках.

– Желаю тебе быть счастливым. Где она у тебя?

– В общежитии. Где ей быть...

– Переселяйтесь. Ключ возьми. Александр Степанович, думаю, освободим его от работы?

Лозовский поспешно согласился.

Маленькая полупустая квартирka Лебедева произвела на Юнку чу-

десное впечатление. Она бегала от одного окна к другому, смотрела на хмурую тайгу, изрытую гору – угольный разрез и убегающий вдоль речки шорский поселок.

Я стоял в дверях и следил за ней. «Она еще не знает, что такое Сибирь, – думалось мне. – Она еще не знает сбежавшихся сюда за длинным рублем людей. Она еще будет плакать».

К вечеру шумно ворвался Лебедев. Он принес две бутылки портвейна. Из зимнего холодильника достал две пачки мороженых пельменей, вскипятил воду. Когда мы сидели за кухонным столом и пили из маленьких лебедевских рюмок, Юнка все время улыбалась.

– Да вы не верьте, – выпив, болтал хозяин, – вы знаете, как здесь хорошо! И народ замечательный! Честное слово! А знаете, как начинали? Утром из палаток выходишь, а на улице медведь. Здоровущий, лохматый. Начальство девяносто километров отмахать обещало, чтобы до нас добраться, а мы на свет выбраться не можем. Палатки на берегу Ольжераса стояли, а там тайгища была такая, что ой да ну. Тогда здесь только и было, что несколько шорских дворов да наши палатки. Так ведь еле выбрались: пошкодил косолапый да ушел. А сейчас посмотрите... Город! Столица! Паровое отопление. Это для меня, холостяка, незаменимая вещь.

Потом Лебедев перестал рассказывать и принялся кричать: «За ваше счастье! За ваше счастье, товарищи!»

– Спасибо, – отвечала Юнка.

Она была действительно счастлива, так счастлива, что не замечала, что счастье ее в чужой квартире и что пьет она за свое счастье из чужих рюмок.

– Пьем за яростных, за непохожих... – пропела Юнка. – Вы любите это? Павел Коган.

Лебедев вскинул голову и процитировал:

...Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Оглохшие от грома труб,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру...

– Если бы у нас было пианино, – вздохнула Юнка.

– Вы умеете играть? – заинтересовался Лебедев.

«Лупоглазый провинциал, вызубривший Когана, он думает, это такая сложная штука – научиться играть. В Москве каждая вторая девчонка играет на пианино». Мне было больно, что Юнка нашла с ним общий язык. Я нахмурился и выпил рюмку один.

– Слушай, – через несколько дней предложил мне Лебедев, – уезжает энергетик с разреза. Они продают совершенно новенькое пианино.

Я не перестал его ненавидеть. Но я был обязан ему: он же добровольно уступил нам комнату. Невозможно было его оборвать: не твое, мол, это дело, дорогой механик. А как хотелось! Но я осторожно сказал:

– У нас же нет денег...

– Я тебе дам, у меня есть.

– Я не смогу быстро рассчитаться...

– Рассчитаешься, когда сможешь.

– Не знаю.

– Юнка так хочет пианино, – сказал он.

...В тот вечер Лебедева вызвали на шахту. Не было его двое суток: сидел под землей и ремонтировал комбайн. Мы на двое суток остались с Юнкой в пустой темной комнате, она играла мне «Аппассионату». Я сидел на кровати и слушал. В комнате над нами переставали ходить и тоже слушали.

После свадьбы Юнка поступила работать в музыкальную школу, а по вечерам убегала во Дворец культуры, где руководила эстрадным оркестром. Ее почти не бывало дома.

Я такелажничал. Все продолжали считать нормальным, что техник работает не головой, а руками.

Лебедев грыз за невыполнение нарядов.

– Володя, ты же техник... Неужели не понятно, как важно было это сделать?

Они все помнили, что я техник.

Лозовский набросился как-то прямо в шахте:

– Что ты делаешь? Сбесился, что ли? Ты же ему ноги отставишь. Неужели уж такое простое дело... Техник.

Я ходил с ребятами в ресторан.

– Слушай, Володя, я все-таки думаю, что ты умный парень, – встречал меня Лебедев в коридоре.

– Что же мешает вам продолжать думать в том же духе? – спрашивал я ехидно.

– Не прикидывайся...

Юнка отворачивалась и не разговаривала со мной пьяным. Случалось, что вечерами мы были дома. Тогда нам Юнка играла. Мы сидели и внимательно слушали ее. Особенно Лебедев. Казалось, до этого он не слышал фортепьянной музыки. Юнка играла до тех пор, пока он не вставал и не уходил на кухню.

Жизнь – это такая штука, где очень многое незаметно.

Юнка как-то пришла под утро, в пятом часу. Я проглядел, может быть, она часто приходила в пятом часу. Но на этот раз я счел себя обиженным.

– Эстрада для тебя умерла, – сказал я, поднимаясь с кровати.

– В чем дело, Володя? – спросила она.

– Я не хочу, чтобы моя жена бродила ночами по улице.

– А почему бы мне и ночью не поработать?

– У нас дома пианино...

– Но вы же мне мешаете.

На следующий день в нашу ссору вмешался Лебедев:

– Я не понимаю, Володя...

На этот раз я не дал ему говорить:

– Евгений Михайлович, это же, извини, не твое дело...

– Ошибаешься, Володя...

– Как это понимать?

– Так. Юнка приехала к тебе, потому что ее направили сюда работать.

– Ты знаешь ее лучше меня?

– Я знаю ее хорошо.

С этого дня я понял, что нам пора оставить Лебедева в покое. Он слишком вознесся в роли хозяина Сибири.

Юнка ходила надутая. В глазах ее застыла обида. Она не пыталась заговорить со мной. После школы допоздна играла на пианино – что-то писала, потом проигрывала.

Когда я однажды поздно пришел с работы, она сидела с Лебедевым и рассказывала ему о Чайковском.

Я с трудом дождался воскресенья. Еще только начинало светать, а я уже оделся и пошел искать квартиру.

Вернувшись, я не застал никого дома. Юнка и Лебедев ушли кататься на лыжах. Коротенькая записка звала меня присоединиться к ним.

В отчаянии я заметался по комнате. В глазах все время стояли оба. Юнка идет впереди, он почтительно отстает. Юнка в красном костюме, он в ярко-зеленом свитере. Идут медленно. Тайга матовая. Снег сухой и рассыпчатый. Лебедев учит ее, как надо жить. Или читает наизусть Павла Когана:

Сквозь вечность – кинутые дороги,
Сквозь время – брошенные мостки.
Во имя юности нашей суровой...

И Юнка улыбается. Ей так же хорошо, как было со мной, когда она приваливалась к стенам домов.

Выбежав на улицу, проклиная всех, я выпил за углом бутылку водки. Остаток дня просидел в ресторане. На улице было темно, когда я пошел домой. Маленький дребезжащий автобус довез меня почти до подъезда. Подхлестываемый выпитым вином, я влетел в квартиру.

– Кто есть дома? – рявкнул я пьяно.

Комната ответила мне эхом. Я увидел две пары лыж, прижавшихся друг к другу, и снова бросился на улицу.

Ноги несли меня сами. Я ничего не хотел видеть. Мне надо было только Юнку. Мне надо было мою Юнку. Напомнить ей первый вечер. Сказать, что я нашел квартиру и каждый наш завтрашний вечер будет такой же, как и первый, и даже лучше.

В ДК я прорвался. Дежурная смотрела на меня и причитала. Я не обращал на нее внимания. «Иди прочь, мать...» Я уже слышал музыку. Нетрудно было узнать Юнкин почерк.

Не раздеваясь, пробежал я в зал, бросился к сцене и закричал:

– Прекратите, вы! Прекратите, я вам сказал!

Пустой зал отозвался тишиной.

Мы от Лебедева ушли. Юнка согласилась, но при условии, что она будет ходить в ДК. Это ее работа, это ее хлеб. Я принял ее условие. Пусть она занимается музыкой, пусть она живет, как ей хочется, только бы не видеть Лебедева.

Он помогал вытаскивать пианино. Скуластое лицо его было бледно.

Я радовался, глядя на него. Своим решением уйти из его квартиры я будто ударил этого человека.

Переездом я хотел покончить со всем.

И каково же было мое отчаяние, когда несколько недель спустя, придя в ДК встретить Юнку, я увидел его в пустом полутемном зале внимательно слушающим Юнkinу игру. Нервы мои не выдержали.

Я подбежал к нему и схватил за воротник пальто:

– Евгений Михайлович, уйди отсюда...

Он зло, с силой отдернул мои руки, но даже не поднялся.

– Я, Володя, уйти не могу.

...Первого мая Юнка показывала свою работу. Зал был полон.

Конферансье, мужчина в роговых очках, торжественно объявил:

– Вашему вниманию предлагается соната «Сибириада» нашего местного композитора Юнны Григорьевны Сергеевой.

Я опоздал к началу концерта и стоял в проходе. Знакомые звуки прорывались ко мне смятыми, неточными. Но зал был тих.

Юнка говорила, что эта музыка о нашей жизни. Что-то гнуло лирического героя. Что-то сбивало его с дороги. Но любовь должна переделывать его. Лирический герой – это я. Я очень плохой. Но меня любят, и я обязан стать хорошим.

Финал – что-то громкое, медное. Юнка говорила – гимн. Но я не понимаю. По-моему, это не торжество, по-моему, это расстрел. Расстреливают привалившуюся к стене любовь.

Музыка стихла.

Я увидел на сцене Лебедева. Он был в черном торжественном костюме с букетом живых роз. Где он разыскал их в мае? Лебедев отдал букет Юнке, что-то сказал ей, поцеловал руку и прошел за сцену.

Точно почувствовав недоброе, я тоже бросился туда. «Я буду хорошим, Юнка, – хотелось мне крикнуть. – Я принесу тебе гору садовых роз. Не надо, Юнка».

На сцене ее не было. Я рванулся в комнату, где она переодевалась. Они стояли друг против друга. Чувствовалось, что они не сказали еще ни слова, но сейчас скажут.

Лебедев подошел ко мне и почти попросил:

– Выйди, пожалуйста, на минуту...

Юнка немо, безжалостно следила за тем, как выпроваживали ее мужа. Я не нашел слов, которые надо было им сказать, и, опустив голову, вышел.

...Лебедев внешне не изменился. Он был в своем рабочем костюме. Прямо сидел за столом и разговаривал с парнями.

Он мог говорить о чем угодно. Мог говорить о пленумах, о задачах участка на ближайшее время, о Кубе, об австралийских аборигенах, о загадке гигантских скульптур на острове Пасхи.

И люди его слушали, люди ему верили.

Я тоже немного знаю об аборигенах, но они не станут меня слушать. Чем берет этот человек? Как он подползает к чужим сердцам? Я следил за ним и не мог понять. Он казался мне странным, рисующимся. Может, всем было давно ясно, кто из нас прав, а кто нет? И только я один жил в неведении?

В шахте он подошел ко мне и позвал с собой. Надо было доставить под лаву натяжную головку конвейера.

Лебедев вел себя так, будто между нами ничего не произошло.

– Заберите пианино, – сказал я. – Юнне Григорьевне играть надо.

– Да, сегодня возьмем, – ответил он.

Мы подтянули головку к гезенку*, поставили на попа, и Лебедев посмотрел вниз.

* Гезэнк – вертикальная или крутая наклонная горная выработка. – Прим. ред.

– Вот некстати обшивка еще задралась... Поддержи-ка...

Он нашел скобу, взял молоток и полез вниз. Он будто напрашивался сам. Я не мог хорошо подумать. От волнения горели руки. Слюна казалась сухой, я никак не мог ее проглотить. Колотилось сердце.

Я не понимаю, что это за человек, и ненавижу его. Вот он внизу, подо мной, забивает скобу. Сейчас он вылезет и будет смотреть на меня своими круглыми глазами. Это невозможно! Надо его сломить. Надо его...

Поспешно, будто меня кто-то подгонял, я отвернул лицо, толкнул голову и закричал.

Лебедев чудом остался жив. Головку заклинило в пятидесяти сантиметрах от него. Всего в пятидесяти!

А он вылез наверх и обычным своим жестким голосом сказал мне:

– Надо лезть вытаскивать...

Я готов был сойти с ума. Что это за человек! Что это за кусок железа! Я стоял перед ним, и меня колотило как в лихорадке. Невозможно было больше выдерживать чудовищное напряжение и это убийственное спокойствие.

Слезы заволокли мне глаза. Туго соображая, я постоял немного и пошел прочь. Сломленный, разбитый, я понял, что не могу никуда уйти. Для меня не существовало мира, кроме того, который разбивал меня, чтобы сделать заново.

1965

МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ НОВЕЛЛА

Котов усадил ее на скамью.

– В ногах правды нет, – сказал он и тоже сел.

Она кивнула ему, поставила у ног сумку и натянула на колени платье. Сквер был рыж и прозрачен. Осень набросала листьев, они хрустели под ногами.

– Люд, а Люд. Генка прислал письмо, – промямлил он.

– Мне тоже, – быстро ответила она и покраснела.

Они часто приходили в этот сквер. Котов бежал через Междуречье из своей школы в другую, чтобы встретить эту женщину, брал у нее сумку, набитую школьными тетрадами, и вел сюда.

Кружились тяжелые листья, прорезали редкую паутину тополей лучи солнца, трещали синицы; Котов и Людмила Петровна сидели на скамье и не знали, о чем говорить.

– Ну, наври что-нибудь, Котов, а? – попросила она.

Он смотрел на нее и недоумевал:

– Да что я тебе, Люда, навру?

Уходило за горы солнце. Какое-то мгновение еще светились верхушки труб на обогатительном комбинате и в небе горели оранжевые полосы, но скоро все меркло, растворялось. Серым туннелем тянулась в горы аллея сквера.

Они шли за Вовкой, ее сыном, и Людмила Петровна говорила:

– Никого тебе, Котов, не свести с ума... Так и будешь меня сторожить...

Он не обижался, разводил руками и болтал с четырехлетним Вовкой о пустяках.

И так было не один год. Но однажды...

– Сколько вам лет, дорогая Людмила Петровна? – спросила Губанова, директор школы, пригласив ее к себе в кабинет.

– Двадцать три, – робко ответила Людмила Петровна.

Губанова показала на стул, выложила на стол полные, с короткими пухлыми пальцами руки и долго смотрела на Людмилу Петровну. Потом встала.

– Немало, надо заметить, немало...

В кабинете стало так тихо, что слышалось тиканье часов.

– Вы мне можете сказать, что делала в двадцать три года вот эта женщина? – Губанова, не оборачиваясь, показала большим пальцем за плечо.

Людмила посмотрела на портрет Крупской: Надежда Константиновна ответила ей доброй улыбкой.

– Я не экзаменую вас, извините меня... – Губанова снова выложила руки на стол. – Вы знаете, о чем я... У вас муж в армии? А что вы, педагог, в его отсутствие себе позволяете? А? Что, вам не терпится?

Людмила Петровна закрыла лицо руками.

– Как вам не стыдно, Мария Ивановна, – прошептала она, поднимаясь со стула. – Как вам не стыдно...

И выбежала из кабинета.

...Поздно вечером она плакала и шептала засыпающему Вовке:

– Я люблю твоего папу, Вовочка... Ты слышишь? Я люблю твоего папу... Он скоро приедет, твой папа... Ты слышишь, сына?

А со всех сторон летело: «Что, вам не терпится?» И круглое черное лицо Губановой смотрело на нее с подушки.

Котову она сказала:

– В школе говорят о нас... Не хочу.

...Они не встречались больше недели. Она избегала его, а он пытался ее найти, и чем настойчивей она избегала его, тем откровеннее искал он.

На этот раз Котов обманул ее: он ожидал за углом школы. Людмила Петровна несколько раз выглядывала в окно, но ничего не заметила и вышла.

– Как же так, Люда? – растерянно прошептал Котов.

Ей было жаль его. Собственно, он был совершенно одинок. Этот Котов ни с кем не мог найти общий язык, она была ему и родственником, и другом.

Его худое, серое с мелкими родинками лицо изменилось, стало еще непривлекательнее. Только глаза оставались странными: две вытянутые набухшие капли, они смотрели растерянно и больно.

– Мне плохо без тебя, – призналась она и отвернулась, – но ты знаешь...

Шел дождь. Мелкие капли висели в сером воздухе. Людмила Петровна и Котов медленно шли по улице, боялись расстаться. Он держал над ней зонтик, не замечая, что она уже промокла: по лицу текла вода, мокрые волосы вылезли из-под берета, а влажный воротник плаща давно тер ей шею.

Котов больше не приходил.

– Вы как Матерь Божия в трауре, Людмила Петровна, – заметили ей как-то в учительской.

Она покосилась в зеркало и возразила:

– С чего вы взяли?

Но получилось неуверенно, стыдливо. Учительская была полна: Губанова записывала тех, кто желал купить билеты на спектакль областного драматического театра; кому-то читал наставление завуч. «Немка» Анастасия Васильевна, опершись о стол, говорила всем сразу: «Вы только подумайте, что выкинул у меня этот мальчишка... Это же умора».

Людмила Петровна отошла к умывальнику – мыть руки.

– Вам один билет или два? – спросила ее Губанова.

Людмила Петровна раздельно сказала:

– Один, Мария Ивановна.

Все неловко задвигались, но Губанова стала писать, будто ничего не произошло.

Тогда Людмила Петровна вдруг поправилась:

– Впрочем, нет, Мария Ивановна, мне два билета.

И отошла к окну.

Котов опять не пришел.

Людмила Петровна сидела в партере в третьем ряду, и ей хотелось с кем-нибудь говорить. Рядом сидел физик из второй школы, молодой парень, кажется Борис. Она его не знала, но ей очень хотелось говорить.

В антракте они медленно ходили по кругу, он держал ее под руку, взволнованно поправлял галстук, что радовало ее: она знала, что за ними следят.

– Жизнь у нас какая-то скомканная, – говорил Борис. – От стремительности, что ли? Не видим прелести в мгновении и не желаем растянуть это мгновение.

Она что-то отвечала, ободряла его улыбкой, он говорил и говорил...

После спектакля он напросился проводить ее: в конце концов, она взрослый человек, чтобы распорядиться собой.

Идя домой, Людмила Петровна думала о своем. Напрасно не пришел Котов. Она бы ходила с ним по огромному залу, и пусть бы на них смотрели и пожимали плечами. Они бы не перекинулись и словечком, ходили бы, молчали, и никто бы не поверил, что между ними ничего нет. Пусть бы говорили о ней, она отчаянная. Пусть бы завидовали и боялись ее.

– У нас педагог личного не имеет, – продолжал Борис. – А и серьезный педагог имеет право на свое... интимное...

Людмила Петровна неожиданно стала говорить, что она самая счастливая на свете.

У подъезда он смело прижался к ней, расстегнул плащ, и она почувствовала, как он ощупывает ее.

– Идите вон! – закричала она и, вырвавшись, убежала в подъезд.

Однажды на уроке Людмила Петровна выглянула в окно и увидела Котова. Он стоял у ограды и смотрел на школу. По классу пролетел шепоток: «Котов, Котов».

Людмила Петровна и обрадовалась и испугалась. Обрадовалась, что увидела его, и испугалась: даже эти маленькие люди думают о ней плохо. Она прошла между парт, напряженно думая. И вдруг стала говорить о том, почему за окном стоит Котов. На свете не только Онегин любил Татьяну, не только любили Печорины, Базаровы, Мелеховы, о чем разрешено говорить ученикам. Нет же, дети, на земле любят все, дозволено любить Котову, дозволено любить им. Не смейтесь же над самими собой. Не надо!

Она говорила об этом долго и откровенно. Класс был сосредоточенно-тих, любопытен, с ними никто никогда с такой откровенностью не говорил. Они смотрели на Людмилу Петровну, вдруг приятно изменившуюся, следили за выражением ее лица, теплого, с какой-то русской белизной щек, гладкой прической над крутым лбом. Они ловили каждое ее слово.

Когда Людмила Петровна смолкла и обернулась к окну, Котова уже не было. На улице кружил первый снег. Дороги еще были черные, а на крышах, на газонах уже залегло белое полотно, и чьи-то следы отчетли-

во выделялись на снегу от школьной ограды, через газон, терялись на грязном осеннем асфальте и снова выныривали на газоне на противоположной стороне улицы.

Возвращаясь в тот день из школы, Людмила Петровна часто оглядывалась и смотрела по сторонам: она была уверена, что Котов встретит ее. Но Котов не встретил.

Вечером она сидела дома и просматривала семейный альбом. Котов и Генка вместе, она и Котов, она и муж, вдвоем. Вот они все на пляже, и Вовка. Сына на руках держит Котов. И еще фотография: институт, Котов и Генка готовятся к экзаменам. Будущие математики. Она помнит этот день хорошо, в этот день она стала женой черноволосого человека, которого звали Генкой.

Котов пришел вечером седьмого ноября.

Случилось так, что после демонстрации Людмила Петровна убежала домой, ее никто не хватился, и осталась она одна. Отправив сына к соседке, села у окна и сидела добрых полдня. По стеклу сбегали грустные струйки, и на глазах Людмилы Петровны копились слезы.

– А я случайно, Люда, думал, тебя нет дома, – сказал Котов, застряв в дверях. – Думаю, все же зайду...

Людмила Петровна подбежала к нему, схватила за плечи идохнула ему в лицо:

– Веди меня куда-нибудь... Слышишь, Котов, веди меня куда-нибудь. Я больше не хочу плакать.

– Зачем плакать? – засуетился он. – Вовсе плакать не надо. А где Вова?

– У соседей, у бабушки. – Людмила Петровна бросилась к шифоньеру, выбросила несколько платьев и, укрывшись за дверкой, потребовала: – Ты проходи давай, только не смотри сюда... Куда меня поведешь?

Так быстро она не собиралась никогда.

Они вышли на улицу, и она взяла его под руку.

– Холодно? – спросил он.

– Не-э, – ответила она, потому что ей и впрямь не было холодно.

Проспект был сырой и ветреный. Промокшие топольки скромно стояли в стороне. Разбрызгивали свет электрические фонари; освещенные окна били по асфальту снопами света.

– Люд, я получил письмо от Генки, – помолчав, сказал Котов.

– Я тоже, – ответила Людмила Петровна и отвернулась.

Беспомощно долго скользила она глазами по мокрым серым стенам.

– Вероятно, он пишет нам одновременно...

Больше они ни о чем не говорили.

В гостях Людмила Петровна была весела, и даже не в меру. Мужчины отмечали ее, она без конца танцевала и, не стесняясь, просила Котова:

– Выручи же меня, байбак необразованный...

Котов заботливо спрашивал:

– Люда, ты сегодня лишнего не выпила?

– Сегодня мне очень нравится вино, – смеялась она. – Очень, Котов, нравится...

Возвращались они поздно. По улицам бродили пьяные компании и пели.

– Пойдем на реку? – предложила Людмила Петровна.

– А не холодно? – второй раз за сегодня спросил ее Котов.

– Нисколько не холодно, – ответила она.

Вот-вот обещал повалить снег. Вдоль реки прорывался холодный ветер, и стоять на берегу в такое время было неприятно. Но Людмиле Петровне нравилось смотреть на холодную черную воду и дышать сорвавшимся с гор ветром. Котов не мешал. Он стоял поодаль и следил за ней.

– Котов, ты можешь сделать что-нибудь сногсшибательное? – спросила Людмила Петровна.

– Вероятно, нет, – трезво ответил он.

– Человеку надо быть необыкновенным. – Людмила Петровна раставила руки, сорвалась с берега, подбежала к воде, столкнула лодку и закричала: – Лови, Котов... Поймаешь...

Она осеклась на полуслове, и стало слышно, как днище лодки скребет о дно.

А Котов шел по берегу и лепетал:

– Люд, ты обязательно наскочишь на валун. По теории вероятности.

На излучине лодку занесло на мель и развернуло поперек течения.

– Я же говорил, Люда, – продолжал лепетать Котов.

Он подошел к воде, окунул туфлю, точно проверял, действительно ли вода холодна, и, сбросив плащ и пиджак, побрел по ледяной воде к лодке.

Когда он занес ее в комнату, она заставила его раздеться. Зажгла свет, включила радио, покрутилась у зеркала, а потом привалилась к дверному косяку и подумала: «Жаль, что Губанова и вообще никто этого не видели и не видят».

– Подойди ко мне, – сказала она Котову.

Он устоял на ее грудь.

– Подойди же, – повторила она, а сама думала: «Завтра будут меня склонять. Какая ерунда! Они бабы и завидуют мне. Каждая бы захотела остаться с кем-то, если бы это сходило с рук». – Красивая я? – продолжала она мягко. – Ну скажи – красивая? На, притронься... Красивая?

Котов протянул руку, и Людмила Петровна схватила ее.

– На же, притронься, – выдохнула она, закрыв глаза.

Он мягко высвободил свою руку. Ее затрясло: сейчас он схватит, будет носить, целовать.

– Котов, – сказала она, торопя его, и в ответ услышала осипшее хрипение приемника.

Она открыла глаза. Котов торопливо надевал плащ. Лицо его было ужасно, руки тряслись. Он не мог отыскать рукавов и топтался на месте, шурша мокрыми брюками.

– Дурак, – раздельно сказала Людмила Петровна.

Он заторопился еще быстрее, но, так и не надев плаща, метнулся к двери.

– Дурак, – повторила Людмила Петровна незлобно, с улыбкой, и, схватив с вешалки пальто, побежала за ним.

– Вас осудит Междуречье, Людмила Петровна, – процедила Губанова. – Вы сошли с ума.

– Сумасшедших, Мария Ивановна, не судят, – возразила ей дерзко Людмила Петровна. – Вы это знали и раньше, однако не предполагали, что я схожу с ума...

Они стояли в коридоре, будто встретились случайно.

– Любите его, что ли? – морщась, спросила Губанова.

Людмиле Петровне так захотелось узнать об этой женщине все, абсолютно все. Она усмехнулась:

– Люблю.

– За что, позвольте узнать?

– Не терпится.

Губанова презрительно оглядела ее и почти прошептала:

– Нашли кого любить, извините меня... размазню...

Теперь разное говорят в Междуречье. Даже и то, что они счастливы, что каждый день – это продолжение сложной и необыкновенной любви, которая родилась не случайно, зато случайно обнаружилась.

1965

Евгений Чириков

ВИКТОР ЧУГУНОВ И ЕГО ОДЕРЖИМЫЕ ГЕРОИ

Владимир Мазаев, сам сильный прозаик, но старого, традиционного склада, писал: «Чем своеобразней талант, тем ревностней мы беремся учить его – до полной потери им своеобразия. Учить стереотипно, тыча в труды классиков, в окаменелые литературные каноны. И конечно, из самых лучших побуждений... В какого “непохожего” прозаика вырастал Виктор Чугунов! И от каких педагогов-глянцевателей приходилось защищать ему эту свою непохожесть!»

Да, непохожесть. Если кратко выразить содержание чугуновской прозы, то формулой будет: любовь и труд. Две, и только эти две темы переплетаются в произведениях Чугунова. Все его главные герои одержимы либо трудом, либо любовью, а часто тем и другим одновременно. Нет ни одного другого писателя, кто неукоснительно следовал бы такому принципу.

Любовь у него вытекает из глубинности влечений, очеловеченной тоски самцов и самок, рождая трагический лиризм тупиков – социальных запретов.

Труд на благо людей и государства был высшей ценностью в глазах писателя. Положительные персонажи имеют разные профессии, но – это аксиома! – работают всегда жертвенно-героически. В рассказе «Локомотив», так поразившем московского писателя Сергея Антонова (локомотив, кстати, это паросиловая установка), суровый муж терпит измену жены, лишь бы вовремя доставить машину ждущим ее рабочим. Серьезная жертва!

Шахтер Галактион в одноименном рассказе совершает сверхволевой поступок, спасая жизнь товарища. Рухнувшей гранитной плитой в шахте товарищу придавило ногу. «Вокруг ломалось крепление, и люди отступили, с ужасом ждали конца трагедии. Галактион взял топор. Размазав по грязному лицу пот, он прошел к товарищу тугими шагами и – раз! раз! другой! – хрястнул острием по колену, торчащему из-под плиты».

Радостное, приподнятое настроение влюбленного Егорова перетекает в красоту его работы («Мужчина»). «На работе Егоров немел. Окружающее приобретало для него особенное значение. Покоробленные рукавицы в сухом буре растворе пахли смородиной, кирпичи – угаром деревенской печи, а свежая кладка – политым огородом, где у заплотов горкла конопля».

Мария проникнута трудовой жертвенностью мужа и уходит вслед за ним в ледяную стынь («Иван и Мария»). «Люди там, – ночью устал, – сказал Иван и показал в окно на тайгу. – Им работать и жрать надо для нашего дела, а мы тут валандаемся. Завтра ухажу, Манька, давай спать...»

Емельянов мучается любовью только под одним углом зрения: захочет ли любимая поменять столицу на таежную глушь, где он работает («Темный бор, тайга густая»). «Он любил таежное дело, и ничто не могло поколебать его желания довести начатое дело до конца. Емельянов вспоминал тайгу, и ему казалось, что ничего милее и дороже нет на белом свете. Он вспоминал товарищей по работе, он вспоминал обычную жуть своих дней, он вспоминал плантации, и ему хотелось туда, к ним».

Особый пример – «Междуреченская новелла», где тематически почти нет труда, а есть лишь любовь. Муж молодой учительницы служит срочную в армии, а его друг в нее влюблен...

В стилистическом отношении Виктор Чугунов выпестовал предельный лаконизм слога, следуя традиции Чехова – Бунина – Куприна – Шукшина. И в то же время, учась по романам Михаила Шолохова, освоил колорит народной речи. При всем при том он остался самим собой – мастером оригинальной прозы, подтекст которой своеобразно подпитывается нотками лиризма и вот именно тем щемящим зовом пола, какой не умел передать ни один другой писатель, разве что Иван Бунин, «Темные аллеи» которого Чугунов часто перечитывал.

Некоторые персонажи малой прозы В. Чугунова в модифицированной форме мягко перекечевали в роман «Бери и помни», оставшийся неоконченным. В романной Ирине чувствуется сексапильная учительница «Междуреченской новеллы», а Бусыгин, уж точно, Родионов из «Рубинового материка», много ездивший по свету с трудовыми свершениями.

Роман «Бери и помни» получил свое название не от самого автора, а при издании уже после его смерти. В том варианте, в каком роман остался для нас, он заканчивается тем, что герои разламывают косточки, играя в «бери и помни»...

В этом романе Чугунов добился и элегантной стройности композиции, и классически выразительной лепки характеров. В его повествовательной ткани те же любовь и труд, окантованные в отдельных эпизодах лирическими пейзажными штрихами. В сюжете В. Чугунов

использовал прием, невысказанный ни для советской, ни, кажется, даже для современной российской литературы: любовь балансирует на грани инцеста. Важно то, что «инцест», и то, что на грани. Дело в том, что молодой горный инженер Владимир роковым образом влюблен в формально родную старшую сестру Ирину, но которая вроде бы как родилась и от другой матери, и от другого отца, а именно: первая жена отца нагуляла ребенка на стороне. Воспитывалась Ирина фактически в одной семье с Владимиром, и, в общем, инцестным ароматом воздух все-таки напоен.

В одной из своих статей литературный критик Евсей Цейтлин как-то оборонил мысль о том, что, не случись с Чугуновым трагедии, он мог бы вырасти в великого писателя. Прав ли был Цейтлин? Думается, что и да, и нет. Во-первых, понятие «величия» не такое уж простое, оно довольно растяжимо. Во-вторых, уже к 1973 году произведения Виктора Чугунова в чем-то могли бы считаться анахроническим явлением. Брежневское время покатило вниз по цинической синусоиде, а Чугунов жил еще идеями 1961 года (как раз на этот гагаринский год приходится кульминация романа «Бери и помни»). И кто теперь скажет, как бы писатель воспринял последующие эпохальные обновления представлений о любви и особенно о труде?

Но ясно одно: на тех, кому посчастливится вникнуть в тонкую, достигшую известного совершенства прозу междуреченского самородка, она произведет неизгладимое впечатление.

Евгений Чириков, Татьяна Соколова

БИОГРАФИЯ ВИКТОРА ЧУГУНОВА

Виктор Александрович Чугунов родился 30 июня 1937 года в Барнауле в семье железнодорожного машиниста. Детство его выпало на трудные годы страны. С удовольствием Витя учился в школе, страстно любил птиц и музыку. Дома птицы пели в клетках. По самоучителям он овладел игрой на баяне и фортепиано и даже начал сочинять лири-

ческие песни. Но учиться музыке дальше не позволили родители: «Из нашей рабочей семьи артисты не выходили».

После школы Виктор поехал в Новокузнецк, поступил в СМИ – Сибирский металлургический институт. И возвратился домой из солидарности с провалившимися экзамены друзьями. Два месяца проучился в медицинском и бросил: не его стихия. Вернулся в СМИ и стал учиться на горного инженера. Сначала на вечернем (работая плотником), потом на дневном. Специальность инженера-взрывника пришлось ему по душе.

На третьем курсе Чугунов познакомился с Надеждой, студенткой педагогического вуза, ставшей его женой. Позже она вспоминала: «Вообще был увлекающийся человек. Когда мы познакомились, он увлекался философией. Мы “Капитал” Маркса и другие произведения изучали в переложении да по цитатам. А он – читал! Ну, думали, парторгом будет...» Парторгом Чугунов не стал, но коммунистом был убежденным.

В ноябре 1959-го они с женой приехали в Междуреченск. Виктор устроился на шахту «Томусинская 1-2». Ровно через год он понес свой первый рассказ в редакцию городской газеты «Знамя шахтера», волнуясь и стесняясь. Потому вместе с ним отправилась жена. Пока муж беседовал с журналистами, Надежда Алексеевна ходила по улице близ редакции, ждала в редакционном коридоре.

Чугунов очень любил Междуреченск, его жителей, шахтеров. Он перешел работать на шахту им. В. И. Ленина и запомнился там как хороший человек, умный инженер, рационализатор. В 1971 году ему присвоили звание ударника коммунистического труда.

На досуге он увлекался языками, неплохо знал немецкий, изучал английский, мечтал выучить французский. Его всерьез заинтересовали шорцы. Он записывал их фольклор, начал составлять для себя русско-шорский словарь.

Чугунов мечтал жить в деревне. Сам построил дачу. Она походила на теремок из детской сказки. Виктор выкорчевал на участке пни, посадил елочки, рябину, калину, черемуху, привез песок – хотел, как в дет-

стве, ходить босиком. Дом имел длинную, «прибалтийскую» крышу, до самой земли. Чугунов сидел на втором этаже с блокнотом и счастливо смотрел вдаль.

Не любил он даже ненадолго расставаться с женой и детьми. По субботам и воскресеньям всей семьей ходили на лыжах. Потом, весело дурачась, лепили пельмени. Чугунову нравились шумные застолья. В компаниях его обычно выбирали тамадой. Он прекрасно играл на баяне, пел и, как говорят, мастерски плясал.

Прозу начал писать еще в 1958 году, будучи на практике в Донбассе. Он публиковал рассказы в городской газете и регулярно посещал литературную группу, которая собиралась в редакции «Знаменки». В том, что Чугунов – человек с Божьей искрой, никто из литгрупповцев не сомневался, но, узнав о его поступлении в Литинститут, многие были немало удивлены.

Знакомство в «Знаменке» с Евгением Буравлевым сыграло для Виктора Чугунова ключевую роль. В мае – июне 1966 года в Кемерове проходил семинар молодых литераторов Западной Сибири и Урала. Буравлев, уже не междуреченский прораб, а глава кузбасской писательской организации, пригласил Чугунова на этот семинар. Когда начинающий прозаик прочитал свой рассказ «Локомотив», руководитель секции прозы Сергей Антонов спросил: «Где же вы были раньше?» И уверенно произнес: «Это писатель». Двадцать шестого декабря 1969 года Виктора Чугунова приняли в Союз писателей СССР, членский билет № 8189 он получил 19 февраля 1970 года, и в этом же году горный инженер из Междуреченска окончил Литературный институт им. Горького в Москве.

Чугунов пытался бороться с нехваткой времени. На письменном столе росли стопки черновиков, ждал завершения роман, в голове росли другие замыслы, хотелось прочитать массу книг. Бросить работу горного инженера? Вопрос этот вставал часто. Но Чугунов неизменно отвечал на него отрицательно. Он чувствовал: порвешь с шахтой – размагнитится творческий магнит. И тогда он пробовал выработать для себя жесткое расписание, чтобы не расплыть время...

Тот самый счастливый день 26 декабря, но уже 1973 года стал и самым несчастливым, последним днем жизни Виктора Александровича. Накануне вечером он разобрал всю свою переписку. Перечитал и сделал пометки на многих рукописях. Утром долго говорил с друзьями. Размышлял о принципах построения психологического детектива, спорил о телефильме «Семнадцать мгновений весны». Уже часа в четыре забежал в «Знамя шахтера». Извинился, что не сможет прийти вечером на собрание литгруппы. И не пришел уже никогда. ДТП, удар грузовика, потерявшего управление, сзади по легковушке...

При жизни Виктора Чугунова было издано (в Кемерове) всего два сборника его рассказов и повестей: «Полметра до катастрофы» (1967), «Иван и Мария» (1971). После смерти писателя его произведения продолжали издаваться: сборники «Синий ветер Алатау» (Кемерово, 1978), «Таежина» (Москва, 1980), «Прости меня завтра» (Кемерово, 1984). В 1997 году альманах «Огни Кузбасса» (№ 1–2) опубликовал роман «Бери и помни». Рассказы В. Чугунова и критические статьи о его творчестве появлялись в журналах «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «Сибирь», «Огни Кузбасса», в «Литературной газете», «Комсомольской правде». Произведения Виктора Чугунова переводились на европейские языки.

В 1987 году в Междуреченске на доме по Коммунистическому проспекту, 14 установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме в 1970–1973 гг. жил и работал член Союза писателей СССР Виктор Чугунов». Олег Викторович Чугунов, сын писателя, передал в городской краеведческий музей Междуреченска автографы произведений, пишущую машинку «Москва», гармонь, рукописи стихов, песен и нот к ним, книги, личные вещи В. А. Чугунова.

Книги Виктора Александровича Чугунова:

Полметра до катастрофы : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1967. – 110 с.

Иван и Мария : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1971. – 148 с.

Синий ветер Алатау : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1978. – 191 с.

Таежина : повести и рассказы. – Москва : Современник, 1980. – 269 с.

Прости меня завтра : повести и рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1984. – 224 с. : ил.

Бери и помни : роман. – Москва : Современник, 1989. – 191 с.



Анатолий Степанович Ябров

9 декабря 1934 г., д. Окуневка, Тюменская обл. – 20 сентября 2010 г.,
Новокузнецк.

Прозаик, журналист. Член Союза писателей СССР с 1985 года.

ПАДУ К НОГАМ ТВОИМ

(отрывок из романа)

Часть вторая

ДЯДЯ ФОРЕЛЬ*

4

В Святогорск поезд пришел утром. Хазаров надел гимнастерку, брюки галифе. И походил скорее на военного, чем на партийного работника. Две складки, раньше неприметные, сейчас резко очерчивали рот, придавая лицу особую сосредоточенность. И взгляд стал строже.

Он одним из первых соскочил с подножки:

– Принимай нас, великая стройка!

Непоседливый Семушка, пробившись сквозь толпу, с криком: «А я вот он... Лови, дядя Форель!» – сиганул прямо из тамбура на шею Хазарову. Тот едва удержал его.

– Разве полагается прыгать так на командира? – отчитал он незлобиво.

А Семушка, намучившись за дорогу, верещал от радости:

– Ой, приехали! Покружи, покружи меня, дядя Форель. Хотя немножечко.

Хазарову послышалось, что его позвали. Нежно, влюбленно. Он машинально обернулся – в дверях тамбура стояла Евланышка. Легкий утренний ветер задувал со стороны, чуть шевеля ее черные волосы, газовый сиреневый шарфик, повязанный на высокой шее, подол длинного платья. Она смотрела тем ласково-рассеянным, довольным взглядом, каким обычно смотрят матери на свое дитя и на мужа-отца, души не чаящих друг в друге.

Рафаэль опустил Семушку и подал ей руку. Евланышка какой-то миг не замечала ее, а потом вздрогнула, будто проснулась внезапно.

* Печатается в сокращении.

Смутилась от этого, но, быстро поборов неловкость, воспользовалась его помощью и сошла с поезда.

– Это и есть Святогорск? – спросила она, беспокойно оглядываясь. – Где же город?

Влево от красного неоштукатуренного вокзальчика тянулись низкие бараки. Черные квадратики огородов окружали их.

Кричала баба, стоя на крыльце:

– Ванька-а... Иван, да куда ж ты пропа-ал?

– Пропал, пропал... Ослепла? Тута я, потонул, – сердито отозвался парень. Он сидел на телеге, увязшей по ступицы в грязи, драл плетью коня и понукал: – Но ж! Но-о, пошел!

Рядом строился барак.

– Мужики-и, да помогли б, что ля-а! – кричала баба.

Солнце, бьющее в глаза, слепило ее. Она не видела ни отозвавшегося парня, ни мужиков, стучавших топорами на крыше барака.

– Нам несподручно... С крыши-то.

Завернув подол, баба пошлепала по грязи. Мужики, бросив работу, хохотали.

Евланьюшка испугалась: здесь жить придется? Или в том таборе?..

Ниже бараклов, на пологом склоне сопки, раскинулось становище. Будто кочевое племя сделало привал. Подняты оглобли и дышла повозок, рыдванов, телег, фургонов, легких ходков. Кто натянул полог, кто сшитое лоскутье – и вот тебе палатка. Пестрит лагерь. Горят костры, дымятся наспех складенные печки. И запахи щепы, утренней свежести, борща, дыма, ухи – все перемешалось тут.

Евланьюшка посмотрела на Хазарова: как же он? И удивилась: для него вроде не было тут ни бараклов, ни грязи, ни табора. Впился в даль. А что там? Красиво, конечно. Можно даже на картинку срисовать. Маленькая картинка б получилась. Котловина. Верблюжьи горбы далеких гор. Озерки, речушки, березовые и... какие еще там?.. лесочки. Возле рыжего скоса гор – большая речка. Спокойная, полная достоинства, силы. Справа из воды поднялась отвесная скала. Ее гребень, точно корона, венчала каменная крепость. В лучах утреннего солнца ослепительно блестели золотые маковки церквы.

– Фу-ты! И тут кремль! – воскликнул Семушка. – Папка! Ты глянь, глянь же туда! – обернулся, а отца-то нет рядом.

Да где он? Семушка бросился к вагону, из которого еще выходили люди с чемоданами, ящиками, кошельками, сумками. У кого-то из корзины вырвался беленький шустрый петушок. Под сдержанный смех людей, пригнувшись, побежал по хрустящей галечной насыпи.

Семушка, глядя на вагон, на петушка, зывал:

– Ой, папка! Да поторопись же. Тут такое...

На всю привокзальную площадь шумели зазывалы из отделов кадров:

– Кто по монтажной части хочет? Подходи сюда!

– Каменщики! Каменщики! Записываю каменщиков.

Между Хазаровым и Евланьюшкой встал кряжистый мужик в длинной холщовой рубаше, подпоясанной плетеным пояском. Борода во всю грудь. Волосы подстрижены кружком. За ним, дыша в затылок, выстроились, под стать ему, четыре парня. Сыновья. Двое из них держали за ручки окованный сундук.

Отец ковырнул носком пахнущего дегтем сапога землю, пнул белую щепку с зеленой корой и пробурчал:

– Осина. На день строят...

Хазаров подал голос:

– Бараки, конечно, дело временное.

– Строишь временно – строй надолго. Даже балаган. Гроза может приключиться. А то холера какая, – отмел мужик слова Хазарова.

Сыновья молчали. Видно, не полагалось говорить, пока отец не потребует. Невежа и Бога гневит.

Хазаров и Евланьюшка с любопытством наблюдали за ним.

Мужик, озрев все вокруг, не обращая ни к кому, молвил:

– По старым временам на этом-то взгорке не вокзал, Христов храм поставить полагалось: видное место. – И, обернувшись к сыновьям, оживился: – А и будет нам работы! До соленого пота.

– Маляры надобны. Женьшины, подходи. Вам по привычке махать кистью.

– Плотники, столяры! Принимаю и сразу ставлю на довольствие. Жилье – в первую очередь.

– Энто нас кличут, – сказал мужик и пошел.

За ним двумя ровными рядами шагали сыновья. Народ расступался, пропуская их вперед.

...Григорий вышел из вагона последним: незачем ему опережать людей. Положил на перрон вещевой мешок Хазарова.

Сын, не дав опомниться, потянул вперед:

– Ты глянь, папочка. Тут тоже кремль. Эко, вон он!

– Ох, и верно! А там, видать, стройка?

В северной части котловины, у самого подножья гор, возвышались строительные леса, краны. Высокая кирпичная труба ТЭЦ, пока единственная на всю громадную площадку, лениво окуривала неподвижное облако. Широкой серой лентой, рассекая болотца, речушки, от вокзала к стройке тянулась гравийная гряда.

– Да, старая крепость есть, а новую построим, – думая о своем, но явно не о стенах, не о бойницах – на них он и глянул-то вскользь, без особых эмоций! – проговорил Хазаров.

– А я печенкой чувствую: напишу тут свои лучшие стихи, – воодушевился Григорий. – Бежим-ка, Семушка. Видишь, цветы? – Взяв за руку сына, побежал, крикнув не то Евланышке, не то Хазарову: – Мы быстро вернемся.

Миновали склон. С кочки на кочку – прыг, прыг. Горят глаза у обоих: болотина-то как полыхает! Оранжевым огнем. И красотыща! Вот они какие, сибирские жарки.

– Семушка, мы с тобой позовем сюда дедушку. Приедет? Тут уж его пчелам раздолье. Ох, сын! Ты упал?

Семушка выскочил на поляну. Она голубее неба. Цветы это или бисер? Склонился Семушка – ему улыбнулись маленькие звездочки, густо нанизанные на стебельки. Не видел он таких. И стал рвать горстями.

Отец засмеялся:

– Не жадничай, Семушка. Я нарвал огоньков. А незабудки... Мы еще придем. Мы будем приходить каждый вечер: ждать дедушку.

Их позвал Хазаров. Они снова бежали. Евланышка уже давно нагляделась на все и думала: «У каждого свое. У одного – построить новую крепость. И ради этого... никого не пожалеет. А себя – тем бо-

лее. У другого – написать лучшие стихи. А что у меня? Сбудутся ли мои мечты?» И Евланышка с мучительным вздохом глянула на Хазарова.

– Дядя Форель! Я несу тебе цветочки. Они почти красные.

И Рафаэль, и Евланышка сидели уже в черной «эмке».

– Ох, милый Симониз! – растрогался Хазаров. Высунулся из салона, протянул мальчишке руки. – Да ты знаешь, как я люблю цветы? Особенно красные маки. Видел бы ты их, Семушка. Эти огоньки не похожи на маки, но... тоже очень славные. Спасибо.

1976

ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ВАЛУЕВКИ

(отрывок из романа)

Их таежный поселок Валуевка возник при советской власти в 1924 году и отстоял в Великую Отечественную войну от линии фронта, достигшей берегов Волги, на тысячи верст. Четыре с половиной локтя, если прикинуть на школьной валуевской карте! Немец, даже пленный, не бывал здесь. А казалось, прошелся. Выбил, разрушил крепкий поселок, в обиходе который звали привычным словом «деревня».

Той осенью, когда Москве угрожала опасность, в здешних местах формировалась одна из сибирских стрелковых дивизий. В нее добровольно ушли все лесорубы, охотники-промысловики, колхозники – двести сорок четыре человека! И одна за другой пошли с фронта похоронки. Был черный день, когда сразу семнадцать извещений раздала почтальонка. К победной весне в живых оставалось лишь семь бойцов.

В тайге женщине без мужика делать нечего, но была надежда – дети. Однако, не дав подняться и окрепнуть молодой поросли, довершила их окончательный разгром госстроевская инструкция, поделившая села на «перспективные» и «неперспективные». Валуевке не повезло...

Среди ушедших на фронт были и сыновья Фотьяна: Иосиф – высокий, светлый, с единого маха вгонявший топор в стылую березу по самый обух; Лука – мягкий, улыбчивый, как девка, которому на роду, казалось, было писано врачевать больных; Арсентий – сухой, как кость,

быстрый на ногу и неугомонный, что твоя борзая, молчаливый, понимавший тайгу со всей ее невидимой, но сложной жизнью, – копия отца и потому особенно им любимый. Никто из них еще не успел жениться.

Первой пришла похоронка на старшего – Иосифа. То было 8 декабря. Стояли жуткие морозы. Зоркоглазый Фотьян, завернув на окне шторку – день выдался хмарный, – стоя прочитал короткую весть: пал смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками, освобождая г. Яхрому.

Ермиловна, заголосив, припала к груди мужа. Фотьян, бережно похлопывая жену по спине, пожевал свои тонкие омертвелые губы. Хотел было спросить: что же твой покровитель не уберег своего поименника? Но, не уронив и слова, отстранился и вышел во двор.

Морозный туман, серый, как смерть, глушил все звуки. Фотьян оседлал коня, свистнул собак и отправился в тайгу.

Проезжая мимо школы, спешил. В одном из классов, занимая всю стену, висела карта. Бумага, как береста на стволе, местами полопалась, оголив основу – пожелтевшую от времени марлю. Старик вошел сюда. Из-за сильного мороза дети не учились, но учительница оказалась на месте. Она, немолодая, встретила его понимающе и лишь спросила: кто? Он ответил так же коротко, одним словом: старшой. Вставая из-за стола, учительница молвила: а где? Фотьян назвал город. Недалеко от Москвы учительница поставила красным трагическим карандашом точку и проговорила: это вот здесь. Фотьян снял шапку и долго стоял перед точкой на карте, как перед свежей могилой. Весь живой мир, помещенный на карте с марлевой основой, казался старику забинтованным.

Вернулся он из тайги, когда отступили морозы и отшумели февральские вьюги. Черный и тощий, увешанный шкурками соболя, белки и колонка. Жена, тоже высохшая, выбежала на радостный лай собак и столкнулась с мужем в сених. Прильнула к нему, пахнущему хвоей и дымом. Фотьян погладил ее гладкие, словно припудренные инеем волосы и, как в тот черный день, бережно похлопал по спине.

– Не смей плакать. Разбирай меня.

Все же всхлипывая, она сняла с него рюкзак – холодный, мягкий, как подушка: с богатой добычей вернулся старик! Приняла патрон-таш, сумку с семечками. Охотясь, ее Фотьян собирал семена сосны, лиственницы, сушил в жаркой бане и каждую весну, осень занимался посадкой, пытаясь восполнить то, что вырубалось годами.

– Че сыны пижут?

– Луня все в дороге – раненых возит, а Сюша... снай-пир, охотничит на немца. Я, говорит, стреляю крупного фашиста с утра до ночи. И наград у его, наград! Три медали, два ордена... А назвать их уж не могу тебе, Фатя...

Как рождались сыновья, так, по порядку, по возрасту, их и прибирала война. В мае сорок второго пришла похоронка на среднего – Луку: разбомбил враг санитарный поезд в районе Харькова. Мать помертвела. Фотьян взял ее на руки, как девочку, занес в избу, положил на кровать и сухими, холодными губами, в которых не было кровинки, коснулся ее лба, словно прощаясь навек. Потом вышел во двор, оседлал коня и уехал в тайгу. Но по пути, как и в первый черный день, зашел в школу. Учительница, прервав занятие, показала ему Харьков и поставила кровавую точку – не вторую, а двадцать третью по счету. И он обнажил голову, как перед братской могилой.

Позже, в глубокой задумчивости, Фотьян рассаживал семена деревьев на крутом склоне горы. Выше облаков. Ни души здесь не было и не могло быть: мертвое, забытое Богом место. А далеко-то от жилья! И вдруг увидел женщину, оборванную, с белыми распущенными волосами, с батожком. И согбенную. Живой крючок. Женщина делала с десятков шагов, останавливалась, как-то странно поводя сухими плечиками, словно пыталась сбросить с себя непомерный груз и распрямиться. Но ей это не удавалось. Тогда она, опираясь грудью на свой батожок, прислоняла руку к глазам и всматривалась в даль.

Фотьян, занятый делом, не обратил бы на нее, истрепанную, внимания, но к ней с визгом бросились собаки – их поджарые пятнистые лайки. При первом взгляде у лесника остановилось сердце: не смерть ли тащится к нему? Мысленно, еще не дыша, проговорил: свят, свят... Когда же лайки, радуясь, запрыгали вокруг женщины, стараясь лизнуть ее в лицо, он понял: это его Поля. И вовсе закаменел.

Жена, не видя преград, карабкалась упрямо, беззвучно, как гусеница. Он уже различал в ее белых волосах, как в гриве коня, и репы, и липкую хвою, и комочки тенет, а когда пыталась распрямиться, видел и лицо – неузнаваемо-древнее, отрешенное от всего живого. Дойдя до мужа, она, исцарапанная, навалилась грудью на батожок, приставила руку к глазам, приглядываясь: он ли, кого ищет? Узнав, не обрадовалась, а лишь вздохнула с облегчением: ох-ох, нашла-таки! Спасибо тебе, святой Осип, проводник мой! И, опускаясь на камень, достала из-за пазухи серую, пугающе-знакомую бумажку.

Фотьян, приходя в себя от студеной внутренней волны, взял бумажку дрожащей рукой и, не читая, отдал ветру. Сам же, схватив в охапку невесомую жену, впервые завыл дико...

Потом, забыв о времени, они вместе рассаживали семена. Он копал лунки. Она, как в древние времена, плоским камнем рыхлила землю. Снизу, от холодного ключа, носили для полива воду. Ведра были резиновые, склеенные из старых камер когда-то работавших на валуевском лесоповале газогенераторных машин. Очень удобные ведра! Не гремели, не отвлекали от мыслей. И не раздражали.

Работали от темна до темна, мало заботясь о еде, ночлеге. Можно было подумать, что от их труда зависит на далеком западе исход страшной войны. Оба молчали, будто слова потеряли всякую ценность.

Первой опомнилась жена:

– Ох-ох, Фатя, душа моя, не пойти ль нам домой? Хозяйство-т на соседей брошено. А хлопот и без нас ноне у всех полон рот.

Фотьян оседлал коня, посадил перед собой жену и поехал вниз: верно, кто их освободил от тягот жизни?

А внук Яшка – подарок судьбы – появился уже в сорок четвертом, когда фашистов били и в хвост и в гриву, устраивая им гибельные котлы. В городе собирали средства на постройку авиаэскадрильи истребителей. Фотьян прочитал о том на плакате. Ему приглянулось слово «истребитель». И решил лесник внести свою лепту, хотя время для него было неудачное: только-только затухало лето, ни зверя, ни птицу не возьмешь, овощи не в цене. Продав бычка, пять овец и торговал

на базаре кедровыми орешками: загорелся Фотьян свой собственный «ястребок» поставить в армию. Сыновья погибли, так пусть он сражается с немцем. Только б написали: пичугинский...

Тогда-то лесник и приметил: вертится возле него мальчишка-заморыш. Голодных детей война наплодила – лишь Бог знал им счет. Но все-таки сибирский пацан умудрялся чем-то набить брюхо и не тощал до обглоданной кости. Глаза вертунка зарились: еды-то! Морковь, помидоры, молоко черпают из фляг... И пирожки! Когда женщина снимала пирожки с чугунной шипящей сковороды, он машинально хватался за подол линялой рубахи и приподымал его. Похоже, держалось в душе такое: пекла когда-то бабушка и ему, внучику, пирожки или оладьи да бросала в подол горяченькие – ешь, милый.

– Че, варнак, мозолишься? Ступай прочь! – гнала его стряпуха.

Мальчонка переводил унылый взгляд на него, старика: ты ведь тоже порядочный жмот – орехов-то не дашь? схвачу вот твою сумку – догонишь ли? а денег в ней... И, котенок неразумный, крался, выжидал: отвернись-ка, отвернись, старичина! Фотьян, не смея и в душе усмехнуться, думал: никак сирота? Хотел позвать заморыша, но отвлекла покупательница, дородная тетя с большой кирзовой сумкой, какие были тогда в ходу. Запустив пухлую руку вглубь мешка, она взяла из глубины горсть орехов и начала пробовать.

– По рублю дерешь, а не пожарил. И пустых-то! Давай-ка, слушай, по полтине за стакан.

Она, привереда, осердила Фотьяна враз: орешки, верно, он не жарил, но отобрал на совесть.

– По полтине бурундук шелуху продает в лесу! – ответил женщине.

И тут из-под его руки выпорхнул стакан – да хлоп только! – и разбился. Мешок упал, орешки хлынули на пыльный, затоптанный асфальт. Мальчишка, оказалось, рванул сумку, но хитрый старик привязал ее к мешку.

Женщина – до чего ж цепкая! – поймала воришку за волосы и завывала как сирена, будто он покушался на ее орехи.

– Ух, заговорился! – вскочил и Фотьян. – А тут атака, психическая, без артподготовки. – Взял мальчика за локоть, склонившись, глянул в испуганное лицо: – Чей будешь, косматик?

Тот, растерявшись, не отвечал. Часто моргая, свободной рукой потрогал свою макушку, словно желая убедиться: а целы волосы? И, кося глаза на сердитую женщину, боком, боком отошел от нее.

– Не бойся, я детей не бью, – незлобиво проговорил Фотьян. – Ты хотел поест? Тогда бери рупь...

Отпустил мальчишку, раскрыл перед ним сумку – путанные, мятые рубли вроде как зашевелились: бери, бери нас скорее! Но тот попятился, пряча за спину руки.

– Деньги ему... Гляди-ка, он и рот разинул от удивленья. Уши б ему оторвать да послать матери.

– Ступай, не злобись, – сказал Фотьян женщине, – мы сами разберемся. Возьми трояк, – опять обратился к мальчишке, – и купи пирожков. Я тоже голоден, поедим вместе.

– Как бы не отпрыгнулось, – уходя, все не могла успокоиться женщина. – С пылью-то орешки я даж за пятак не возьму.

Мальчишка, боязливо оглядываясь, побежал. Фотьян, тайно серчащий на святого Иосифа за погибшего сына-одноименника, сейчас мысленно обратился к нему: верни-ка мне долг, коль ты старухи моей давний попечитель. Не тяжело тебе слушать ее сиротские вздохи?

– Дурачок, да куда ты? Помоги ж орехи-то собрать, – покричал мальчишке вслед.

И тот остановился, хотя надежды не было. Голодный, недоверчивый, шаг за шагом приблизился к нему.

Старик взял пригоршню и, вроде с обидой, сказал:

– Коль запачкал, так и щелкай сам. Слыхал, за пятак не хотят покупать?

Мальчик, все еще опасаясь, протянул одну руку, потом другую и робко соединил их вместе пригоршкой. А миг спустя присел рядом, на черные, сбитые коленки натянул подол рубахи и высыпал орешки. Попробовал щелкать, да куда там! Очень долго. Зубы острые, принялся хрумкать с косточками, впервые улыбнувшись старику: вкусно!

Фотьян, однако, забеспокоился:

– Э-э, барашек! Ты, вижу, от рожденья не евший. Так-то желудок скрутит. Че, мать не кормит тебя?

– Маму Фингер убил.

– Это как убил? Кто он, злодей этакий?

– Врач, потом за немцев пошел.

– Ты че, у немцев побывал?!

– Бабушку и Петьку Фингер тоже застрелил. Один папка у меня остался. Он на океане. Далеко до океана?

Лесник, вновь предъявив счет святому Иосифу, как-то судорожно присел перед мальчишкой:

– На морях-океанах то немец, то японец теперь. Вот побьют их, вместе поедем. Тебя как звать-то?

– Яшей.

– А скажи мне, Яша, – старик положил ему руки на плечи и жесткими ладонями стиснул мордашку, – где твой дед Фотьян? Ну, который люлюкал, сладостями разными угощал?

– Деда мой да-авно помер.

– Это какой помер? Дедов-то два у всех. Ты никак забыл?

Поплевав на копчено-желтые от огня сигарок пальцы, достал из кармана бумажник, такой же янтарный, с насечками морщин, точно каленный у сердца-печки, извлек оттуда потрепанный паспорт и подал мальчишке.

– Э-э, глупый! Забыл, забыл ты деда Фо. А я вот и есть! Почитай-ка документ. Иль мал, не учен грамоте? Тут начертано: я являюсь гражданином Пичугиным Фотием Силантьевичем.

Мальчик, отвлекаясь от загадочного бумажника, неуверенно взял паспорт и, по-взрослому хмуря брови, повертел его в руках: непонятно! У этого деда совсем другая фамилия – Пичугин.

С сомнением, осторожно спросил:

– А почему ты с другой фамилией?

– Да по маме твоей. Помнишь ли ты родную-то фамиль матери?

Последнее едва выговорил: зашло сердце и от стыда, что придется врать так невинному ребенку, и от нахлынувшей радости – мой он, узелок судьбы, Бог прислал! Пожалуй, мы поквитались, святой Иосиф!

Когда сидели уже возле шипящей чугунной сковороды и ели жаристые обжигающие пирожки, Яша спросил жалобно:

– А что ты по маме не плачешь, если она твоя дочка?

– Все сумлеваешься?

Лесник зажмурился на миг: имеет ли он право на то, к чему стремится? Вот таким образом. Ответа в душевной спешке не пришло.

– А как я заплачу? Я ведь акромя твоей мамочки трех сынов потерял. Где слез набраться? И мужчины ж мы, не к лицу нам мокроту разводить. – Потрепал всклокоченную головенку мальчишки. – Слабый разве фашиста победит, зверя в лесу одолеет? А домов скоко в Расее порушено – слабый отстроит заново? Много, внучек, тяжелой работы у расейского мужика. И ты не смей плакать. Вот мы щас заморим червячка, а потом двинем в магазин, одежду тебе обречем, скоро холода навалятся – ох, милый, деревья от их трещат! Мы ж в тайге живем. Я тебя охотником сделаю, лесником знатым. А там, глядишь, и папка приедет с океана. Фашистов лупят, самураям же, подожди, и подавно зададут перцу.

1983–1984

ЖИТИЕ СОЛДАТА*

Рассказ

Кузя... Кузенька! В каком я долгу перед тобой, братец!

Дома, над письменным столом, висит его портрет – в большой деревенской рамке, по углам неуклюжей детской рукой нарисованы розы, цвет их давно померк, они уже не малиново-алы, а ржаво-коричневы, как запекшаяся кровь. С обратной стороны портрет накрыт газетой, а держат ее две лучинки, прибитые гвоздями, которыми подковывают лошадей. Не раз брался я за рамку, намереваясь придать ей современный вид, однако и газета, уже истлевшая, с мазками клейстера, с карикатурным снимком и надписью: «Вот тебе, фашистский гад, вместо хлеба – наш снаряд!», и те две прибитые лучинки (растопка для русской печи!) были дороги, памятны. Не забылось, ох, сколько ж мы

* Печатается в сокращении.

покололи их, пока не пришли к мысли: а давай-ка попробуем поставить сырую! Гвозди вколачивала мама, а малевал я, в свои семь лет. В войну... И не было ничего красивее для нас.

Сержант-гвардеец, симпатичный, в форменной шапке со звездочкой, в гимнастерке, при орденах и медалях, смотрит с портрета строго, пытливо и в то же время с недоуменным состраданием. Что же это – живем-живем, год к году складываются в десятилетия, а положение не улучшается? Я уже в два раза (да с лишком, с лишком!) старше, и звание офицерское, а кончается день, возвращаюсь домой, поужинав, сажусь за стол, глаза наши встречаются – и я мысленно докладываю: вот так обстоят дела... Я перед ним, нестареющим гвардии сержантом, навечно рядовой.

* * *

В школу я еще не ходил, а каждый день писал на фронт письма. Когда жаловался, что кончается бумага, от Кузи приходило враз по шестнадцать – двадцать писем с бумагой (а было и рекордное число – тридцать два!): пиши, Толя, твои письма доходят, а от старших редко-редко. Один большой лист с водяными немецкими знаками, как на деньгах, хранится и до сих пор. Правда, уже не тот: пожелтел, слежался.

О чем же писал? В Кузиных бумагах, когда уже его не стало, обнаружил свой треугольник со штампами «солдатское», «цензурой проверено». В нем повествовалось:

«Кошка наша ушла от нечо ись. Я подсмотрел, все деревенские кошки утром сбегаются на берег озера, ждут деда Никона с рыбалки. Вот он причаливат, обступают: мяву, мяву, мяву. Немножко бросат, и кошки дерутся. Все они, Кузя, покусаны. А мы с мамой вчера ся объелись жмыха. Много, много желтых плит привезли на ферму свиньям. Его разворовали весь. Мы тоже воровали. А как поели и катались с мамой под фургоном, на котором она возит бочки с горючим для тракторов, и весь этот жмыкх выбросили на улицу. Ленку и Катьку угнали далеко – добывать торф. Мама говорит: мы тут чужи, на нас ездют и пашут...»

Знаки препинания, конечно же, поставил теперь.

Письма писались на русской печке, тайно, чтобы никто не подсмотрел – иначе можно было схлопотать по шее: чо обо мне ябедничаешь?

Снайпером Кузя побыл недолго – ранило, а после излечения направили в полковую разведку. Письма приходили измаранные тушью: писал интересно, со стихами, и цензура старательно редактировала, сокращала. Жалею, что не сберег ту почту. Командование часто присылало письма на правление колхоза: «Ваш воспитанник отлично защищает Отечество, а недавно, побывав в тылу врага, привел восемнадцать пленных...» Это был сорок третий год, когда немцы еще массово не сдавались. Правление колхоза выдало нам квартиру – половину кулацкого дома, два мешка мороженой картошки с фермы и то ли три, то ли пять (уже забылось) метров ситчику: семья фронтовика!

В том же сорок третьем, зимой, пришла похоронка: ваш сын пал смертью храбрых в боях за Родину... В деревню откуда-то прикочевали волки – не серые, каких привыкли видеть в наших краях, а рыжеватые и гривастые. Война, что ли, вспугнула и выгнала их с обжитых мест? На сотню дворов у нас приходилось два мужика, но ружья поотобрали и пугнуть зверей было нечем. Насыпали отравы, однако волки не подошли, а одурели. Два дня деревня сидела взаперти: пришлые волки гуляли по улицам, как оккупанты. Передушили гусей; вплотную прижимаясь с боков и держа зубами за уши, увели соседскую свинью.

Так нам в те дни трудно было отличить, кто сильнее был в деревне – стояя полуотравленных волков или убитая горем мать. Печку не топили, и, понятно, ничто не варилось. Мы, как напуганные цыплята, прятались под старой дохой из овечьих шкур.

Бог, наверное, послушав тот плач, сделал невозможное... Спустя неделю или чуть больше от Кузи пришло письмо: лежу в госпитале с ранением. Письмо было писано чужой рукой.

* * *

Домой Кузю отпустили в сорок седьмом. Пришел ночью, будит: где мой военный корреспондент? А мне было стыдно вставать: ой-ой, подожди, Кузя, я ведь без штанов! Штаны мои – такое чудо разве что

можно было увидеть на праздничном африканце: пояс, а на нем ленточки, лоскуточки самых разных форм и цветов. На ночь эту гирлянду приходилось снимать: мама безжалостно бросала ее на ночь в русскую печь на прожарку. Чтобы пойти в школу, в первый класс, я утащил у соседки (славной, симпатичной женщины Тисы, нашей почтальонки и продавщицы) сушившиеся на заборе байковые портянки. Выпачкал, чтобы не бросались в глаза своей небесной синевой, и, думая, что теперь их никто не узнает, вшил в свои брючата – прикрыл фасад. Деликатная Тиса, конечно же, ничего не сказала о своей утрате, но ее скверный неженка сынок отрепетировал к моему приходу весь класс. Меня встретили хором: «Вор-воришка украл топоришко! Вор-воришка украл топоришко!»

А когда я, «военный корреспондент», предстал перед братцем в этих модернизированных брючатах, он, гвардии сержант, прошедший всю Европу, даже зажмурился. И утром, еще до того как пойти на работу, мать уже выполняла его наряд-задание – кромсала, ушивала поношенные галифе, прикидывая на глаз, ладно ли придутся мне.

Я же украдкой глядел больше на Кузю: какой он? Ночью, при свете плошки, вроде бы не разобрал толком. Улыбчивый, мягкий, стройный. Волосы – шелк и крупной волной. Катька, сестра, перед тем как лечь спать, на гвоздок мотает свои, но куда ее кудряшкам до Кузиных!

А вот орденов и медалей маловато. Посчитал раз, другой и сказал:

– Где прячешь другие? Не все на тебе.

– Счас учинит допрос и проверку твой корреспондент. Глаза не успеет открыть, ты отчитывайся, – засмеялась мать. – Вставай-ка – и надевай штаны.

– Он прав, награды не все. Когда идешь в разведку, документы, орден и медали оставляешь в части. Но коль обратно не вернулся...

– Что приключилось-то, сынок?

– Напоролись на засаду – прикрыл своих. А последней гранатой рванул и себя, и фрицев. Их много было. Видят, я жив еще – схватили за ноги и волоком утащили в деревню. Заперли в каком-то сарае. Очнулся ночью – темь, и никого рядом. Ощупал тело: ноги поранены, но кости целы, а вот живот мокрый и в огне. Пополз, ощупывая и сарай. Попа-

лось ведро с молоком – напился. Обнаружил лаз: то ли собака подрыла, то ли свинья, не знаю. Едва-едва выкарабкался. Правда, телогрейку пришлось снять, но потом я вновь оделся. А вот куда полз, как полз и сколько – ничего не помню. Подобрали свои на нейтральной полосе уже. Рана живота лопухом заклеена и повязана нательной рубахой. Откуда зимой лопух? Вроде бы не сам все сделал, не сам и выполз, а вынес кто-то...

– И зачем же нам дали похоронку?

– Друзья-то видели, наверно, как рванул гранату... Доложили в части. Из госпиталя я писал, но что-то не получил ни документы, ни награды. А после направили в другую часть. Может, и приходили документы, но с опозданием, когда отправили на фронт. В боях не до розысков было. А кончилась война – видим, проку от наград нет. И зачем лишние хлопоты?

В галифе, держа руки в пузырящихся карманах, я словно тень сопровождал брата, куда бы он ни шел. Прислушивался к каждому слову. Хотелось слышать рассказы о войне, о подвигах. Они же, фронтовики, встречаясь, говорили, будто первоклашки, о всякой чепухе и заразительно смеялись. Как выражался дед Никон, наш деревенский рыбак, «без улова я однова да сызнава».

Одно помнится хорошо из той поры – ходили с ним на охоту.

У кого-то он выпросил берданку, опоясался патронташем, в котором было всего-то около десятка патронов. На приветствие встречных Кузя говорил с живостью: «Да вышли прогуляться по Бакланью...» Бакланье – умирающее озеро, почти болото, все в зарослях камыша и осоки. Птиц (всяких, от цапли до чирка) – видимо-невидимо. Считаю, почти шесть лет на озерах никто не охотился. Образовался своего рода заповедник. И звучали заросли на все голоса. Без охоты, только слушать – и то радость.

Весна запоздала и, кажется, наверстывала упущенное. И солнца было сверх меры, и воздуха, ласкающего, настоящего на березовых почках, коре, было тоже сверх меры – так что самому, как скворцу-имитатору, излиться бы всеми голосами природы, а Кузя... шел и спал. Да, на ходу! Я слева загляну, я справа зыркну: может, прищурился? Нет,

спит! И ступает так, будто у него ноги видят, – мягко, уверенно, легко, луж не расплещет, не оступится, с дороги не сойдет.

– Кузя, тут залив – берегись!

– Вижу, не волнуйся.

До Бакланья версты четыре. Начались поля. Снег еще не сошел, но проталин было множество. Вешняя вода не размывала следов труда ушедшего года: виднелись борозды от плуга, иные были наполнены водой, иные – сверкающим ледком. Брошена сломавшаяся борона. Из-под пахоты желтеет плохо присыпанная солома. Грачи старательно роются в ней, отыскивая корье. Следы телег, лошадей, гусениц трактора видны тут и там. Земля еще не проснулась и не имела силы, чтобы стереть все это, одеться в свой летний наряд.

Подходя к Бакланью, Кузя оживился: поохотимся!

– Присядь и не двигайся! – шепнул вдруг и, опустившись, пополз по дёркому*, плотному снежку.

Хотя стояла теплынь, мы были в телогрейках. Впереди (теперь-то и я, вытягивая шею, разглядел), на рели, болотной гривке, собираются утки. Будет вам сейчас от снайпера! Но откуда ни возьмись над Кузей завис крикливый чибис – страж болотный, поднял переполох: пи-ик! пи-и-ик! Даже снижался с неистовством: пик-пик-пик! Утки, ясно, взнялись тотчас.

Нахальная, всполошенная птица больше не дала ступить и шагу скрытно. Добравшись по кочкам до избушки ондатры, мы залегли на желтой камышовой подстилке, в своеобразном скрадке.

Я, пожалуй, был для Кузи в те минуты тоже вроде неутихающего чибиса. Приставал: расскажи про войну. Как был снайпером? А сколько на счету фашистов?..

Утки не возвращались, прилет других птиц, как и весна, видать, тоже затянулся, болото было утрюмо.

И Кузя сдался. Оглядывая старые блеклые камыши, начал:

– Что рассказ? Разве передашь, как все происходит? Но слушай... К Смоленску шли. Остановили немцы нас на равнине. Примерно та-

* Дёркий – крепкий, прочный. – Прим. ред.

кое местечко, как у нас с тобой за спиной. Лесочек реденький – ну, что волосы у вашего Пахома, председателя. Насквозь просматривается. И откуда-то бил по нам их снайпер. Обычно снайперы охотятся на офицеров, когда такая уязвимая местность. А этот наглец крушил всех подряд, даже не пощадил девочку лет восьми – собирала на полянках ягоды. Я послал на него двух своих опытных снайперов: выследите гада! Не вернулись ребята. И решил я сам заняться им. Выполз на опушку, а ничего дальше носа не видно – трава! Было бы дерево подходящее – взобраться бы, окинуть равнинку взглядом... Но что делать? Лежу. Щелкнет, думаю, и на выстрел ударю. Три часа пробыл в напряжении: где же ты, *коллега*, выкажись! Солнце помогло – от оптики сверкнул зайчик, и я вмазал по этому зайчику. А попал или нет?... Ночью уже сползали: готов! Лежит, вражина. В лобешину попал, и каска не спасла. Прятался, оказалось, в заброшенном колодце: когда-то на том месте, жители рассказали, был загон для скота...

Поморщился, глядя на неутихающего чибиса, посчитал патроны: лупануть бы – заряда жалко.

Вздохнув, сказал с горечью:

– Ох, напрочишься! Костей не соберешь... – И вроде как подытожил разговор: – Война – это скотство. Ты не расспрашивай больше. Стрелять по человеку, особенно первый раз, непросто. Душа в тебе бьется, как вибратор... Мир на любви Богом замешан. Если хочешь печку замазать, то здесь, еще в растворе, можно кое-какие специи поменять. Вместо цемента, видел вчера, мать коровяку подмешала... А здесь – нет. Тонкая штука мир. И мы, люди, часть его, самая сердцевинка, и в нас-то вложено больше всего любви.

– Но они сами полезли...

– Верно, это и оправданье. Но до какой-то поры. Вот пошли мы раз в их тыл. Очень удачно сложилась обстановка. Сняли у барака часовых, а там, внутри, считай, рота вповалку. Стрелять, рвануть – сами не уйдем потом. Передовая рядом, немцев густо кругом – что ты! Влезли, как блохи за пазуху... Взяли офицера, а остальных – под нож. Как мясники работали. Вышли – тошнило даже. Вот и сейчас говорю, а лопатки и сердце пощипывает мороз. Забывать это нужно – и очищаться...

Закурил. Отложив ружье, занялся камышовой избушкой ондатры: как устроена?

– Да они, зверьки, хитрецы – запасные ходы предусмотрены...

Извлек из воды ржавый взведенный капкан, осмотрел и его с осторожностью, будто то была мина, потом зашвырнул в кочкарник.

* * *

Позже не раз услышу:

– Эх, скребет душу, хочется написать книжечку «Белорусский прорыв»... Какая оборона была налажена у немцев в районе Мазурских озер! Расхлестали, прорвали. А еще про Кенигсберг бы. Но это вряд ли удастся написать: надо быть сумасшедшим, чтобы изобразить все... Мой Бычков, мальчик с пальчик, немцу глотку перегрыз. Да! Уличные бои жуткие были. Схватил его верзила, хотел выбросить в окно, тот ногами оттолкнулся, упали оба и... Когда я вбежал, он, осатанелый, походил на разъяренного пса...

А дадут ли сказать, что в бою за крепость участвовала и Богородица? Да, да, представьте! Было так: привезли на фронт, как в былые времена, икону Казанской Богоматери. Она исстари почиталась, как заступница России. Сам командующий фронтом присутствовал на молебне. Потом икону понесли вокруг города, по воинским частям. Это перед штурмом. У меня был старый солдат, от сталинградского пекла уберегся, так со слезами приложился к образу. Она, Взбранная Воевода, говорит, и в Сталинграде была... Ленинградцы тоже похвалились: и с ними держала оборону. Пленные немцы после рассказывали: «Как ваши самолеты (а их была тьма), в небе появлялась Мадонна – ослепительная, как солнце, и у нас стало отказывать оружие. Когда поняли, кто это, падали на колени, несмотря на угрозы командиров...»

Лишь в наши дни я найду в литературе подтверждение этим словам. Святая Русь всегда славилась великими молитвенниками. Но в те годы, видимо, выстригли их, и посредником между небом и Россией стал патриарх Илия из братской ливанской церкви. Закрывшись в каменном подземелье, где не было ничего, кроме иконы Божьей Матери,

владыка не ел, не пил, не спал, а полностью отдался молитве: «Открой, Матерь Божия, чем можно помочь России?...» И по исходе третьих суток в огненном столпе явилась ему Сама Богородица. Объявила, что он, как истинный друг России, избран передать определение Божие этой стране. Не выполнят – погибнут. Предлагалось открыть храмы, монастыри, духовные семинарии и академии, вернуть священников с фронта, отпустить из тюрем: они должны начать святую службу.

Были в том определении и такие слова:

«Город на Неве сдавать нельзя. Для его спасения пусть вынесут из Владимирского собора чудотворную икону Казанской Божьей Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг не ступит на его святую землю. Перед Казанской иконой нужно отслужить молебен и в Москве. Затем она должна быть в Сталинграде, который тоже сдавать врагу нельзя. Казанская икона должна идти с войсками до границ России...»

Вождь народов подчинился – открыл двадцать две тысячи храмов, Троице-Сергиеву лавру, некоторые монастыри. Начали действовать семинарии, академии. После войны митрополит Илия побывал в России. В Северной столице возложил драгоценный венец на Казанскую икону Божией Матери...

* * *

Председатель колхоза, полный, крепкий коротыш, пришел к нам с бутылкой:

– Кыш, пацанва! Поговорить хочу с вашим братом, в конторе не удастся.

Я зашмыгнул на русскую печку – с тылу, со стороны шестка. Как же, разговор (и тайный!) я упущу!

– Ну, гвардеец, ставлю тебя своим замом – по рукам, а? Правление, считай, проголосовало. Уломал каждого поодиночке. Ты же знаешь: тут на всю деревню две фамилии – Нерадовские и Ануфриевы. Непросто мне с ними.

– Сочувствую. Но после Германии и Австрии я не могу ни на что

смотреть: убого живем, председатель. Не так живем... И зачем немцу была война? Ухожено все, дороги – пол в избе куда хуже...

– На богатства наши позарился германец.

– Да что же мы с этими богатствами исхудались до помойного ведра? Куда ни глянь...

Пахом (хотя и немолод был председатель, а так и звали одним именем, в памяти не осталось отчества, да и знал ли кто его?) звякнул тяжелым стаканом о стакан Кузи, выплеснул водку в рот с торопливой ожесточенностью и лишь потом сказал, прижав красные пухлые пальцы к губам:

– Тсс! Я не слышал твоих слов, а ты, сержант, больше никому не говори их. Даже родной маме...

– Думал я, приглядывался и решил твердо: поеду в Кузнецк, к дядьке. Именитый шахтер, в «Труде» о нем почитал, еще на фронте, и связался. Зовет. В ста километрах город закладывают, а будет он именоваться – Победа. Наверно, в нем, новом, не допустят убожества, все по-человечески обустроят. Да само название обязывает! Глубокий смысл в слове скрыт.

– Зря, зря. Ошибку делаешь... На смысл не упирай. И в революцию кинулись с большим смыслом, да табуном и растоптали все. Победы (не сердись, гвардеец) тоже нет, какой хотелось всем. А в твоём Кузбассе я сидел – гнал в тайге хвойное масло. Там сплошь лагеря. Вокруг городов яма на яме – провалы шахтовые. Земля будто оспой хворала... Плюнь, блажь это. Ну, поскоблились мы – и живем же. Живем, сержант! Синяки сошли, раны зажили. Соберется еще гарь душевная – похлещемся заново. Выпустим пар, чад – и дальше пойдём... Упреждаю тебя еще: уйми язык. Говори въяве обратное: Европа – тьфу, дерьмо, там рабство, а у нас – свобода и равенство. Ты еще, гвардеец, не бык, а полубык. Быка дохлого из тебя сделают, когда за язык схватят. Знаешь, кто мне к печке хвойные лапы в тайге таскал? Полковники, академии за плечами. А взяты за то самое... И еще совет: семью не трожь, семья – вериги для тебя, молодого, загубит в городе. Сложно там прокормиться, сержант...

* * *

Сразу уехать из деревни – не достало на то солдатских средств. И Кузя увез нас через год, поработав в шахте. Он искал жилье, из-за того переехал на новую шахту, Бунгурскую, в пригороде. Финский домик на две семьи, без перегородок, как загон – это была плата за Кузино смирение.

Поселочек назывался красиво – Листвяги. Куда ни глянь – березовые колки, поля, хвойные перелески. Все это разбросано по сопкам. Терриконик, эстакада, угольные навалы и поселочек – закопухи, курятники... На иных (со скрапного отвала Кузнецкого комбината, что ли?) прибиты куски жести то ли от вагонов, то ли от самолетов, так что среди ржавчины можно было увидеть и свастику, и грозно нахохлившегося германского орла. Если бы не было небольшого островка финских домиков, блещущих еще свежеструганными узкими речками, широкими, непривычной формы рамами, можно бы схватиться за голову: в какую дыру залезли!

– Временно, пока оглядимся, – ободрял всех Кузя. – Вот поеду в новый город, поговорю с мужиками, и маханем туда. Надеюсь, наш город Победа будет красивейшим. Места, говорят, там как в Швейцарии.

* * *

И началась стройка...

Картошку в тот год не успели посадить. Но Кузя извернулся: выводил отделение на убранные совхозные поля – перекапывали. И что ни вечер – есть два-три мешка. Запаслись! Пахом, колхозный председатель, оказался прав: в городских условиях, без своих овощей, даже на шахтерскую зарплату содержать большую семью было тяжело.

...Откуда нелюбовь к шахтерскому быту (и шахтерам!) в Кузбассе? Думается, это изначальное: в тридцатых годах в эту тяжелую отрасль гнали спецпереселенцев. Отовсюду. Селили в общие бараки, а потом уже, обжившись, люди рыли свои норы, строили закопухи. В сороковых, в начале пятидесятых опять же везли и везли спецпереселенцев – большей частью с Западной Украины, где шла жесточайшая борьба.

Открывать для их детей музыкальные, спортивные школы, комплексы? Где это видано? Враги должны работать и исправляться...

* * *

Средней школы в Листвягах еще не было. Я жил с сестрой, Катериной, в городе: она только-только окончила курсы мотористок и устроилась на шахте имени Димитрова. Шахта отгрохала себе административно-бытовой комбинат – управленцы, занимавшие два барака, перешли туда, а их места заняли молодые семейные шахтеры. Теплый (засыпной) управленческий сортир сначала переоборудовали под склад, а потом поселили двух мотористок: рядом начали бить ствол на нижний горизонт. Взяли они и меня к себе на постой.

Это была двухкомнатная квартирка с малыми оконцами. Один из девичьих кавалеров, поморщившись, высказался однажды так: у вас запашок, девочки, будто в многоместной тюремной камере. После такого отзыва девки стали тщательней прибираться, а после приборок еще брызгали одеколоном. Для этой цели купили в парикмахерской распылитель. Над дверями (одни были наглухо заколочены) красовались буквы «Ж» и «М». Их пытались забелить, но стоило пройти дождичку, они проявлялись заново.

Возвращаясь из школы, я заходил за ключами к сестре на работу. Ствол был огромен и почти вертикален, бока его бетонировались шахтостроителями, а углубились они настолько, что внизу лишь светились их тусклые огоньки. Вверх одна за другой поднимались бабьи с глинистой жижей.

– Я тебе нажарила картошек – иди же побыстрей, пока спит напарница, а то опять слопает все и останешься голодным.

Спешил я напрасно: сковорода оказалась чистенькой, ни следа, что жарили картошку. Напарница, в который раз оставив меня без обеда, посапывала невинно. Я негодовал: вот же совесть, а? Еще и нос дерет, иной раз не выпытаешь слова... Цаца!

Не помню, кто первый сорвался, я или сестра: до каких пор это объедать будешь нас? Взять ничего нельзя...

А в ответ:

– Это ж вы обжираете меня вдвоем! Где мои пряники? Вчера вечером купила – сегодня ни одного нет. Где мои семечки? Посылку от мамы не успела открыть – враз опустела...

Ничего себе заявочка! Клялись все трое: не брали, не ели! Стали следить, кто же ворует. Обнаружил нахлебников Василий. Он, орел-невольник колхоза им. Карла Маркса, скрывался у нас от участкового за нарушение паспортного режима, и времени было много. Крысы! И столько их – жуть! Стены наши, когда стали обращать на них внимание, оказались вроде как живыми: в каждом уголке пищало, скреблось, гонялось, обрывалось и шлепалось.

Кузя, приходя в воскресенье, смеялся:

– Может, патрон из лавы принести – рвануть? Из вашей живности, пожалуй, можно сшить две дохи!

Мне он накупил акварельных красок, бумаги, карандашей. Я рисовал упоенно, забывая порой и о нудных домашних заданиях. До чего же хотелось нарисовать ковер или картину, какие продавались на базаре!

В этот раз Кузя принес толстый рулончик ватмана и, по-моему, впервые заговорил со мной серьезно:

– У тебя кое-что получается. Но ты плюнь на базарных русалок, на цветочки, каких в жизни не бывает. Я тебя – заметил? – даже не стал брать с собой на базар: дурное липнет. Вот тебе открытка – три богатыря. Разлилуй на клеточки. На ватмане тоже клетки проводи – и скопируй. С увеличением. Кое-какие книжки по рисованию купил, правда, они для взрослых, но разберешь – старательный.

И, закрывшись в комнате «Ж», наставлял сестру:

– Ты же не шпигуй за уроки парня. Уроки наверстает. Пусть больше рисует: есть у него и глаз, и душа. Эх, если б в хорошие руки! Заходил сегодня в городской Дом пионеров, надеялся, изокружок есть, – что ты! Бедный город! Черт-те чем пичкают ребятишек!

Я все слышал. И мне было приятно такое участие.

Последние зимние каникулы мои перед его гибелью вспоминаются, как самое счастливое время. Неистово сражались всей семьей в шахматы. Мать ругалась на нас: дайте же ему соснуть хоть часок пе-

ред шахтой! Иногда выходили на лыжах. Бегал Кузя легко, размашисто – мы не поспевали. Но быстро уставал: на ноге открылась рана и не помогали никакие мази. Что он только не испробовал! Даже растирал ружейный порох и присыпал этой серой пылью. Зажмурившись, перекосившись, он припрыгивал возле кровати, придерживаясь за спинку. И ранка-то была вроде как невелика – пулевая, около щиколотки на левой ноге. Из нее постоянно сочилась сукровица. Прежде чем пойти на работу, он плотно бинтовал ногу.

От старых людей нередко приходилось слышать: Бог – Отец сирот, любит и заботится о них. Вспоминая то время, из глубины-то, я спрашиваю себя: откуда бы у парня в двадцать пять лет, прошедшего жесточайшую войну, взялась такая трогательная отцовская любовь? Душой и сердцем соглашаюсь с теми мудрыми людьми: да, заботлив Бог, от Него, всеблагого, снизошел тот бесценный дар, и в затяжное ненастье – спасибо, спасибо, Господи! – нам сверкнул луч солнца. И теперь, только повзрослев, я вижу сердцем еще одно – радость встречи трудового человека, вернувшегося со своей фронтовой смены в семью, в родное гнездо живым и здоровым.

А картина у меня получалась. Рисовал первым Илью Муромца, защитника Руси, центральную, колоритную фигуру. Оттенки лица вывел, выражение – дух! – схватил.

Кузя, появившись в нашем «офисе ЖМ», надолго задержал свой взгляд на распятом ватмане. Я ждал с напряжением, стоя чуть в стороне: для меня его слово было сейчас самое важное – на годы, может навсегда.

Он, чуткий, наверное, понял это и ободряюще ширнул меня в бок:

– Вот и настоящее начинается. Но я не ожидал, что так скоро! Чего надо – проси.

У меня все было: краски, карандаши, бумага, картон. Акварель тогда в ходу была медовая. Очень любили ее тараканы, а в финском домике их, пользующихся надежной защитой щелей, развелось немало. И все мои картинки были свехоригинальны – словно отпечатаны через чистую сеточку. Но проходило две-три недели, их приходилось выбрасывать – съедали краску.

* * *

О беде говорят: внезапно пришла. У меня другое мнение: беда приходит исподволь, как бы готовит человека к встрече с ней...

У меня в тот день валилось все из рук. И не рисовалось. Сестра пришла, не отработав и полсмены, – в ознобе, зубы отстукивают дробь. Я напоил ее горячим чаем, только это мало помогло.

– Какой-то день тяготящийся! Забываюсь, как старуха. Ляду* не закрыла и прыгнула со своей площадочки, от пульты-то. В ствол. От страха закрыла глаза: все, костей не соберут! А чую: меня словно горячая струя воздуха повернула и опустила на кромку. И до сих пор не оклемаюсь...

Не раздеваясь, она легла на кровать. А я встал у оконца: март, его вторая половина, выдался солнечным, звенела капель, но не радовала. Я смотрел, как по проводам катились капли, догоняли друг дружку, сливались и падали вниз, их заменяли следующие. И все повторялось: бег, слияние, падение... Ни о чем не думалось. Даже неординарное событие сестры не встревожило, не взволновало, не удивило. Будто так и должно быть: ты прыгаешь в пропасть, а неведомое, как горячая струя воздуха, возвращает тебя на твердь.

Цепенящая тоска уже овладела мной, когда вошел Василий – нараспашку, шапка задом наперед надета. Он крикнул со всхлипом:

– Чего стоишь? Кузю убило...

Схватив что-то из одежды, я побежал за ним. На спуске крутой димитровской горы стоял замызганный грязью грузовик, а в кузове, на соломе, лежал распластанный Кузя – в шахтерской робе, висок разбит, на щеке запеклась кровь, черно-бурая, смешанная с угольной пылью. Нога – та, с открывшейся раной – искривлена неестественно. В изголовье, сжавшись в комок, сидела мама. С другой стороны сели мы. Никак не верилось, что он не встанет больше и не скажет: «Ну, мои гвардейцы...»

Машина двинулась в морг, который находился тогда в одном из барачных на Нижней колонии, неподалеку от Кузнецкого комбината.

* Ляда – устройство дверного типа в вертикальной выработке. – Прим. ред.

* * *

Причина гибели была вовсе не та, какую написали в акте.

Кузя работал в ночь. Взяв свой топор, хорошо отточенный и заклиненный, он пошел на работу, а спустя какое-то время вернулся, сказал матери: завтра утром-де будут выдавать зарплату, сходи-ка и получи. Посетовал: ох как не хочется сегодня в шахту... Кто бы знал! Мама потом долго будет упрекать себя: что бы остановить, а я, дура дисциплинированная, наговаривала, мол, помаленьку, Кузя, и настрой возьмется, настрой в работе появляется.

Смена прошла без сучка без задоринки. Бригада взяла свой цикл и по шурфу вышла на-гора – встретить солнце. Дождались весны! Никто так не рад солнцу, как выходящий из-под земли шахтер! Расположились на затычках, приготовленных для спуска. И тут накатился вдруг начальник участка. Посмотрел на часы и, как водится, спустил полкана: почему прежде времени вышли из шахты? Распек и, наказывая, дал новое задание – закрепить участок в основном штреке. Пригрозил: не сделаете – лишу премии за преждевременный уход с работы.

Начальник участка три дня подряд наряжал на этот аварийный участок рабочих. Горным давлением здесь деформировало крепь и выжало огромный ком породы. Он притаился, как рысь на дереве, терпеливо ожидая своей жертвы. Опытные шахтеры, глянув, уходили: двумя парами рук тут делать нечего! Машинисты рассказывали: «Мы ездили здесь с оглядкой, на самом тихом ходу, чтобы не вызвать содрогания».

И в этот раз мужики помудрей тоже махнули рукой: дохлое дело, плевать на их премии! Старшой, бригадир, взял самого молодого: пошли, гвардеец, у тебя семья, ее кормить надо. А там распорядился: ты бери приямок, а я пойду наверх, спущу крепь. Ушел под благовидным предлогом.

...Мама стояла в очереди в кассу, когда вновь подходящие начали шептать: ее сына убило. Сердцем услышала то: Кузю?! Где он? Все обежала, всюду рвалась. Падала через железяки, которых немислимое множество на шахтовом дворе. Сломала руку в запястье, но не до нее было ни в тот раз, ни после. И срослась рука так, что стала походить на

клюшку хоккеиста. А когда начала ходить за справками, когда начали мотать кишки – не видя от слез дороги, и вторую сломала. И вторая (для симметрии, что ли?) тоже стала походить на клюшку хоккеиста: больницы не было в поселке, а город с его непрошибаемыми канцеляриями стал ненавистным...

Начальнику участка (верно, верно полагал бригадир!) пришлось выкручиваться. Жена слезно умоляла мать: Ксения Ивановна, не губите нас, не подавайте дело в суд – дети ж и у нас тоже...

– Да Бог вам судья, – был ответ.

Сам же он готовился принести иную жертву – заколол кабана. В помощь пострадавшей семье шахтеры собирали деньги – пустили их, с ведома руководства шахты, на пропой. Тогда еще в ходу была, как ее именовали, конная тяга. И на Бунгурской только-только построили новую конюшню. Она была в стороне от поселка, на пригорке. И здесь, в пахнущем свежим деревом помещении, устроили грандиозный сабантуй. Поили, кормили, ублажали горнотехническую инспекцию. Конюх после рассказывал: водку привозил в ящиках на повозке – выгрузил весь магазин! Пол в конюшне держит два десятка лошадок, а тут дрожал от топота перепившихся мужей.

Там, на свежеструганой столешнице, сколоченной по случаю праздника, и родилась фальшивка-акт: «погиб при посадке лавы». И сам виноват, сам! По неопытности, по молодости, «нарушив правила техники безопасности». Руководство шахты тоже виновато, но постольку-поскольку...

* * *

В каждый шахтерский праздник (ну почти, почти в каждый) приезжаем в Листвяги. А с возрастом это становится потребностью: здесь прошла юность, здесь родственники, здесь уже и крепкая – что там, кровная! – связь с землей.

Весной тут лучше. И цвет берез нежней, и в распадках, в болотцах по кочкарнику полыхают жарки – глаза весенней земли. Жарки никогда не вянут, даже в вазах: они осыпаются, не потеряв своего огненного блеска... Низинки одевает нежно-медовая голубизна незабудок.

В конце августа угасают цветы. И солнца меньше, но греет душу сама листвянская земля: мы, первопоселенцы, обживали ее! Она таит в себе наш дух. Тепло идет и от взрослеющих берез, и от соснового бора, посаженного в те юношеские годы, от каждой избы, улицы. В том тепле, в его своеобразном запахе есть и частичка меня самого...

За годы поселок, конечно же, изменился. В последние годы начали строить даже капитальные многоэтажные дома. И все-таки (и все-таки!) как не имел здесь шахтер (и его ребенок) ничего, так и не имеет.

Собрались у Катерины. Прежде, увидев на стене календарь с образом Казанской Божьей Матери, решили исправить бестактный поступок нынешних предпринимателей. Сняли тот календарь, обрезали столбцы цифр. Сообща сделали рамку, стекло заменила прозрачная бумага. Поместили в рамку лик Пресвятой Заступницы России – угол преобразился, словно ожил, осветился.

Катерина зажгла свечу. Крестьясь, сказала:

– Будь же, Пресвятая Богородица, и покровительницей шахтеров. Беспризорны они, неприкаянны. Как старая женщина говорю это, почти два десятка лет и сама грузившая уголь в вагоны...

Да, грузила в морозы, в пургу, в дождь, в летний зной. Теперь на пенсии. Поскрипывают от полиартрита суставы, но в этот праздник голос бодр.

– Садитесь, гости, за стол. Выпьем за истинных тружеников! И за живых, и которые ушли, но всегда с нами...

– А начальник участка жив?

– Тот умер. На днях в магазине слышала разговор бабулек. Вспоминали, как в шахте работали, как он раскомандировку проводил. Выстроит, будто в армии, и командует: бабы, у кого менструация – шаг вперед! Если захочется сфилонить – шагнешь вне очереди. И кличку дали ему – Шаг Вперед.

Вспоминается то одно, то другое.

– Ты же так и не нарисовал своих богатырей...

– Нет. Как отрезало. И не брался больше ни за карандаши, ни за краски. Вроде душу отняли. А тяжело-то было в первые дни! То один, то другой из лесенки вдруг спохватится ночью: мама, мама, ты же проспал...

ла, скоро Кузя с работы придет...

Теперь оба лежат рядом в «вечном городе». Собираясь писать, натолкнулся в блокноте на ее фразу, сказанную, когда хлопотала пенсию: «Ох, распотелая я, усталая – до улёгу. На клубочек мотай меня, как пряжу...»

Что толку охать, плакать? Дух российский, который никто из врагов не мог понять и одолеть, нужно возвращать заново. Каждому – в себе, с терпением, с молитвой: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня...» Как малое дитя возвращать. А плоды... Сибирский красавец кедр приносит их через годы и годы, возрастающий человек – тоже.

1994

ОТСВЕТ

Рассказ

Нашей соседней квартире, однокомнатной и хрущевке, не везло явно: селили таких гулен, что не доведи господи. Где их ЖЭК выискивал – уму непостижимо. Чего стоила забываемая Мотя с символической фамилией Вершинина, точно была самой яркой представительницей – вершинкой! – падшего мира.

Еще не развязав узел, в котором помещался ее небогатый скарб, она обошла соседей:

– Упреждаю, бабы, с самого первоначалу: не вздумайте нервировать меня. Кто моей жисти мешает, я тому делаю пшик.

– Ох, что за кара такая – пшик? – полюбопытствовал я, хотя грозное наставление адресовалось жене.

Мотя воинственно стрельнула в меня взглядом, вскинула руку, распрямив большой палец, а остальные поджав – и рука, сухая кость, обратилась в некое подобие деревенской пешни, которой долбят лед. Опасаясь, что сейчас для наглядности Мотя, как рапиристка, сделает выпад и укол, я повернулся к ней боком.

Но она лишь снисходительно усмехнулась:

– Умник, да? Укудрить могу. Глаз выколоть. Пшик – разные кары. – Опять обратилась к жене: – О милиции забудь, милочка, я прошла Крым, Нарым и ишшо кой-че. Враз улопаю!

Для наглядности, этак по-цыгански, Мотя тряхнула плечами. А была плоской и расписана чернью, словно старая двустоволка. Безвестные мастера вроде б соревновались на ней: кто лучше изобразит орла? Так что пернатых хищников – сидящих, грозно взирающих, парящих, терзающих добычу – было не счесть. Кофтенка на Моте – сеточка с крупными ячейками, срам один – ничуть не скрывала конкурсной выставки. И казалось, эту живописную доску в Крыму или Нарыме, местах ее росписи, кто-то пытался засунуть в авоську, но не получилось. Очень впечатляла надпись – полукругом, вроде это было ожерелье: «мои орлики». Речь ее всегда была насыщена звучными словами на «у».

Седьмой или девятой (затурканные, мы, кажется, потеряли счет!) в невезучей хрущевке поселилась Любка Колоскова, продавщица из соседнего продуктового магазина. Молодая, с короткой мальчишеской прической. Любила белые сорочки, верхние пуговицы никогда не застегивала, а на шее большим бантом повязывала косынку. Алый жилет небрежно распахнут, чтобы показать не только роскошную грудку, но и талию. Юбка на ней в бело-черную клеточку с широким поясом-плетенкой. И бляха, и пуговицы на карманах – бронза с насечкой какой-то заграничной фирмы. Но то выказывалось, что кричала не сама она, а молодость: «Я – хороша!» И от невольного осознания своей красоты лицо ее, глаза, улыбка светились радостью полевого цветка – милой, полной свежести, естественной утонченности. И походка ее под стать внутреннему состоянию: легкая, вроде она летела на крылышках. Глаза большущие, какого-то серо-зеленоватого цвета. Не глаза – модные очки-линзы. И в этих глазах, в свете неистощимой радости, когда б ни глянул, виделось одно – детское удивление. Творог за прилавком отвешивает – диво ей: ой, всего-то тристо граммочков берете? Очередь скапливается – изумляется: ой, тороплюсь, тороплюсь – и не успеваю! Откуда люди берутся? Домой бежит, спешит – перед каждым знакомым руки распахнет: ой, неужели вырволась?

Любка заметно налегает на «о»: северянка, из-под Усть-Ишима.

Свое житье-бытье юная соседка начала с нововведений. Не обладая силой и нахальством Моти Вершининой, перво-наперво поставила в дверь глазок. О железных дверях тогда еще не помышляли: перестройка, как утренний легкий туман, только начинала нарождаться и кутать дремотную жизнь. В подъезде (а может, и во всем доме) подобных глазков не было: советские богачи в хрущевках не жилали. И мальчишки начали сбегаться смотреть на эту диковинку. Их шумные осмотры кончались тем, что глазок разбивали. Любка, возвращаясь с работы и тыча пальчик в дырку, удивлялась: ой, о-опять двадцать пять! Покупала новый глазок... В конце концов к ним привыкли и перестали обращать внимание.

Тогда-то и началась разлюли-малина.

К нам привезли «химиков» – осужденных отбывать на стройках народного хозяйства свой срок. Исправлялись они у нас или, оторванные от семьи и, в общем-то, вольные, больше опускались – не о том речь. В эти дни (так и хочется назвать их памятными!) нам казалось, что «химиков» прикрепили к нашей привлекательной соседке: они карабкались, тащились, крались, казалось, беспрестанно. Любка, открывая, только всплескивала застиранными, в морщинках, руками: ой, несчастенькие! ко мне? до сколь же вас?

При такой ненормированной системе общения к Любке непременно кто-то опаздывал, а кто-то, счастливый, задерживался, тогда у двери с глазком разыгрывались трагикомедии. Случалось (доказывали, что ли, свою преданность?), кто-то и ночевал на площадке, свернувшись по-собачьи калачиком. Выпархивая утром из квартиры, Любка удивлялась: ой, несчастенький! Комкала наш коврик, которым вытирали ноги, бережно, как дитяте, совала под голову спящего зюзи.

– Она не дурочка? – спрашивала жена.

– Командируй на денек-два, разузнаю, – предлагал я, и к моему лицу эффектно совалась фи́га: понюхай, чем пахнет!

Но шутки шутками, а надо было что-то предпринимать. Пока я раздумывал да приглядывался, за нее взялись бабки. Встречая Любу у подъезда, они стращали ее довольно сурово: сворачивай, девка, кон-

церты, не то потянем в милицию! Иные имели трости – постукивали, помахивали: коли попустят, так и сами управимся! Любка была из тех зук-озорниц, которые и при самых грубых нападках, оскорблениях не теряли усмешки, юморка, своей обычной доброжелательности. В ней на удивление был крепкий внутренний стержень. Знать, воспитывалась в семье, где жизненные сквозняки не смогли выветрить христианские основы. Мне нравилось, как она *жала* бабок. Хотя «жалить», пожалуй, и не то слово, но иного не подберу, а мягкосердечие, душевная открытость при случае все-таки исполняют эту роль куда успешней, чем утонченное хамство. Однако замечу, у ней и мысли не было досадить, уколоть, как-то отомстить им.

– Ой, кокие концерты? Ноговорите тоже... Концерты! Я нынче гору их одежи постирала и спола как убитая, ничо не слыхивала.

– Кто ж те, греховодницу, неволит?

– Нещастеньки! Кто ж может зостовлять? Сама я, от сердца... Вы хоть пуговицу кому пришили?

– Да чо б мы их, мазуриков, обихаживали?!

– Ой, и вы нещастеньки! А Матерь Божья даже грудью дите мазуриков кормила!

Какой тут гвалт поднялся! Чтобы Пресвятая-то Богородица грудью кормила выродков?! Не пачкай святое имя! Ух, пошлачка, уздумала! И какие мы тебе нещастеньки?

– Да уж куда больше их нещастеньки!

И чмокнула в щеку крайнюю из них – да скорее в подъезд. А та, жмурясь и отплевываясь, бранилась вслед: «Срамными губами своими...»

Мой балкон – гнездо ласточки – над ними. Я слышу и вижу все хорошо, не обращая на себя внимание. Получалась довольно странная ситуация: она, вольница, была духовно просвещенней, щедрей и богоугодливей их, проживших жизнь, ухоженных, отстоявшихся от мути, как речная вода в банке, вроде бы просветлевшая, но потерявшая вкус, силу и ярденость земли, выдохнувшаяся и обретшая болотную немощь, застой.

Любка не пачкала святое имя Богоматери. Есть предание: когда Святое семейство отправилось в Египет, скрываясь от преследования

Ирода, царя израильского, путники были схвачены разбойниками и приведены в их притон. У одного из рыцарей ночи болела жена, имевшая грудного ребенка. Истощенная грудь не имела молока – и ребенок зачах, умирал голодной смертью. Видя его страдания – и терзания несчастной матери! – Пресвятая Богородица подошла к ней, взяла младенца на руки и приложила к Своей груди. В полуживой трупик мгновенно вернулась жизнь, и дите превратилось в цветущего мальчика...

Жизнь, получается, вроде как хозяйка, взбивающая блинное тесто, мешала все: ценное, слишком высокое и простое, доступное, соль и воду, и, сверх того, вовсе низкое, что в обыденке называют грязью, – и тем превосходила искусство и возможности хозяйки.

Но при всем том мне казалось, что в свои восемнадцать-девятнадцать Любка еще не столько жила, сколько играла, как девочка, в куклы. А мы, взрослые, как часто водится, не понимали и не принимали ее игры.

В выходные, а у Любки они приходились чаще на будние дни, у нее собиралась компания спозаранку. Оглушающая музыка, блатные песни – сотрясался и сокрушался дом. Часов в одиннадцать, словно по графику, Любка начинала обегать соседей.

Вроде невинная, стеснительная, удивлялась:

– Ой, ро-озьелись мои несчастенькие! А у меня-то больше ничо не осталось...

Ей, как нищенке, давали кто луковицу, кто черствую булку или банку капусты – слупят, не баре! Принимая, она все ойкала, обещала: завтра о-отдам... Но завтра, понятно, забывала, да никто и не требовал возмещения. Зато в магазине, какая ни будь очередь, будто в уплату за все, она отпускала первым делом своим, не слушая брани.

Но самое тягостное, мучительное – кто-то из ее «несчастеньких» ошибался дверью и начинал ломиться к нам:

– А-люба, открой. А-люба!

И столько говорилось нежных слов, да таких, что сначала невозможно было слушать без улыбки, а проходила минута, другая, веселье сменялось грустью, унынием, подавленностью, а потом и это все пропадало и начинало закипать раздражение: когда же кончится эта комедия?

Однако в глубине души бывало и иное – весомое, непоколебимое, тем более от такого пусть и нудящего, но все-таки пустячка. Не ломись «химики» (а она ведь их, назойливых, тоже не жалует, глазок-то не зря вставлен!), не шуми, не задевай нас, к ней бы и претензий не было. Да что мы такое есть? В тиши, особенно перед сном, я к этому не раз пытался примериться, присмотреться. Опять же высокое мешалось с низким. Святые мужи говорят: чтобы возвысить свою любовь к человечеству, нужно обойти его пропасти. Но где же найти в себе терпение, свет души, силу, чтобы, заглядывая во все его бездны, не потонуть в тине, миазмах, не упасть, не заблудиться во тьме, а главное, если и сойдешь с пути, не потерять веры в его возвышенность, будущность, божественность?! Лишь Господь Иисус Христос, познав эти пропасти, не запачкался, взял на Себя все грехи. Но и Он, Всемогуший, разве не ощутил их неимоверную тяжесть? Евангелие свидетельствует: когда молился на Елеонской горе, «...и был пот Его, как капли крови, падающие на землю...»

Неужели же эта девчонка (разве что по наитию?) оказалась на столь благородной и узкой христианской тропе? От греха – к чистоте. Через сострадание, участие, скорбь, самопожертвование. В это не хотелось верить, хотя видел и разительное противоречие: от разгульной жизни она должна бы дрябнуть, блекнуть, однако лицо ее было полно света, не теряло свежести, а душа – своей юной искренности, удивленности и... вроде как чистоты. Откуда все это?

За дверью, как и у нас, со временем внутренний настрой тоже менялся. Тон обращения крепчал, а слова начинали употребляться больше ударного значения:

– Л-любаха! Т-ты забыла, я всю н-неделю дарил тебе шоколадки? Примала? Отвечай! А их думаешь задаром дают? Так меня-то – меня самого! – возьми в подарок. Ты, кры-кры... красotka!

Объяснять, что желанная, к которой зывают с таким пылом, живет в соседней квартире, а не здесь, напрасно: упрямство и тупость пьяного (испытано не раз) безграничны. То, что он может ошибиться, исключается напрочь. Если же отзывался я, «несчастенький» впадал в такую истерику, что описать невозможно.

– А-а, козел! Выходи, я тебе рога обломаю! – бурлило за дверью. – А ты, стерва, кр-рыса, шоколадки жрешь, но примашь других?

Приходилось (вынуждал, вынуждал, паршивец!) прибегать к крайней мере – вооружаться. Молоток, сапожная лапа или что-то весомое сразу утишали говоруна, а если вдобавок-то еще зыкнешь по-блатному: ну, фраер! – то, считай, и трезвехоньким становится возмутитель спокойствия.

Однажды я совершил глупость – вышел с гаечным ключом. Да ничего иного не подвернулось под руку в горячую минуту. «Нещастенький», спутавший дверь и от ключа вскинувший руки: «Мужик, я все понял, мир!» – на другой день вдруг является к нам трезвехоньким. Да с бутылкой!

– Опять дверью ошибся? – спрашиваю. – Зазноба твоя рядышком живет – звони, зывай, как ночью.

Он, мятый-перемятый, трясет перед моим лицом рукой:

– Нет, нет, плювать на Любку! Любка – она токо ж чужо горе при-мат. Ты мне, хозяин, нужен. Подари ключ. Я по сантехнической части вкалую, а вчера, в интересном положеньи-то, увидел редкостный ключ. Мы, уважаемые себя слесаря, зовем его шведиком. – Бутылка дергается в его руке, и незванный гость смотрит чуть не плача, смотрит то на бутылку, то на меня: – Поменяем, а, хозяин? Ты мне – шведик, ключ раздвижной, я ж – пузырь. Заприходуем вместе – и пожмем руки.

– Иди, иди, слушай! Этот шведик – память о друге, которого уже нет в живых. Из Германии в подарок привез. Если я раздарю молотки, ключи, то чем стану отмахиваться от вас, нещастеньких?

Выставил за дверь, но он снова притопал – вечером, потом на другой день, уже с дружкой. В Сибири есть в обиходе емкое слово – *зудырный*. Они соответствовали ему и внешне и внутренне: оба были неряшливы, докучливы, неотвязны, беззастенчивы, нахальны.

В этот раз принесли рогатый, блещущий никелем кран-смеситель:

– Отдашь за шведик? Мен на мен.

С муками, но удалось выпроводить их. Однако ж через день-два они, голубчики, снова заявили, неся что-то тяжелое.

Положили на пол, бумажная обертка была плотной, жесткой, про-

масленной, развернули шумно и торжествующе указали на новенькую фарфоровую раковину:

– Вот, теперь-то сойдемся! Мен на мен.

– Да я же говорил: ключ – память о друге!

Один из них тотчас выскользнул вон и привел Любку.

Теперь и та завела, как деревенская бабка:

– Будьте ж милостивцем, подарите им ключ. Извелись, несчастенькие!

И что удивило – отвесила поклон, роскошно, прямо артистично, словно не торговлей, а художественной гимнастикой занимается.

Жена, взвинченная этим канючением донельзя, не обращая уже ни на что внимания и не слушая моих возражений, швырнула им драгоценный ключ-шведик, а про раковину сказала так:

– Наденьте ее, ворованную, себе на голову – и проваливайте отсюда! Оставьте нас в покое.

Обрадовались мы, когда у Любки появился парень – крепак, накрашенный всем: и солнцем, и цементом, и раствором, оттого казался экзотичным, как солдат-десантник. Он быстро отвалил всех «несчастеньких». И в подъезде заговорили: ну, попала Любка в руки, теперь семья образуется. Однако десантник скрылся бесследно, как только жена потяжелела. Внешне Любка вроде бы не особо расстроилась, его тоже оценила своим словом-меркой: несчастенький, гордейчик! Родившегося ребеночка повязала алой лентой, всплеснула руками: ой, кокой же подарочек бабе! – и отвезла в деревню.

У нас все началось сначала: поползли, потащились «химики»! Любка, побираясь, кормила их, стирала, гладила, чинила им одежду и по-прежнему выпархивала как синица из гнезда – быстрая, хлопотливая, полная жизненной энергии. Вино вроде бы на нее не действовало, орава не отнимала сил. И вновь при взгляде на нее вставал нерешенный вопрос: и все-таки откуда у нее эта устойчивость, этот неиссякаемый оптимизм?

Бабки продолжали воспитывать Любку, но успеха у них, по-моему, не ожидалось. Кажется, они и сами поняли это, потому и тон у них стал иным – снисходительно-инертным, с легким оттенком жалости.

– Дурная ж ты, – говорили ей. – Кипеть тебе в смоле на том свете! Денно и ночью. Одумайся, пока не поздно.

Озорно улыбаясь, Любка – она никогда не присаживалась к ним – привычно, чуть замедляя шаг, вкидывала руки:

– Ой, чо попало говорите! Смола, смола... Кокая смола? Теперь и машины смазывают не знаю чем: нет смолы! А где уж на нас, грешных, стоко-то набраться?

– Да у Бога смолы много.

– У Бога милости много, а смола ни к чему. Вы сами-то, несчастеньки, никак в рай собролись? Токие гордые да ладненькие...

– Собрались не собрались, но греха сторонимся.

– Но судить-то меня Господь будет, не вы. Вам не доверят: щипать станете, как кур, до мертвой синевы...

Однажды прямо за руку ее поймала моя жена, завела в квартиру и устроила головомойку. Любка, выслушав, кажется, впервые, спросила озабоченно, но все-таки по-своему, с удивлением:

– Ой, до вы чо, взоправду думоете, я распущена? От удовольствий, розврата примаю? Ну не глупые, а? Несчастеньки... Кто ж, как не я, пожолет их? Кого ж мне жолеть тогда?

– А дите свое!

– Ну возьму я Оленьку – кто ж нас кормить станет? Яслей – сто пятая в очереди. А так я работаю, деньги посылаю. И привыкла жолеть. Дедушка, мамин отец, с фронта без рук пришел, мама его так жолела! И мы жолели...

– То ж инвалид, дурочка! А эти... скребуны!

– Ой, скажете! Скребуны... Несчастеньки...

– Водку жрать меньше б – и нет несчастья!

– Если б можно, а то вот нельзя – и все. Конечно, если б по-настоящему жолеть, как дедушку... ой, я ж токая! Сердце б тогда на ленточки порвала да ранки повязала... Если по-настоящему!

– Чего б не поехать туда, к матери?

– Ой, хорошо сказать! Село-то у нас хорошо, большо, но... Убежала ведь я оттуда: исключили меня из комсомола. Прочитала я книжку про Матерь Божию – и полюбила. Ее нельзя не полюбить! Оброзок надела на шею.

Она достала из-под банта маленький медальон, поцеловала с чувством и спрятала вновь с таким видом, будто мысленно напутствовала: потерпи еще, нам не время открываться.

– Мне бы, может, и простили Богородицу, но я всем несчастным беспокойство доставляла. Сними, говорят! Но они, несчастеньки, не понимают, и беспокойство от Нее, Преславной, Прелюбой. Здоровая-то жизнь – это же и есть беспокойство. Как без него? Молодые, а вроде бы стариками делаются без того Божьего беспокойства. Стали меня в газетке каждый день поливать: то доярка, то механизатор, то отличница... Преступница вроде б я. И собролася да уехала. И не хочу возвращаться.

– Тем более, зачем тебе с эками путаться?

– О-опять двадцать пять! – И теперь она берет нас за руки и ведет к себе: – Пойдемте, покожу я вам, зачем несчастеньки приходят – показаться они приходят, поклониться...

И через минуту мы, верно, были поражены, увидев у нее святой уголок: на комодке бронзовый старинный подсвечник, висячая лампадка, большая икона Божьей Матери – редкостная, я такой не видел. Вверху, под овалом, словно под небесным куполом, была изображена Богородица в полурост, обхватившая стоящего Божественного Младенца. Цвета подобраны с большим вкусом.

Над иконой, на подставочке из медной проволоки, переплетенной ажурно, стояло распятие. Бесподобное! Видимо, изготовленное заключенными. Из тьмы изъят ком, кусок ночи. И крест, на котором распяли Спасителя, сделан вроде бы совсем не из дерева – он из непроглядной, неубывающей тьмы, хотя прошло без малого два тысячелетия. На плоской лицевой части черноты, словно иллюминация в честь немеркнувшего подвига Иисуса Христа, огоньками-точечками горят золотые крапинки, очерчивая Его распятое тело. Судя по кисти, красочности лаков, тончайшей технике и манере исполнения рисунка, поработал искусный палехский мастер.

– Это мне подарили несчастеньки, – видя, что я прилип взглядом к распятию, сказала соседка. – Они мостерови-иты...

– А икона? Сознаюсь: не видел такой.

– Почитайте. – Любка достала из комода потрепанную тетрадь, подала мне. – Токо уж здесь посмотрите. И молчите, не то ж меня и отсюда прогонят: богомолка, богомолка! Икона у нас фомильная. Когда мне исполнилось семнадцать, бабушка подорила ее. Вы про уральских богочей Демидовых слышали? Мой пропродедушка не захотел им служить, много раз бежал. Ловили, охраны у них было много. Жутко били, но остоваляли живым: мастер-искусник он по бересте. Потом токи сослали в Сибирь: к восстанью он примкнул, жег их именья. Нос ему оторвали коленными щипцами. А в Сибири он изладил подарок губернатору – три года ночами работал. Загляденье, молва-то дошла, полное убранство для гостиной. Возок отряжали, с охраной везли. Зо этот подарок губернатор и прислал икону. Пропродедушка, его Мотвей звали, сначало обиделся: ждал освобожденья, милости. Молиться стал. И Божья Матерь помогла: губернатор еще заказ прислал – кому-то для двора. Вот опосля и освободили, но с поселением только в Сибири.

Слушая, я читал тетрадочку. С намеком прислал подарок-то губернатор! Название иконы было символичное – «Взыскание погибших». Имя это принадлежит к числу самых трогательнейших, выражающих глубокую и благодарную думу человечества о Богоматери как о последнем прибежище, последней надежде потерянных людей, – вещалось в тетради.

Погибшие – какое страшное слово! Над человеком, значит, добро окончательно утратило свою силу; он никогда не вернется в число людей, живущих здоровой жизнью. Никому не нужный, лишняя обуза для себя, всеми презираемый, влачит он жалкое существование, без цели падая из одной лужи в другую, жалкое посмешище «врага», потерянный для земли, потерявший себя для неба...

И вот спасительницей таких-то безнадежных людей, этих «погибших взысканием» и является Богоматерь. Когда люди считают какого-нибудь человека безвозвратно потерянным и он сам чувствует, что все для него кончено, невидимо следящая за ним Богоматерь является его надежной опорой. Она с жаром материнской любви и ни перед какою действительностью не отступающей веры борется за такого погибшего и дает ему новые жизненные силы, когда он лежит почти трупом.

Что шепчет Богоматерь такой измученной, пропавшей душе? Это Ее тайна, это тайна спасаемого Ею человека. Но чудным образом Она льет целительный бальзам на сплошную язву души, выпрямляет, выхаживает, оздоравливает пропадающего человека.

В проникнутом горячею верою акафисте Покрову Богоматери знаменитый проповедник Иннокентий Херсонский проводит следующую замечательную мысль о чудесном заступлении Богоматери: «Господь, желая показать людям бездну щедрот Своих, силу терпения Своего, даровал Тебя людям как непреодолимую защиту. И если кто из них праведным судом Божиим оказывается достойным осуждения, – Твоим державным покровом сохраняется на покаяние...»

У входной двери властно, продолжительно зазвучал звонок, и Любка, обычно живая, неунывающая, враз изменилась – побледнела, стала резко-требовательной:

– Мент! Старухи наябедничали. А один пристаёт: не будешь жить со мной – доложу, что моленный дом устроила у себя. Молчок, молчок, нет нас.

Тетрадку она тотчас же, выхватив, отправила в ящик комода.

Звонок, с перерывами, еще прозвенел дважды. Любка держала поднятый указательный палец, чуть покачивая то в мою сторону, то в сторону жены: тсс! тсс!

А мне, пока стоял, прислонясь к узкому простенку, вспомнилось недавнее совещание, которое проводилось с творческой интеллигенцией в области. Главный идеолог, «мама», выступала напористо, с апломбом: наш внутренний идейный противник наступает, сегодня он образованней нас – каждый священник имеет по два высших образования, светское и духовное, увлекают народ... И назывались цифры, сколько окрестилось детей, обвенчалось супружеских пар, отпето усопших... Каждый шаг был известен, приводился в сравнении с прошлым годом, и взывалось: что же вы, творческая интеллигенция, сложили свое оружие, смирились с вековым дурманом? Компрометировать надо ярким пером!

Эта Любка, думалось, в перевоспитании «химиков» одна сделала, пожалуй, больше, чем весь штат их воспитателей, политруков. И не по

скудоумию ли зачисляются подобных в заклятых внутренних врагов? Не с чем больше бороться?

– Так вы, умники, орете песни, включаете музыку на полную для отвода глаз?

– Но зачем так? И веселимся...

Все стало на свои места. Вот откуда ее щедрые дары, которым я поражался, истоки которых искал! Она несет отсвет Божьей Матери, своей покровительницы.

Откровение заставило по-другому, прежде всего бережнее, взглянуть на Любку. Мало их, духовных цветов, и прячутся они в бурьяне общества. Подумалось: и скалы подтачивает, рушит стихия, надо ль ей, все-таки хрупкой, противостоять в одиночку человеческой силе?

Позвонил товарищу, у которого жена работала в горздраве: пусть посмотрит девчонку – прирожденный врач пропадает в ней! Дня через три (довольно скоро!) он сообщил: взяли твою óкалку, жене понравилась, будь спокоен.

Сабантуи, кажется, прекратились. Да я толком-то не знал – получив земельный участок, строил дачу. И травмировался – на станке крепко обстрогал руку.

Лежу в палате после операции, слышу знакомое:

– Ой, несчастеньки! До чо ж вам тяжко! Но терпите, сроснутся и сживутся ваши косточки...

Не веря ушам, приподнял голову: Любка? Она! Зашла в палату с ведром и шваброй. Но прежде чем приняться за мытье, обошла больных, наговаривая каждому. А больные – переломаны, распластаны, как на дыбе, кости собраны с помощью железных болтов и гаек – жуть. Всем, кто читает лекции о технике безопасности, советовал бы для наглядности посещать с подопечными травматологию.

Узнав меня, всплеснула руками:

– Ой, знокомый? Соседушка! – потрепала за волосы, как мальчишку-озорника. – Говорят мне сейчас: твой крестный тровмировался... А я ж годую: ой, что за крестный еще объявился? Объяснили, будто по вашей милости я попала сюда.

Протерла окна, тумбочки, вымыла пол. И без умолку ворчала до-

бродушно: ой, скоко ж посуды, посуды развели! вас же при первом осмотре обругают.

Управившись, села ко мне на койку. Вновь запросто, как самого дорогого человека, спросила с улыбкой:

– Так и не сознались: хлопотали обо мне? По вашей милости я тут? Или моя Пресвятая Заступница печется? Но ничо, ничо! Главврач меня на курсы подготовительные послал, готовлюся к экзаменам, в институт пошлют. Буду учиться на врача. Ой, я глупая! Такая глупая... Смогу ль одолеть все? А начинаю с озов – сонитаркой...

Лицо ее сияло счастьем. Окно наше приходилось на солнечную сторону, рамы были открыты, в стеклах играло множество зайчиков. Любка попала в их хоровод, и казалось, ради нее свершалось это световое празднество.

Вечером, только-только дали отбой, она зашла попроведать. Я притворился спящим. Постояв возле изголовья, Любка положила на мою тумбочку какие-то таблетки, похрустев «говорящей» бумажкой.

Вздыхнула:

– Спит, несчастенький! Я помолюсь о тебе. – Бережно коснулась забинтованной руки, вроде как прощаясь, но замешкалась, глядя вверх, неведь куда, в радостной задумчивости, потом вдруг опустилась на краешек койки. – Отобрала я записочки про иконку-то, не прочел. Ой, писона она с чудотворного образа – Борского. Село токое есть в колужских кроях. Оттуда и хвола, и молва, и известность пошли по России. Крестьянин Федот Обухов (событие достоверно, гозеты писали, а совершилось оно при цорице Екатерине Второй) розъезжал по селам, деревням, собирал пеньку и конопляное семя. Зимой, в морозную вьюгу, заблудился. Кобыла выбилась из сил, остоновилась на краю оврага. Чудом не обрушилась. Зомерзая, несчастный Обухов помолился Пресвятой Богородице и дал обет, что, если выживет, зокажет список с Ее иконы «Взыскание погибших» и пожертвует в свою сельскую церковь. Отпряг лошодь, привязал ее к соням, укрылся чем мог и зоснул смертельно. Тут-то и свершилось необъяснимое: оказался он с сонями, отпряженной лошадкой у ворот крестьянина соседней деревни. Тот, сидя за столом, услышал под окном сильный голос: возьмите! Вы-

шел: лошодь у зобора, в сонях человек полумертвый. Зонес, оттерли, обогрели, вернули к жизни. Исполнил он обет, на голове, не в руках нес икону в храм. Стоко перед ней исцелилось больных – ни одна поликлиника не похвалится таким успехом. И твоя рука будет здоровой, верь.

...Этой же осенью Люба Колоскова уехала в Томск – поступила в институт. Летала на своих невидимых крылышках, извещая: ой, не верится (моя Покровительница, знать, выручает!), я же боялась – рта открыть не могла!

На прощальную вечеринку пригласила нас.

В маленькой прихожке, стоя на шкафчике для обуви, орал блатные песни проигрыватель, а в комнате, за плотно прикрытыми дверями и окнами, семь «химиков», одетых празднично, пели акафист к Пресвятой Богородице – свершалось сочетание несочетаемого – парадокс советского времени, бездушного режима. На подносе во всю ширь горело кострище из свечей. Солировала Люба – счастливая, самозабвенная, возвышенная и, кажется, готовая вот-вот упорхнуть вместе с извечными и возвышенными словами святой песни.

Хотя меня убеждали, что для охранения нужна музыка, я, когда начали петь знаменитый кондак, выключил-таки проигрыватель. Даже в храмах мне не доводилось слышать столь вдохновенного, столь талантливое исполнение.

– О всепетая Мати, рождающая всех святых Святейшее Слово! Нынешнее приемши приношение, от всякия избави напасти всех, и будущая изми муки, о Тебе вопиющих: аллилуйя!

(Литературный Кузбасс. 1996. № 1–2)

Анатолий Сазыкин

О ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ АНАТОЛИЯ ЯБРОВА

Путь писателя к признанию не был и не мог быть гладким и легким. Рожден был в простой рабочей семье пятым ребенком, а всех было

десять. В поисках лучшей жизни родители с детьми приехали на Кузнецкстрой. Дух и быт семьи – трудовой, рабочий.

В школе № 9 города Сталинска, которую Анатолий окончил в 1953 году, литературу преподавала в старших классах эвакуированная москвичка Галина Петровна Иванова, замечательно образованная, смелая и интересная женщина. Анатолий в школе лишь робко пробовал что-то написать. После школы – четыре года службы на Тихоокеанском флоте. Там и становится военкором, пишет в корабельную газету «Залп», занимается комсомольской работой. По впечатлениям морской службы будет написана первая повесть «Стриженные». Но до нее еще и работа в Новокузнецком горкоме комсомола, журналистская работа в многотиражке «Металлургстрой» на Запсибе, первые репортажи и очерки, обратившие на себя внимание серьезностью, остротой и несомненным талантом.

Были и годы работы в городской газете «Кузнецкий рабочий», в альманахе «Кузнецкая крепость». Расширяется кругозор, крепнет мастерство владения словом, создается целый ряд рассказов, в которых уже намечается художественный облик будущего писателя, основные черты его писательской манеры. Это и тяга к психологизму, к исследованию человека в разных обстоятельствах, и глубокий интерес к социуму, к социальным и общественным проблемам, чаще всего связанным с жизнью своего края, Кузбасса, своего города. И еще одно свойство будущего писателя – смелость, острота в изображении жизни, в сочетании с глубиной выдвигаемых проблем. Такими станут одни из первых повестей: «В теснине Арачева» и «Накладки».

В 1966 году он станет участником семинара молодых писателей Западной Сибири и Урала, где его рассказы и повести будут отмечены и одобрены и где получит первый упрек в излишней остроте и бескомпромиссности. В 1971 году Анатолий Ябров заочно окончит факультет прозы Литературного института им. Горького. Однако путь его произведений к изданию легче не станет.

В середине 1970-х он закончит свой первый роман «Паду к ногам твоим» и отправит его в Москву в издательство «Современник». Получит оттуда восторженный отзыв, но издан роман будет только через семь лет, в 1983 году.

Роман «Паду к ногам твоим» о женской судьбе. Время его действия – от начала 30-х до начала 60-х годов прошедшего XX века. Место главного действия – Кузнецкстрой, строительство будущего металлургического гиганта, трижды орденоносного Кузнецкого металлургического комбината и города Новокузнецка, тогда Сталинска. Время и место напряженного, тяжелого, героического труда, неоднократно изображенного и воспетого. И все-таки главная героиня в романе – простая женщина. Смело со стороны автора, рискованно и очень интересно. К тому же и звать ее Ева (Евлания, Евланыюшка, как она себя называет), и главный герой, Рафаэль Хазаров, думая о ней, вспоминает строчку из стихотворения великого Гете: «Опять со мной! Со мной! О боги! Чем заслужил я рай земной?» А ведь именно Гете ввел в обиход мировой литературы это понятие: *Das Ewig-Weibliche*, «вечная женственность». Иначе говоря, перед нами не просто единичный женский характер и судьба, а образ, претендующий на высокую степень обобщения.

Необычен не только характер и судьба героини, но и принцип построения этого романа. Автор на полную силу использует категорию свободного художественного времени в романе. Это художественное время, с одной стороны, подобно свертывающейся спирали: героиня в первых главах представлена в последнем периоде своей жизни, хотя это еще не итог ее судьбы, а потом автор обращается к началу ее пути и проходит его весь последовательно до конца. Но это не линейный путь, а в соответствии с законом свободы и прерывности художественного времени героиня предстает в отдельные, наиболее знаковые моменты своей жизни, как это нужно автору для полного раскрытия ее личности. Такой принцип построения, конечно, требует внимательно-го чтения, но зато эффективен и динамичен.

Нельзя не сказать добрых слов о языке романа. Это язык очень живой, органичный для времени и героев, непринужденный, лишенный всяких канцеляризмов и репортажности. Поговорки и присказки, казалось бы, совершенно бытовые и непритязательные, окрашивают и авторскую речь, и речь персонажей, в нужной мере ее индивидуализируя. «Мы не под дождем – подождем», «Уплыли годушки, как по-

душки», «Грехи не пироги: пережевав, не проглотишь», «Вот и взяли Фоку и сзади, и сбоку», «На этом свете не устанешь, дак на том не отдохнешь», «Почиваешь в тосках на голых досках», «Женский норов и на свинье не объедешь», «Умирать – не в умирашки играть»...

Обратимся к главной героине романа. Характер ее, конечно, раскрывается в поступках, в действиях. Но и еще один способ, очень интересный и эффективный, употребляет автор. Это на протяжении всего романа ее внутренние монологи в форме причитаний. Такие всегда искренние и непритязательные, импульсивные, неподготовленные и правдивые, жалобные... Но вся мера фальши и притворства как главного качества ее характера – в них. Вот один из первых: «Злые люди... Колючие... Какие у Евланышки претензии? Птичка я бессловесная, бескрылая. Отсыали, отпали мои крылышки. Не вспорхну, не взмою я в голубое небушко. Не прилечу я к дружку милому. Не услышу я ласки искренней. Ни утром на заре, ни вечером. Закатывается солнышко. Едят меня комары лютые...»

Очень интересный прием. Вроде бы по форме – народное причитание, искренний голос души. А по сути – изощренная попытка обмана и себя и других, сокрытие своей лживой, эгоистичной и подлой сущности. Весь роман этим пронизан.

Сквозной образ, проходящий через роман, – это образ сына Евланы: ребенка, подростка, взрослого человека. Волей автора он предстанет и как родной ее сын Семушка, и как приемный, не узнанный ею, Сенечка, и как наконец-то узнанный отец ее внучат, судья всей ее жизни.

Главный мужчина ее жизни – Рафаэль Хазаров (Раф, дядя Форель). Широко образованный молодой коммунист, интернационалист, работавший по заданию партии в Берлине, в союзе немецкой молодежи, до прихода к власти Гитлера. Потом возвращается в Советский Союз и получает назначение парторгом Центрального комитета партии на Кузнецкстрой. Прототипом Рафаэля Хазарова был Рафаил Мовсесович Хитаров (1901–1938), первый секретарь горкома ВКП(б) г. Сталинска, награжденный в 1934 году орденом Ленина «за постановку партийно-массовой работы при строительстве и освоении Кузнецко-

го металлургического завода». Его именем сейчас названа улица в Новокузнецке. Был репрессирован, как и начальник стройки Франкфурт.

Хазаров – красавец, умница, пламенный коммунист, человек высокой идеи и морали. Раф и Ева влюблены друг в друга, но пока он где-то в Германии борется за счастье человечества, как она знает, тетя (мать оставила семью еще в ее детстве) советует ей не ждать журавля в небе, а брать в руки синицу – выходить замуж за начинающего поэта Григория Пыжова. Что она и делает и рождает сына Семушку. Григорий – молодой человек с только что становящимся характером, не уверенный ни в себе, ни в творчестве, не знающий людей и жизнь, но бесконечно, до полного самозабвения влюбленный в Еву. Она всю жизнь будет относиться к нему свысока и даже презрительно.

Другим мужем станет сводный брат Григория – Алексей Копытов, в молодости атлетически сложенный парень, с открытой, доброй и благородной душой, тоже искренно и горячо полюбивший Евланию. Во время войны он станет настоящим героем-шахтером, награжденным тремя орденами Ленина и двумя – Трудового Красного Знамени. Бригадир, бесконечно уважаемый шахтерами, соседями, вообще людьми. Именно он найдет Семушку, оставленного Евой на попечение деда, отца Григория, и оказавшегося в колонии для малолетних преступников. Алексей приведет его домой под именем приемного сына Сенечки.

Семушка – Сенечка – сквозной персонаж в системе образов мужчин. Закончит ФЗУ, станет шахтером, получит высшее образование, станет директором шахты, главным инженером угольного главка... Он будет завершать ее романную судьбу.

Композиционный и смысловой центр романа – это, без сомнения, главы, содержащие изображение строительства комбината и города. Рафаэль Хазаров едет на место своего нового назначения и берет с собой Григория, Еву, Семушку. Он увлечен ею, но твердо знает, что никакого адюльтера не будет. Он так же твердо уверен, что ей будет только полезно «повариться в рабочем котле», она там найдет себя, как и Григорий.

Сцена прибытия поезда на вокзал в Кузнецк – одна из самых ярких в романе. Правдиво и точно нарисованная панорама стройки, вдали

еще ничем не прикрытая Томь, старинная крепость на другом берегу, многолюдство, возгласы, призывающие в одном месте собираться каменщикам, в другом – плотникам, в третьем – землекопам. Волнение Хазарова, призванного не просто влиться в этот муравейник, а стать тут одним из самых нужных звеньев.

Да, главная героиня романа любит Хазарова... Как свою желанную, мечтаемую собственность, которая подтвердит ее исключительность, превосходство над другими. Этот ее эгоцентризм, конечно, будет замечен на стройке и Хазаровым, и людьми, проявит себя, породит конфликты, приведет к уезду оттуда. Когда же она однажды на южном курорте, куда отправит ее Алексей, увидит Хазарова с женщиной, которую ревновала еще на стройке, она, желая отомстить, напишет на него клеветнический политический донос в НКВД...

Завершая свертывающуюся спираль времени (основной композиционный прием в романе), автор снова приведет ее в романный Святогорск (Сталинск), в дом, где живет Григорий, полковник в отставке. В разговоре с ним выяснится, что многое она поймет, но далеко не все. Замечательно завершает ее судьбу состоявшаяся наконец-то встреча с сыном. Несколько вечеров сидит на скамейке у его дома, видит проходящего с портфелем усталого человека, сына. Он заметил ее давно и как-то скажет: «Что, мать? В гости решилась? Проходи». И при входе в квартиру: «Встречайте, дети, бабушку». И нечего ей сказать ни сыну, ни внукам.

В самом начале романа тетя Уля, обряжая ее на замужество, скажет: «Ты актерка, а суженый, тебе Богом данный, – зритель». И когда она в каком-то внутреннем смятении, «не в силах ничего сказать», выбегает на улицу, припадает к подножию памятника Хазарову – на том и завершается ее путь. Проблема в первом романе Анатолия Яброва поставлена и социальная, и философская одновременно – проблема разрушения личности, эгоизмом и себялюбием отделившейся от людей. Она актуальна в любые времена, а сейчас – в эпоху разобщения людей, растущего потребительства и себялюбия, превосходства телесного над духовным, неумной погони за деньгами – в особенности.

В самом деле, для советского времени это был вызывающий роман. С одной стороны, главное место действия и время – строительство гиганта металлургии и города, о котором Маяковский написал: «Я знаю – город будет, я знаю – саду цвеств, когда такие люди в стране в советской есть». Да, есть в романе «такие люди» и есть героическая стройка. С другой – главная героиня вовсе не героическая труженица, а обольстительная красавица, певунья – волшебница по имени Ева, но лживая эгоистка, притворщица, паразитирующая на добром имени и самоотверженном труде и парторга ЦК на стройке, и героя-шахтера, и начинающего поэта, который героическим трудом и себя создает, и успехов добьется. Сложная и глубокая книга, отнюдь не однолинейна, и, как жизнь показала, актуальность ее в наши дни только возросла.

Похожая судьба ждала и другие романы Анатолия Яброва.

В самом разгаре застоя, в конце 1970-х, он завершит роман-памфлет «Государство № 49 и его президент Лукьян Тузов». Напечатан роман будет только в 1990 году, уже в перестроечное время. До цензуры дело даже не дойдет. По свидетельству писателя Геннадия Юрова, друзья автора, опытные люди, прочитав рукопись, выносили такой вердикт: «Густо замешано. Но слишком безысходно. Не пропустят. Даже пытаться не стоит». На мой взгляд, если бы сейчас литература имела хоть мало-мальское значение в глазах государственных деятелей и была тем, чем она была тогда, роман бы и сейчас не пропустили. Он поднимает проблему, острее и значительнее которой трудно найти. Это проблема всенародного пьянства.

По мнению того же Геннадия Юрова, если бы роман напечатали до шахтерской забастовки 1989 года, заставившей президента Ельцина приехать в Кузбасс, это был бы роман-предупреждение, а если бы после – роман-расследование. Писатель глубоко погружает нас в атмосферу тех дней, когда партийная демагогия плохо стыковалась с реальной жизнью людей в многочисленных шахтерских поселках и городах Кузбасса с их низким материальным и духовным уровнем жизни, с тяжелым и опасным подземным трудом шахтеров.

Затрагивает он и такую сторону жизни, которая просто неведома тем, кто не в Кузбассе живет. Это тот след, который накладывает лагерное прошлое (а тогда еще и настоящее) края. В населении большой процент отсидевших, освободившихся или условно-досрочно освобожденных и к ним приехавших со специфическими нравами и субкультурой. Пьянство становилось реальной угрозой семье, пол-литра – чуть не видом государственной валюты, без нее мало какие вопросы можно было решить что в общественных низах, что и повыше. Главная угроза – семье, а через нее и стране в целом. Безнадега, отсутствие перспективы, скверная экология, неуважение к людям были и остались. А сейчас, с установлением капитализма, все это только усилилось. Добавилось еще варварское уничтожение природы в открытых разрезах, прибыль откуда вообще идет не государству, а владельцам частных компаний. Этот роман все-таки книга-предупреждение.

В последующих произведениях, которые тоже не сразу придут к читателям, автор останется верен теме родного края, изображению великих строек – и КМК, и Запсиба – с их героизмом и их острыми конфликтами. Это будут романы «Последний солдат Валуевки» (1984), «Ритуальный танец» (1994), повести «Фистопляска» и «Поединок Устина Бусыгина». А. С. Ябров завершит свой творческий путь созданием романа, тяготеющего к эпосу, к большому историческому полотну о народной жизни. Это будет многоплановый исторический роман «Турецкий вал». Главная тема – завершение Гражданской войны в Крыму. 1920 год. Будут названы центральные исторические фигуры: Сталин, Деникин, Врангель, Фрунзе, Уборевич. Но в центре романа – исследование судеб обычных людей, вовлеченных историей в сложную, полную противоречий схватку двух идеологий, социальных стихий. Эти сложнейшие проблемы и конфликты автор рассмотрит на судьбах простых людей, семей, поставленных перед жестокой проблемой выбора.

Интересно и значительно все творческое наследие нашего земляка, прозаика Анатолия Степановича Яброва.

Татьяна Киреева

БИОГРАФИЯ АНАТОЛИЯ ЯБРОВА

Анатолий Степанович Ябров родился в 1934 году в деревне Окуневке Омутинского района Тюменской области. В семье был пятым ребенком из десяти. Жилось большой семье очень трудно. Анатолий Степанович вспоминал: «Читать возле старших выучился рано, лет в пять. Старший брат Кузьма был в семье кормильцем, его все любили. Когда началась война и он ушел на фронт, я каждый день писал ему обстоятельные письма о нашей жизни. Наверное, с них я и начался как писатель» (Кузнецкий рабочий. 1995. 19 января). В 1949 году Ябровы переезжают в Сталинск (Новокузнецк). Здесь будущий писатель окончил школу № 9, здесь началась его творческая биография.

С 1954 по 1958 год служил в рядах Тихоокеанского флота матросом крейсера «Калинин». После демобилизации работал слесарем ТЭЦ Кузнецкого металлургического комбината. Был избран членом городского комитета комсомола и два года заведовал организационным отделом горкома ВЛКСМ (1959–1960). Затем полностью посвятил себя журналистике. Работал редактором многотиражки строителей Запсиба «Металлургстрой» (1960–1964). На ее страницах появлялись острые публикации в защиту молодых поэтов-«шестидесятников». Такое самовольство не проходило бесследно: вопрос рассматривался даже на бюро Новокузнецкого горкома партии.

Из воспоминаний новокузнецкого писателя Геннадия Емельянова: «В нашей газете “Металлургстрой” появился еще один сотрудник – крепкий парень, улыбчивый и ладный. Служил на флоте, потом работал в горкоме комсомола, и вот потянуло его к печатному слову. Платили нам тогда мало, гонорара никакого, до редакции добраться было непросто, так что корысти никакой, а хлопот предостаточно: целый Запсиб за спиной, великая стройка. Приживались у нас лишь рыцари без страха и упрека. Мы были тогда молодые и дерзкие, писали раскованно и сердито, старались делать газету без шаблонов. А это, поверьте, нелегко. Скоро мы поняли, что не ошиблись, взяв этого парня в

штат редакции. Он был очень старателен, писал поначалу, может быть, не шибко цветисто, но по делу. Обязательно по делу и то, что нужно. Был он самостоятелен в суждениях и не гнул низко голову перед авторитетами. Скоро мы заметили за новичком одну особенность: он все время кого-то брал под опеку, о ком-то хлопотал, добивался правды» (Кузнецкий рабочий. 1984. 8 декабря).

Начинающий писатель участвовал в Зональном семинаре молодых писателей Западной Сибири и Урала, который прошел в Кемерове с 29 мая по 7 июня 1966 года. Анатолий Ябров на семинаре представил свою первую книгу прозы – повесть «Стриженные» (1965). Речь в ней шла о военной службе на море. В основу повести легли дневники, которые Анатолий Ябров вел во время службы на крейсере, хотя в армии это было запрещено. Один из руководителей семинара московский писатель Иван Падерин сказал в заключительном слове, что Ябров напоминает ему и внешностью, и манерой письма, и образом жизни валунок посреди бурного течения. «Этот выстоит, – сказал Иван Падерин. – На этого я надеюсь! <...> Я глубоко верю в Яброва. Прочитав его книгу, я пожалел, что служил не во флоте, – не потому, что там легко служить, а потому, что там такие ребята, как “стриженные” Яброва».

Повесть Анатолия Яброва была рекомендована к печати в журнале «Молодая гвардия». Молодой новокузнецкий прозаик был включен в список рекомендованных в члены Союза писателей СССР вместе с Геннадием Емельяновым, Игорем Киселевым, Зинаидой Чигарёвой и др.

Более десяти лет своей жизни отдал писатель работе в главной городской газете Новокузнецка «Кузнецкий рабочий» – журналистом, заведующим отделом, заместителем редактора (1965–1976). Именно в этот период он делает первую пробу в художественной прозе. Писать начал еще в школьные годы. Первый рассказ был опубликован в крейсерской многотиражке «Залп» (1955). Как лучший военкор, был награжден грамотой командования части. После службы его очерки, статьи, репортажи о наших современниках в местной периодике находят признание у многотысячной аудитории кузбассовцев. В 1961 году в «Металлургстрое» был опубликован рассказ «Птицы тянутся к

теплу». В 1971-м окончил факультет прозы Литературного института им. Горького в Москве. Всесоюзное признание пришло в начале 1980-х, когда в издательстве «Современник» вышел первый роман писателя «Паду к ногам твоим».

У книг Анатолия Степановича была сложная судьба. Публикации ждали по несколько лет, вносились редакторские исправления, приносящие писателю одни огорчения. Более чем через десять лет (в 1990 году) увидел свет отдельной книгой роман-памфлет «Государство № 49 и его президент Лукьян Тузов». В нем была исследована актуальная проблема времени – пьянство. Критики отмечали, что до сих пор никто не писал так остро об этом. Роман был издан только после выступления Геннадия Юрова, руководителя кузбасской писательской организации, на пленуме Кемеровского обкома партии и публикации в журнале «Сибирские огни».

Двенадцать лет понадобилось, чтобы напечатали психологический роман «Ритуальный танец», где правдиво рассказывалось о жизни Новокузнецка, строительстве Запсиба. В нем автор затрагивает самые важные темы: смысла жизни, любви к Родине, бездуховности, взаимоотношений таланта и власти.

В концепции романа «Последний солдат Валуевки» с природой органично соединяется христианство. Высоко оценив концепцию произведения, художественное мастерство прозаика, литературный критик Руслана Ляшева назвала роман Яброва «блестящим». После тридцати лет упорной писательской работы был закончен многоплановый историко-психологический роман «Турецкий вал», посвященный Гражданской войне в Крыму, белой армии. Роман был подвергнут острой критике, ни один из четырех вариантов критиков не устраивал.

Перу Анатолия Степановича Яброва принадлежит свыше десяти книг, среди которых повести «Стриженные» (Кемерово, 1965), «Накладки» (Кемерово, 1966), «В теснине Арачева» (Кемерово, 1966), «Жди нас, океан!» (Москва, 1978), романы «Паду к ногам твоим» (Москва, 1983), «Ритуальный танец» (Новокузнецк, 1994), «Бремя: роман и повесть» (Кемерово, 2010), «Земная молния: сборник повестей» (Кемерово, 2010) и др. Публиковался в коллективных сборни-

ках «Лава» (Москва, 1995), «Огненный передел» (Москва, 1996), в альманахах «Кузнецкая крепость», «Литературный Кузбасс», «Огни Кузбасса» и др. Был ответственным секретарем, членом редколлегии литературно-художественного альманаха «Кузнецкая крепость» (1999–2010). На протяжении всей литературной жизни был связан с альманахом, а затем журналом «Огни Кузбасса».

Произведения Яброва охватывают огромный период истории страны: от последних предреволюционных лет до конца XX и начала XXI века. Здесь и великие стройки 1930-х годов (КМК), стахановское движение, героизм и самоотверженность работников тыла в годы Великой Отечественной войны, строительство Запсиба.

Анатолий Степанович – лауреат областной литературной премии 1993 года, посвященной юбилею Кемеровской области, за книгу «Финал» и лауреат областного конкурса, посвященного юбилею Победы, за повесть «Эхо жизни» (1995).

14 февраля 2005 года писателю вручен нагрудный знак «Почетный работник культуры Кузбасса». Анатолий Степанович награжден медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени (2004), «60 лет Кемеровской области» (2003). По случаю 70-летия «Роман-газеты» в 1997 году Анатолию Степановичу Яброву были вручены именные часы.

Умер А. С. Ябров в Новокузнецке 20 сентября 2010 года. Коллекция материалов о жизни и творчестве писателя, насчитывающая около 100 единиц хранения, находится в Новокузнецком литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского. В составе коллекции – личные вещи (матросская форма с отличительными знаками Тихоокеанского флота, крейсерский гюйс, знак корабля), фотографии из семейного архива, подшивки газеты «Металлургстрой» за 1961–1963 годы, опубликованные и еще не изданные рукописи произведений писателя. Там же хранится портрет Яброва, написанный новокузнецкой художницей-палешанкой Альбертиной Фомченко.

Книги Анатолия Степановича Яброва:

Стриженные : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1965. – 170 с. : ил., портр.

Накладки : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1966. – 124 с.

Жди нас, океан! : повесть. – Москва : Воениздат, 1978. – 207 с. : ил.

Паду к ногам твоим : роман. – Москва : Современник, 1983. – 239 с.

Огонь на ветру : повести. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1984. – 319 с.

Финал : роман, повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1988. – 365 с. : ил.

Здравствуй, Запсиб! / И. Г. Бельй, М. И. Карцева, А. С. Ябров. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1989. – 334 с. : ил.

Государство № 49 и его президент Лукьян Тузов : роман-памфлет. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1990. – 223 с. : ил.

Ритуальный танец : роман. – Новокузнецк : Кузнецкая крепость, 1994. – 300 с.

Кузнецкий металлургический комбинат : очерки по истории / Ю. Ширин, М. Кушникова, А. Ябров, А. Сосимович. – Новокузнецк : Кузнецкая крепость, 1997. – 197 с. : ил.

Бремя : роман и повесть. – Кемерово : Офсет, 2010. – 446 с.

Земная молния : повести. – Кемерово : Офсет, 2010. – 697 с. : ил., портр.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Составители выражают признательность родным и близким авторов книги «Избранная проза Кузбасса» за помощь, оказанную при работе над вторым томом серии «Классика земли Кузнецкой»: женам прозаиков – Зинаиде Ивановне Волошиной, Светлане Александровне Мазаевой, Лидии Васильевне Павловой, Розе Петровне Рудиной, Елене Владимировне Чивилихиной; детям прозаиков – Марине Владимировне Войцеховской (Мазаевой), Наталье Александровне Герасимовой (Волошиной), Елене Геннадьевне Емельяновой, Татьяне Геннадьевне Кармановой (Естамоновой), Зое Владимировне Коньковой, Светлане Михайловне Прудниковой, Вадиму Вильевичу Рудину, Юрию Софроничу Тотышу, Елене Владимировне Трофимовой (Куропатовой), Ирине Владимировне Чивилихиной, Елене Александровне Чигарёвой, Константину Анатольевичу Яброву; внукам прозаиков – Елене Михайловне Зыковой, внучатой племяннице М. С. Прудникова Веронике Валерьевне Резинкиной.

Составители второго тома благодарят за оказанную помощь и предоставление материалов о писателях Кузбасса: директора Государственного архива Кузбасса Людмилу Ивановну Сапурину; председателя ревизионной комиссии Богградского района Елену Анатольевну Голощапову (с. Боград, Республика Хакасия); главного архивиста Национального архива Хакасии Екатерину Валерьевну Голубцову (г. Абакан); зам. директора по воспитательной работе Тайгинского института железнодорожного транспорта (филиал ОмГУПС) Валентину Викторовну Одинцову; зав. библиотекой им. В. М. Мазаева Маргариту Карловну Бруль, библиотекаря библиотеки им. В. М. Мазаева Наталию Николаевну Чудинову; командира студенческого поисково-добровольческого отряда «Память поколений» КемГУ Ксению Александровну Штейзель; главного редактора журнала «Кузнецкая крепость» Василия Александровича Галактионова; краеведов-общественников – Владимира Павловича Надя (г. Березовский), Михаила Николаевича Шеховцова (пгт Ижморский).

СОДЕРЖАНИЕ

От редакционной коллегии	2
Владимир Аскольдович Власов	4
Мерзавец.....	5
Искатели бомб.....	18
«...Трудный путь, опасный, как военная тропа» (В. Лаврушкина)	30
Биография Владимира Власова (В. Лаврушкина).....	34
Книги Владимира Власова	37
Екатерина Владимировна Дубро	38
Моряк	39
Кто-то с молоточком	41
Сказка без названия	53
Катя Дубро и ее бумажный кораблик (Т. Горохова)	63
Биография Екатерины Дубро (Т. Горохова)	68
Книги Екатерины Дубро	72
Геннадий Акепсимович Естамонов	74
Дядя Ваня	75
Прозаик с сердцем поэта (Т. Карманова)	80
Биография Геннадия Естамонова (Т. Карманова).....	85
Книги Геннадия Естамонова	89
Владимир Андреевич Коньков	90
Рябина у крыльца.....	91
Летят утки и два гуся.....	114

Разговор по душам	134
«Господь дал мгновенье...» (С. Старовойтова)	146
Биография Владимира Конькова (Е. Тюшина)	151
Книги Владимира Конькова	153
Владимир Федорович Куропатов	154
«Подушечки»	155
Белая рубашка	159
Первее первого	168
Конокрадское ведро	170
По семибалльной системе.....	176
Слепой дождь	195
Волоокие глаза	203
Воспитание добротой (Е. Трофимова)	210
Биография Владимира Куропатова (Е. Трофимова)	213
Книги Владимира Куропатова.....	221
Сергей Михайлович Павлов.....	222
О звуках.....	223
Собачий Угол.....	226
Литературная нива Сергея Павлова (В. Арнаутов)	256
Биография Сергея Павлова (В. Арнаутов, Л. Павлова)	264
Книги Сергея Павлова.....	268
Владимир Андреевич Переводчиков.....	270
Зеленые кошки	271
Магический реализм Переводчикова (Е. Чириков)	276

Биография Владимира Переводчикова (Е. Чириков)	279
Книги Владимира Переводчикова	282
Виль Григорьевич Рудин	284
Зажми сердце в кулак!	285
Шутник.....	325
Следователь, писатель, журналист Виль Рудин (В. Рудин, Е. Тюшина).....	333
Биография Вилия Рудина (В. Рудин)	341
Книги Вилия Рудина	346
Любовь Трофимовна Скорик	348
Парнишонка	349
Сюрприз	362
Кабы на цветы да не морозы	374
Повелитель слов (И. Фролова).....	382
Биография Любви Скорик (Е. Тюшина).....	394
Книги Любви Скорик	396
Зинаида Александровна Чигарёва	398
Праздник Маши Красильниковой.....	399
Платок для матери	411
След добра в прозе Чигарёвой (И. Ащеулова)	428
Биография Зинаиды Чигарёвой (Е. Тюшина, Е. Чигарёва)	434
Книги Зинаиды Чигарёвой	436
Виктор Александрович Чугунов.....	438
Полметра до катастрофы	439
Междуреченская новелла.....	450

Виктор Чугунов и его одержимые герои (Е. Чириков).....	458
Биография Виктора Чугунова (Е. Чириков, Т. Соколова)	461
Книги Виктора Чугунова	465
Анатолий Степанович Ябров	466
Паду к ногам твоим.....	467
Последний солдат Валуевки	471
Житие солдата.....	478
Отсвет.....	496
О творческом пути Анатолия Яброва (А. Сазыкин)	510
Биография Анатолия Яброва (Т. Киреева).....	518
Книги Анатолия Яброва	522

Литературно-художественное издание

КЛАССИКА ЗЕМЛИ КУЗНЕЦКОЙ
ИЗБРАННАЯ ПРОЗА КУЗБАССА

ТОМ II
Книга вторая

Верстка: М. А. Худякова

Корректурa: М. Н. Долгов



ISBN 978-5-6048105-0-7



9 785604 810507

Подписано в печать 10.06.2022. Формат 60×90/16.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. ??,?. Тираж 500 экз. Заказ № ????.

Отпечатано в ООО «ИНТ».
650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28 (левое крыло), 2-й эт.
тел. 8 (3842) 65-78-93.